ВОСПОМИНАНИЯ О Н. ЗАБОЛОЦКОМ





ВОСПОМИНАНИЯ О Н. ЗАБОЛОЦКОМ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

8Р2
В 77

В этой книге своими воспоминаниями о крупном советском поэте Николае Заболоцком делятся с читателями Н. Тихонов, П. Антокольский, С. Чиковани, И. Андроников, М. Алигер, В. Каверин, Л. Озеров и другие советские писатели и поэты, очевидцы его сложного и во многом поучительного творческого пути. Начав в двадцатые годы как поэт экспериментального поиска, Николай Заболоцкий в последний период жизни — пятидесятые годы — обогатил современную поэзию ясной и прозрачной философской лирикой, отличающейся классически завершенной формой стиха.

Страницы сборника по крупице воссоздают живой облик поэта и человека, труженика и правдивого свидетеля событий эпохи. Выявляется и вклад Н. Заболоцкого в дело поэтического перевода как одного из путей духовного обогащения многонациональной советской литературы.

Составители:
Е. В. Заболоцкая, А. В. Македонов, Н. Н. Заболоцкий

Художник *ВАЛЕРИЙ ЛОКШИН*

В $\frac{470201020)—380}{083(02)—84}$ 27—84

Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил - томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя,
Покоя в мире нет, повсюду жизнь и я.

Н. Заболоцкий.

Автограф Н. Заболоцкого «Нет в мире ничего прекрасней бытия...»

Н. ТИХОНОВ

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Николай Алексеевич Заболоцкий, выдающийся русский поэт, родился 7 мая 1903 года, умер 14 октября 1958 года. Он, несомненно, принадлежит к тем поэтам, которых сформировала и утвердила революция. Будучи своеобразным и оригинальным талантом, Заболоцкий прошел сложный путь исканий и опытов, пока стал поэтом широкого звучания и большого дыхания.

Его стихи — живые свидетельства вдохновенного отношения к жизни, любви к родине, к русской земле, к советским людям.

Стихи, как мы знаем, не исчезают со смертью поэта. Они продолжают жить, даже, может быть, более напряженно, чем при жизни их создателя, потому что являются достоянием уже новых читателей, входят в общее поэтическое наследие.

В них со временем все сильнее выступает то главное, что составляло существо поэзии умершего мастера, все то, что он внес в развитие советского стиха. Лирический профиль героя его стихов делается четким, ясным и окончательно завершенным. Конечно, бывает и так, что при этом стихи ранних лет занимают свое особое место, кажутся буйными, своенравными ручьями, пропадающими в расщелинах, по сравнению с полноводной рекой творчества позднейших лет.

Еще в раннем детстве могут проявляться такие черты

будущего характера, которые потом дают себя чувствовать всю сознательную жизнь. Яркие впечатления вызывают желание начать складывать первые стихотворные строки о всем, что поразило воображение ребенка.

Не лишена этого и ранняя юность Николая Заболоцкого. Он родился на ферме под Казанью, где отец служил агрономом. Но потом семья переехала в глухое село Сернур, Вятской губернии, где в окружении картин суровой, но прекрасной северной природы прошли его первые школьные годы.

Много позже он благодарно вспоминал эти времена в автобиографическом очерке: «Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях!.. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях».

Там он и начал писать стихи.

И не стал он педагогом, хотя и окончил в свое время Педагогический институт имени Герцена в Ленинграде. Он стал поэтом и остался им на всю жизнь.

Он сам чувствовал, что его путь — в поисках своего, верно и точно найденного слова, своего, не похожего на других стиха. Подражания Маяковскому, Блоку, Есенину были не более как упражнения для освоения различных форм стиха. В них нет ни собственного голоса, ни собственного рисунка.

Оглядываясь вокруг, видел он мещан и преуспевающих предпринимателей, больших и малых торгашей и шумную толкучку. Это доживало последние дни нэповское мещанство и сопротивлялось изо всех сил, стараясь своей мутной волной залить как можно больше людей и пространства.

Поэтому в ранних стихах Николая Заболоцкого, и в тех, что вошли в сборник «Столбцы», и в тех, что не вошли в него, можно встретить изображение этих мещан и дельцов. Острыми, резкими строками полосует поэт этот разноцветный, жуткий пейзаж торгашеского мирка, но строки эти часто отяжелены слишком громоздкой образностью или условной иронической величественностью, мешающей замыслу.

Тяжелодумность стиха, подбор аллегорических фигур

вместо жизненных и бытовых, обилие условных сцен и темных мест способствовали неудаче поэмы «Торжество земледелия», которая должна была, по замыслу автора, показать победу нового порядка над древним укладом дореволюционной деревни, куда пришла новая жизнь.

Но, ища свой творческий неповторимый путь, Заболоцкий выходит на дорогу больших тем, его глаз видит преображение мира, его ум и сердце радуются победе строителей социализма, гигантскому плану создания новой, могущественной страны — Советской России, Советского Союза — вместо нищенской царской империи.

Он создает стихи, где большой пафос созидания нового мира изображен лучшими, точными словами, и эти стихи всей своей внутренней силой связаны со строительством новой пятилетки и ее людьми.

Поэт стоит в тайге, у землянки лесорубов на берегу замерзшего Амура:

И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоем городке.

Да, Комсомольск — твой город, мой город, город всех, кто строит новый мир, хочет сказать поэт. И в стихотворении, где пафос труда и красота дикого мира встречаются, когда творцы дорог, неутомимые труженики, прокладывают дорогу через дебри, где царствует изобилие первобытных скал, трав, деревьев, поэт, отдавая должное «прелести растительного мира», все же полон ощущением тех богатств земли, которые будут доступны человеческим рукам с проведением этой необходимой дороги.

Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.

За таким же новым миром пришли ходоки из бедного села к Ленину в первые дни Октября. И Ленин говорил с этими ходоками, народными ходатаями:

Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда.

Современность живет во многих стихах Николая Заболоцкого, принимая самые разные формы: от сюжетного

стихотворения до поэтического раздумья, широкой оды, пафосного взрыва.

«Но жив народ, и песнь его жива!» — восклицает он, слыша музыку Равеля. Огромные стиховые волны встают в «Севере», в «Седове» и многих других стихах, где современность звучит своими призывными голосами и говорит о наших днях, о наших чувствах.

И это совсем другой стих, не похожий на строки далеких двадцатых годов. Поэт восклицает:

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

И с действенной силой этого непреходящего, вечно молодого русского слова поэт хотел бы соединить и такую же действенность в жизни, высокую дорогу подвига, служения будущему во славу человеческого знания, во славу родины!

Недаром, заканчивая стихотворение «Седов», поэт пишет со всем волнением сердца:

Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.

Ведь и такие родные с детства русские лесные и полевые пейзажи, вызывающие глубокие раздумья и размышления, доступны не всякому, кто хочет о них писать, их изобразить:

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

И, трудясь над стихами неустанно, внимательно, заботливо, понимая всю власть и всю кажущуюся ограниченность слова, поэт, скопивший опыт и богатый словарь, должен мучительно признаться:

О, с каким я трудом
Наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек,
Невнимательный, суетный, злой!

...Где найти мне слова
Для возвышенной песни живой?

Почему в этих возгласах иногда мы слышим как бы признание собственного бессилия выразить невыразимое, как говорил когда-то Жуковский?

Может быть, это размышление о родной природе, о родном пейзаже, о всем, что хочет обнять стихом поэт, имеет объяснение. Мы читаем в стихотворении «Вчера, о смерти размышляя...»:

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

В этих строках, в их поэтическом содержании мы можем узнать голоса замечательных русских поэтов — Батюшкова и Баратынского с их такими же ощущениями вечности и человеческой мысли, передающей, разгадывающей зыбкий ум природы для утверждения царства разума.

Мир, «который мы от века творим по мере наших сил», — то есть мир великого переустройства земли, человека и всех порядков на земле, — этот мир вошел в творчество Заболоцкого и стал его большой философской темой.

Нет в этом окружающем нас мире ненужных красот, от которых должен отвернуться человек. Наоборот, эта красота родной земли такова, что обыкновенный вечер на Оке может превратиться в чудо. И, наблюдая это чудо, поэт вправе запечатлеть его в стихах.

Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
В его живых чертах распознаешь.

И действительно, в своих лирических стихах поэт распознавал «множество диковин», показывая нам, каким богатым миром мы окружены.

Высокое поэтическое мастерство позволило Заболоцкому в годы Великой Отечественной войны в патриотическом порыве великолепно перевести «Слово о полку Игореве».

Это же поэтическое мастерство в соединении с большой любовью к творчеству старых и новых грузинских поэтов одержало славную победу.

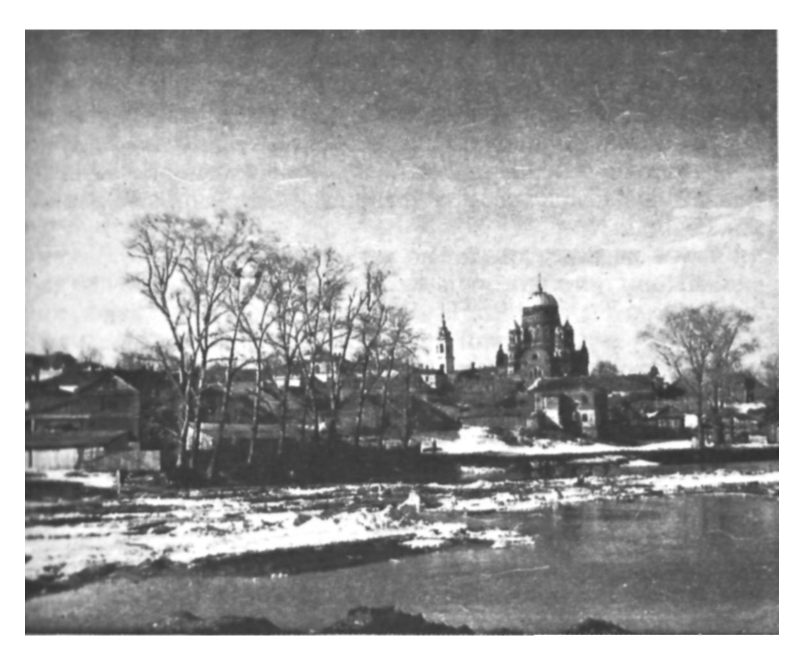
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

Заболоцкий, трудясь годами, перевел блестяще Руставели — «Витязь в тигровой шкуре», Давида Гурамишвили, Григола Орбелиани, Илью Чавчавадзе, Важа Пшавела.

Переводил он еще и других славных поэтов разных народов, но его грузинские переводы знаменуют целый период его жизни, и орден Трудового Красного Знамени, полученный им в 1958 году в связи с грузинской декадой, — заслуженная награда за поэтический подвиг поэта.

Оригинальные же стихи Николая Заболоцкого — стихи поэта, до последнего дня своей жизни остававшегося верным своему поэтическому призванию, стихи патриота, так искренне и сердечно воспевшего родную землю, советскую родину, советских людей, стихи о любви, о верности, о гордости — будут жить до тех пор, пока жива русская поэзия, русский стих, русское песенное слово!

1959



г. Уржум весной

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

РАННИЕ ГОДЫ

Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора, Уржумского уезда, Вятской губернии. Деревня расположена на высоком берегу реки Вятки, рядом с городищем, где, по преданию, было укрепление ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода или Пскова. Возможно, что и наши предки приходятся сродни этим своевольным колонизаторам Вятского края.

Прадедом моим был некий Яков, крестьянин, а дедом — сын его Агафон, личность, как мне представляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был физически необычайно силен, гнул в трубку медные екатерининские пятаки и в то же время отличался большим простодушием и доверчивостью к людям. В николаевские времена он двадцать пять лет прослужил на военной службе, отбился от крестьянства

и, выйдя в отставку, записался в уржумские мещане. Работал он где-то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крымскую войну разнесся слух о бедствиях русской армии, дед мой стал во главе дружины добровольцев и повел ее пешком через всю Россию на выручку Севастополя. Вернули его откуда-то из-под Курска: Севастополь пал, не дождавшись своего нового защитника.

Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его жену, мою бабку, тихую, безропотную старушку, которую дед держал в страхе божием. На фотографиях рядом с дедом она выглядит весьма слабым и смиренным созданием. Не думаю, что жизнь ее с супругом была особенно сладкой. Деда она пережила: Агафон умер еще в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском сельскохозяйственном училище на казенную стипендию. Отец стал агрономом, человеком умственного труда, — первый в длинном ряду своих предков-земледельцев. По своему воспитанию, нраву и характеру работы он стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убежденный практик, он около сорока лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, чуть ли не треть уезда перевел с трехполья на многополье и, уже в советское время, шестидесятилетним стариком, был чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нем с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собою, с красивой черной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддевке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства.

Семью он старался держать в строгости, руководствуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детства, но уже и среда была не та, и времена были другие. Женился он поздно, в сорокалетнем возрасте, и взял себе в жены

школьную учительницу из уездного города Нолинска [1], мою будущую мать, — девушку, сочувствующую революционным идеям своего времени. Брак родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно представить себе, что толкнуло друг к другу этих людей, столь различных по воспитанию и складу характера. Семейные раздоры были обычными картинами моего детства.

Я был первым ребенком в семье и родился в 1903 году, 24 апреля, под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом. Когда мне было лет шесть, у отца случилась какая-то служебная неприятность, в результате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период в жизни отца: некоторое время он был без работы, в Кукморе служил даже не по специальности — страховым агентом и выпивал с горя. Впрочем, период этот длился недолго: в 1910 году мы перебрались в родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил место агронома в селе Сернур.

Село было небольшое: площадь с церковью, волостным правлением и домами причта и две длинные улицы, примыкающие к ней с двух концов, — Нурбель и Низовка. Под прямым углом к этим улицам, к площади примыкали две короткие улочки: на одной была сельская школа, а на другой больница. Недалеко от школы поселились и мы в длинном бревенчатом доме, разделенном перегородками на отдельные комнаты-клетушки.

Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях! Помнится мне Епифаниевская ферма, поместье какого-то старозаветного богатея священника — черный дряхлый дом из столетних бревен, величественный, огромный сад, пруды, заросшие ивами, и бесконечные угодья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях.

А человеческая жизнь вокруг была такая скудная! Особенно бедствовали марийцы — исконные жители этого края. Нищета, голод, трахома сживали их со свету. Купеческое сословие, дома священников — они стояли как-то в

[1] Лидию Андреевну Дьяконову. — *Ред.*



Родители поэта — Алексей Агафонович и Лидия Андреевна Заболотские с годовалым сыном Колей. Снимок сделан на крыльце дома, в котором родился Н. А. Заболоцкий. Окрестности Казани, 1904 г.

стороне от нашей семьи: по скудости средств отец не мог, да и не хотел стоять на равной ноге с ними. Мы, дети, однако ж, знались между собою, у нас были общие интересы, игры. В 1912 году, когда повсюду праздновалось столетие Наполеоновской войны, мы, мальчишки, бредили Кутузовым, Багратионом, Платовым и знали как свои пять пальцев всех героев двенадцатого года. Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, мы с пиками наперевес носились по окрестным садам и вели ожесточенные бои с зарослями крапивы, которая изображала собой воинство Бонапарта. Я неизменно был атаманом казачьих войск Платовым и никогда не соглашался на более почетные роли, ибо Платов представлялся мне образцом российского геройства, удали и молодечества.

В начальной школе я учился старательно. Но школа была бедная и скудная, ученики — крестьянские мальчики, и среди них — много марийцев, изнуренных нуждою. Священник

о. Сергий бивал нас линейкой по рукам и ставил на горох в угол. Однажды зимой, в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ, марийский мальчик Ваня Мамаев, в худой своей одежонке с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замерз до полусмерти, измучился и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой черной завистью.

Уржум, ближайший уездный город, был в шестидесяти верстах от нашего села. В Уржуме было реальное училище, отлично оборудованное, в новом корпусе, построенном на средства местного земства — одного из передовых земств тогдашней России. В 1913 году, десятилетним мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать привела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» И действительно, сначала все шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам — русскому языку, закону божьему, арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, каюсь, малодушно всплакнул, сидя на своей парте. К счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидал ошибку, и задачка решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия.

Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным, красного кирпича собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома, — звуки, еще никогда в жизни не слыханные мною! А Городской сад с оркестром, а городовые по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей! А эти милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы — все как одна! — на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой всячины!

У моего отца была библиотека — книжный шкаф, наполненный книгами. С 1900 года отец выписывал «Ниву», и понемногу из приложений к этому журналу у него

составилось порядочное собрание русской классики, которое он старательно переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудреное содержание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно что хлеб».

Сам-то отец, говоря по правде, не так уж часто заглядывал в свой шкаф, он скорее уважал его, чем любил, — однако детская душа восприняла его календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства. К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления. Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события.

И вот я — реалист. На мне великолепная, черного сукна фуражка с лаковым козырьком, блестящим гербом и желтыми кантами. Я одет в черную с теми же кантами, шинель, и пуговицы мои золотого цвета. Однако парадная форма положена нам голубая, и потому нас, реалистов, дразнят: «Яичница с луком!» Но кто дразнит? Ученики какого-то Городского училища Это — от зависти. Зависть же оттого, что в городе одна-единственная женская гимназия, а мужских училищ два — реальное и городское. Мы, как кавалеры, без особенного усилия забиваем их, городских. Отсюда наши вековечные распри.

Иной раз эти распри принимают серьезный оборот. В городе существует заброшенное Митрофаниевское кладбище — место свиданий и любовных встреч. Бывают вечера, когда по незримому телеграфу передается весть: «Наших бьют!» Тогда все реалисты, наперекор всем установлениям и правопорядкам, устремляются к Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудиями боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, обернутые вокруг ладони. Медная бляха, направленная ребром на противника, действует как булава и может натворить немало бед. Почти всегда победителями выходим мы, реалисты, но кое-когда достается и нам, если мы проморгаем нужное время.

Но как тяжко вдали от дома! Я устроен «на хлеба» к

хозяйке, Таисии Алексеевне. Вместе со мной в комнате живет еще один мальчик. Нас кормят, нам стирают белье, за нами приглядывают, и все это стоит нашим отцам не дешево — по тринадцать рублей с брата в месяц. Наш надзиратель «Бобка», а то и сам инспектор могут нагрянуть к нам в любой вечер: после семи часов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но где же набраться силы, чтобы выполнять это предписание? Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф «Фурор», а там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина! Приходится идти на то, что старшие наряжают меня девчонкой и тащат с собой на очередной киносеанс. Все както сходило с рук, но однажды мы попались: в наше отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил скандал. К счастью, в этот вечер горела городская лесопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. В кондуит мы все же попали, но это было полбеды.

Реальное училище было великолепно. Каждое утро, раздевшись внизу, я, придерживая рукой ранец, поднимался по двум пролетам лестницы и в трех шагах от инспектора щелкал каблуками, кланялся и старался прошмыгнуть дальше. Но это не всегда удавалось. Образец педантизма, немецинспектор Силяндер был неумолимо строг. Заметив не свеженачищенные ботинки, он отсылал нерадивого вниз, где под лестницей стояла скамья со щетками и ваксой. Там надлежало привести обувь в порядок и процедуру представления повторить снова. В перемену, когда мы беззаботно бегали по коридору или гуляли по залу, к нам мог подойти надзиратель, расстегнуть воротник блузы и проверить белье. И горе тому, у кого белье было цветное или недостаточно чистое, — неряха попадал в кондуит или получал строгий выговор от начальства. Так школа приучала нас следить за собой, и это было необходимо, так как состав учеников у нас был пестрый — были тут дети и городской интеллигенции, и дети чиновников, и дети купцов, и много крестьянских детей. Жизненные навыки у нас были в одно и то же время и разнообразны, и недостаточны.

Наш учебный день начинался в актовом зале общей молитвой. Здесь, на передней стене, к которой мы становились лицом, висел большой, до самого потолка, парадный портрет царя в золотой раме. Царь был изображен в мантии и во всех регалиях. Классы выстраивались в установленном порядке, но из них выделялся хор, который становился с левой стороны. Когда все приходило в порядок и учителя,

одетые в мундиры, занимали свои места, в зале появлялся директор, и молитва начиналась. Сначала какой-нибудь младенец-новичок читал «Царю небесный», потом пели, потом отец Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, и все это заканчивалось пением гимна «Боже, царя храни». Затем мы с облегчением разбегались по классам.

Оборудование школы было не только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи ленинградским студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах от железной дороги.

У нас были большие, чистые и светлые классы, отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеатром, и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи — копии античных скульптур. Рисование вместе с математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои, местные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения. Хорош был также гимнастический зал с его оборудованием: турником, кожаной «кобылой», параллельными брусьями, канатами и шестами. На праздниках «сокольской» гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трехцветными поясами, и любоваться нашими выступлениями приходил весь город.

Круг учителей был пестрый. Общей нашей любовью стал Владислав Павлович Спасский, учитель истории, еще молодой тогда человек. В то время, когда прочие учителя ходили в форменных сюртуках, он почему-то носил пиджак, правда, с теми же лацканами и пуговицами. С принятыми у нас учебниками Иванова он считался мало, основными движущими силами истории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои формулировки, которые заставлял записывать в тетрадь и требовал от нас хорошего их понимания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его ответах, — уделом его была неизменная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое время обескураживало нас, но со временем мы поняли, что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это обсто-

ятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был малоразговорчив, сосредоточен и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и гордились тем, что он был нашим наставником с первого класса.

Учитель естествоведения был высок, кривоват на один глаз, но преподавал увлекательно, был любитель посмеяться и перед каникулами часто читал нам Чехова, причем читал так уморительно и так заразительно смеялся сам, что мы всем классом, конечно, дружно вторили ему. Это был хороший, дружелюбно настроенный к нам и прогрессивный человек, как то показало его поведение после революции.

Федор Логинович Логинов, учитель рисования, красавец-мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный баритон и недурно пел на наших концертах.

Безусловное влияние на нас имела учительница немецкого языка Эльза Густавовна, по мужу Сушкова. В своем синем форменном платье, педантично аккуратная и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот свободный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое впечатление.

Зато всем классом, дружно, как по уговору, мы ненавидели нашу француженку Елизавету Осиповну Вейль. Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных буклях, старая дева, и во всех ее манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гуляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у нее не было общего языка, она была придирчива и нажила себе среди нас немало врагов. В первом же классе мы однажды устроили на ее уроке целое представление. Старая дева имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она величественно открывала свой ридикюль, вынимала платочек, и мы были обязаны сказать ей хором: «А вотр сантэ!»

Пашка Коршунов принес в класс нюхательного табаку и в перемену перед французским языком, покуда все мы развлекались в зале, рассыпал табак по партам, причем изрядное количество его попало и на учительскую кафедру. Начался урок. Все шло по заведенному порядку, уже было выяснено, какое «ожордви» число и кто из учеников «сонтапсан», как вдруг учительница вынула платок и чихнула.

— А вотр сантэ, — сказали мы, и занятия продолжались.

Но вот француженка чихнула во второй, в третий, в четвертый раз.

— А вотр сантэ! А вотр сантэ! — отвечали мы.

И вдруг и справа, и слева послышались чиханья, сперва легкие и короткие, потом все более ожесточенные и, наконец, превратившиеся в сплошное безобразие. Старушка же, закрывшись платочком, чихала непрерывно, слезы ручьем текли по ее лицу, и класс, сам изнемогая от нестерпимого зуда в носу и глотке, кричал, захлебываясь:

— А вотр сантэ, а вотр сантэ, мадемуазель!

Кончилось дело тем, что француженка выбежала за дверь и Пашка Коршунов в одну минуту замел все следы своего преступления. Явился инспектор. После уроков мы два часа простояли на ногах всем классом. Пашку Коршунова мы не выдали.

В первые дни революции, когда я учился в четвертом классе, в квартире француженки были выбиты камнями все окна, и с тех пор она исчезла с нашего горизонта. Нечего говорить о том, что по-французски мы были «ни в зуб ногой».

Мальчишеских дурачеств было достаточно, но любопытно, что проявлялись они лишь в отношении немногих, особенно не любимых нами учителей. Однажды нам, наблюдательным бесенятам, показалось, и, может быть, не без некоторого основания, что Спасский и немка неравнодушны друг к другу. Тотчас на классной доске появилась огромная надпись мелом: «В. П. = Э. Г.». То есть Владислав Павлович равняется Эльзе Густавовне. Немка, увидев эту надпись, покраснела и поспешно вышла из класса. Но едва в класс вошел Спасский и увидал наше произведение, он спокойно сел за кафедру и обычным голосом сказал:

— Дежурный, сотрите с доски.

Это было сказано так ровно, спокойно и твердо, что класс сразу понял: тут шутить нельзя. И шутка больше не повторялась.

Батюшку, отца Михаила, мы не ставили ни во что. Это был удивительный неудачник, ни в ком не вызывающий сожаления. Когда-то он окончил юридический факультет университета, но потом, по убеждениям, принял духовный сан. Со своим вечным флюсом, с багрово-сизым носом, с бабьим тенорком и мочальными волосиками он производил жалкое впечатление. Жена ему ежегодно рожала по очеред-

ному младенцу, и это тоже смешило нас. Однажды наши озорники прибили ему калоши гвоздями к полу, так что батюшка, надевая их, едва не растянулся и упал бы, если бы не подвернувшийся под руку швейцар Василий. На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве кита и всем ставил или пятерки, или единицы. Уважать его оснований не было.

Остальные учителя были ни то ни се. Русский язык преподавал Иван Сидорович Баймеков, мариец по национальности, арифметику и алгебру — молодой белобрысый Беляев — личности ничем не примечательные. Учителем гимнастики был некто Холодковский, он же надзиратель, он же «Бобка». В нем чувствовалось нечто от старозаветного педеля: с начальством он был угодлив, со старшеклассниками держался запанибрата, и они угощали его папиросами в уборной. Мы, младшие, его вниманием не пользовались, но инстинктивно считали его предателем и не доверяли ему.

Во главе училища стоял директор Богатырев Михаил Федорович. Швейцар Василий, раздевая его внизу, величал его «Ваше превосходительство». Директор был представителен, красив в своей живописной седине, к тому же он считался незаурядным математиком и великолепным шахматистом. Но он стоял так высоко над нами и так мало общался с младшими классами, что мы долгое время не имели о нем определенного мнения.

Из моих новых товарищей я сразу же подружился с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гимназии. Это был нежный, тонкий мальчик с прекрасными темными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу сделавший большие успехи по этому предмету. Сам же я был в детстве порядочный увалень, малоподвижный, застенчивый и, втайне, честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать говорила мне в детстве: «Ты пошел бы погулять, Коля!» — я неизменно отвечал ей: «Нет, я лучше посижу». И сидел один в молчании, и мне нисколько не было скучно, и голова моя была, очевидно, занята какими-то важными размышлениями. С нервным и хрупким Мишей Ивановым нас сблизила, как видно, противоположность темперамента при общем сходстве интересов: мы оба были поклонниками искусства. Наша дружба была верной и прочной за все время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, делились самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы!

Оба мы были влюблены — постоянно и безусловно. Разница была лишь в том, что Миша никогда не изменял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перельман, — мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж если говорить по правде, то еще в Сернуре я был безнадежно влюблен в свою маленькую соседку Еню Баранову. Ее полное имя было Евгения, но все, по домашней привычке, звали ее почему-то Еня, а не Женя. У Ени были красивые серые глаза, которые своей чистой округлостью заставляли вспоминать о ее фамилии, но это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих, мучительных колебаний я однажды совершенно неожиданно сказал ей басом: «Я люблю вас, Еня!» Еня с недоумением и полным непониманием происходящего подняла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав их, я побагровел от стыда, повернулся и ударился в малодушное бегство. Через несколько дней после этого события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в реальное училище, а ее — в гимназию. И надо же было так случиться, что ежедневно утром, по дороге в школу, мы непременно встречались с нею, и она смотрела на меня так вопросительно, так недоумевающе... Я же, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, несчастный, мстил ей за свое невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь — бледная, как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В своей круглой гимназической шапочке со значком, загадочная и молчаливая, она была, безусловно, воплощением совершенства, но объясниться с нею я уже не мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней этот краснощекий реалистик, какие пламенные стихи посвящал он ее красоте!

Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие предметы воздыхания, и среди них курносая и разбитная Нина Пантюхина. С этой девицей был у меня хотя и не длинный, но деятельный роман. В начале немецкой войны мы собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимназистка. Реалист носил кружку для денег, гимназистка — щиток с металлическими жетонами, которые прикалывались на грудь жертвователям. Во всем этом деле моей неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, прежде чем дернуть за ручку звонка, мы, да простит нам господь бог, целовались с удовольствием и увлечением. Таким образом, я мало-помалу начинал постигать искусство любви, в то время как мой бедный друг Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал

о своей красавице и не дерзал даже близко подходить к ней!

Роман Миши Иванова с Ниной Перельман кончился трагически. Были в нашем классе два оболтуса — Митька Окунев и Петька Лифанов. Эти великовозрастные парни, аккуратные второгодники, сидели рядом на «Камчатке» и были воплощением всех пороков, доступных нашему воображению. Они не учили уроков, дерзили учителям, курили, немилосердно угнетали нас щелчками, пинками и подзатыльниками. Лифанов имел при этом необычайно выдающийся кадык и пел в хоре басом. Огненно-рыжий, весь в веснушках, Митька Окунев был удалец по дамской части. Когда, после исчезновения француженки Вейль, на ее место была назначена новая учительница — великолепная, с пышными формами шатенка, — Митька Окунев, будучи вызван к ответу, принимал фатоватую позу ловеласа и молча упирался своими наглыми глазищами в эту новоприбывшую красавицу. И весь класс, замирая, видел, как лицо ее начинало покрываться багровым румянцем. Она краснела вся, до самых ушей, даже шея ее краснела, на глазах ее появлялись слезы, и, наконец, захлопнув журнал, она убегала из класса... Товарищ этого молодца — Петька Лифанов — в последние годы нашего ученичества соблазнил бедняжку Нину Перельман и бросил ее, а Миша Иванов, неизменный и молчаливый ее поклонник, сошел с ума в Москве, куда он уехал поступать в художественное училище. Через несколько лет он умер в Уржуме, у своих родных...

Маленький, захолустный Уржум впоследствии прославился как родина С. М. Кирова. В мое время это был обычный мещанский городок, окруженный морем полей и лесов северо-восточной части России. Были в нем два мизерных заводика — кожевенный и спирто-водочный, в семи верстах — пристань на судоходной Вятке. Отцы города — местное купечество — развлекались в «Обществе трезвости», своеобразном городском клубе. Было пять-шесть церквей, театр в виде длинного деревянного барака под названием «Аудитория», земская управа, воинское присутствие, «номера» Потапова и еще кого-то, весьма основательный острог на площади, аптека, казарма местного гарнизона. Гарнизон состоял из роты солдат под командой бравого поручика, кривого на один глаз, но лихого, в перчатках и при шпаге. Существовала пожарная команда с ее выдающимся духовым оркестром. На парадах по царским дням мы имели удовольствие наблюдать все это храброе воин-

ство. Парад принимал настоящий генерал, правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле двигающаяся развалина, одетая в древний мундир, белые штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, воинство брало «на караул», и еле слышный старческий голосок поздравлял его с тезоименитством государя императора. Воинство гаркало в ответ, неистово подавал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговременно по чарке, взвывали на своих трубах и литаврах, и рота дефилировала к казарме. Толпа торговок, шумя и толкаясь, провожала своих любезных восторженными взглядами и восклицаниями.

Каждую субботу и воскресенье мы обязаны были являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, построенные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимназистки в своих белых передничках — в левом. За спиной дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасовое стояние на ногах, и притом на виду у инспектора, удручало всю нашу братию. Мудрено было жить божественными мыслями, если каждую минуту можно было ожидать замечания за то, что не крестишься и не кланяешься там, где это положено правилами. Но тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одетые в негнущиеся стихари, двое или трое из нас ходили зажигать и тушить свечи перед иконами, помогали в алтаре и потихоньку попивали «теплоту» — разведенное в теплой воде красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи служками, мы несли еще и другие, не установленные начальством и совершенно добровольные обязанности. Пачки любовных записок переходили с нашей помощью от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, но мы быстро освоились с ним и почти никогда не попадались в лапы начальства.

Большим воскресным событием был еженедельный базар, собиравшийся на площади перед острогом. Сюда съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо, муку, дрова, пеньку и все то, что можно было вывезти из деревни. Домохозяйки всех рангов с озабоченными и вдохновенными

лицами сновали в этой толпе: провизия закупалась на всю неделю, было о чем позаботиться. Бойко работала «монополька». Начиная с полудня вокруг нее лежали живые трупы, слышался бабий вой, воздух наполнялся смрадом пережженного спирта, песнями и руганью. Не отставало от «монопольки» и «Общество трезвости». По крутым его ступенькам посетители зачастую съезжали на спине и лишь с помощью городового могли подняться на собственные конечности.

На фоне этой замкнутой и десятками лет узаконенной жизни резко выделялась и влекла нас к себе другая жизнь, не слишком богатая, но все же заметная и все более растущая. В «Аудитории» регулярно работал и давал свои незамысловатые спектакли любительский драматический кружок. Существовало музыкальное училище, музыка повсюду пользовалась почетом и любовью. В первый год моего ученичества у нас в реальном училище силами учителей, интеллигенции и старшеклассников ставилась (полностью!) «Аида». Правда, опера шла под аккомпанемент рояля и с помощью лишь местных ограниченных средств, — но шла! Концерты давались регулярно то там, то тут. Работали две приличные библиотеки. И впоследствии, в первые годы революции, когда, спасаясь от голода, хлынула к нам из столиц артистическая интеллигенция, она нашла в Уржуме добрую почву для работы, понимание и всеобщее поклонение.

По временам из Сернура приезжал отец и забирал меня к себе в номера Потапова. Здесь мы вели роскошную жизнь — лакомились икрой, копченой рыбкой, сыром. Все это были деликатесы, недоступные нам в обычной жизни. На рождественские и пасхальные каникулы отец увозил меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих детских воспоминаний. Отец ездил на паре казенных лошадей в крытой повозке или кошевых санях. Он был в тулупе поверх полушубка, в огромных валенках — настоящий богатырь, бородач. Соответственным образом одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали ноги меховым одеялом и уже не могли под тяжестью одежды двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на козлы, разбирал вожжи, вздрагивал колокольчик на дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый день пути при 20—25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистающая

на снежных пустынях полей, развертывала передо мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел, пел и визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развевая свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади и протяжно покрикивал ямщик, похожий на рождественского деда с ледяными сосульками в замерзшей бороде. По временам мы ехали лесом, и это было сказочное государство сна, таинственное и неподвижное. И только заячьи следы на снегу да легкий трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнувшей с елки и уронившей в сугроб целую охапку снега, говорили о том, что не все здесь мертво и неподвижно, что жизнь продолжается, тихая, скрытная, беззвучная, но никогда не умирающая до конца.

Совсем другой была природа под пасху. Она оживала вся сразу и, окончательно еще не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным, еле слышным звоном таял снег; ручьи уже начинали свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. И реки, эти замерзшие царственные красавицы, вздрагивали, покрывались туманом и уже грозили нам неисчислимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в разводье. Лошади успели проскочить, но тяжелая повозка провалилась и уперлась передком в твердую льдину. Вода хлестала через нас по меховому одеялу, и мы были на волосок от гибели. Но добрые кони вынесли, и опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей, грязной избе, окруженные полуголыми ребятишками, и с полатей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела на нас дряхлая лысая старуха — существо, лишь отдаленно похожее на человека. Домой приезжали поздно, при свете звезд, когда все село уже спало и только в нашем доме светился огонек: домашние ждали нас.

Семье жилось нелегко. Детей у матери было шестеро, и я — старший из них. Погруженная в домашние заботы, мать старилась раньше времени и томилась в захолустье. Когда-то радостная и веселая, теперь она видела всю безвыходность своего неудачного супружества и нерастраченные душевные силы свои выражала в исступленной любви к детям. Она чувствовала, что настоящая, живая жизнь идет где-то стороной, далеко от нее, сама же она обречена на

медленное душевное умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть на свете люди, которые желают добра народу и борются за его счастье и за это их гонят и преследуют; что сестра ее, тетя Миля, сидела в тюрьме за нелегальную работу, так же как сидел один из отцовых племянников, студент, известный в нашей семье под кличкой Коля-большой, в отличие от меня — Коли-маленького. Коля-большой по временам приезжал к нам со своей неизменной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу местной молодежи. Он славно пел свои не ведомые нам студенческие песни и всем своим веселым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ. Это была загадка, разгадать которую я был еще не в силах.

В 1914 году, когда я учился во втором классе, началась немецкая война. Но она была так далеко от нас и так мало поддавалась нашему представлению, что вначале больших перемен в нашу жизнь не внесла. Однажды приезжали в училище бывшие наши выпускники, теперь молодые прапорщики, отправляющиеся на фронт, прощаться с директором и учителями. Они были в новеньких защитных куртках, в погонах, с сабельками. Мы, разинув рот, наблюдали издали за ними и мучительно завидовали им. Потом разнесся слух, что убили одного из них — Кошкина. Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и все реальное училище хоронило его на городском кладбище. По этому поводу я написал весьма патриотическое стихотворение «На смерть Кошкина» и долгое время считал его образцом изящной словесности.

Во всех домах появились карты военных действий с передвигающимися флажками, отмечающими линию фронта. Вначале все это занимало нас, особенно во время прусского наступления, но затем, когда обнаружилось, что флажки передвигаются не только вперед, но и назад, и даже далеко назад, — игра постепенно приелась, и мы охладели к ней. И только буйные крики пьяных новобранцев да женский плач, которые все чаще слышались у воинского присутствия, напоминали нам о том, что в мире творится нечто страшное и беспощадное, нимало не похожее на это безмятежное передвигание флажков в глубине уржумского захолустья.

1955



Н. Заболоцкий. Уржум. Март 1919 г.

Л. ДЬЯКОНОВ

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ПОЭТА

Детские и юношеские годы Н. А. Заболоцкого, годы его роста, формирования характера, начала творчества тесно связаны с нашим краем.

Мне довелось встречаться с поэтом, получать от него письма. В моем распоряжении осталось несколько писем Заболоцкого и его матери, написанных в начале 20-х годов, одно письмо поэта, написанное в 1944 году, несколько автографов с не опубликованными до сих пор строчками стихов. С помощью сестер — Веры Алексеевны, Марии Алексеевны и Натальи Алексеевны, а также моей матери мне удалось собрать интересные материалы и воспоминания, воссоздающие семью поэта в трех поколениях, его детские и юношеские годы.

...На Уржумском кладбище в 1959 году я видел старый

надгробный памятник с металлическим крестом и надписью по камню:

«Здесь погребено тело отставного унтер-офицера Уржумской местной команды Агафона Яковлевича Заболотского. Скончался 1 февраля 1887 г. Жития его было 57 лет...»

Это — дед поэта, происходивший из крестьян Вятской губернии.

«Бабушка, как и все в семье, — вспоминает сестра поэта Вера Алексеевна Заболотская, — во всем покорялась ему. Она была простой деревенской старушкой, всегда ходившей в платочке».

У них было четверо детей: Елизавета (впоследствии учительница), Алексей (отец Н. Заболоцкого), Пелагея и Гаврила.

Алексей Агафонович, отец поэта, стал агрономом, закончив Казанское земледельческое училище.

Дед поэта по матери — Андрей Иванович Дьяконов — был учителем, потом почтовым работником.

Его дочери рано остались сиротами. В условиях большой бедности, с лишениями, унижениями, беготней по урокам для заработка, они все-таки кончили гимназию одна за другой.

Окончив в 1897 году с серебряной медалью Вятскую гимназию, будущая мать поэта Лидия Андреевна Дьяконова стала работать помощницей учительницы в Нолинске. Но проработала только год. У нее заболело горло, врачи посоветовали переменить профессию. Старшая сестра Ольга послала Лидию в Казань, на земскую ферму, где тогда работал их брат Михаил.

На этой ферме Лидия Андреевна познакомилась с агрономом Алексеем Агафоновичем Заболотским. Они поженились. В 1903 году у них родился сын Николай.

Из Казани семья переехала в с. Кукмор (Казанской же губернии), а потом в село Сернур, Уржумского уезда, Вятской губернии.

Сестра поэта, Вера Алексеевна, вспоминает о Сернуре:

«У нас был отдельный дворик, заросший зеленой травкой, с заложенными в нем отцом цветниками. Мальвы, гвоздики, левкои, настурции, резеда и петуньи и нежно-голубые лабелии запомнились, видимо, Коле на всю жизнь.

За домом был большой запущенный сад, спускающийся к мелкой речушке и еще подальше — к ключу, откуда весь окресток носил воду.

Весной, когда все зеленело и распускались березки, в лесу (в нескольких верстах от села) марийцы из соседних деревень устраивали моление».

Душой семьи, как вспоминает сестра поэта Мария Алексеевна, была мать: «Все хорошее, что в нас есть, заложено мамой. Мама была очень хорошим, умным и справедливым человеком. Любовь к людям, отвращение к лжи и обману она внушала нам с детства. У нее был удивительно чистый и свежий ум, она очень любила книги и привила нам любовь к ним».

Книг было немало. Другая сестра — Вера Алексеевна — вспоминает о десятках томов, собранных отцом за двадцать лет и заполнивших большой шкаф. Тут были: Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой, Писемский, Помяловский, Лесков, Кольцов, Никитин, Ал. Толстой, Тютчев, Шекспир, Гюго, история Карамзина и другие книги [1].

Алексей. Агафонович любил пофилософствовать, поговорить, как шутили в семье, «о вечности и бесконечности».

К нему, агроному, всюду, где бы он ни работал, приходили по делам крестьяне.

У Николая Заболоцкого есть известное стихотворение «Голубиная книга». Когда я читаю это стихотворение, я всегда вижу легшие в его основу детские воспоминания поэта:

В младенчестве я слышал много раз
Полузабытый прадедов рассказ
О книге сокровенной... За рекою
Кровавый луч зари, бывало, чуть горит,
Уж спать пора, уж белой пеленою
С реки ползет туман и сердце леденит,
Уж бедный мир, забыв свои страданья,
Затихнул весь, и только вдалеке
Кузнечик, маленький работник мирозданья,
Все трудится, поет, не требуя вниманья, —
Один на непонятном языке...
О тихий час, начало летней ночи!
Деревня в сумерках. И возле темных хат
Седые пахари, полузакрывши очи,
На бревнах еле слышно говорят.

---

[1] В статье Л. Дьяконова «Вятские годы Николая Заболоцкого» («Кировская правда», 1978, 8 мая) приводится несколько иной перечень книг отца поэта: «Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой, Кольцов, Никитин, Тютчев, А. Толстой, Державин, Карамзин. Шекспир, Гюго, Фет, Гамсун». (*Прим. сост.*)

И вижу я сквозь темноту ночную,
Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг,
То спутанную бороду седую,
То жилы выпуклые истомленных рук.
И слышу я знакомое сказанье,
Как правда кривду вызвала на бой...

Учась в третьем классе сельской школы, Коля Заболоцкий уже издавал свой рукописный журнал. «Сотрудники» у него были замечательные: в журнале он поместил даже стихи Лермонтова «Лесной царь» и «Русалка плыла по реке голубой». Но были стихи и самого маленького редактора журнала:

Как во Сернуре большом
Раздается сильный гром... (и т. д.)

Но вот сельская школа закончена. В 1913 году мальчика отдают в Уржумское реальное училище, за 60 верст от села Сернур. Домой, к родным, он приезжает только на каникулы.

Учится он хорошо, читает запоем, увлекается химией. Кроме того, пишет стихи, рисует, изредка лепит, играет на балалайке, занимается в гимнастическом кружке, хорошо плавает, бегает на коньках.

Потом в Уржум посылают учиться его старшую сестру, и, наконец, по мере роста остальных детей (их было два брата и четыре сестры), вся семья перебирается в Уржум.

Теперь всю библиотеку отца уже без ограничений передали старшим детям.

В эти годы (1916—1917) в Уржуме было много приезжих из Москвы и других больших городов. В классе, где учился Н. Заболоцкий, литературу вела талантливая московская учительница. Вела очень живо, эмоционально. Она выделяла юношу-поэта и уделяла ему много внимания.

У сестер сохранилось одно из юношеских стихотворений Н. Заболоцкого. Оно небезлюбопытно для биографии поэта, почему приводим его целиком

КУПАЛЬСКАЯ МЕЛОДИЯ

Горячо припадала я к сонным листам,
Щеки жаром пылали;
Кулики далеко, по прибрежным кустам
Монотонно свистали,
Облака полумглы засыпали
По затихшим лугам.

Мерно полночь пробило вдали за рекой —
Папоротник все мертв, как могила,
Не вздрогнет, не качнется холодной листвой;
Я ль его не просила,
Я ль его не молила
Показать мне цветок кровяной?

А купальская ночь между тем надо мной догорала,
Бледный месяц угас,
Под клубами тумана река зашептала
В новый утренний час;
Взор испуганных глаз
Это утро еще испугало.

Папоротник стоял упоенный молчаньем,
Зачарован волнистою мглой;
Он заснул под напевы ночных заклинаний,
Убаюканный сладкой мечтой,
Усыпленный прохладой ночной
И реки монотонным журчаньем.

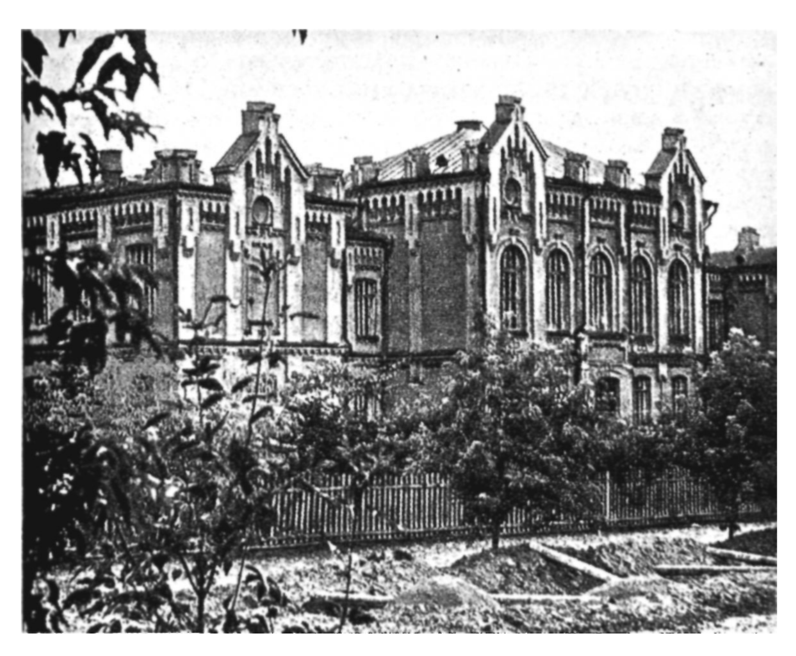
Под стихотворением дата: 28 июня 1918 года. И вторая дата: переделано 23 июля.

Это стихотворение сам автор исполнял под аккомпанемент рояля на литературном вечере.

В первые годы после революции Николай Заболоцкий сближается с вятскими комсомольцами. В одном из сохранившихся у меня писем тех лет он пишет о вятском комсомольском поэте Щелканове (Александре Рабочем) как о своем хорошем знакомом.

Таковы были годы детства и юности поэта.

1961



Бывшее реальное училище в Уржуме, где учился Н. А. Заболоцкий. Ныне — здание уржумской средней школы им. В. И. Ленина. Снимок сделан в 60-х годах

М. КАСЬЯНОВ

О ЮНОСТИ ПОЭТА

1. УРЖУМ

Осенью 1913 года я был принят во второй класс Уржумского реального училища.

С четвертого-пятого класса у нас по успехам в науках образовалось твердое ядро, куда входила первая пятерка учеников: хромой Сережа Казанцев, Мишка Быков, Гриша Куклин — мой особо закадычный товарищ, Володька Марков и я. Вот в этой пятерке и возникла мысль о журнале. Когда мы собрались у Быкова, были и другие товарищи из нашего класса и, кроме того, еще один мальчик. Я с ужасом сказал Мишке шепотом: «Это же четвероклассник». — «Ни-

чего, — ответил Миша, — он головастый паренек, стихи хорошие пишет». Паренек действительно был лобастый, немного смущался, но взгляд имел твердый. Это была моя первая в жизни встреча с Николаем Заболоцким (он писался тогда — Заболотский). Николай начал слагать стихи с одиннадцати-двенадцати лет. Он сам считал, что «это уж до смерти». Мне он как-то сказал: «Знаешь, Миша, у меня тетка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит: «Если кто почал стихи писать (он так и сказал — почал), то до смерти не бросит». В то время, когда я впервые с ним познакомился, Николай был белобрысым мальчиком, смирнягой, со сверстниками не дрался, был неразговорчив, как будто берег что-то в себе. Говорил он почти без жестов или с минимальными жестами, руками не махал, как мы, все остальные мальчишки, фразы произносил без страсти, но положительно, солидно. Страсть и оживление в спорах я увидел в нем уже позднее, в юности.

С тех пор я уже не терял связи с Николаем. Затея с журналом длилась, по-видимому, несколько лет. Помню, что позднее, уже в 1918-м, а может быть, в 1919 году, Николай дал, будто бы для помещения в журнал, стихи, оканчивающиеся четверостишием:

...И если внимаете вы, исполненные горечи,
К этим моим словам,
Тогда я скажу вам: сволочи!
Идите ко всем чертям!

В натуре Николая уже с юных лет, наряду с серьезностью и склонностью к философскому осмысливанию жизни, было какое-то веселое, а иногда и горькое озорство. Впоследствии оно проявилось, по-моему, более откровенно в некоторых стихотворениях его «Столбцов».

Октябрьская революция дошла до нашего города в конце ноября (по старому стилю). Учебный 1916 /17 год закончился, по правде говоря, кое-как. Осенью мы снова собрались в реальном. После Нового года в Уржум пришла книжка какого-то журнала, в которой были напечатаны «Двенадцать» Блока, его же «Скифы» и одно стихотворение Андрея Белого.

В 1918 году Николай написал шуточную поэму «Уржумиада», в которой фигурировали товарищи по реальному Борис Польнер, Николай Сбоев, я, а из гимназисток Нюра Громова (моя пылкая и безответная любовь) и Шурочка

Шестоперова. Поэма не сохранилась, и я, к сожалению, не помню даже отрывков из нее.

Я начал работать делопроизводителем еще в 1918 году. В 1919 году поступил на службу в какое-то советское учреждение и Николай. В апреле он даже эвакуировался со своим учреждением из Уржума в с. Кичму. На главной улице я увидел обоз из трех-четырех крестьянских подвод, на которых лежали тюки дел и кое-какой канцелярский инвентарь. На одной из подвод сидела плачущая машинистка, а остальные сотрудники, в их числе и Николай, шли пешком. Николай был в полувоенного вида френче или тужурке, бриджах и сапогах. Вид у него был важный и решительный.

Не помню теперь, в каком таком серьезном учреждении работал тогда Николай, — вероятно, в самом уисполкоме. Впрочем, вскоре на ближайшем к нам участке фронта наступило улучшение. Колчаковские части были отброшены. Через полторы-две недели положение выравнялось, и Николай, все такой же важный, как победитель вернулся в Уржум.

К 1919 году в городе осталось мало товарищей из моего класса и класса Николая. К этому периоду времени относится наиболее близкая дружба наша с Николаем. Мы виделись почти ежедневно. Чаще всего я приходил к нему на так называемую «ферму» (опытная сельскохозяйственная станция), где работал и жил отец его, Алексей Агафонович. В семье Николая отмечали как старшего из детей и как талант, который был уже явственно в нем виден. В квартире родителей у Николая был свой уголок. Там можно было говорить и спорить о жизни, философии, о литературе вообще, а главным образом о поэзии. Мы были тогда под влиянием поэтов-символистов, прежде всего Блока и Белого.

Николай вразумил меня относительно чеканной краткости и эмоциональной насыщенности стихов Анны Ахматовой, которые он очень любил. Бальмонта и Игоря Северянина мы к 1919 году уже преодолели. Маяковского мы тогда еще знали мало. Только к лету 1920 года до Уржума дошла книжка «Все сочиненное Владимиром Маяковским». А до этого нам становились известны лишь отдельные стихи и строки Маяковского. Их привозили из столиц приезжавшие на побывку студенты. Николай относился к Маяковскому сдержанно, хотя иногда и писал стихи, явно звучавшие в тональности этого поэта (например, то стихотворение, которое он дал в наш журнал).

В клубах табачного, в основном махорочного, дыма мы с Николаем читали друг другу свои стихи, критиковали их, осуждали, восторгались и снова осуждали. Из посвященного мне стихотворения Николая помню:

...В темнице закат золотит решетки.
Шумит прибой, и кто-то стонет,
И где-то кто-то кого-то хоронит,
И усталый сапожник набивает колодки.
А человек паладин,
Точно, точно тиран Сиракузский,
С улыбкой презрительной, иронически узкой
Совершенно один, совершенно один.

Мне это стихотворение очень понравилось, особенно последние четыре строки. Оно накидывало на меня романтический плащ. Но Николай мог быть иногда и коварным другом. Нельзя было распознать, когда он говорит серьезно и когда подсмеивается над тем, кому посвящает свои творения.

В то же время, в начале 1920 года, Николай написал своего «Лоцмана», стихотворение, которое он очень любил и считал своим большим и серьезным достижением.

...Я гордый лоцман, готовлюсь к отплытию,
Готовлюсь к отплытию к другим берегам.
Мне ветер рифмой нахально свистнет,
Окрасит дали полуночный фрегат.
Всплыву и гордо под купол жизни
Шепну богу: «Здравствуй, брат!»

Стихи были характерны для нашего молодого задора. С этим настроением мы вступали в жизнь и на меньшее, чем на панибратские отношения с богом, не соглашались.

В течение 1919 года у нас с Николаем созревало намерение ехать учиться. В 1920 году эта мысль стала приводиться в исполнение. Мы запасались командировками, характеристиками, начали сушить сухари. Весной 1920 года Нина Александровна, преподавательница литературы в классе Николая, и ее подруга Екатерина Сергеевна уехали из Уржума в Москву, обещав нам свое содействие в нашем первоначальном устройстве в столице.

К лету 1920 года у нас все было готово. Ранним июльским утром я с котомкой за плечами отправился пешочком из города в Шурму, чтобы перед отъездом повидаться с родными. На мосту через Уржумку я встретил гуляющего Владислава Павловича Спасского, нашего учителя. «Здрав-

ствуйте, Касьянов! Куда вы?» Я объяснил ему наши намерения: «Едем с Заболотским в Москву поступать на историко-филологический факультет». Вместо ожидаемого мною одобрения реакция Владислава Павловича была совсем другой. Он вдруг разволновался: «Не делайте этой глупости. Я сам всю жизнь жалел, что пошел по такому пути и стал историком, да еще педагогом. Идите в какой-нибудь технический институт, в крайнем случае на медицинский факультет».

С этим прощальным напутствием любимого учителя мы и отправились «под купол жизни».

2. МОСКВА

Наконец, после длительного путешествия, мы прибыли в Москву и очутились на Каланчевской площади. В письме Нины Александровны, полученном перед нашим отъездом из Уржума, было написано, что она и Екатерина Сергеевна живут в одном из переулков на Пречистенке и что туда идет от Каланчевки трамвай № 17. Однако сесть на трамвай с нашими вещичками нечего было и думать. Пришлось идти пешком. После долгого пути мы добрались до земли обетованной. Это был Штатный переулок. Наши знакомые, к счастью, были дома. Оказалось, что они уже подыскали нам жилье.

Приехали мы в Москву задолго, месяца за полтора, до экзаменов и довольно быстро съели почти все свои запасы. Дела же наши были совсем неважны. Мы с Николаем кинулись прежде всего на историко-филологический факультет, где нас обещали принять, но не обещали кормить. Студенты этого факультета едва ли и получали что-нибудь по продовольственным карточкам. Не помню теперь, у кого возникла мысль о поступлении нашем на медицинский факультет, с тем чтобы по вечерам заниматься литературой, а может быть, даже и учиться на историко-филологическом факультете и одновременно на медицинском. Студенты-медики были «милитаризованы» и получали колоссальный по тем временам паек с ежедневным фунтом хлеба. Это и решило вопрос.

В так называемом «Лепехинском общежитии для студентов-медиков» мы сдали вступительные экзамены и поступили на первый курс. В Москве были тогда медицинские факультеты при двух университетах — Первом и Втором. Распределение вновь поступивших между этими двумя университетами проводилось по месту жительства. Мы жили

Н. Заболоцкий.

(1)

Автобиография

Мой дед, крестьянин б. Вятской губ. Агафон Яковлевич Заболоцкий, возвратившись на родину после двадцатипятилетней николаевской службы, записался в мещане своего уездного городка (Уржум) и стал служить лесным объездчиком. Моего отца Алексея Агафоновича он определил в Казанское сельско-хозяйственное училище, выхлопотав ему казенную стипендию.

Отец был участковым агрономом сначала Казанского, а потом Вятского земства. За сорокалетнюю работу он, кажется, преуспел в своем деле и с его помощью значительная часть б. Уржумского уезда ликвидировала трехполье ~~полностью~~ еще до революции. После революции отец заведывал совхозами Уржумского района ~~(во время наступления Колчака спасал племенной совхозный скот, заболел сыпным тифом и последние десятилетия своей жизни был полуинвалидом, хотя продолжал работу)~~ и работал почти до самой смерти. Умер он в 1929 году, 65 лет от роду.

Я родился в 1903 году 24 апреля ст. ст. (7 мая н. ст.) в Казани. ~~(и был первым ребенком в семье.)~~ В ту пору

Автограф первой страницы автобиографии, написанной Н. Заболоцким 10 марта 1948 г. для отдела кадров Союза писателей

недалеко от Второго университета и попали в это учебное заведение.

После начала учебного года сразу же выяснилось, что мы будем получать в университете паек, если будем аккуратно посещать практические занятия и сдавать в срок очередные зачеты. Приходилось трудиться всерьез. На параллельное обучение историко-филологическим наукам никак не могло хватить времени.

Жизнь пошла заведенным порядком. Утром мы шли в университет. С Теплого переулка, проходя через церковный двор, мы выходили на Хамовнический. Там была советская чайная, и в ней почти бесплатно (даже нашей студенческой стипендии на это хватало) давали кипяток в большом чайнике и заваренную морковь в маленьком чайнике. К этому прибавлялось немножечко повидла на блюдечке или какой-нибудь другой немудрящей и ненормированной сладости. Хлеб, конечно, свой, а, как известно: «Хлеб свой, так хоть и к попу на постой». Из чайной мы шли в анатомический театр, где занимались остеологией. До миологии Николай, кажется, уже не дошел. Почти исчерпывающее представление о нашей жизни дает гимн, слова которого были написаны Николаем в самом начале нашей медицинской деятельности, в первую неделю сентября 1920 года:

Утром из чайной
Рано, чуть свет,
Зайдешь не случайно
В университет.

Припев:

Торты и сдобные хлебы,
Сайки, баранки, какао.
Эй, подтянись потуже,
Будь молодцом!

Первые две строки припева являлись плагиатом. На дверях хамовнической чайной сохранились жестяные вывески с указанием на наличие этих мифических в то время тортов, сдобных хлебов, саек, баранок и какао. Призыв к подтягиванию животов плагиатом отнюдь не являлся.

Номенклатура,
Костный музей.
Vertebra prominens
Ноет сильней.

В этой строфе упоминалось, конечно, об анатомической номенклатуре, которую мы тогда усердно изучали, а vertebra prominens — это выступающий (prominens) своим остистым отростком под кожей шеи седьмой шейный позвонок.

В аудитории сонной
Чувства не лгут —
На Малой Бронной
Хлеб выдают.
На Малую Бронную
Сбегать не грех.
Очередь там небольшая —
Шестьсот человек.
Улица Остоженка,
Пречистенский бульвар,
Все свои галоши
О вас изорвал.

Сапоги Николая, в которых он приехал в Москву, не выдержали тяжелых испытаний жизни, подметки их отвалились. Поэтому, несмотря на прекрасную, солнечную, сухую московскую осень 1920 года, Николай важно вышагивал в сапогах с надетыми на них галошами.

Жили мы от пайка до пайка, который, в том числе и печеный хлеб, выдавался раз в месяц. В день получения пайка каждому из нас давали по полтора больших солдатских каравая хлеба, сливочное масло, сахарный песок, селедку или воблу. После получения всех этих благ мы сейчас же, незамедлительно, шли в чайную (на этот раз в университетскую), резали хлеб, намазывали его маслом, посыпали сахарным песком и запивали все это кипятком. Никакие пирожные никогда впоследствии не доставляли мне такого ярого наслаждения, как эти послепайковые трапезы. Мы вдвоем съедали за один присест четверть каравая, фунтов пять, не меньше, хлеба.

Дни наши были заняты медициной, а вечера мы делили между посещениями театров, Политехнического музея, кафе поэтов и наших добрых знакомых. В театры удавалось ходить редко, финансы наши этого нам не позволяли, разве что иногда посчастливится проникнуть зайцами, но обычно уже на второе действие. Николаю, да и мне особенно нравился театр Мейерхольда. Большое впечатление на нас произвели «Зори» Э. Верхарна, когда в последнем действии актер вместо полагающегося по ходу действия монолога зачитал свежую фронтовую сводку о взятии Перекопа Красной Армией и о ликвидации врангелевского фронта. Это

сообщение было встречено громовыми аплодисментами всего зрительного зала.

В Политехнический музей мы ходили на различные диспуты и на литературные вечера. Там мы не раз слушали Брюсова, читавшего свои новые стихи. Бывали мы на вечерах и пролетарских поэтов — В. Кириллова, М. Герасимова, А. Гастева. Очень часто там выступал В. В. Маяковский. На одном из вечеров он чудесно читал свои произведения, в том числе великолепные: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче» и «Рассказ о том, как кума о Врангеле толковала без всякого ума».

В этот вечер Маяковский вообще был в ударе. Публика из первых рядов, где сидели его восторженные поклонники, окружила стол, с которого читал поэт, и не выпускала его из плена. Маяковский сказал: «Ну, теперь стоит только меня побелить, и я буду сам себе памятник». В другой раз мы слушали Маяковского, декламировавшего свою тогда только что написанную поэму «150 000 000». Николай не очень любил Маяковского, но не мог противиться его темпераменту, проявлявшемуся во время чтения и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и одобрительно кричал. Но стоило закончиться чтению, как Николай возвращался к обычному сдержанному отношению к Маяковскому. Однажды, когда мы с Николаем после окончания вечера спускались по лестнице в густой толпе, Маяковский шел вниз рядом с нами и наступил мне на правую стопу. Николай по этому поводу долго надо мной издевался и советовал мне сдать эту стопу в музей. При наших встречах с Ниной Александровной и Екатериной Сергеевной Николай несколько раз повторял одну и ту же шутку — хватал мою ногу, поднимал ее кверху для всеобщего обозрения и возглашал: «Смотрите, вот эта нога!»

Гораздо чаще, чем в Политехническом музее, мы бывали в кафе поэтов «Домино» на Тверской. Там был небольшой зал, где публика чувствовала себя свободно, иногда даже слишком свободно. В зал входили прямо с улицы, раздевалки не было.

Адуев и Арго написали поэму об этом кафе, и там же Арго читал ее с эстрады. Поэма была длинная, но остроумная и слушалась легко. Внимали мы там и разным другим поэтам, в том числе и ничевокам. Однако царили в кафе поэтов тогда имажинисты во главе с Вадимом Шершеневичем. Были там Мариенгоф, Кусиков и другие. Но имена и

стихи всех их как-то выветрились из памяти. Часто бывал в кафе Сергей Есенин.

В другие вечера, несмотря на грозящие зачеты, мы иногда откладывали медицину и, оставаясь дома, начинали писать стихи. Мы упражнялись в таких формах, как триолеты, октавы, буриме, сонеты. Как-то шутя Николай написал сонет, который назвал вульгарным. При чтении этого произведения у наших милых знакомых Нина Александровна сказала, что «сонет» и «вульгарный» — понятия несовместимые.

В Москве в 1920 году Николай писал крупную вещь, которая развертывалась одновременно в двух планах — лирическом и эпическом. В первом плане действовала Коломбина:

Коломбина не знала, что ее мишурное платье
Отражает багровые блики огней...

Другой план, чисто реалистический, повествовал о продразверстке:

По снежным полям скрипит обоз —
Голодной, холодной Москве везут хлеб...

Из мелких стихотворений Николая этого периода мне особенно нравилось одно. Я его тогда же записал. Вот оно:

Грозный Тартар бурей стонет,
Тени легкие летят,
Дубы черные скрипят,
Радость светлую хоронят.

Где-то там горит заря,
Ароматы ветер носит.
Верю, радость в сердце бросит
Золотые якоря.

Во всех этих несерьезных и серьезных упражнениях в стихосложении, которыми мы занимались дома, а иногда и публично, в гостях у наших знакомых или у их друзей, Николай всегда забивал меня быстротой и легкостью, с которой он слагал свои буриме и другие поэтические мелочи. Окончательно он убил меня во время встречи Нового, 1921 года. Это было где-то в Замоскворечье, у знакомых наших знакомых, в большой, почти нетопленной комнате. Было предложено объявить конкурс на скорость создания эпиграммы на любого из присутствующих. Николай мгно-

венно написал четыре строки, посвященные Екатерине Сергеевне Левицкой:

Ваша чудная улыбка —
Есть улыбка Саламбо.
Вы — прекраснейшая рыбка,
Лучше воблы МПО.
*(Московское
потребительское общество)*

Вот так мы жили, но от месяца к месяцу все труднее становилось с едой. Вскоре после Нового года усиленный паек у студентов-медиков сняли. Мы стали получать по полфунту, потом по четвертушке, а то и по восьмушке хлеба, почти без всяких добавок. Николаю не имело смысла голодать на ненужном ему медицинском факультете, и он в феврале или в начале марта уехал в Уржум. А я решил остаться, чтобы закончить первый курс.

После окончания сессии я, ни минуты не медля, поехал домой, в Шурму.

Вскоре я получил письмо от Николая в стихах:

1
Здорово, друг, от праздной лени
Или от праведных трудов,
Но пред Шурмою я готов
Сегодня преклонить колени!
Прими, задумчивый поэт,
Мой легкомысленный привет!

2
Долготерпению во славу
Не разбирай моих затей.
Здесь ни гекзаметр, ни хорей,
Здесь ни Онегин, ни октавы, —
Но просто сброд из всяких строк,
Не знаю, будет ли в них прок.

В этом длинном шуточном послании сообщалось:

8
...Писал я драму. Были люди.
Средневековый, мрачный пыл.
Но я, мой друг, — увы — застыл
На «Вифлеемском перепутье», —
Зовется драма так моя, —
Конца же ей не вижу я!

9
Но все ж, не разгибая спину,
Усердно я ее строчил

И уж теперь перевалил
В черновиках за половину.
Когда-нибудь мой этот труд
На строгий твой предстанет суд.

И далее:

17

...Ну, не сердись! Прощай покуда...
Хоть драма все еще вчерне —
Но надоела страшно мне
Листов исписанная груда.
Пиши ко мне в Совхоз.

Прощай.
Твой Заболотский Николай.
21 07 (1921)

Кстати, одно «серьезное» стихотворение:

СИЗИФОВО РОЖДЕСТВО

Просвистел сизый Ибис с папируса
В переулки извилин моих.
И навстречу пичужке вынеслись
Золотые мои стихи.
А на месте, где будет лысина
К двадцати пяти годам, —
Желтенькое солнышко изумилось
Светлейшим моим стихам.
А они, улыбнувшись родителю,
Поскакали в чужие мозги.
И мои глаза увидели
Панораму седой тоски.
Не свисти, сизый Ибис, с папируса
В переулки извилин моих,
От меня уже не зависят
Золотые мои стихи.

Н. З.

В начале августа я отправился в Уржум.

К моменту нашей встречи Николай решил в Москву не ехать, и в конце августа мы направились в разные стороны: Николай — в Петроград, где начал новый период своей жизни, я — обратно в Москву, продолжать свое медицинское образование.

1961



Рисунок Н. Заболоцкого, изображающий Н. Г. Сбоева. Ленинград. 1925 г.

Н. СБОЕВ

МАНСАРДА НА ПЕТРОГРАДСКОЙ

(Заболоцкий в 1925—1926 годах)

Осенью 1925 года я вынужден был выехать из родного Уржума для приискания себе места в жизни.

У меня был хороший адрес: Ленинград, ул. Красных Зорь, д. 73/75, мансарда, комн. 5.

Этот адрес я предпочел другим из-за значительности и звучности слов «Ленинград» и «мансарда».

Комната 5 до моего приезда была достаточно заселена: в ней жили студенты Педагогического института Блохин Александр Михайлович — тверяк, Заболотский [1] Николай Алексеевич — из Уржума и Резвых Николай Петрович — также из Уржума.

[1] Орфографию своей фамилии поэт изменил позднее. — *Ред.*

Товарищи потеснились, отвели мне угол и помогли сколотить из большого ящика сооружение для спанья.

Жили в нужде; во владении этой братии были предметы фабричного производства — примус, чайник, котелок для варки пищи, связка бутылок для керосина. Другие предметы индивидуального пользования были привезены из дома — это были плетенные из ивы корзины, складные ножики и кое-какая посуда.

Н. П. Резвых был обладателем карманных часов — единственного предмета роскоши на четверых.

У нашей комнаты площадью примерно в десять метров потолок был скошен по ходу крыши, и воздуху в ней было маловато. Окно давало свету достаточно. Вид из окна был превосходен: за Большой Невкой мы любовались частью Выборгской стороны до Политехнического института и Сосновки. Паровое отопление работало исправно, но все же при северном ветре вода в чайнике застывала.

Стипендия у студентов в ту пору была, видимо, очень незначительна — питались «во вся дни» черным хлебом с кипятком. Но в какие-то дни благополучия бывал и приварок — каша с постным маслом или вареная треска. Теперь такой трески нет — нет такого запаха: от одной сваренной трещ*и*ны дух шел по всем проходам и комнатам мансарды. Нередко бывали дни полного безденежья у всей братии; флегматичные особи в эти дни томились на ложах своих, а другие изматывали последние силенки, мыкаясь по стогнам града в поисках любой работы, но работы не было. Случайно удавалось подработать на улице при снежных заносах по очистке трамвайных путей, на погрузке и разгрузке дров; мне удавалось иногда «работать» статистом в Народном доме (1 рубль за выход), работал я также натурщиком в Академии художеств, в Художественном училище на улице Герцена, в Обществе художников, но все это случайно — при наборах «от ворот».

В один из таких голодных дней Н. П. Резвых поднялся с топчана, мрачно, без звука, исчез.

Бедняга не вынес и продал часы (память об отце); принесенную им снедь мы все вкушали в молчании.

Свойственная молодости жизнерадостность, впрочем, не покидала нас: в часы общего сбора в комнате возникали острые споры по поводу и политических дел, и дел искусства, тем более что Н. А. Заболоцкий часто читал нам свои стихи и стихи других поэтов. Сборники стихов, отдельные оттиски от машинки и просто писанные от руки, попадали к нам на

мансарду частенько. Общее пение допускалось в редких случаях по причине чрезвычайного проникновения звуков во все норы мансарды. Пели мы: «Вечерний звон», «Быстры, как волны...», «Вниз по матушке по Волге...», «Черный ворон» и из духовных песнопений — «Хвалите имя господне...», «Се жених...», «Чертог твой...». Голоса у всех были изрядные, выходило вполне хорошо, особенно в части духовных песнопений.

Нужно сказать здесь, что склонности к религиозным переживаниям молодежь не имела, кроме меня. Н. А. Заболоцкий как-то раз сделал даже попытку повлиять на меня в сторону отвлечения от религиозных настроений и высказал тот практический аргумент, что атеистическое, естественно-научное мировоззрение недоступно для насмешки, тогда как верующего оскорбить очень легко.

Утренний, тяжелый воздух нашей комнаты не раз был поводом для литературных упражнений («Воздух туг, упруг и звучен, закатавшийся в шары»). Помню, что один из наших товарищей по Уржумскому реальному училищу, Польнер Борис Александрович, уже успел к тому времени окончить экономический вуз и работал бухгалтером в Сарапуле. Он сразу же там женился, что вызвало в нас, «саврасах без узды», и жалость, и насмешки. Этому человеку было сочинено сообща письмо по поводу поспешной женитьбы и перехода к размеренной сытой жизни. В письме описывалась вольная жизнь четырех отроков в тесной келье с картинкой поклонения благочестивых отроков в стихарях топору, парящему в воздухе, с надписью: «О, топоре святый, како висиши на воздусе, ничем не держомый, зело блистающ!»

Н. А. Заболоцкий и Н. П. Резвых обладали хорошими способностями к рисованию, и наша комната украшалась характерными эпизодами из жизни, карикатурами. Это было свободное творчество, лишенное каких-либо претензий на «красоту» или профессию.

К сожалению, все эти памятные записи и картинки не сохранились [1]. Не сохранилась и «Уржумиада» Н. А. Заболоцкого, в которой очень живо и правдиво изображалась молодежь Уржума, настроения молодежи в то бурное, революционное время.

Рвение к учебе в Пединституте у трех студентов отсут-

---

[1] Из немногих сохранившихся с той поры рисунков Заболоцкого два опубликованы — автопортрет и изображение Н. Сбоева (см. сс. 136 и 43 настоящего сборника).

ствовало. Забота об учебном деле наблюдалась лишь у А. М. Блохина, кончавшего институт для работы на учительском поприще. Н. П. Резвых вскоре окончательно порвал с учебой, убоявшись бездны премудрости педагогических наук... Н. А. Заболоцкий, видимо, окончил это заведение, но скорее для проформы, — он уже определился как литературный работник и для нас, его товарищей и сверстников, и для многих других людей. Помню, в 1926 году Н. А. пригласил меня в Дом печати на вечер, посвященный его поэзии. Зал был полон сочувственной для Н. А. молодежью. Выступил и я с одобрением его поэзии — в смысле доходчивости для всех живых и простых людей.

В конце 1926-го или в начале 1927 года наше совместное, мансардное существование кончилось. А. М. Блохин начал работать преподавателем в Ленинграде и переехал. Н. А. Заболоцкий был призван в армию, после службы поселился на Конной улице и, насколько помню, жил там в комнате один. Нас с Н. П. Резвых как неплательщиков попросили выехать. Мы проживали на Саблинской улице в комнате над кипяточной (чайник кипятку одна копейка), пользовались готовым теплом. Безработица еще года два била нас. С 1929 года, когда безработица пошла резко на убыль, мы поступили на работу, на постоянную работу!

1963



Н. Заболоцкий. Ленинград. 1933 г.

Т. ЛИПАВСКАЯ

ВСТРЕЧИ С НИКОЛАЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ И ЕГО ДРУЗЬЯМИ

С Николаем Алексеевичем Заболоцким меня познакомил Введенский в 1925 году. Вскоре Николай Алексеевич стал бывать у меня, иногда вместе со всеми своими друзьями — Введенским, Липавским, Олейниковым, Хармсом, иногда с кем-нибудь из них, а то и один.

Я жила тогда в маленькой комнатке в 7,75 кв. метра (бывшей людской) на шестом этаже, на Кронверкской улице.

Не помню, почему ко мне должен был прийти в гости Евг. Рысс. Я знала его очень мало и поэтому пригласила Даниила Ивановича Хармса и попросила позвать всех других, в том числе и Николая Алексеевича. Кроме того, я сказала, что будут пирожки с рисом.

Собирались надолго, засиживались до утра. Так было и на этот раз. Пришли все, кроме Рысса; пока ждали его, велись серьезные разговоры на разные темы. Николай Алексеевич говорил о стихах, и в частности о стихах Введенского.

Он говорил о метафоре, которая, пока жива, всегда алогична, если же алогичная метафора, говорил Николай Алексеевич, перестает для поэта быть только средством, то есть только поэтическим приемом, и становится самоцелью, то она превращается в бессмыслицу. Николай Алексеевич называл это материализацией метафоры. Возможно, что всякую бессмыслицу в стихах он считал только материализованной метафорой, — только я не помню, ведь сказано это было почти полвека тому назад, в то время, когда он писал «Столбцы».

Всех разговоров не помню. Их было много и о многом.

Рысса все не было. Он вообще не пришел. Вдруг Даниил Иванович совершенно неожиданно и совершенно серьезно спросил:

— Где же пирожки с Рыссом?

В другой раз у меня были только Даниил Иванович и Николай Алексеевич. Они пели дуэтом «Уймитесь, волнения страсти...» Глинки. Даниил Иванович был исключительно музыкальным, и он часто прерывал пение, сердился на Николая Алексеевича, поправлял. Николай Алексеевич терпеливо и безобидно выслушивал объяснения, и они снова начинали петь. Упорству их можно было только удивляться, они начинали снова и снова, прерывали пение чуть ли не по десять раз. Потом спели все-таки весь романс. Очень Николай Алексеевич любил петь.

Жили мы бедно, угощение бывало скромное. Любимым было — вареная картошка с постным маслом, с чесноком или луком, а то и просто чай с булкой без масла. Одевались плохо, в том числе и Николай Алексеевич (кажется, в шинели). И вот в одну из таких скромных трапез Николай Алексеевич говорил о том, что работать должны все, невзирая на неудачи и прочие обстоятельства, каждый день, и что сон лучше, чем жизнь. Позднее он об этом скажет в «Разговорах».

Николай Алексеевич очень любил Баратынского, и в особенности стихи, которые ему прочел Л. Липавский, «Пироскаф» (Л. Л. тоже любил Баратынского).

Строчки

Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ... —

очень Николаю Алексеевичу нравились.

Помню, как-то Николай Алексеевич пришел и подал мне листок, на котором стилизованным почерком было написано:

Полезно ли человеку писать?
Очень полезно.
А почему?
Потому что на голове появляются умные бугорки, чтобы
мыслить.
А что же мыслить?
О пользе жизни. Кому какая от этого
польза.
А кому какая?
Разная. Где ходят звезды — почему они ходят, а что же
будет, если они перестанут ходить.
Расскажите все подробно.
Так. Посмотрим на воздух. Какая же в нем сила? А сила
есть. Сила от него идет сквозь тело, потому человек и ходит.
А если человек не ходит?
Тогда сидит. В нем все кости сидят одна на другой, пока не
умрет.
А когда умрет?
Тогда есть червяк. Червяк бывает двойной: один от
мудрости, другой от глупости.
Что такое мудрость?
Там, где умный глуп.
А где глупость?
Там, где глупый умен.
Вот спасибо. Теперь я понимаю, как и что.
До свидания.

Н. Заболоцкий

У Николая Алексеевича (так же, как и у Николая Макаровича Олейникова) был двойной юмор — юмор, который поймут все, даже не знавшие их, и юмор, понятный только тем, кто знал Николая Алексеевича и Николая Макаровича и знал их интонацию, их манеру говорить. Шуточное стихотворение без интонации Николая Алексеевича, без выражения его лица, без его улыбки не звучит, но своей интонацией и манерой говорить Николай Алексеевич превращал его в обличение банальности.

Таково, мне кажется, шуточное стихотворение:

Ах, прекрасная Тамара,
Если б были вы свидетель
Страсти пылкого пожара
В месте том, где добродетель
Для себя нашла приют,
Где? Вот в этом месте! Тут!
Друг Коля

При словах: «Где? Вот в этом месте! Тут!» — Николай Алексеевич с нарочито серьезным лицом с размаху ударял себя в грудь с левой стороны. Он знал этот стишок наизусть, ему он очень нравился, и некоторое время, при встречах, Николай Алексеевич говорил его вместо обычного приветствия, с тем же жестом и серьезным выражением лица, сквозь которое проскальзывала его улыбка — немножко искривлялся рот в левую сторону и сверкал золотой зуб. Только тот, кто знал Николая Алексеевича и его серьезную манеру острить, мог бы полностью оценить юмор этого стихотворения.

В начале 30-х годов мы с Леонидом Савельевичем жили на Гатчинской улице, летом я уехала в деревню и получила от Николая Алексеевича письмо с приклеенной к нему фотографией [1] очень скромного Николая Алексеевича с гладко причесанными волосами:

«12. VII.33

Дорогая Тамара Александровна!

Я долго ждал... Так долго, что на моем месте будь кто другой — я не ручаюсь, что бы с ним стало! Да-с! Я ждал почти месяц! Многое прошло перед моим унутренним взором за этот месяц! С тайной надеждой я заходил несколько раз к Л. С., и едва лишь дверь открывалась передо мной, как я, расталкивая хозяев, зверем бросался в вашу комнату, направлял свой взор на стенку, или, вернее, — нацеливался глазом на стенку и тут же падал на диван, с криком отчаянья. Да-с! Мой портрет все еще висел там!!! Тщетно расспрашивал я Л. С. — не было ли от вас спешной депешки — выслать портрет с нарочным — нет, нет и нет! Не было такой депешки!

Как я должен был отнестись к такому явлению? Как должен был его объяснить, истолковать, или, как говорят ученые, — дезавуировать? Может быть, моя дикая испан-

[1] Эта фотография помещена на 47 стр. настоящего сборника.

ская красота уже потеряла свою власть над вашим духом? Этому поверить не могу, ребенок и тот поймет, что этого не могло случиться. Может быть, какая-нибудь случайная интрижка на несколько мгновений покрыла флером полузабвения мой образ? Нет, нет, нет! Не таковский я человек, чтобы из-за интрижки оказаться под флером. Я еще сам вполне могу покрыть флером любого! Может быть, какое-нибудь случайное недомогание, — например, ухудшение слуха, или временное окривение, — (т. н. ячмень), или растяжение сухожилия, или, не дай бог, какая травма — на момент затушевали в вас память о дорогом лице? Нет, нет и нет! Во-первых, я еще и сам могу кого угодно затушевать, а во-вторых, по нашим сведениям, вы живы и здоровы и никакая травма вам не оказала неприятностей.

Таким образом все обсудив и зрело обдумав, я пришел к твердому заключению, что все это с вашей стороны не более как кокетство, свойственное женщинам с момента сотворения земли (ученые до сих пор еще не установили, когда произошел этот момент, — sic!) и до более поздних исторических времен. История дает нам много примеров, как кокетничали древние римлянки, карфагенки, гречанки, галлки и германки, — но увы такого лютого, такого сногсшибательного и упорного кокетства, как ваше, — еще не бывало никогда! Возьмите Тита Ливия, возьмите Геродота — где вы его там найдете? А вы? В течение целого месяца скучая по незабвенным чертам дорогой вам личности, вы о том даже не намекнете никому, как бы желая испытать меня — как я сам отнесусь к такому факту. О, я вполне раскусил вас! Вы принадлежите к тому типу женщин, которые по-французски называются «ploutovka».

Но я, как вы видите, не таковский, и очень все хорошо понимаю, что к чему, и поэтому далек от всяких т. н. эксцессов, т. е. проявлений; я тонко разобрался в психической и индивидуальной игре вашего «Я», а потому, желая привести ваше «Я» в состояние гармонии, вторично посылаю вам свои незабвенные черты. Пусть они украсят собою скромную обстановку вашего дома, пусть лучи, льющиеся из моих очей, непринужденно порхают над незатейливым убранством его, т. е. дома. Об одном молю — не показывайте мой портрет доверчивым поселянкам, — их неопытное сердце может быть жестоко разбито моими дорогими чертами. Вглядитесь, вглядитесь в них, т. е. в черты, дорогая

Тамара Александровна! Какая роскошная, чисто восточная нега разлилась тут от края до края! Подобно двум клинкам направляется этот взор прямо в сердце! Сколько грации и непринужденной красоты в этой непокорной шевелюре небрежно отброшенных волос! А нос? Боже мой, что это за нос! Клянусь, сам Соломон не отказался бы от такого носа. Итак, дорогая Тамара Александровна, вглядываясь еще и еще раз в эти перечисленные черты, переживите еще и еще раз то чувство внутреннего психологического удовлетворения, которое очень поможет вашему «Я», очень его обогатит и в незатейливом убранстве вашего дома может сослужить очень и очень хорошую службу, ибо это незатейливое убранство, заключая в себе такой дикий алмаз, само по себе окажется также драгоценным.

Карточек Тынянова и Грабаря не посылаю, да и к чему они, когда есть эта?

До свиданья, до свиданья!

Ваш Н. Заболоцкий»

С 1931 года Николай Алексеевич бывал у нас (Липавских) очень часто, просто через день.

В одном из писем ко мне в деревню, от 22 августа 1932 года, Леонид Савельевич писал: «Заболоцкий, Хармс, Олейников и я решили встречаться каждое воскресенье». Леонид Савельевич назвал эти встречи «Клубом малограмотных ученых». Но было всего только две встречи этого клуба. О многом и разном, но всегда интересном, говорили. Разговоры перемежались шутками, шутливыми стихами, иногда совместными с Николаем Макаровичем Олейниковым. К сожалению, стихи эти пропали почти все.

Некоторые разговоры (1933—1934 гг.) с Николаем Алексеевичем Леонид Савельевич записал. Вот несколько отрывков.

Из записей Л. С. Липавского

На вопрос, что кого интересует, Н. А. ответил:

— Архитектура, правила для больших сооружений. Символика. Изображение мыслей в виде условного расположения предметов и частей их. Практика религий по перечисленным вещам. Стихи. Разные простые явления — драка, обед,

танцы. Мясо и тесто. Водка и пиво. Народная астрономия. Народные числа. Сон. Положения и фигуры революции. Северные народности. Музыка, ее архитектура, фуги. Строение картин природы. Домашние животные. Звери и насекомые. Птицы. Доброта — Красота — Истина. Фигуры и положения при военных действиях. Смерть. Книга, как ее создать. Буквы, знаки, цифры. Кимвалы, Корабли.

Н[иколай] **А**[лексеевич] сказал — удивительна легенда о поклонении волхвов, высшая мудрость — поклонение младенцу.

Н. А. Некоторые находят, что у меня профиль и фас очень разные. Фасом я будто русский, а профилем будто немец.

Д[аниил] **Х**[армс]: Что ты? У тебя профиль и фас так похожи, что их нетрудно спутать.

* * *

Н. А. прочел «Облака».

Л[еонид] Л[ипавский]. Поэмы прошлого были, по сути, рассказами в стихах, они были сюжетны. Сюжет — причинная связь событий и их влияние на человека. Теперь, мне кажется, ни причинная связь, ни переживания человека, связанные с ней, не интересны. Сюжет — несерьезная вещь. Недаром драматические произведения всегда кажутся написанными для детей или для юношества. Великие произведения всех времен имеют неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой, вроде — я вышел из дому и вернулся домой. Потому что настоящая связь вещей не видна в их причинной последовательности.

Н. А. Но должна же вещь быть законченной, как-то кончаться.

Л. Л. По-моему, нет. Вещь должна быть бесконечной и прерываться лишь потому, что появляется ощущение: того, что сказано, довольно. Мне кажется, что такова и есть в музыке фуга, симфония же имеет действительно конец.

Н. А. Когда-то у поэзии было все. Потом одно за другим отнималось наукой, религией, прозой, чем угодно. Последний, уже ограниченный, расцвет поэзии был при романтиках. В России поэзия жила один век — от Ломоносова до Пушкина. Быть может, сейчас, после большого перерыва,

пришел новый поэтический век. Если и так, то сейчас только самое его начало. И от этого так трудно найти законы строения больших вещей.

* * *

Н. А. Книга Джинса [1] мрачная, не дающая ни на что ответа. Поражает страшная пустота вселенной, исключительность материи, еще б*о*льшая исключительность планетных систем и почти полная невозможность жизни. Все — астрономическое — случайность, притом невероятная. Чрезвычайно неуютная вселенность.

Л. Л. Все же она (книга Джинса. — *Т. Л.*), показывает, что вселенная имеет рост, рождение и гибель. Она драматичнее и индивидуальнее, чем считали прежде.

Н. А. Конечно, звезды нельзя сравнивать с машинами, это так же нелепо, как считать радиоактивное вещество машиной. Вселенная имеет свой непонятный путь. Но посмотрите на интересный чертеж в книге — распределение шаровых скоплений звезд в плоскости Млечного Пути. Не правда ли, эти точки слагаются в человеческую фигуру? И солнце не в центре ее, а на половом органе, земля точно семя вселенной Млечного Пути.

* * *

Н. А. Я тут познакомился с одним человеком, и он мне даже нравился, пока я не узнал, что его любимая картина «Какой простор...».

Знаете, мне кажется, что все люди, неудачники и даже удачники, в глубине души чувствуют себя все-таки несчастными. Все знают жизнь — что-то особенное, один раз и больше не повторится, и поэтому должна бы быть изумительной. А на самом деле этого нет.

* * *

Николай Алексеевич видел сон, который взволновал его, — о тяготении.

Н. А. Тяготения нет, все вещи летят, и Земля мешает

---

[1] Джинс Джеймс Хопвуд (1877—1946) — английский физик и астроном. Вероятно, речь идет о его книге «Вселенная вокруг нас». М.—Л., 1932. — *Ред.*

их полету, как экран на пути. Тяготение — прервавшееся движение, и то, что тяжелее, летит быстрее, нагоняет.

Д. Х. Но ведь известно, что все вещи падают одинаково быстро, и потом если сама Земля препятствие на пути полета вещей, то непонятно, почему на другой стороне Земли, в Америке, вещи тоже летят к Земле, значит, в противоположном направлении, чем у нас.

Н. А. сначала растерялся, но потом нашел ответ.

Н. А. Те вещи, которые летят не по направлению к Земле, их и нет на Земле. Остались только подходящих направлений.

Д. Х. Тогда, значит, если направление твоего полета такое, что здесь тебя прижимает к Земле, то когда ты попадешь в Америку, то начнешь скользить на брюхе по касательной к Земле. Потому никто и не отрывается от Земли.

* * *

Николай Алексеевич копировал с энциклопедического словаря автографы, затем играл в «трик-трак» и напевал несложную песенку: «Один адъютант имел аксельбант, а другой адъютант не имел аксельбант».

Н[иколай] **М**[акарович]. Я видел несколько раз во сне, что я умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно. Но когда кровь начинает вытекать из жил, совсем не страшно и умирать легко.

И признак жизни уходил из вен и из аорт.

(Из стих. А. Введенского)

Н. А. Мне кажется, я видел даже больше — момент, когда будто уже умер и растекаешься в воздухе. И это тоже легко и приятно... (...) Вообще во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюбленность переживаются во сне.

Яков Семенович Друскин, который тоже часто участвовал в этих разговорах, вспомнил, как Николай Алексеевич рассказывал египетскую легенду. За точность передачи Яков Семенович не ручается, но содержание помнит хорошо. Какому-то мудрецу или жрецу один из богов сообщил тайну мира и жизни. Тайна мира была записана на большой таблице с помощью 52 иероглифов, изображавших слова и мысли. Затем эти иероглифы были заменены знаками игральных карт четырех мастей: туз, двойка, тройка и т. д.

Потом бог велел мудрецу разрезать таблицу на 52 части и перетасовать их. По этой легенде люди играют в карты, раскладывают пасьянсы в надежде раскрыть смысл зашифрованных в виде знаков игральных карт иероглифов, чтобы узнать тайну мира и жизни, заключенную в определенном, но неизвестном нам расположении карт. Число возможных перестановок 52 карт равно 52! (Математическая формула: 52 факториал). Это число так велико, что практически его можно считать бесконечным. Поэтому вероятность познать тайну жизни и мира близка нулю. Николаю Алексеевичу очень нравилась эта легенда.

1973



Н. Заболоцкий. Ленинград. 1921 г.

ИГОРЬ БАХТЕРЕВ

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

(Невыдуманный рассказ)

— Знакома ли вам фамилия Гарфункель? — спросил Анатолий Александров, литературовед, не раз озадачивавший меня вопросами о забытых поэтах или живописцах первого послереволюционного десятилетия.

Мне не пришлось напрягать память. Фамилию Гарфункель я помнил в ряду других, близких по созвучию: Харундфинкель, Харланкер, Гарфинкель... и за каждым словесным обозначением перед глазами вставала одна и та же загадочная личность, сутулая, с рыже-красной бородой, в длиннополом сюртуке, в черном высоковерхом картузике.

«Борода моя, бородка, ты цветешь у подбородка, алой розой-кумачом, так, что носу горячо!» И еще: «Гарфинкель

входит поперек. Трубит Гарфункель в тайный рог». Это строчки из пьесы со странным названием: «Моя мама вся в часах». Два друга, поэт Александр Введенский и поэт Даниил Хармс, написали пьесу по заказу «Радикса» — театрального коллектива, нашедшего приют в Гинхуке — Государственном институте художественной культуры. Имелся такой в Ленинграде, на Исаакиевской площади, в бывшем мятлевском особняке.

Сегодня от этой постановки сохранилось не многое, скупо составленный анонс на пожелтевшей полосе «Красной газеты» да воспоминания очевидцев. Можно назвать постановщика спектакля Георгия Кацмана. Других, ныне здравствующих, не припоминаю. Георгий Николаевич живет в Ленинграде и с Александровым незнаком. Откуда же стало известно действующее лицо неопубликованной пьесы? Последний рукописный экземпляр бесследно исчез задолго до того дня, когда мой собеседник появился на свет.

Все объяснилось просто. Изучая архивы, Александров переписал два полушуточных стихотворения Заболоцкого. В них названы: Данила, — конечно, Хармс, Шурка, — разумеется, Введенский, Игорь — его фамилия Бахтерев. Дважды упомянут Гарфункель. Читавший пьесу сразу определит происхождение этой фамилии. Сложнее другое: правильно понять, что подразумевал автор, когда писал: «Все мы Гарфункеля сыны».

Орнаментальной поэзией Заболоцкий, как известно, не занимался. Расшифрованная стихотворная строка помогла бы лучше понять эстетические воззрения молодого поэта, уточнить бытовые и творческие взаимосвязи тех, кто вместе с Заболоцким составил малоизвестное сегодня литературное содружество.

Рассказать о времени, в биографии Заболоцкого наименее известном, о его современниках, которые поставлены в один ряд с фантастическим бородачом, задача не из простых. Попробуем ее решить, взяв в помощники память очевидца и ваше воображение, уважаемый читатель.

ОЧЕНЬ ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Нажимаем на рычаг еще Уэллсом придуманной машины времени, покидаем сегодняшний день и возникаем в Ленинграде середины двадцатых годов. Вскоре каждый убеждается, что город только кажется знакомым. Время отличает всех, кого мы встречаем. Да иначе и быть не может. То, что

для них далекое, неведомое будущее, для меня и моих сверстников давно пережитое, с трудом вспоминаемое прошлое.

Бродите, вслушивайтесь, главное — ничему не удивляйтесь: иное время, иные люди, иное все.

...Перед глазами таинственных пришельцев светлая весенняя ночь, тихая Надеждинская (в тридцатые годы улица названа именем Маяковского). По каменным плитам тротуара шагают два запоздалых прохожих. Один — Даниил Хармс: высокий, костистый, лицом худощав и бледен. Другой — Николай Заболоцкий: ростом пониже, розовощекий, округлый. Различны они и складом характеров. Нервозной переменчивости, иррациональным неожиданностям в поступках противопоставлена последовательность, уравновешенная, размеренная определенность. А сближают молодых людей талант, возраст и конечно же общность вкусов. Хотя иной раз взгляды очень разных, по существу, поэтов расходятся.

— Эй, подвезу! — басит извозчик, нагоняя нетороплнвых пешеходов.

Напрасные старания: несколько копеек на дворника — весь их капитал, да и ехать некуда, пройдут квартал, отыщут ночного сторожа и скроются в парадном.

— Аплодируй шепотом, шлёпатом копыта. Оптом, оптом... Аплодируй звякатом, цв*о*катом копыта... — Хармсу вспоминались слова, послышался ритм кантаты Олимпова. Даниил размахивает тростью, читает в такт лошадиного топота о булыжную мостовую.

В четырнадцатом году стихами Константина Олимпова русские футуристы встретили Маринетти, именитого гостя из Италии, начиналось знакомство аплодисментами, закончилось — разрывом навсегда.

В двадцатые годы оба футуриста еще здравствуют. Один, ближайший друг дуче, обитает в римском замке; наш, отечественный ютится где-то здесь, неподалеку от Загородного, спит на сундуке, набитом рукописями, продолжает называть себя величайшим из поэтов вселенной. Хармс не раз навещал полубезумного поэта и всегда заставал за работой, склоненным над широким подоконником. Стола в комнате не существовало.

Запоминая понравившиеся строки, Хармс наделял чужие слова звучностью собственного голоса, выразительностью собственной манеры читать. Заболоцкий говорил так: слушаешь Данилу и произносишь сам, иначе объективного мнения о неизвестных для тебя стихах не составишь...

— «Зв*я*катом — цв*о*катом», — повторяет Заболоцкий следом за Хармсом. — Звонко сказано. Звонко истязает слова. Можешь, Даня, объяснить, зачем создавать подобие слов, когда в русском словаре столько неповторимо прекрасных? Зачем звуковые имитации, состязание с инструментальными звучаниями — все то, чем занимаются бальмонты, северянины или вот Олимпов?

Не дождавшись ответа, Заболоцкий читает неожиданно громко. Голос у него совсем низкий, почти бас.

— «Как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой...» До осязаемости вещественный, многозвучный мир, и не нужны никакие «цвокаты». Ты согласен? Речь не об Олимпове, бог с ним. Я хочу сказать о главном — поэтическом пути. Не уберег подлинное слово, исказил звучание соседними словами, исковеркал корень или суффикс ради мнимой звучности — и ничего путного не создашь, будь у тебя хоть сто двадцать две пяди во лбу. Чего задумался? Я же верно говорю.

Если Хармс начинает понимать правоту несогласного с ним собеседника, он мрачнеет, хмурится, может повернуться и на полуслове уйти, оставив озадаченного спутника в одиночестве. Случалось подобное, и не раз. Весенняя ночь к таким демонстрациям не располагает.

— Никогда ничего не сравниваю. Даже творчество Пушкина и Олимпова...

Хармс опять умолкает. В эту чудесную пору ему не до теоретических дискуссий. Хочется бездумно брести по Надеждинской, как до того они молча шагали по опустевшему Невскому. Заболоцкий настроен иначе. Объявив основой жизненной программы самодисциплину, он с трудом сопротивляется проклятому искушению праздно проводить время. В такие минуты и случайно оброненная, малозначительная фраза может стать завязкой глубоко принципиального диалога.

— Сравнивать необходимо, Даня. И в жизни, и в искусстве. Почему не избегал сравнений Велимир?

Заболоцкому известен рецепт вовлечь Хармса в разговор. Вопрос о поэтических сравнениях не оставит его равнодушным, а Велимира Хлебникова они оба ставят первым после Пушкина.

— Ты прав, Хлебников сравнивал. Изредка, — соглашается Хармс. — Неизвестно, какими приемами он бы пользовался сегодня. Пусть уж в наши дни сопоставляют имажини-

сты. «Луна взлетела дохлой канарейкой». Кажется, так у Семена?

Хармсу отлично известно, как Заболоцкий относится к образной системе имажинизма. Хотя бы по его разговору с одним из лидеров ленинградских имажинистов — Семеном Полоцким.

— Хотите послушать мои новые стихи? — предложил Полоцкий. — Та-та-та — солнце! Та-та-та — волн цель! Та-та — принц. Та-та — бенц. Интересно?

— Очень интересно, — соглашается Заболоцкий. — Узнать бы, что это у вас все та-та да та-та?

Автор озадачен.

— Будущие слова, ничего больше. Слова, рожденные ритмом.

— Образ-рифма, переплавленная в ритм, сегодня это главное, остальное пустяки, — приходит на помощь единомышленник Полоцкого, поэт Ричиотти.

— Рассуждения, переплавленные с пустяками имажинизма, — резюмировал Заболоцкий свой рассказ об этом странном разговоре. — Московская группа распалась, помяните слово, та же участь ждет наших земляков.

Заболоцкий не ошибся. Имажинизм доживал последние дни литературной жизни. И все же приведенный Хармсом пример с дохлой канарейкой ничего не доказал. Наличие дурных сравнений не исключает существование хороших.

— Поэзия без яркого найденного образа не поэзия: сукно и мертвечина, — говорил в те годы Заболоцкий.

...Быть или не быть сравнениям, нужны ли поэтические сопоставления? И про многие другие вопросы, обсуждавшиеся участниками нашего содружества, написал Василий Клюйков в обстоятельной информационной статье «Левый фланг Ленинграда». Сведения давал Клюйкову я, редактировал статью Заболоцкий. Мы втроем потратили немало времени, чтобы формулировки выражали мнение всех, кто составлял содружество, и оказались приемлемыми для заказчика статьи — Маяковского. Владимира Владимировича заинтересовало наше содружество, когда он услышал декларацию на диспуте, устроенном в Ленинградской Капелле. Декларацию разработал Заболоцкий совместно с Введенским.

Сдав статью в журнал «ЛЕФ», вернувшись из Москвы, Клюйков встретился с нами и рассказал, что говорил Маяковский, читая статью при ее авторе. Вот один из комментариев, единственный, сохранившийся в памяти:

— Когда-то я писал: «Лицо как груша», «Голова как редиска», «Дерево как скала», — а нужно проще: голова-редиска, дерево-скала. Исчезнувшее «как» указывало на подобие, на сходство, а появившееся тире, иной раз мыслимое, — на буквальное восприятие предмета. Такой образ теряет зыбкость, неопределенность, становится овеществленным.

Слова Маяковского, дошедшие до нас в пересказе, запомнились, так как не раз приводились на диспутах и обсуждениях Введенским, Савельевым, Левиным. «Дерево-скала» стало понятием, иллюстрировавшим наше отношение к поэтическому образу. Заболоцкого тоже.

Статья в журнале не появилась. Не захотел напечатать влиятельный член редакционной коллегии, заведующий критическим отделом, полновластный диктатор своей вотчины Осип Брик.

Возможно, текст статьи и сохранился в архивных коллекциях, экземпляр, принадлежавший мне, погиб в годы войны и блокады.

Судьба разъездного корреспондента, газетчика Василия Васильевича Клюйкова мне неизвестна. В последний раз он зашел ко мне в 1936 году.

Вася Уклейкин (этим прозвищем Заболоцкий незлобиво наделил Клюйкова, человека почти карликового роста) появлялся неожиданно и так же неожиданно на неопределенное время исчезал.

Встреча с Маяковским, длившаяся в оркестровой Капеллы не более трех минут, последовавший затем заказ статьи и не менее неожиданный финал — все это происходило в преддверии тридцатых годов. Ты же, читатель, совершил остановку и закончишь наш первый маршрут в первой половине двадцатых.

...На углу Надеждинской и Ковенского переулка стоял неопределенного, зеленовато-серого цвета дом. Здесь жил Хармс. Здесь друзья и завершили ночной путь. Расстояния от Жуковской до Ковенского на дискуссию не хватило. Неизвестно, сколько бы времени проговорили они у подворотни. Философскую беседу вежливо прервал дежурный дворник.

В доме давно привыкли к чудачествам квартиранта. Придет за полночь с товарищами. Постоят у ворот, распрощаются и начнут друг друга провожать — взад-вперед, пока не попросят открыть калитку и вместе не войдут в нее. Зачем же тогда прощаться или теперь с полчаса говорить, застав-

лять ждать человека, когда все равно не расстанутся, а зайдут в дом?

Хармс-хозяин, Заболоцкий-гость поднимаются по сумрачной лестнице. На втором этаже хозяин заглядывает через окно во двор, показывая пальцами у лба что-то вроде рожек. Иррациональные поступки мы называли «фортиками». Без такого «фортика» Хармс в квартиру не войдет.

Если вам, пришельцам из будущего, удастся проникнуть в комнату Хармса, вы окажетесь свидетелями самого теплого радушия и гостеприимства. Для ночного гостя припасено все необходимое, хотя его приход заранее не запланирован. На месте Заболоцкого мог оказаться Введенский, Левин. Несколькими годами позднее — Владимиров.

Составлены кресла и стулья, старые пальто покрыты белоснежной хрустящей простыней, одеяло заменит материнский плед. Даниил снимает штиблеты и в чулках (он носит одноцветные чулки-гетры), чуть слышно ступая, направляется на кухню раздобыть ужин. Когда хозяйственные дела окажутся законченными и штора на окне опущена, прерванный на улице разговор обязательно возобновится и будет завершен под звон посуды и говор. В семье Ювачевых наступит новый трудовой день.

Псевдоним Хармс Даниил придумал давно, — кажется, в последнем классе школы. Он зачитывался Конан Дойлем, старался походить на Холмса. И до последних дней жизни ему сопутствовали приметы юношеского увлечения: узаконенная паспортом фамилия, напоминавшая Холмс, английская трубка, которой он постоянно попыхивал, допотопный отцовский котелок. Иной раз он надевал его, и, ко всеобщему удивлению, шествовал с непроницаемо суровым выражением по Надеждинской, держа в одной руке трость, в другой — поводок, на котором бежал крохотный репинчер Кэппи. Таким я и увидел впервые Хармса на углу улицы Некрасова и Литейного.

— А на кого ты хотел бы походить сегодня? — спросил я однажды.

Ответ последовал не сразу, показался неожиданным всем, кто находился в комнате, — Введенскому, Заболоцкому, Савельеву, мне.

— На Гёте, — сказал он и добавил: — Только таким представляется мне настоящий поэт.

На тот же вопрос ответил и Введенский:

— На Евлампия Надькина, когда в морозную ночь где-

нибудь на Невском Надькин беседует у костра с извозчиками или пьяными проститутками.

Надькин — популярный в те годы персонаж из «Бегемота», ленинградского юмористического журнала. Длинноносый человечек символизировал обывателя нэповских лет. Выбор оказался не случайным, у меня и моих друзей было немало случаев убедиться в этом.

Вспоминаю и собственный ответ. Моделью для подражания оказался Давид Бурлюк, «только с двумя глазами» — счел я необходимым оговориться.

Игра продолжалась, очередь дошла до Заболоцкого.

— Хочу походить на самого себя, — ответил он не задумываясь.

Запомнились не только серьезно прозвучавшие слова, но и то единодушие, с которым их встретили Хармс, Введенский, Леонид Липавский. Стоило Заболоцкому скрыться за дверью, тут же его обвинили в эгоцентризме, мании грандиозо, многих других грехах, в равной мере незаслуженно.

Безрезультатно пытался я напомнить, что Заболоцкий действительно никому не подражает, а ему подражали многие. Примеров подражания каждый из нас знал множество.

Всегда и во всем оставаясь самим собой, он не был подвержен распространенному недугу (иначе не скажешь) играть заранее придуманную для себя роль. Актерство не на сцене — в жизни — было не только чуждо, глубоко отвратительно Заболоцкому.

Я оказался одним из двух очевидцев его знакомства с известным до революции и в двадцатые годы поэтом и не менее известным лицедеем Клюевым. Заболоцкий напрямик высказал ему все, что о нем думал, вернее, о его незаурядном актерском таланте. Вам еще предстоит познакомиться с подробностями этой примечательной встречи.

...Отправляясь в наше совместное путешествие, я до физической боли напрягаю память. Восстанавливаются значительные события, менее значительные случаи, разговоры, иной раз жесты, интонация. А хронологию не вспомнишь, сколько ни думай. Приходится восстанавливать по малопримечательным, одному мне понятным деталям. Сосредоточенно думаю и сейчас: когда же происходил этот шуточный опрос? Ясно вижу комнату Хармса, окна на улицу, а не во двор. Значит, время действия — конец двадцатых годов. Дату подтверждает и реакция моих друзей на ответ Заболоцкого.

Тот вечер запомнился еще и потому, что я впервые

заметил недоброжелательность к Николаю, которого в течение многих лет каждый из нас горячо любил. В течение нескольких лет группа казалась монолитной, и вот обнаружилась трещина. Естественная для всех нас формулировка «мы» приобрела продолжение: «и Заболоцкий...». Что же произошло?

Да, действительно, оставаясь тем же Николаем Заболоцким, искренним и честным перед собой и другими, он изменил оценки, отношение к людям, возможно — к искусству. На его поэтической палитре появились новые краски, они понадобились для более точного раскрытия незнакомых ему ранее коллизий. В стихах стали исчезать не так давно любимые поэтом алогизмы.

Объяснение перемены крылось в устойчивых и постоянных связях художника с его временем. Заболоцкий оказался одним из тех, кто раньше других ощутил происходившие в стране перемены. Чутко улавливая ветры эпохи, он стремился к полному контакту с живым, невыдуманным миром, в котором он жил и работал. Так возникли стихи для детей, отвечавшие непосредственным требованиям дня, так написалась известная в тридцатые годы «Горийская симфония» и многое другое.

...Эволюция эстетических взглядов Заболоцкого, перемены в его творчестве — не до конца раскрытая, важная сторона биографии поэта. У нашего путешествия другая задача — заглянуть в те дни, когда все мы считались единомышленниками, да так оно, в сущности, и было. Каждый работал с глубокой верой, что его труд прокладывает дорогу в будущее и недалек день, когда творимое им будет оценено, станет необходимо людям. Время не подтвердило надежды. Перестал называться нашим единомышленником Заболоцкий, туберкулез оборвал жизнь Владимирова, не стало Вагинова. Остальные разбрелись кто в Москву, кто в Харьков... Затем Великая Отечественная война. Не стало не только содружества, но и бывших его участников.

Вспоминаются споры, беседы, литературные интересы, перечитываешь то, что тогда создавалось, и начинает казаться — все это происходило в другой стране или в другом столетии. Могу заверить участников совместного путешествия — вашему проводнику за сто не перевалило. Все, что вы видели и увидите, происходило в чудесном советском городе. Правда, и более полувека, отделяющие нас от тех дней, очень далекое расстояние. Преодолеть его без фантастической машины времени удается, увы, не каждому.

СЫНЫ ГОДОВ ДВАДЦАТЫХ

Закончился наш первый маршрут. Не стану спорить с теми, кто назовет его сумбурным. Хотелось совершить прогулку без разработанного, предварительно продуманного плана. Вот вы и не получили ответ на главные для начала вопросы. Кто же мы? Откуда пришли? Как нашли друг друга?

Не берусь показать эпизод, который бы выполнил такую задачу. Придется рассказывать.

В двадцатые годы в типографии ленинградского кооперативного издательства «Прибой» работал нелепого вида корректор, именовавшийся «старшим», один из лучших корректоров города. Длинные, иной раз нерасчесанные пряди волос спускались на горбатую спину. Нестарое лицо украшали пушистые усы и старомодное пенсне в оправе на черной ленточке, которую он то и дело поправлял как-то странно похрюкивая.

Особенно нелепый вид корректор приобретал за порогом типографии. Дома он сменял обычную для того времени широкую, без пояса, толстовку на бархатный камзол, а скромный самовяз на кремовое жабо. И тогда начинало казаться, что перед вами персонаж пьесы, действие которой происходит в XVIII веке. Его жена, Мария Валентиновна, ростом чуть повыше, вполне соответствовала внешности мужа: распущенные волосы, сарафан, расшитый жемчугом кокошник. В таком обличии появлялись они и на эстраде, дуэтом читая стихи уже не корректора, а известного в Ленинграде поэта А. В. Туфанова.

В первые послереволюционные годы Туфанов ходил в обычном пиджаке и писал обычные стихи, считая себя последователем акмеистов. Его первый сборник назывался «Эолова арфа». Если воспользоваться им же предложенной терминологией, его стихи отличались от стихов акмеистов «звуковой ориентацией». Потом Туфанов стал называть свои стихи аллитерационными, а в начале двадцатых годов декларировал поэзию без слов, с заменой осмысленного слова бессмысленной фонемой. В ту пору он называл себя заумником, стал главой небольшой группы полупрофессиональных поэтов. Входили в нее преподаватель Вигилянский, инженер Игорь Марков, называвший себя «речев*о*ком», приехавший из Сибири бухгалтер Матвеев. В начале 1925 года на квартире Туфанова появился еще один начинающий поэт, подписывавший свои стихи псевдонимом Хармс.

В то время в Гинхуке в контакте с живописцами рабо-

тали два поэта — приехавший из Грузии Игорь Терентьев и ленинградец Александр Введенский. Поэты не поладили с руководством института, но прежде всего между собой. Дуэт распался. Терентьев отошел от поэзии и вскоре стал театральным деятелем, одним из интереснейших в Ленинграде режиссеров, создателем театра Дома печати. Ну, а Введенский оказался в орбите Туфанова. Он бы не стал сотрудничать с заумниками, если бы не встреча с Хармсом. Введенский и Хармс выработали поэтическую платформу «двоих», потребовали отказаться от прежнего названия «заумники», предложив нейтральное — «Левый фланг».

Возьмите первый сборник ленинградского Союза поэтов, где Хармс и Введенский поместили по небольшому стихотворению. Перед фамилиями авторов стоит загадочное слово «чинарь». Этим обозначением и Хармс, и Введенский подтверждали свое независимое положение в «Левом фланге». Туфанов хотел поставить перед своей фамилией «заумник», руководство Союза поэтов воспротивилось.

Шесть человек, входивших в «Левый фланг», устроили несколько совместных выступлений в Домах культуры, заводских и студенческих клубах. Группа просуществовала немногим дольше года. Объявил о конце искусства, о наступлении эры техники и науки «речевок» Марков. Отныне он не напишет ни единой стихотворной строчки, займется нужным для людей делом, созданием новых станков. «Речевока» поддержал Вигилянский: долой бесполезные виды человеческой деятельности! Но почему-то стихи писать не перестал. Разочаровался в словесных экзерсисах поэт-бухгалтер, и след его потерялся в сибирских далях. Не знаю, по какому поводу Введенский поссорился с Туфановым. К началу 1926 года «Левый фланг» перестал существовать.

«РАДИКС»

Именно в это время студенты-однокурсники театрального отделения Института истории искусств решили создать свой театр, разумеется, не похожий ни на один театр в мире, заранее назвав его греческим словом «Радикс». Инициаторов было четверо: Георгий, или Гага, Кацман, таинственно именовавший себя Кох-Боотом; Борис, или Боба, Левин, впоследствии отказавшийся от своего распространенного имени в пользу необычного — Дойвбер. Древнее имя, данное при рождении, стало подобием псевдонима, которым Левин подписывал свои литературные труды. В иных

случаях он для кого-то оставался Борисом Михайловичем, для кого-то по-прежнему Бобой. Третьим из четырех был Сергей, или Сережа Цимбал, автор многочисленных, широко известных театроведческих книг и статей. Четвертым назову себя.

Наши взгляды не во всем совпадали, но в одном все четверо оказались единодушны. Новый театр, говорил каждый из нас, начинается с новой драматургии. Откуда же взять пьесу, отвечавшую принципам Радикса? Рылись в пьесах русских символистов, кубо-футуристов, немецких экспрессионистов, французского драматурга Кокто, ничего не обнаружили. Тогда-то мы и решили обратиться к двум ленинградцам-«чинарям» — Хармсу и Введенскому.

Задолго до наших драматургических изысканий в семье популярного тогда композитора Поля Марселя Левин познакомился с Хармсом. Теперь через Левина заказ на пьесу был принят. Начались встречи, чтение отрывков, обсуждение прочитанного. Рождалась необычная пьеса-монтаж, названная по одноименному стихотворению Введенского «Моя мама вся в часах». Вскоре инициативная группа пополнилась двумя новыми единомышленниками — Введенским и Хармсом.

В муках организационных неурядиц работа над пьесой и подбор труппы близились к благополучному концу. Актеры пришли из Ленфильма, студии Форрегера «Мастфора», из полупрофессиональной самодеятельности. Я делал эскизы будущего оформления, музыкант Яков Друскин подбирал музыку из раздобытых нот современных французских композиторов — Мийо, Пуленка, Сати. Репетировали у меня, в столовой родительской квартиры, иной раз в гостиной семьи Введенских. Словом, работа закипела.

Последующие события, о которых предстоит рассказать, покажутся непонятными, если не сказать про самого себя. Я не только учился в институте, но еще занимался живописью, а еще — поэзией. И то, и другое было главным.

Среди поэтов-профессионалов мои поэтические эксперименты поддерживал студент изобразительного отделения института Константин Вагинов. При обстоятельствах не совсем обычных за год до нашего знакомства мои стихи услышал и Даниил Хармс. Дело происходило так: одна из нескольких групп студентов, писавших стихи, устроила литературное чтение. Пришел студент литературного отделения, поэт Всеволод Рождественский, поэт Сергей Нельдихен, поэт Эрлих, много наших студентов. Боба Левин привел на

чтение Даниила Хармса. Впервые в жизни я прочитал несколько своих стихов публично. Ругали нещадно, словно договорились. Последним встал Хармс.

— Я тут записывал, — сказал он, — что хорошо, а что плохо. Записал много, но говорить буду мало. Из всего, что здесь читалось, мне понравился Бахтерев.

С благодарностью смотрел я на этого необычного по виду человека в оранжевато-золотистой шапочке с висюльками, обрамлявшими его красивое, скандинавского типа лицо, смотрел и думал: наверное, так выглядели средневековые менестрели. Когда-то я встретил Хармса на улице и навсегда запомнил именно таким — с тростью и черной собачкой на поводке.

Хармс попросил мои стихи. Я дал тетрадку, да и забыл...

ЧТО ЖЕ СКАЖЕТ ЗАБОЛОЦКИЙ?

Проходит несколько дней. И вот какое необыкновенное событие происходит в моей жизни.

Во время репетиций Хармс говорит:

— Необходимо с тобой поговорить. Никакого отношения к «Радиксу», так что потом и наедине...

Оказалось, моя тщедушная тетрадка попала в руки Введенского. Читал в полном соответствии с характером — заносчиво и высокомерно, а когда перевернул последнюю страничку, принялся читать вторично. О стихах не говорил, разговор шел про «Левый фланг». Может быть, настало время его возродить? И назвал возможные кандидатуры: два «чинаря» — Заболоцкий и Бахтерев.

Впечатление, которое произвел на меня тот неожиданно возникший разговор, можно сравнить, ну, хотя бы с возможными переживаниями начинающего актера, ко всеобщему удивлению получившего роль Гамлета.

Заручившись моим согласием (мог ли я его не дать!), Хармсу предстояло провести другое, более сложное собеседование. От его исхода и зависела судьба нового фланга.

«Чинари» познакомились с Заболоцким больше года назад на его дебюте в стенах Союза поэтов.

— Приняли интересного человека. Советую обратить внимание, — шепнул Хармсу бессменный секретарь Союза поэт Фроман.

Мало кому известного Заболоцкого объявили последним. К столу подошел молодой человек, аккуратно одетый, юношески розовощекий.

— А похож на мелкого служащего, любопытно. Внешность бывает обманчива. — Введенский говорил с видом снисходительного мэтра.

Читал Заболоцкий «Белую ночь», кажется, в более раннем варианте, чем тот, который помещен в «Столбцах». Триумфа не было, — настороженное внимание, сдержанные аплодисменты. «Чинари» переглянулись, не сговариваясь встали и пошли между рядов навстречу поэту. Назвав свои фамилии, жали ему руку, поздравляли. Хармс громогласно объявил: он потрясен, такого с ним не бывало. Введенский: ему давно не доводилось слушать «ст*о*ящие стихи», наконец повезло — дождался.

После собрания отправились на Надеждинскую, к Хармсу. Пили дешевый разливной портвейн, читали стихи. Между «чинарями» и Заболоцким завязались приятельские отношения.

Все же с Хармсом Заболоцкий встречался чаще. И теперь, сразу после репетиции, к Заболоцкому ехал он один. Ему предстояло читать мои стихи — так решили и Хармс, и Введенский. Что же скажет Заболоцкий? Его отзыв предопределял дальнейший ход переговоров.

— Засиживаться не хочу. Вернусь — сразу позвоню тебе и Шуре. Даст Николай согласие — завтра же встретимся. Не согласится — тоже позвоню.

И, забрав тетрадку, отправился...

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ

Загляните в мою комнату, от пола и до потолка покрытую развеселыми изображениями. Настенные рисунки отвечали легкомысленной жизнерадостности автора, только не в этот злосчастный вечер.

Неопределенность — бывает ли положение более тягостное? Мне необходимо думать о подвижных конструкциях, вращениях теллярий, хитроумных постановочных решениях, а думаю о другом. Что сказал Заболоцкий? Почему не позвонил Хармс?

Эскиз за эскизом летит в мусорную корзину. Берусь за очередной лист и слышу мамин голос. Хотя моя мама не из пьесы, оказывается «вся в часах»:

— Время за полночь, только посмотри на часы. У твоих приятелей, наверное, нет часов, не знают, что такое время...

Не дослушав, бегу к телефону. Звонит Введенский. Требуется: должен одеть костюм и немедленно ехать. Куда?

К Токаревичу. Адресат ясен, но трамваи идут в эту пору только в противоположную сторону — в парк.

— Садись на извозчика, здесь расплатимся.

С какой звезды свалилось богатство? Очень интересно. Но спрашиваю про другое: будет ли совещание с Заболоцким, где и когда?

— Отменяется. Дело в твоих стихах. — В ответе веселое злорадство, так, во всяком случае, мне кажется. Неопределенность приобретает вполне зримые очертания.

Телефонная трубка опущена на рычаг. Надо торопиться. И вот я уже на улице.

— С ветерком, к Федорову!

Команда принята без дальнейших объяснений. Извозчик доставит седока к Токаревичу. У меня двойственное чувство: разочарование переплетается с предвкушением приятного — побывать у Федорова, — ведь мне немногим более восемнадцати.

Тусклое освещение Невского сменяет темень Малой Садовой. Огни у входа погашены. Швейцар отказывается впустить, жестами показывает, что мест нет. Извозчик торопит. Ответными жестами умоляю открыть дверь. До трагической развязки дело не доходит. За стеклом возникает длинноволосая голова Введенского.

ПОД СЕНЬЮ ТОКАРЕВИЧА

Необходимая справка: Федоров — известный в годы нэпа ленинградский ресторатор, Токаревич — первая скрипка струнного ансамбля в его ресторации.

Позади холодная осенняя слякоть. Пусть я в душном, прокуренном, пусть в бутылочном и все же вполне добротном раю.

Среди толчеи и многоголосья за отдельным столиком, который под пальмой, с трубкой в зубах, неподвижно сидит Хармс. И чего только перед ним не наставлено вместе с царицей бутылок в серебре мельхиора.

...Но у меня вопрос поважнее...

Ну и предатель, товарищ Введенский, он же меня разыграл! Когда мы подходили, галантно привстав, Хармс протянул мне каллиграфически переписанные стихи с цветистыми заставками, напоминающими рисунки Филонова. Заболоцкий не разрешил Хармсу декламировать, оставил мою тетрадку у себя, а мне в обмен прислал две, возможно, последние вещи — «Красная Бавария» и не вошедшее в

«Столбцы» «Осеннее стихотворение». Листочки сохранялись долго и погибли с домашним архивом в сорок втором.

Наступит зима, и мы придем вот сюда же и приведем Николая слушать самого картинного скрипача в городе.

— Смотрите, — скажет Николай. — Он встает на цыпочки и отрывается от эстрады, удар смычка — и музыкант птичкой вспорхнет на пальму... У меня чувство, будто из его страдивария наши рюмки наполняются тягучим сиропом, липкая жижа течет на скатерть, чудо, если мы не захлебнемся... Ваш Токаревич понятие, законченный образ... Он действительно просится в стихотворение или на холст. «Токаревич» — хорошее название...

— А ты напиши, — подзадоривает Хармс.

— И напишу...

Не написал, и никто не написал. Только я сегодня в память о тех давних годах...

Хотя Токаревич сложился в законченный образ, реформатор Даниил чуть было его не разрушил.

Существовал в нашем институте студент Кальмансон, писавший под псевдонимом Ро. Ро — законченный персонаж. Было бы непростительным упущением предать его забвению, когда-нибудь я восполню пробел, а сегодня он пройдет стороной. Получив очередной гонорар, Кальмансон пригласил Хармса отобедать у Федорова. На следующий день Даниил рассказывал невероятное: он видел и слушал другого Токаревича — серьезного музыканта, игравшего Паганини, Вивальди, строго и вдохновенно. Время было раннее, за столиками никого. Недалеко от эстрады сидела немолодая, старше Токаревича, женщина, не сводившая с него глаз.

— Их бывшая супруга, — пояснил Хармсу официант, поймав его заинтересованный взгляд.

Заболоцкий говорил про Кальмансона: если бы этот студент писал с таким талантом и подъемом, как умеет врать, у нас бы появился новый Лермонтов. Прослушав рассказ Хармса, Заболоцкий подмигнул Шуре, сказав:

— Данилу пора спасать от пагубного влияния Ро.

Спасательный круг бросил сам Кальмансон — пришел к Хармсу и стал требовать деньги за обед, которым сам вызвался его угостить. Ро с шумом изгнали, после чего он, естественно, перестал называть Хармса «лучшим другом» и «учителем», а переадресовался, представьте, к Заболоцкому. Изредка показывал стихи, забавляя ультрамюнхаузенским враньем, а в других местах как бы невзначай бросал:

— Ну, как же, мой давнишний друг и учитель Колька Заболоцкий!

И снова о Токаревиче. Новелла о нем заканчивается в наше время, когда никого из действующих лиц не осталось в живых. Из дореволюционных газет я случайно узнал и проверил у музыкантов-старожилов некоторые биографические подробности: оказалось, в первом десятилетии века фамилия Токаревича гремела в Европе. Я не оговорился, да, да, в начале века скрипач Токаревич покорил Петербург, Париж, Вену, совершил успешное турне по Америке. Он был прелестным ребенком, его называли русским Вилли Ферреро... Неисповедимы судьбы человеческие.

...Подняв бокал искристого за успех общего начинания, первое, чем я поинтересовался, — причиной встречи у Федорова. Введенский не слишком отчетливо старался пояснить: Заболоцкий сказал о ряде условий, которые поставит, если станет участником содружества. Нам тоже нужно подумать о платформе... Завтра и будем думать, сказал наиболее трезвый Даниил.

Остался последний немаловажный вопрос. В ответ я услышал рассказ, в который трудно поверить, однако было именно так.

Александр шел с Даниилом к нему домой. На углу Надеждинской и Ковенского Введенский заметил на краю лужи подозрительную бумажку, оказалось — трехрублевка, стали смотреть вокруг, и вот на безлюдном Ковенском насобирали пачку трехрублевок.

— Самое обыкновенное чудо, — произнес задолго до Шварца свою излюбленную фразу Хармс.

— А Шура случайно не удвоил сумму во Владимирском клубе? — У меня были некоторые основания поинтересоваться.

В завершение ночного путешествия не могу отказать в удовольствии рассказать еще одну совсем короткую новеллу.

Введенский, Хармс и я сложились, получилась скромная сумма, на которую мы собирались повезти послушать Токаревича Шурину приятельницу, нашего общего друга Тамару. Мы подъезжали к Невскому, когда Шуру осенила неоригинальная для него мысль — удвоить сумму, заглянув на несколько минут во Владимирский клуб. Согласились. Тамара, Даня и я сели за бутылкой нарзана в ресторане, а Шура отправился на рулетку. Несколько минут затянулись боль-

ше чем на час. И пошли мы пешком. Денег не осталось даже на трамвай.

— Сами, дураки, согласились, — заявил виновник нашего разорения. — Пеняйте на себя.

ВСЕ В СВОРЕ

Мокрую, с талым снегом, ночь сменило блеклое, промозглое утро. Отогреваясь крепчайшим чаем, Введенский и я старались вспомнить: каким образом оказались у Даниила? А тот набивал трубку, закуривал; достал записную книжку и предложил незамедлительно приниматься за работу, по его совету минувшей ночью отложенную «на потом».

В стену с лестницы постучали. Значит, кто-то пришел не к родителям, не к сестре Лизе, только к Хармсу. В комнате оказался молодой человек с очень серьезным выражением юношески нежного лица.

— Заболоцкий, — пробасил он, с внимательным удивлением посмотрев на меня, а протерев запотевшие очки, добавил: — Думал, вы постарше.

— Я тоже, — последовал мой ответ.

Заболоцкий улыбнулся.

— Во избежание недоразумений предупреждаю, — сказал Даниил, — в Игоре живут два противоположных человека: один пишет стихи, серьезно рисует, другой старается помоднее одеться и бегает по фокстротным танцулькам...

Именно это мое увлечение Заболоцкий изобразил в одном из двух шуточных стихотворений, о существовании которых вам уже известно. Одно из них, датированное 12 марта 1927 года, написано в комнате Хармса перед очередным выступлением: «Данька будет генералом, Шурка будет самоваром, Шурка будет течь да течь, генералу негде лечь. Игорь будет бонвивантом, с некоторым — хе-хе! — талантом. Заболоцкий у него будет вроде как трюмо...» Друзья донимали меня, советовали брать пример с уравновешенного, во всем положительного Заболоцкого. В тот вечер мы спешили на выступление, а Введенский вышел из комнаты и пропал. Отсюда и взялся аллегорический самовар. «А теперь смелее в путь, папиросы не забудь!» Так, обращением к тому же Введенскому, заканчивается стихотворение. Александр не вынимал изо рта папиросу, оставлял где попало коробки «Казбека». Другое стихотворение написано не на ходу, несколькими часами позднее, когда мы вчетвером вернулись с концертного выступления.

— Насчет фокстротов — не скажу, а рисунки серьезные, — подтвердил Заболоцкий слова Хармса (два моих рисунка Хармс повесил у себя в комнате с первых дней нашего знакомства). — А сегодня могу сказать: и стихи серьезные, хотя не всегда ровные. Больше других мне понравилась ваша «Натюрея»...

Этим словом я заменил иностранное «натюрморт». Стихотворение, говорившее про настольные часы, было включено в композицию спектакля. Я сам должен был его читать с верхотуры конструкции, когда в напряженный момент спектакля части конструкции приходили в движение.

Хорошо, что мы не успели измыслить и записать свою «платформу», предложения, с которыми пришел к Даниилу Заболоцкий, не могли стать «яблоком раздора», напротив, должны были устроить каждого; впоследствии эти мысли обогатили текст декларации, прочитанной в Капелле, и пояснительные статьи, напечатанные в журнале «Афиши Дома печати».

Главное, что беспокоило Заболоцкого (оказалось, и Введенского), — ограничение творческой свободы, диктат индивидуальным вкусам, иные давления, связанные с дисциплиной внутри содружества, безоговорочным подчинением пунктам декларации. Вот почему Заболоцкий сразу оговорил, и все согласились: имейте в виду, мы не школа, не новый «изм», не точно обусловленное направление. Но и поэты, составлявшие группу «кубо-футуристов», не были монолитом. Эту особенность Заболоцкий предложил возвести в принцип. Участников содружества будет сближать не общность, а различие, непохожесть. У каждого свое видение мира, мироощущение, свой арсенал приемов выразительности. И все же должны быть принципы, идеи, одинаково близкие для всех. Поэтической зыбкости, эфемерности, иносказательности каждый из нас противопоставляет конкретность, определенность, вещественность, то, что Хармс назвал «искусством как шкап». Каждый должен остерегаться надвигающейся опасности излишнего профессионализма, который становится источником штампов и нивелировки.

Обсуждали место, которое займут произведения участников содружества в общем потоке советской поэзии. Наши взгляды совпали с определением, которое год спустя записал Маяковский: «Демьян Бедный или Крученых. Это поэтические работы из разных слагаемых, в разных плоскостях, и каждая из них может существовать, не вытесняя друг дру-

га и не конкурируя». Иной раз ошибался и дальновидный автор классического труда «Как делать стихи?».

Название «Левый фланг» ни у кого сомнений не вызывало. Участникам совещания было присвоено звание «организационной четверки» (и снова я один из четырех). Кто же, кроме нас, будет в содружестве? Кого мы сочтем достойным? Введенский никого назвать не смог, предложил ввести почетным членом Хлебникова и на каждом выступлении читать его стихи. Тогда почему не Пушкина, Державина, Ломоносова? Задал вопрос Заболоцкий и тут же сделал заявление негативного содержания:

— Не знаю, кто кроме нас окажется участником «Левого фланга», но твердо знаю, что в одной творческой организации с Туфановым или ему подобным «заумником», сиречь беспредметником, никогда не окажусь.

Его горячо поддержал Введенский.

Не уверенный в успехе, я все же предложил кандидатуру, которую сам считал бесспорной.

— Поэт Вагингейм, — назвал я.

Заболоцкий переспросил, не знал, что Вагинов — псевдоним.

— Лучшей кандидатуры и быть не может, — сказал он.

Я вызвался поехать и договориться с Константином Константиновичем, был убежден в успехе и не ошибся.

Хармс начал с множества оговорок, сказал, что боится произнести свою кандидатуру, и все же произнес. Он назвал другого Константина Константиновича, по фамилии Олимпов. И действительно, поднялась буря, особенно яростным противником оказался Введенский.

— Зачем нам старики? — высказал он свой последний, самый убедительный аргумент.

— А как ты думаешь, сколько ему лет — пятьдесят, шестьдесят?

— Не меньше пятидесяти, — убежденно заявил Заболоцкий.

— Ошибаетесь, други, Олимпов ровесник Вагинова. Ему еще не исполнилось двадцати семи.

— Ерунда, — сказал Введенский, — Олимпов встречал Маринетти.

— Верно, когда он писал кантату, ему было четырнадцать с небольшим.

С этой минуты я перестал стыдиться своего возраста — бывали поэты и моложе.

Хармс заверил всех, что полоумный Олимпов пишет интересные стихи.

В протоколе записано: до окончательного решения направить к Олимпову Хармса вместе с Заболоцким. А пошли мы втроем. Об этом рассказ впереди.

Вагинов и Олимпов, других кандидатур не поступило. Тогда Заболоцкий подал правильную мысль: присмотреться к окружавшим нас литераторам и наиболее, говоря современным языком, перспективных включить в особый список кандидатов, не говоря им, упаси бог. А затем следить за их творчеством, стараться направить.

Такой список был постепенно создан, в него входили поэты и прозаики. Вот кого я вспомнил: Варшавский, Синельников, Кропачев, Тювелев, Геннадий Гор, Дойвбер Левин.

В нашем полку прибыло, говорили мы. А прибыло за все годы существования содружества трое — Дойвбер Левин, Александр Разумовский да Юрий Владимиров. Так что состоял наш полк из восьми сабель, точнее — перьев.

Главная задача, которую организационная четверка ставила перед «флангом», — популяризация произведений участников содружества. Задумывались сборники, но издать ни разу не удавалось (требовались деньги, а их-то и не было), зато выступлений устраивалось бесчисленное множество — с диспутами и без обсуждений. Тогда выступления назывались концертными.

Деловито проходило наше первое организационное совещание, деловитость тона задавал Заболоцкий.

СКАЗАНИЕ О ГАРФУНКЕЛЕ

Итак, «Левый фланг» возобновлен. Куда же приведут наши новые маршруты? Прежде всего туда, где литературное содружество задорно и весело заявит о своем существовании, где пять поэтов начнут выступать, встречаться, проводить время.

Поначалу отправимся на Исаакиевскую площадь. Заходим в Гинхук, поднимаемся в Белый зал. Внимание! В 1923 году художник Татлин именно здесь необычным зрелищем озадачил петроградских зрителей, поставил «Зангези» — сложное, разноплановое произведение Велимира Хлебникова. Сегодня в Белом зале репетирует «Радикс». Здесь собираются не только участники спектакля, глазеют студенты соседнего ИИИ, из мастерских Гинхука заглядывают

художники Юдин, Ермолаева, Эндер... всех не перечислишь.

В который раз приходит Заболоцкий. Ему нравится веселая деловитость, творческий накал. Репетицию «Радикса» он называет сыгровкой «Персимфанса», где направляющую волю дирижера заменяет коллектив. Актеру «Радикса» дано право проявлять инициативу и в определении рисунка роли, и в отделке деталей. Над ним не довлеет ни текст, ни первоначальный режиссерский план. Придуманное реализуют авторы, фиксируют постановщики. Так создается живой организм спектакля.

Сегодня на репетиции Боба Левин. Полтора месяца его не было с нами — уезжал в Белоруссию. Познакомился с Заболоцким. Кажется, друг другу понравились. В перерыве, когда у рояля появился плакат «Антракт-катаракт», Боба рассказывал про белорусский городок Ляды, где живут его родители.

В первый день он отправился осматривать родные места, и куда бы ни приходил — рынок, вокзальный буфет, парикмахерская — встречал одного и того же краснобородого человека. В скобяной лавке Боба не выдержал:

— И долго вы намерены меня преследовать?

— Он еще говорит! — взвизгнул рыжебородый. — Я через него в милицию бегаю, чтобы разные шаромыжники честному агенту по налогам на щиколотку не наступали...

Этот пустяковый случай Заболоцкий назвал большой находкой, сказал: на Бобином месте он бы незамедлительно подарил его «Радиксу» для использования. Кто-то поинтересовался фамилией агента. Не то Гарфинкель, не то Гарфункель.

Я предложил использовать формальный прием из своей поэмы, в которой основной герой Ертышкин приобретал все новые и новые фамилии: Куртышкин, Топтышкин, Топорышкин, Чушкин. Так и было сделано: поэт Вигилянский, получивший роль краснобородого, на протяжении всего спектакля назойливо появлялся в самые неподходящие моменты, каждый раз под новой фамилией. В конце концов его убивали, после чего он продолжал появляться, но уже покойником.

Года полтора спустя, в квартире на улице Некрасова, где я тогда жил, происходили читка и обсуждение двух поэм: Хармса «Комедия города Петербурга» и моей — «Старинные Санктпетербургские слова». Собралось человек тридцать. В обсуждении принимали участие Введенский, Разумовский, Олейников, Савельев.

Взял слово и Заболоцкий: появление двух больших вещей показывает, что участники нашего содружества не только куролесят на эстраде или декларируют. «Комедию города Петербурга» Николай назвал вершиной среди того, что создано Хармсом. Упомянув Ертышкина, который меняет внешность, лексику, фамилии, Заболоцкий привел пример с рыжей бородой: прием оказался органичным и для пьесы «Моя мама вся в часах». Заболоцкий сказал: одно время Гарфункель становился для нас живым и существующим. «Все в сборе, а где Гарфункель?», «Введенский, к телефону, Гарфункель зовет!» Иной раз фамилия Гарфункель появлялась на рукописных афишах — то среди поэтов, то рядом с прозаиком Левиным или кинопрозаиком Разумовским. «Для меня, — говорил Заболоцкий, — Гарфункель олицетворение главного закона искусства: путь из жизни к художественному образу и снова в жизнь, в быт». Заболоцкий пожелал такую судьбу и моему Ертышкину. Вспомни, читатель, строчку Заболоцкого о сынах Гарфункеля.

...Но вернемся на Исаакиевскую площадь. В ту пору «Радикс» представлялся величиной постоянной, и мы заботились о репертуаре. С каждым автором, кто казался подходящим, велись переговоры. Цимбал работал над пьесой «Золотые россыпи», Левин обдумывал план комедии о чудаке Феокрите.

Обещал написать пьесу и Заболоцкий, говорил о небывалом театре масок. На гладких цветных фонах произносят монологи, ведут диалоги актеры, изображающие животных, растения, предметы. Есть среди них и люди, для них маски не требуются. Ни одна из этих пьес написана не была. В конце двадцатых — начале тридцатых годов Левин написал интересный, хотя и незаконченный, роман «Жизнь Феокрита», рукопись погибла в блокадном Ленинграде. Не была написана и пьеса Заболоцкого, но кто знает, может быть, круг персонажей, прием статичного диалога теплились в его сознании и реализовались в поэмах «Безумный волк», «Торжество земледелия».

ТРЕМ НЕЗНАКОМКАМ...

За окном серенький летний день клонится к вечеру. По соседству кто-то старательно разучивает на рояле гаммы. Не хочется ни работать, ни разговаривать. Вам знакомы часы равнодушия и опустошенности? В тот раз было именно

так. Заболоцкий, Хармс и я полулежали в его комнате кто где попало. Даже суровый принцип самодисциплины не препятствовал сонливой бездеятельности.

Вдруг меня осенило. Как же я не вспомнил раньше? У меня дома сохранилась бутылка крепленого. Когда в карманах ни копейки, настроение может поднять и такое пустяковое открытие. Предложение вызвало интерес.

Несколько минут быстрого шага — и мы на улице Некрасова. Расположились у раскрытого окна и тут заметили — у другого раскрытого окна расположились три незнакомки. Девушки смотрели в нашу сторону с противоположной стороны двора-колодца и смеялись.

Николай предложил отблагодарить девушек за внимание, написать лирическое послание в стихах.

Вскоре оказалось: сочинить эпистолярную поэму не проще, чем ее подписать.

Любитель фантастических шапочек Хармс, как только вошел в комнату, напялил неизвестно откуда взявшийся белый чехол от фуражки. Вернувшись из армии, Заболоцкий продолжал носить военную гимнастерку. Мне пришлось немало потрудиться, прежде чем я включил рефлектор, осветивший главную из расписанных в комнате стен. Три факта и определили наши псевдонимы: Хармс написал — пекарь Миллер, Заболоцкий — солдат Дуганов, я — монтер Топорышкин.

Письмо отправлено не было, увлеклись творчеством и не заметили — незнакомок за окном как не бывало. А псевдонимы продолжили существование. Хотя и не Хармс, а Заболоцкий подписывал стихи для детей «Яков Миллер». Не я, а Хармс написал «Иван Топорышкин пошел на охоту», стараниями Хармса и Олейникова, сквозной персонаж, веселый Топорышкин зашагал по страницам детского журнала. А прозвище «Солдат Дуганов» надолго закрепилось за его создателем. Николай и сам иной раз писал: «Заходил, не застал. Солдат Дуганов».

Кажется, на следующий день подошла ко мне одна из трех незнакомок:

— Ну и смехота, ну, мы с подружками и смеялись! Чего это у вас в комнате все стены поразмалеваны?

Кажется, наши старания были напрасны. Юмор лирического послания не мог найти одобрения у наших незнакомок.

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Другое утро, другой год, но те же действующие лица и то же настроение.

— Могу предложить один поход, — сказал Даниил. — У меня в записной книжке давным-давно записано: Заболоцкому вместе с Хармсом зайти к Олимпову. Сходим втроем? Не пожалеете.

Мы и пошли.

Миновав Детскосельский, ныне Витебский, вокзал, оказались, кажется, на Можайской. Входная дверь находилась в подворотне.

Дверь открыла молодая общительная гражданка.

— Очень приятно. Только их нету. Константина Константиновича нашего увезли. Больной стал, похоже, чахоточный. Так что в деревне на излечении...

Отпустить нас соседка не захотела.

— Вы уж не передавайте, а непутевый наш Костенька только пишет, разве в наше время так можно? Представляете какой: выйдет вечером на Марсово поле, непобритый, знаете, и встречным билеты предлагает. В жисть не догадаться — на луну. И смех, и слезы...

...Расходиться по домам не хотелось никому.

— Могу предложить еще один поход. Чайком напоят, даже с баранками, гарантирую, — сказал Хармс.

Мы подчинились. Шли за нашим странным проводником в отцовском котелке в сторону Исаакия. А куда — не все ли равно.

До чего же мал и тесен город, в котором живем! Переходя Садовую, встречаем Введенского.

— Куда, друзья, держите путь?

Даниил объяснил, что ведет нас к поэту Клюеву. Александр оживился, сказал, что присоединяется к нам. Теперь шли вчетвером, попали в большой, будто в пригороде, зеленый двор. Александр бывал у Клюева чаще Хармса, потому его и направили на рекогносцировку. Вернулся немедленно, сказал:

— Николай Алексеевич просит к себе.

Входим и оказываемся не в комнате, не в кабинете широко известного горожанина, а в деревенской избе кулака-мироеда с дубовыми скамьями, коваными сундуками, киотами с теплящимися лампадами, замысловатыми райскими птицами и петухами, вышитыми на занавесях, скатертях, полотенцах.

Навстречу к нам шел степенный, благостный бородач в посконной рубахе, молитвенно сложив руки. На скамье у окна сидел паренек, стриженный «горшком», в такой же посконной рубахе.

Всех обцеловав, Клюев сказал:

— Сейчас, любезные мои, отрока в булочную снарядим, самоварчик поставим...

Отрок удалился.

— Я про тебя понаслышан, Миколушка, — обратился он к Заболоцкому, — ясен свет каков, розовенький да в теле. До чего хорош, Миколка! — И уже хотел обнять Николая, но тот сладкоголосого хозяина отстранил.

— Простите, Николай Алексеевич, — сказал Заболоцкий, — вы мой тезка, и скажу напрямик.

— Сказывай, Миколка, от тебя и терновый венец приму.

— Венца с собой не захватил, а что думаю, скажу, уговор — не сердитесь. На кой черт вам весь этот маскарад? Я ведь к поэту пришел, к своему коллеге, а попал не знаю куда, к балаганному деду. Вы же университет кончили, языки знаете, зачем же дурака валять...

Введенский и Хармс переглянулись.

— Прощай чаек, — шепнул мне Даниил.

Действительно, с хозяином произошло необыкновенное. Семидесятилетний дед превратился в средних лет человека (ему и было менее сорока) с колючим, холодным взглядом.

— Вы кого мне привели, Даниил Иваныч и Александр Иваныч? Дома я или в гостях? Волен я вести себя, как мне заблагорассудится?

От оканья и благости следа не осталось.

— Хочу — псалом спою, а захочу — французскую шансонетку. — И, сказав, продемонстрировал знание канкана.

Мы не дослушали, ближе-ближе к двери — и в коридор, смотрим, стоит в темноте отрок со связкой баранок.

— Чего же вы, граждане, наделали? Злобен он и мстителен. Уходите подобру-поздорову.

Мы задерживаться и не собирались, попробовали заглянуть к жившему по соседству художнику Мансурову — не застали, пытались навестить Малевича — не было в окнах света, и Введенский заторопился на очередной преферанс.

— Жалею, что с вами связался, — сказал на прощанье Введенский, — теперь к нему не зайдешь.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

С приходом осенних дней заканчивалась пора бездеятельной созерцательности, наступало время действовать. Начинался сезон выступлений, длившийся до весны. Читали в клубах, Домах культуры, библиотеках, концертных залах, подгоняемые необъяснимой силой, возможно — биологической потребностью, с большим числом людей поделиться своими литературными созданиями. Вот и выступали безотказно бесплатно, где бы такая возможность ни появилась.

Мы придерживались принципа самим найти побольше мест, выполнить появившиеся заявки. Устроители узнавали про «Левый фланг» друг от друга, заходили к Хармсу или звонили по телефону...

...Выступления «Левого фланга» отличались от остальных традиционных не только стихами или прозой, но и самой подачей — театрализацией.

Мы разделяли мнение Станиславского, что театр начинается с гардероба. Наши вечера начинались до третьего звонка. В зале, на эстраде, если не было занавеса, мы развешивали плакаты с интригующими изречениями вроде «Искусство как шкап», «Стихи — не пироги, мы — не селедки» и много других подобных. Ответственные за программу старались найти сценические приемы, которые бы помогли слушателям освободиться от традиционного восприятия поэзии. В нашем распоряжении были свет, звук, необычайные, озадачивающие предметы, их сочетание, или неожиданные для слушателей выступления — фокусника Пастухова, балерины Милицы Поповой. Не раз до нас доходили отзывы слушателей и зрителей, что наши вечера создают атмосферу взволнованной праздничности.

Редкая неделя обходилась без выступления, но только некоторые возникают в памяти, и не всегда лучшие. К примеру, одно из самых неудачных в «Кружке друзей камерной музыки» (когда-то концертный зал Шредера, на углу Невского и Садовой).

Ведущий выступление Георгий Кох-Боот вышел во фраке и в цилиндре. Выстрелом из усиленного циркового пугача он должен был обозначить начало утренника, а прозвучало жалкое шипение. Так утренник вяло, уныло и прошипел... На следующий день Заболоцкий уходил в армию, а когда вернулся, ему снова предложили устроить выступление, на этот раз вечером (о нем мы с Разумовским и рассказали в сборнике «День поэзии» 1964 года).

Учли главную неудачу утренника и постарались собрать аудиторию: в клубах и театрах вывешивали от руки написанные плакаты. Обзванивали сотни телефонов. Эту обязанность с успехом выполнил Заболоцкий. Несмотря на то что официальное извещение о выступлении «Левого фланга» было помещено только в сводной афише, сбор оказался полным. Администрация была поражена.

Среди удачных выступлений мы считали два литературных вечера, устроенных в воинской части, где служил Заболоцкий, выступление на литературном отделении Института истории искусств (по ходатайству института Заболоцкий приезжал из армии). В обсуждении принимали участие Тынянов, Эйхенбаум, Жирмунский. И конечно же «Три левых часа». Рассказ об этом вечере впереди.

В «СТУДИИ» НА НАДЕЖДИНСКОЙ

Случайное обстоятельство помогло припомнить необычную форму коллективной деятельности, которая практиковалась среди участников нашего содружества. Я говорю не про совместные выступления или соавторство — совсем о другом.

Занимаясь в читальном зале рукописного отдела Пушкинского Дома, мне попался текст стихотворения Даниила Хармса «Мария». На листе я обнаружил маловразумительный, но знакомый рисунок и сразу понял: иллюстрация сделана мной. Да и подпись подтверждала авторство. Может показаться странным, однако появление этого рисунка имело прямое отношение к Николаю Заболоцкому.

В осенние дни двадцать седьмого года наши публичные выступления становились все реже, потому что надоели организационные хлопоты, возложенные на Хармса и меня. Выступлений не было, а встречи продолжались. Долгие часы проводили мы в бесплодных разговорах.

Вернувшись из армии, всегда выдержанный, Николай с трудом сдерживал раздражение. Он и прежде не переносил праздной траты времени, теперь особенно.

Что же он предлагал: превратиться в отшельников и не встречаться?

— Как раз наоборот, — возразил Заболоцкий, — такие встречи я бы узаконил, придал им профессиональное направление.

Туманно и непонятно...

— Я бы создал студию, — пояснил Николай, — чтобы раза два в неделю участники «фланга» могли собираться и работать. В такие часы каждый бы занимался своим делом, кто хочет — рисуй, кто хочет — пиши стихи, никакого регламента, одно-единственное ограничение: запрет разглагольствовать на темы, не имеющие отношения к работе; хорошо бы воссоздать «Бродячую собаку» с тем же Прониным во главе или раздобыть деньги и издать собственный сборник вроде «Стрельца». Ухитряются же люди: Сергей Нельдихен или Туфанов и тому подобная бесконечная жвачка... Такие темы действительно поднимались и обсуждались опять и опять...

Идея, подсказанная Николаем, пришлась по душе всем, помимо Введенского.

— У меня собственная студия — моя комната, а письменный стол — кровать. Так и буду жить.

И все же он частенько забегал: прочитать последнее стихотворение, воспользоваться телефоном.

Кто ни разу не бывал у Хармса в студийные часы — это безвыходно писавший книгу «Козлиная песнь» Константин Вагинов.

А что же делали, чем занимались мы, «студийцы»?

Начнем с вдохновителя, с Николая Заболоцкого, пожалуй самого пунктуального: не может прийти — обязательно позвонит. Правда, не было случая, чтобы он взялся за серьезное дело. Николай или писал шуточное, или каллиграфически переписывал написанное прежде, снабжая стихи занятными виньетками и картинками, напоминавшими работы учеников художника Филонова.

А вот Хармс писал новые стихи или к уже готовому рисунку, или оставляя место для иллюстраций. Иной раз рисовал карикатуры на себя: очень длинный, в кепке, натянутой на уши, с тростью и крошечной собачонкой на поводке. Николая он изображал бравым розовощеким солдатиком, Левина, любившего употреблять исконно русские слова, добрым молодцем. Пришедший через несколько месяцев Разумовский сочинял короткие киносценарии и тут же читал вслух.

Еще позднее, в конце 29-го года, появился яростный сторонник «студийного» времяпрепровождения — Юрий Владимиров. Прекрасная одаренность двадцатилетнего поэта и прозаика замечалась многими. Заболоцкий относился к Юрию с искренней симпатией.

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

В один из обычных слякотных дней что-то рисовал или писал я; чем-то занимался Левин; забравшись с ногами на постель, трудился хозяин дома, он и взял трубку зазвонившего телефона... А дальше началось необычное. Сколько раз Даня вежливо просил позвонить позднее, на этот раз ничего подобного, разговор продолжался и продолжался. Боба и я пытались отгадать, кто на другом конце провода — и не могли, говорил главным образом невидимый собеседник, самыми интригующими оказались заключительные слова:

— Зачем же всем вместе, придут наши доверенные Заболоцкий, Введенский, те, кто смогут решить с вами все вопросы. Обязательно придем, позвоним и придем...

— Никогда не догадаетесь, с кем говорил, — по обыкновению, Даня темнил, оттягивал сообщить интересное. — С директором Дома печати. Правление Дома предлагает «Левому флангу» стать их секцией.

Не откладывая, кажется, на следующий день, все участники «фланга» собрались в штаб-квартире, и каждый заявил решительное «да».

Принялись думать, кому поручить оформить отношения с Домом печати. Заболоцкий отказался наотрез, сказал: пригодится для других дел, дипломатическая миссия ему не по душе.

И пошли мы к директору Баскакову втроем: Хармс, Введенский и Бахтерев. Баскаков принял нас, как говорится, на пять с плюсом. Дом печати пошел на все наши условия: работать по собственному плану, только с последующим контролем правления.

Баскаков говорил, что давно присматривается к нашей деятельности и даже бывал на выступлениях. Например, на вечере в «Кружке друзей камерной музыки». Для начала работы новой секции он предложил подвести итог работы «фланга». — устроить в театральном зале общегородской вечер. Разумеется, мы согласились, сказав, что вечер будет театрализованный и включит постановку пьесы, название и текст которой предоставим позднее.

Тогда же Баскаков предложил выступить с информационными статьями в журнале «Афиши Дома печати». Единственное и обязательное условие, которое предложило правление, — изменить название.

— Слово «левое» приобрело политическую окраску, —

говорил Баскаков, — направленность в искусстве следует определять словами собственного лексикона.

Термин «авангард» не получил признания в нашей стране, не мог он устроить и руководителей Дома печати. Авангард советского искусства иной, чем на западе. Каким же словом обозначить новую секцию? Вопрос оказался не из простых. Думали все — и Заболоцкий, и Хармс, и Введенский — безуспешно. Особенно трудным оказалось выполнить собственное требование — не дать возможность появлению нового «изма». В конце концов повезло мне. Я предложил назвать секцию Объединением реального искусства. Сокращенно Обериу. Название было признано удовлетворительным и без особого энтузиазма принято с поправкой Хармса: затушевать слово, лежащее в основе, заменить букву «е» на «э». Так и напечатано в журнале Дома печати. Впоследствии «Э» исчезло, здравый смысл победил.

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

Работа студии наполнилась новым содержанием. Отныне мы встречались не в тесноватой комнате семьи Ювачевых, а в комфортабельной гостиной с мягкими креслами, в бывшем шуваловском особняке, который на Фонтанке. Сегодня там помещается Дворец дружбы народов, в то время — Дом печати.

Первый организационный шаг секция сделала по настоянию Заболоцкого. Он и проявлял наибольшую активность. Объединение старалось расширить круг единомышленников. Введенский да и Левин не верили в подобную возможность, другие колебались. И все же в коридоре Института истории искусств появилось лаконичное объявление: Дом печати приглашал желающих вступить во вновь созданное объединение.

Кто-то приходил, что-то приносили. Левин и Введенский оказались правы: ничего, с нашей точки зрения, примечательного обнаружить не удалось.

И все же круг обериутов пополнился двумя студентами киноотделения: Клементий Минц и Александр Разумовский предложили показать на предстоящем вечере кинофильм. Рассказ про будущую ленту показался интересным. Новобранцы заполнили анкету, составленную для всех поступающих, на этот раз Хармсом и Заболоцким, с невероятными для официальной анкеты вопросами: где находится ваш нос? Или: ваше любимое блюдо. Ответы на вопросы, призванные

показать степень воображения и фантазии поступающего, полностью удовлетворили. Особенно понравилась высокая оценка Разумовского творчества Козьмы Пруткова и восторженное отношение обоих ко всеми нами уважаемому постановщику комических фильмов Маку Сеннету.

Вновь поступившие бросились в атаку. Мы не раз заглядывали в крохотную комнатушку Разумовского и с удовольствием отмечали: работа у кинематографистов спорится. Не дремали и другие обериуты. На совещаниях, пожалуй излишне частых, разрабатывалась каждая деталь предстоящего вечера. Его сценарий — результат взаимного творчества Введенского, Заболоцкого, Левина, Хармса и Бахтерева.

ЛОГИКЕ ВОПРЕКИ

«Кто сказал, что «житейская» логика обязательна для искусства?» — писал Заболоцкий в статье «Поэзия обериутов». Логики мы не всегда придерживались и в жизни. Название «Три левых часа» мотивировалось итоговым характером вечера. Маловразумительный довод, и все же название вечеру присвоили и на всех уровнях утвердили. Три часа: час — литературы, час — театра и час — кинематографа.

Помимо обязательного выполнения многих и многих обязанностей, Заболоцкому было поручено составить вводную часть информационных статей и статью под названием «Поэзия обериутов», с характеристиками пяти участников. Левину и Бахтереву написать про театр обериутов, Разумовскому — про фильм, названный «Мясорубка». Когда статьи написали, мы все вместе их отредактировали. Принципиальных изменений не было, содержание статей оговорили заранее.

План театральной пьесы был подробно разработан, это явствует из журнального анонса и из афиши, Хармсом, Левиным и Бахтеревым, после чего Хармс сел за письменный стол. Поначалу это была кровавая драма и называлась «Случай убийства», затем «Случай с убийством», но сюжет несколько изменился, и пьеса получила название по главному персонажу — «Елизавета Бам».

Параллельно я рисовал эскизы декораций, а студент музыкального отделения Института истории искусств, впоследствии профессор консерватории Павел Вульфиус, сочинял к спектаклю музыку. Директор Баскаков, который во всем шел навстречу, разрешил присоединить к симфоничес-

кому оркестру, который специально собрал Вульфиус, большой любительский хор Дома печати.

Теперь об актерах. Некоторые сотрудничали с нами и прежде, когда мы репетировали пьесу «Моя мама вся в часах», остальных находили среди любителей, и не ошибались. Отлично играл одного из центральных персонажей участник самодеятельности «Красного путиловца» — Чарли Маневич; буквально слился с ролью папаши Елизаветы поэт Евгений Вигилянский; удачно сыграла заглавную роль Амалия Грин, впоследствии ставшая литературным секретарем писателя Леонида Леонова.

Реально близкой становилась дата: вторник, 24 января. Новый, 1928 год мы встречали вместе, торжественно и весело, в квартире инженера сцены Павла Котельникова. Времени оставалось мало. Трудиться приходилось с каждым днем все упорнее, разумеется, и главному вдохновителю лицедейства Заболоцкому. То мы превращались в посыльных, то в рабочих сцены, а то в солидных представителей Дома печати.

Всегда уравновешенный и тактичный, серьезный, даже когда острил, Николай бывал незаменим и в кабинете высокого начальника, и среди нас, в частых случаях панических вспышек.

— Ничего не придумано, — волновался Левин, ответственный за театрализацию выступлений.

— Все уладится, — спокойно, а главное — убежденно говорил Николай. И улаживалось, несмотря на всю алогичность затеи. — Мне, к примеру, никаких театрализаций не нужно, — продолжал он, — каждый из нас сам себе театр. Подыщет Игорь подходящую фарлушку, рядом с ней и буду читать...

Принцип театрализации оставался неизменным для всех выступлений (единственным исключением оказалась вполне академическая встреча за общим столом с литературоведами Института истории искусств). «Оживление» выступлений предусматривало первое: читающий и слушатели остаются с глазу на глаз — он и они. Практика показала: так легче завоевать внимание и расположение аудитории. Второе, и тоже обязательное, правило: приемы «оживления» не должны мешать восприятию текста. Условие естественное и немудреное, а выполнить — непросто.

В первый литературный час Хармс выезжал на черном лакированном шкафу, который передвигали мой брат и его приятель, находившиеся внутри его. Даниил стоял на верхо-

туре подпудренный, бледнолицый, в длинном пиджаке, украшенном красным треугольником, в любимой золотистой шапочке с висюльками, стоял как фантастическое изваяние или неведомых времен менестрель. Он громогласно, немного нараспев читал «фонетические» стихи. Вдруг, достав из жилетного кармана часы, он попросил соблюдать тишину и объявил, что в эти минуты на углу Проспекта 25 октября (так тогда назывался Невский) и улицы Имени 3 июля (так называлась Садовая) Николай Кропачев читает свои стихи.

Действительно, тем временем поэт, а в первую очередь кочегар торгового флота Кропачев, удивлял бормотанием прохожих. Он успел вернуться до первого антракта и исполнить крохотную роль нищего в спектакле.

Прибывшего вытолкнули на сцену, объяснив, что за джентльмен раскланивается перед публикой. Раздались выкрики — требовали повторить уличное выступление. Однако выполнить требование мы не могли, слабые стихи Кропачева не проходили цензуру. А на афише его фамилия все же фигурировала, только перевернутая вверх ногами.

Вспоминаются другие выступления. И в первую очередь — как выступал сам. Вышел на эстраду чересчур молодой человек в задранных выше щиколотки узеньких брючках из чертовой кожи, но в шикарных лакированных джимми, привезенных приятелем из Лондона. Читал совсем просто, а закончил, к великому недоумению слушателей, продемонстрировав умение не сгибаясь падать на спину (некоторое время я занимался в акробатической школе Ротальского при ЦДФК). После чего, выключив свет, все те же рабочие сцены (мой брат и его приятель) вынесли меня, подняв высоко над головой, при свечах, под фальшивое пиликанье скрипки.

Вагинов заранее предупредил: принять участие в подготовке вечера не может, он-де занят писанием романа «Козлиная песнь» (добавим: его лучшей прозаической книги). Но все же выступил и был слегка наказан. Руководитель театрализации Боба предложил Константину Николаевичу читать как захочет, как всегда.

— Да, я поэт трагической забавы, — произносил Вагинов.

И тут в глубине сцены появилась Милица Попова. В пачках, на пуантах, она проделывала все, что и положено классической балерине. Вагинов продолжал читать как ни в чем

не бывало. Возможно, в противовес остальным, в тот вечер его выступление пользовалось наибольшим успехом.

Теперь про то, как выступал Заболоцкий. Непонятное слово «фарлушка», которое он произнес, требует особого разъяснения. Однажды зимой шли по Надеждинской Хармс, Заболоцкий и Бахтерев. На углу Саперного переулка мы обнаружили округлый обледенелый предмет с торчащими из него непонятного назначения железяками.

— Это еще что такое? — удивился Николай.

— Неужели непонятно, — сказал я, — это же фарлушка.

Определение показалось исчерпывающим, и с тех пор не ясного назначения предметы мы называли фарлушками. Подобный предмет был обнаружен и на заднем дворе шуваловского особняка. Отвечая за внешнюю сторону вечера, я преобразил эту штуку в подлинную, ни на что не похожую фарлушку. Необыкновенное сооружение вполне устроило Заболоцкого и в нужный момент было водружено на эстраду. Зрители задавали безответный вопрос: что же произойдет с этим загадочным перпетуум-мобиле? Ничего не произошло, так они и простояли рядом — округлые, цвета хаки.

Заболоцкий вышел на эстраду в том виде, в каком служил в армии, потому что партикулярного костюма еще не имел: с правой стороны — безмолвная фарлушка, с левой — басистый, уверенный в творческой правоте замечательный поэт.

НЕВПРОВОРОТ...

Но вернемся к подготовке вечера. Однажды перед самым вечером Николай исчез. Позвонив, объяснил: свалилась непредвиденная срочная работа с корректурой, кажется, книжки для детей «Красные и синие».

А дел у каждого, как говорится, невпроворот. Актеры выкрикивали, музыканты пиликали, саксофонист, известный джазист Кандат, настраивал пианино, столяры стучали: Дом печати был полностью предоставлен шумной деятельности обериутов.

Пожалуй, хуже всего дело шло в моем ведомстве. Плотники и столяры непростительно медленно строили декорацию. А декорации предстоит докрашивать. И ничего не изменить: 24 января незыблемая, с каждым часом приближающаяся дата.



Афиша ленинградского Дома печати, извещающая о вечере обериутов «Три левых часа»

Информационный журнал Дома печати с нашими статьями день в день появился в продаже, афиши расклеены, и впечатляющий плакат, сделанный по просьбе Заболоцкого художниками Гинхука Ермолаевой и Юдиным, уже установлен на Аничкином мосту и постоянно собирает любопытных.

Выполнение любого задуманного дела требовало усилий и времени. Если бы не слаженные действия квартета: Заболоцкий — Хармс — Разумовский — Бахтерев, печатная афиша, да еще выпущенная двойным тиражом, вообще бы не появилась на рекламных стендах. Вместе с типографщиками мы, к их удивлению, выбирали вышедшие из употребления, однако красивые шрифты, вместе размещали текст, даже вмешивались в дела расклейщиков: по предложению Николая помещали по две афиши рядом — одна как полагается, другая — перевернутая.

— Чтобы прохожие внимание обращали и задерживались, — объяснил он — и не ошибся.

Теперь несколько слов про плакат, стоявший, как вы уже знаете, на углу Невского и набережной Фонтанки. Причина всеобщего внимания к нему объяснялась не изыском шрифта, а блестящей композиционной находкой. Плакат выглядел небольшой вырезкой из огромного, вернее сказать, исполинского плаката. Естественно, что на такую «вырезку» могли попасть только отдельные буквы-великаны, только отрывки многометровых слов. Они-то и служили фоном для наших печатных афиш, казавшихся крохотными листочками.

Поначалу, в расчете на финансовый успех, правление и бухгалтерия охотно финансировали обериутов подотчетными суммами. Положение менялось. Неделя прошла с того дня, когда появились афиши, но ни одного, да-да, ни одного билета не было продано. А суматошная работа продолжалась, от усталости все буквально валились с ног.

Сначала мне помогал Разумовский. За год до нашего знакомства он занимал две ответственных должности: администратора и плакатиста местной киношки. В закулисное помещение, где мы красили фанеры декораций, ворвался Клементий Минц и заявил, что один он не успевает с монтажом и Разумовскому придется помогать ему.

Понимая трудность положения, Разумовский предложил съездить к единственно пригодному для подобного дела Заболоцкому. Предприятие представлялось безнадежным: помимо срочной корректуры Николай гриппoвал.

Уже вечером в гостиной, куда я перешел работать (в

большом зале был объявлен очередной спектакль театра), открылась дверь, вошел Заболоцкий и с ходу объявил: проработает сколько потребуется, хоть до самого утра. А происходило это 23 января. Такие поступки запоминаются с благодарностью и на всю жизнь.

НОЧЬЮ С ЗАБОЛОЦКИМ

Мы, конечно, не только разводили краски, водили кистями, стучали молотком, завершая недоделанное столярами, еще мы разговаривали. Ночная тишина, бездумность работы располагали к доверительной беседе.

Реконструировать разговор полувековой давности задача безнадежная, и все же кое-что из сказанного запомнилось. Озадачили нападки, с которыми, не без оснований, Заболоцкий обрушился на Введенского. По его словам, тот отлынивал от выполнения организационных дел. Я взял Шуру под защиту, напомнив, сколько афиш он разместил и в Институте истории искусств, и в университете, и во многих театрах и кинематографах. Еще Заболоцкий говорил, что Введенский не случайно придумал себе титул «авторитета бессмыслицы», что Введенскому чуждо самое драгоценное в литературе — ее живая мысль.

Действительно, если прочитать творческие характеристики, написанные Заболоцким, станет очевидно — оба поэта стоят на противоположных позициях. Передо мной автохарактеристика Заболоцкого, которую мы вправе считать его тогдашней поэтической программой. Он называл себя «поэтом голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя». Он предлагал свои стихи слушать и читать более глазами и пальцами, нежели ушами. «Предмет не дробится... в стихах, — писал о своем творчестве Заболоцкий, — наоборот, сколачивается и уплотняется до отказа».

А вот что писал Заболоцкий в той же статье про Введенского: «Он разбрасывает предмет на части... разбрасывает действие на куски... получается видимость бессмыслицы». И тут же Заболоцкий дает не слишком убедительное определение этой главной особенности поэзии Введенского: «Почему видимость?». Задает он естественный вопрос и отвечает: «Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово». Да, действительно Введенский был самым решительным противником зауми, но попутно Заболоцкий отмечает и другие компоненты поэзии Введенского. И как бы он ни старался подвести его стихотворную механику под приемле-

мый для себя образец, принципиальная противоположность двух поэтов остается бесспорной.

Чтобы лучше понять и объяснить конфликт, назревавший между ними, а затем и с остальными обериутами, не мешает напомнить про редкую прямоту и бескомпромиссность Николая не только в искусстве, но и в жизни. Припоминаю характерный для его биографии случай. На рубеже двадцатых и тридцатых годов был у него приятель (не хочу называть его фамилию), член ВКП(б), давний работник идеологического фронта. И решил тот приятель жениться и, конечно, пригласил на свадьбу ближайших друзей. Накануне свадебного пиршества Николай узнает, что жених уступил настояниям родителей невесты и между ЗАГСом и домашним застольем состоится церковное венчание. На свадьбу Николай не пришел, он вычеркнул бывшего друга из списка знакомых.

Кажется, и повода не существовало для придумывания разных нелепых мотивов: почему Заболоцкий разошелся с Введенским, а потом и с другими обериутами. Однако подобные попытки предпринимались, и не раз.

Во время ночного разговора мне впервые померещился разрыв отношений, через некоторое время я рассказал о своих подозрениях, разумеется, не Введенскому. Левин и Хармс обвинили меня в опасной склонности преувеличивать.

А пока предстояло самое значительное совместное выступление, ряд других совместных дел, и полубольной Николай, не сомкнув глаз, красил, перетаскивал, столярничал.

Ранним утром Заболоцкий уехал. Монтировочный прогон прошел без накладок, и все же настроение оставалось подавленным, и совсем не потому, что кто-то не спал, а другие спали совсем немного. В комнате администратора оживление, шумят желающие с утра пораньше приобрести контрамарку, а перед кассой ни души. С недоброй улыбкой встречает кассирша: успех небывалый, билетов продано всего на несколько рублей.

В сумерках зимнего дня усталые обериуты расходились по домам отдохнуть и отоспаться. Будь что будет.

УИРЭБО

Домашние разбудили, как просил. И вот мы уже трусим — бородатый извозчик и я. Бутылка столового кислого в кармане, невеселые мысли в голове; пригубим с горя — восемь главных виновников — и в пустом зале начнем. О са-

мом неприятном — о выполнении денежных обязательств — подумаем завтра.

Миновали улицу Белинского, на углу набережной Фонтанки и улицы имени Ракова шуваловский особняк.

— Сходите, товарищ, по вашему адресу не подъехать...

Смотрю и боюсь поверить глазам. Перед Домом печати толпа, с трудом пробираюсь. В «антре» импровизированные кассы, очереди внутри и на улице. За одним из столов билеты продает сам администратор. Подозвал:

— Кто мог подумать! Все в одно время, будто сговорились. Скажите своим, начало переносим, не раньше девяти.

За кулисами восторг. Радуются не только организаторы — актеры и музыканты.

А для меня волнения только начинались. Разговор повел наиболее авторитетный Николай Заболоцкий. Оказалось, мне предстоит выручать.

В журнальном анонсе говорилось: «Театрализованный вечер». Первый час: вступление — конферирующий хор. Предполагалась недлинная речь на несколько голосов, словно в живой газете. Заученный текст должны были произносить Хармс, Заболоцкий, Введенский, Бахтерев. Такое начало придумали неспроста. Предполагалось, что совместное чтение покажет: Обериу — содружество равных, без первой скрипки. Ничего не подготовили, не срепетировали, как быть? Выступит Заболоцкий или Хармс — их воспримут лидерами. В последнюю минуту решили выпустить меня, двадцатилетнего, который выглядит на восемнадцать. Пришлось согласиться. А что дальше: конспекта нет, в голове пустота. Уже играет джаз, уже танцуют в проходах и в фойе появившиеся зрители. Еще немного — и прозвучит третий звонок... Хотел посоветоваться с Хармсом или Заболоцким, ответ один: говори что хочешь, значения не имеет.

Обозлился и придумал: я единственный из обериутов, побывавший в Гинхуке на постановке «Зангези» Хлебникова с художником Татлиным в заглавной роли. Зангези поучал, зрители не очень понимали и все же верили — перед ними великий мыслитель... Решение принято: буду говорить еще туманнее, может быть, поверят и мне.

Верить было нечему, слушали с молчаливым недоумением. Шум начался позднее, при чтении стихов.

Мою кандидатуру предложил Заболоцкий, а понравилось выступление Введенскому. Да это и понятно.

О чем рассказать еще. Про многое говорилось попутно. Итак, час поэзии позади, второй час — театральный. Постановка «Елизаветы Бам» заслуживает серьезного разговора, но Заболоцкому отводилась скромная роль доброжелательного зрителя.

Отчетливо помню весело произнесенное Николаем во втором антракте:

— Пожалуй, не ожидал, молодцы, ребята, хорошее представление.

Среди зрителей Заболоцкий находился и третий час, когда Разумовский, в отцовском халате, в специально сшитом ночном колпаке, сидел в кресле и при неярком свете керосиновой лампы беседовал о путях развития современного кинематографа.

«Вечерние размышления» служили прологом к изобретательно смонтированной ленте. Фильм начинался с движения нескончаемо длинного поезда.

Джазисты отказались сопровождать картину. Тогда я сам сел за рояль, и проходящий поезд иллюстрировал упражнениями Ганона. Потом ударял в литавру, дергал струны контрабаса и даже заслужил похвалу Кашницкого, постоянного композитора театра Дома печати.

Во втором часу ночи закончилась художественная часть вечера — «три часа» оказалось понятием условным. А в афишах значилось ушедшее из современного обихода хорошее слово: диспут. Правильно оценив положение, администратор Вергилесов предложил перенести обсуждение хотя бы на завтра, точнее — сегодняшний вечер. В зале зашумели.

— Проголосуем, — сказал Вергилесов.

Случилось непредвиденное: сотни рук поднялись за продолжение и ни одной — против.

После танцевального, под джаз, перерыва зрители вернулись в зал, участники, в два или три ряда, сели на сцене. Дирижировал обсуждением многоопытный Александр Введенский. В нелицеприятном разговоре приняли участие студенты, служащие, лица свободных профессий, несколько рабочих. Мнения разделились, ругали, конечно, больше, но вежливо и метко. Выделяли поэтов Заболоцкого и Вагинова. Кто-то вспомнил выступления фексов, высказал надежду, что и обериуты образумятся. Почти каждый выступавший произносил слово «талантливо».

Закончился вечер рано, с первыми трамваями в рабочую среду 25 января 1928 года. Еще долго служащие Дома

печати рассказывали про чудо: до окончания диспута ни один зритель не взял в гардеробе пальто.

Вечерняя газета сразу откликнулась на затею Дома печати, не во всем справедливо отчитав участников вечера. Фельетон Лидии Лесной назывался перевернутым словом «обериу».

В начале тридцатых журнал, освещавший вопросы советской рекламы, также оказал честь уже не существовавшему объединению. Афиша вечера была воспроизведена для примера грубого нарушения всех рекламных норм и правил, незыблемого закона хорошего вкуса. Мы же, и Заболоцкий в нашем кругу, полагали, помимо неизвестных нам правил, качество афиши измеряется умением привлечь внимание прохожего, дав, по возможности, полную информацию. И еще нам представлялось: наша афиша такую задачу решила сполна.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Случилось так, что «Три левых часа» было нашим единственным выступлением в большом театральном зале Дома печати. Дальнейшие вечера мы устраивали в малом зале, без печатных афиш. И все равно слушателей собиралось много, каждый раз не хватало мест — стояли в проходах. Особенно успешно прошел вечер Заболоцкого. В рукописном объявлении было объявлено о совместном выступлении Николая Заболоцкого и Константина Вагинова. В последний день выяснилось — Вагинов заболел. Заболоцкий выступил один, его первый персональный вечер — ранней весной 28-го года. Дружными аплодисментами награждали поэта собравшиеся. Многие стихи по просьбе слушателей он читал дважды. Такого в практике наших литературных вечеров, да и не только наших, не припоминаю.

После шумного вечера в театральном зале деятельность объединения оживилась. В стенной газете Дома печати именно Заболоцкий ответил на вопросы читателей про поэзию и театр обериутов. Помнится, писал Николай примерно то же, что и в журнале.

Во многих совместных выступлениях Заболоцкий продолжал принимать участие.

— Не хочу отрываться от работы, — говорил иногда Николай, отказываясь от выступления.

В начале 29-го, а может быть, в конце 28-го года к обериутам обратилось правление, на этот раз его председа-

тель, известный в то время журналист Еремей Лаганский. Он сообщил, что Дом печати получил новое, еще более комфортабельное помещение, в Мариинском дворце на Исаакиевской площади. На торжественном открытии одно из трех отделений концерта решено предоставить обериутам.

— Вы умеете поднимать настроение, выступайте непринужденно, как на большом прошлогоднем вечере, как всегда...

По этому снова неожиданному поводу Хармс и пишущий эти воспоминания сочинили одноактную пьесу «Зимняя прогулка».

И начались хорошо знакомые волнения: подбирали актеров, строили портативную декорацию, решали вопрос музыкального сопровождения. Сказался опыт постановки «Елизаветы Бам». Теперь мы готовились куда организованнее.

Открытие Дома печати в новом помещении прошло оживленно и шумно. Члены правления поздравляли участников с успехом.

Все обериуты были, конечно, в сборе, кроме Заболоцкого и Вагинова. Заболоцкий прийти не захотел.

Опасения оправдывались: отказом Заболоцкий хотел показать — и показал, — что отныне он уже не с нами.

Время путешествия истекло. Мы и так излишне задержались в прошлом. Покидаем то время, возвращаемся в наши дни, чтобы когда-нибудь снова собраться в путь.

Кажется, я не ошибаюсь, это происходило в 1947 году. Писатель А. И. Пантелеев и я поехали к К. И. Чуковскому и разъехались — Чуковский отправился в Москву.

— Вы знаете, что здесь, в Переделкине, живет Заболоцкий? Сходим к нему, — предложил Пантелеев.

Я согласился, хотя не был уверен в радушном приеме. К началу тридцатых годов разрыв с обериутами дошел до крайнего градуса отчуждения. Если кто-то из нас видел приближающегося Николая, старался повернуть обратно или свернуть в сторону. Заболоцкий тоже.

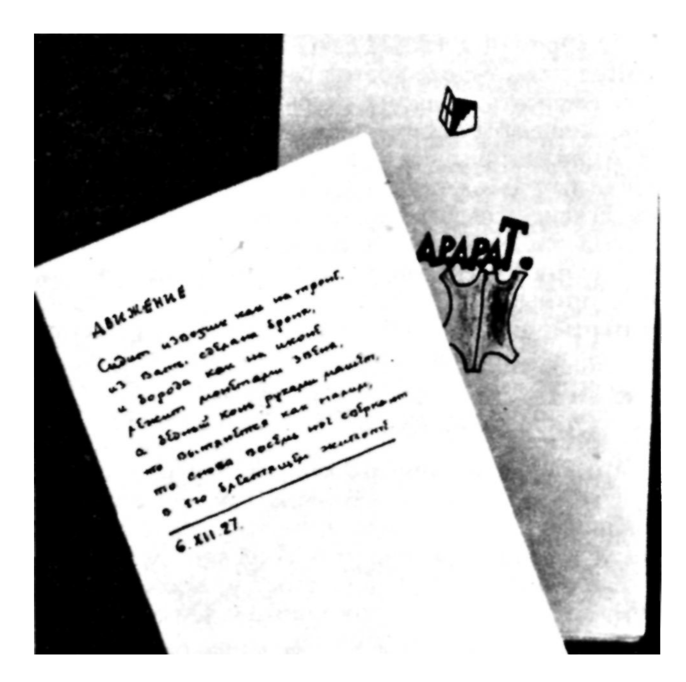
И вот мы у Николая. Встреча была неожиданно теплой, даже поцеловались, будто расхождений никогда и не было. Радостная и грустная встреча. Впервые Заболоцкий узнал о судьбе Бобы Левина. Он погиб, защищая Ленинград в сорок первом.

Говорили о многом, только не о поэзии. Про переводы, над которыми работал в то время Заболоцкий, про пьесу «Полководец Суворов», которую мы написали вместе с Разумовским и теперь вторично должен был поставить (а поставил с некоторым запозданием) Академический театр драмы имени Пушкина.

По делам постановки я уезжал в Ленинград. Договорились: как только вернусь, обязательно встретимся.

В Ленинграде задержался надолго. Больше мы не увиделись, встреча оказалась последней.

1974, 1983



Рукописный сборник стихотворений «Арарат», составленный Н. Заболоцким в 1928 г.

И. СИНЕЛЬНИКОВ

МОЛОДОЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

Вечером 13 февраля 1928 года я пришел в Дом печати. Тогда он находился на Фонтанке, в бывшем шуваловском особняке. В то время ленинградские литераторы обычно собирались или в Доме печати, или в Доме учителя — бывшем дворце Юсупова на Мойке.

Петроградский Союз писателей и его отделение — Союз поэтов ютились в довольно тесном помещении на Фонтанке, напротив Аничкова дворца. Ревностный секретарь Союза поэтов, переводчик Киплинга, Михаил Александрович Фроман регулярно приглашал членов Союза на собрания, посылая им открытки. Я получил множество таких открыток, каждый раз удивляясь тому, как добросовестно отно-

сился Фроман к своим секретарским обязанностям. В Ленинградском Союзе поэтов было в то время около 60 человек. Написать каждому открытку был нелегкий труд. А у Фромана не было даже пишущей машинки.

Анна Васильевна Ганзен приветливо встречала гостей, приходивших на вечера Союза поэтов. Известная переводчица скандинавских писателей, женщина уже пожилая, она с особой теплотой относилась к молодежи, старалась придать казенному помещению, в котором находился Союз писателей, уютный вид. В зале стоял рояль, покрытый большой скатертью из сурового полотна. На этой скатерти расписывались писатели и поэты. И каждую подпись Анна Васильевна закрепляла вышивкой. Где теперь эта скатерть?

Помню вечер, посвященный пятилетию смерти Блока. Председательствовал Федор Сологуб, человек с желтоватым лицом и в чесучовом пиджаке. Желающих попасть на этот вечер было значительно больше, чем мог вместить зал. Часть публики стояла или сидела на полу. Сологуб очень разволновался, когда поэт и критик Иннокентий Оксенов объявил, что от Блока ничего не останется, кроме поэмы «Двенадцать». У Сологуба задрожали руки. Он сразу побледнел.

— Как! Только «Двенадцать»! А я-то прихожу на могилу Блока и читаю вслух его «Клеопатру». Разве это стихотворение ничего не говорит вам, молодой человек?

И он сверкнул своим пенсне в золотой оправе. Затем со слезами на глазах прочитал «О доблестях, о подвигах, о славе».

Бенедикта Лившица в Доме печати можно было видеть в группе поэтов, беседовавших о европейской поэзии. О современной французской поэзии его расспрашивал Николай Тихонов. Лившиц был в безукоризненно сшитом темно-синем костюме. На руке — перстни, которых тогда никто не носил. Медальный профиль. Русые волосы хорошо причесаны. Начинающих поэтов Лившиц принимал в роскошном халате...

Хорошо помню Николая Клюева, который ратовал за то, чтобы коллективный сборник Союза назывался непременно «Братчина»... Очень сильное впечатление произвело его чтение «Плача о Сергее Есенине»...

Помню В. Эрлиха, В. Саянова, С. Нельдихена, молодых Вс. Рождественского, Л. Борисова, Н. Брауна, П. Лукницкого...

Итак, 13 февраля 1928 года... Почему я запомнил эту дату? Записал ее в своем дневнике. Дневник погиб во время

ленинградской блокады. Но это число я запомнил, как и 11 февраля того же года — день знакомства с Константином Вагиновым.

Я заглянул в один из залов Дома печати. На диванах, в креслах, за столами сидели завсегдатаи этого учреждения. Из-за одного столика, прервав свою беседу с кем-то, поднялся румяный молодой человек в очках, в военной гимнастерке и направился ко мне:

— Мне надо с вами поговорить. Приходите завтра ко мне домой. Вот по этому адресу найдете Заболоцкого. То есть меня...

О Заболоцком я уже давно слышал от своего дальнего родственника Леонида Барата. Он рассказывал, что у них в полку служит интересный поэт с такой фамилией. С тех пор этот поэт успел демобилизоваться.

Заболоцкий проходил службу в команде «краткосрочников». Его товарищи по команде были, в основном, люди из ленинградской интеллигентной молодежи. С самого начала Заболоцкий стал всеобщим любимцем. Мой родственник, бывший его сослуживец, забавно описывал первое знакомство однополчан с Заболоцким... Окончился трудный день строевых занятий, погасли огни в казарме, и в гулкой тишине раздался чей-то бас: «Так, осталось еще триста шестьдесят четыре дня!»

Громовой хохот... С первого вечера все запомнили медлительный и важный голос Заболоцкого.

Заболоцкий был бессменным редактором стенной газеты и проявлял в этом деле и литературные и художественные способности. Когда же приходило высокое вдохновение и требовалось свободное время для писания лирических стихов, полковой врач, мирволивший Николаю Алексеевичу, укладывал его на несколько дней в санчасть.

Сергей Цимбал (впоследствии театральный критик) привел меня как-то к себе домой и прочитал несколько стихотворений Заболоцкого, заинтересовавших знатоков и распространяющихся в списках. В то время Сергей Цимбал был близким к Обериу литератором.

Итак, я слышал уже о Заболоцком. Да я и встречал его нередко на Старо-Невском, еще не зная, кто он. Он обращал на себя внимание своим не совсем обычным видом: военная шинель и кепка, огромные очки, густой румянец во всю щеку.

Дом, в котором жил Заболоцкий, выходил на Конную улицу, где тогда был небольшой, но живописный Конный

рынок. Заболоцкий занимал узкую комнату с одним окном. В нее надо было проходить через помещение хозяев квартиры. Я постучался в дверь.

— Входите. Я вас жду. Первым делом мы позавтракаем.

Заболоцкий вышел на кухню, а я стал осматриваться. Комната была обставлена скромно. Много места занимала кровать. У окна — тумбочка, у стены — небольшой столик. Пара стульев. Вот и вся мебель. У двери круглая печь — голландка. Но было здесь все же нечто, что сразу обращало на себя внимание. Это небольшие рисунки, сделанные разноцветной тушью и прикрепленные кнопками к стенам. Все они изображали каких-то уродцев. Это были произведения самого Заболоцкого. На столе лежали два сборника его стихов в красочных обложках. Заболоцкий сам их рисовал. («Все это никогда не будет издано».)

Скоро хозяин комнаты вернулся с завтраком. Он принес два стакана горячего молока и два ломтя черного хлеба.

— Вы никогда не завтракали кровью? — неожиданно спросил он. — А вот мне, представьте, приходилось. Отец водил меня на бойню. Когда резали барана, подставлял стакан и давал мне выпить еще горячей крови. Он считал это полезным для здоровья. И действительно, на здоровье я не жалуюсь. А поэт должен быть здоровым[1].

Мы поели, и он объявил:

— Теперь давайте знакомиться. Меня зовут Николай Алексеевич. Мне двадцать четыре года. Вы, значит, на два года моложе. Теперь расскажите о себе.

Мне пришлось рассказывать, что до 17 лет я жил в Екатеринославе. В 1921—1922 годах состоял в студии Пролеткульта, печатал стихи в местных газетах, в сборнике «Эхо гудков», был знаком со Светловым и Голодным. В конце 1922 года переехал в Петроград, где продолжал учиться. С 1925 года состою в Ленинградском Союзе поэтов, напечатал несколько стихотворений в журналах, а также в сборниках Союза поэтов. (Одно из этих стихотворений, «Мясная», и обратило на себя внимание Николая Алексеевича.) Работаю в школе в Лесном. Ученики — трудновоспитуемые, и я очень устаю. Однако по вечерам учусь на Высших курсах при Институте искусств.

---

[1] По сообщению вдовы поэта Е. В. Заболоцкой, ознакомившейся с этими воспоминаниями, эпизод с «кровью» был вымышлен Н. А. Позднее Заболоцкий признался в своей выдумке, которой объяснял здоровый ярко-розовый цвет своего лица.

Затем мы читали друг другу стихи. В числе других стихотворений он прочитал «Движение». Мне показалось, что я уловил связь поэзии Заболоцкого с борьбой за новое зрение в современной живописи. В то время в витринах комиссионных магазинов на Невском можно было увидеть красочные полотна Шагала. Устраивались в Русском музее выставки, на которых были представлены «квадраты» Малевича, своеобразнейшие картины Филонова и других художников. О картинах Филонова я и думал, когда слушал стихи:

...А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Тогда же он прочитал мне стихотворение «Часовой», сочиненное, как он сказал, на дежурстве у знамени полка.

— Это будет программное стихотворение в книге, которую я сейчас готовлю. Книга будет называться «Столбцы». В это слово я вкладываю понятие дисциплины, порядка — всего, что противостоит стихии мещанства.

Тут же он осведомился, не готовлю ли и я книгу стихов. Я сказал, что книга еще не получается.

— И напрасно. Надо писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. Тогда все становится на свое место.

Настала моя очередь читать стихи. Николай Алексеевич терпеливо слушал, но я вскоре почувствовал, что ему нравится далеко не все. Он заговорил о системе, в которую может укладываться или не укладываться тот или иной образ, эпитет. Под «системой» он подразумевал прежде всего единство стиля. Его система требовала конкретности, точности.

— Например, что с чем сравнивать? Отвлеченное с конкретным: это делает образ ярким, земным. Но бесплодное занятие — сравнивать отвлеченное с отвлеченным.

Забегая вперед, скажу, что это требование осталось для него неизменным: Когда мы, несколько месяцев спустя, читали стихи в ленинградских журналах, он обращал мое внимание на такие примеры сравнения отвлеченного с конкретным: «Как бред, в стакане плыл лимон» (Тихонов). «Голая русалка алкоголя» (Пастернак), «По проволоке дама идет, как телеграмма» (Маршак) и т. д.

В это первое мое посещение он преподал мне и другой памятный урок.

— Мне кажется, — сказал он, — вы не особенно забо-

титесь о том, как выглядят ваши рукописи. Свои стихи следует уважать. Переписывать их красиво. Вот посмотрите, как я это делаю.

Он достал несколько аккуратно сшитых им тетрадей. Хорошая бумага. Каллиграфический почерк. Все написано не чернилами, а тушью — текст черной, а начальные буквы красной. Это напоминало старинные рукописи. Я посмотрел на свою убогую, неряшливую тетрадь и дал себе слово все переписать заново.

— Вот рекомендую вам такое узкое перо, — наставлял меня Николай Алексеевич.

— Ну, а теперь следует отметить наше знакомство.

Он достал из тумбочки глиняную посудину и налил по рюмке бенедиктина...

С тех пор я очень часто приходил к нему. Иногда мы виделись ежедневно. Он сразу же читал последние стихи. Потом работал (обычно лежа животом на кровати). Писал он карандашом (на качество карандашей тоже обращалось внимание), а затем переписывал тушью.

Таким образом, я первым слушал все стихотворения, вошедшие затем в сборник «Столбцы», а также многие неопубликованные и даже потом уничтоженные им произведения. Конечно, это объясняется только тем, что я был первый, кто приходил к нему и мог выслушать стихи. А ему нужен был слушатель, на котором можно было проверить, какое впечатление эти стихи производят.

Особенно мне повезло в те дни, когда он приступил к созданию своей замечательной поэмы «Торжество земледелия». (В. А. Каверин не случайно написал о ней: «Положите рядом «Фауста» Гёте и «Торжество земледелия» — и сразу станет видно, откуда идет это стремление взглянуть на мир глазами батрака, коня, предков, кулаков, сохи, животных, солдата, тракториста. Духовный и материальный мир природы глубоко задет преображением, спором человека с природой, стремлением человека преобразить и подчинить ее».)

Когда я приходил, он немедленно читал мне готовые части поэмы, и я должен был высказывать свое мнение о прочитанном. Помню, мы говорили, что если символисты бесплодно мечтали о создании мифов, то «Торжество земледелия» приближает осуществление этой идеи. Меня особенно потрясла первая «Ночная беседа» [1] — спор о душе.

---

[1] Поэма «Торжество земледелия» первоначально имела название «Ночные беседы».

ЕГО ДРУЗЬЯ

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Н. Заболоцкий

Когда я познакомился с Николаем Алексеевичем, знакомых у него было немного. Это прежде всего поэты Даниил Хармс и Александр Введенский. Он часто рассказывал мне о них. Я встречал их на собраниях Союза поэтов. Насколько я мог судить, там всерьез этих поэтов не принимали. Этому способствовали не только «заумность» стихов, но и их довольно странное поведение. Меня, впрочем, это удивляло мало, так как я знал, как в свое время вели себя футуристы, которым Хармс и Введенский явно в этом отношении подражали. Помню, например, вечер в Доме учителя. В одном из роскошных залов бывшего юсуповского дворца поэты читали стихи. Вдруг в зал входят Хармс и Введенский. На них вместо шляп что-то вроде красных абажуров. На щеках — черные фестоны. Они проходят к столу, за которым сидят участники вечера, и ложатся на ковер. Лежат и слушают, иногда даже аплодируют. Особенно громогласно рукоплескали они Николаю Тихонову, читавшему «Фининспектор в Бухаре», действительно великолепное стихотворение.

Николай Алексеевич особенно ценил Хармса. Он часто повторял его стихотворение «Мы бежали, как сажени, на последнее сраженье», восхищаясь ритмом.

— Как это гипнотизирует!

Хармс и Введенский писали пьесы «Моя мама вся в часах», «Елизавета Бам» и другие... Их ставил на сцене Дома печати очень оригинальный режиссер Терентьев. Пьесы были демонстративно абсурдны. Кто бы мог предположить, что в наше время будет пользоваться успехом на Западе «театр» абсурда, предшественниками которого были Хармс и Введенский!

И Заболоцкий, и Хармс, и Введенский учились у Хлебникова. Но Николай Алексеевич говорил:

— Нас с Хармсом разделяет отношение к теме стихотворения. Я считаю, что тема обязательно нужна. Хармс отрицает это. В этом отношении он близок к Константину Вагинову, который свой сборник стихов озаглавил: «Опыты соединения слов посредством ритма». Но у Вагинова, при всей

необычности его стихов, тему все же можно обнаружить. Хармс же более последователен в этом отношении[1].

Любопытно, однако, что Хармс умел ценить стихи поэтов, принадлежавших к другим направлениям. Это я узнал и по себе. Когда я читал свои стихи в Союзе поэтов, Хармс неожиданно потребовал, чтобы я вновь прочитал понравившееся ему стихотворение.

С одним из поэтов, близким к кружку «Серапионовых братьев» — Константином Вагиновым Заболоцкий не был в особенно близких отношениях, но всегда высоко его ценил.

На вечере у нашей студентки Ирины Николаевны Медведевой (позднее — известный литературовед) я впервые увидел Вагинова. Нас угощали черным пивом домашнего приготовления. Пока гости участвовали в общей беседе и пили пиво, мы с Вагиновым сидели в углу за столом, и он целый вечер читал мне стихи. Поздно вечером мы вышли вместе и пошли по заснеженной Петроградской стороне. И всю дорогу он читал свои удивительные стихи...

Я знал, что Вагинов — любимый ученик Михаила Алексеевича Кузмина, автора «Александрийских песен». После маленьких трагедий Пушкина никто до Кузмина у нас не писал белых стихов, которые бы так великолепно звучали и запоминались. Академик В. М. Жирмунский в книге «Композиция лирических стихотворений», проанализировав «Александрийские песни», нашел, что их очарование во многом объясняется сложнейшим строфическим построением. При этом Кузмин не пользовался классическими размерами.

Другой принцип организации белых стихов применил Вагинов. Здесь строгое метрическое построение, чаще всего четырехстопный и пятистопный ямб. Белые стихи иногда перемежаются или завершаются рифмованными строками. На Заболоцкого Вагинов несомненно влиял в тот период и именно этой формой построения стихов. Это можно видеть на примере некоторых стихотворений, вошедших в «Столбцы». Николай Алексеевич рассказывал мне интересную био-

---

[1] Как-то зашел разговор о «зауми» Хармса и Введенского. Н. А. рассказал о том, как в детстве видел с отцом камлание шамана-марийца: «Вот это была настоящая заумь!»

графию этого поэта, на долю которого выпало много тяжелых испытаний.

Постепенно круг знакомств Заболоцкого расширялся. Его узнали и оценили Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, В. А. Каверин, будущий редактор пятитомного собрания творений Велимира Хлебникова — Н. Л. Степанов (их лекции я слушал в Институте истории искусств).

Юрий Николаевич Тынянов, автор замечательной книги «Архаисты и новаторы», по-видимому, увидел в Заболоцком архаиста, который, несмотря на традиционные метры, был по существу куда большим новатором, чем некоторые поэты, громко вещавшие о своем новаторстве. Николай Алексеевич показал мне книгу, подаренную ему Тыняновым. Надпись на ней гласила: «Первому поэту наших дней».

Как-то Николай Алексеевич сообщил мне, что провел вечер у Николая Тихонова.

— Это был интересный вечер. Николай Семенович, между прочим, показывал привезенные им из-за границы книги по искусству. Что-то читал. Я весь вечер смотрел альбом с репродукциями картин Брейгеля...

Монография о Брейгеле-старшем произвела на него сильное впечатление. Николай Алексеевич не раз рассказывал об этом чудесном художнике.

Иногда в те часы, когда мы беседовали, приходила милая девушка, студентка Педагогического института имени Герцена, будущая жена Николая Алексеевича.

Сестру Заболоцкого видел мельком. Более чем скромно одетая, забежала как-то на минутку, что-то передала и сразу же ушла.

КРУГ ЧТЕНИЯ

У Николая Алексеевича тогда не было своей библиотеки. Это и понятно. Он недавно демобилизовался и не успел обзавестись не только книгами, но и самым необходимым. Некоторое время спустя С. Я. Маршак привлек его, а также Хармса и Введенского к работе в журналах «Еж», «Чиж», «Костер». Стали выходить книжки для детей, написанные Заболоцким: «Хорошие сапоги», «Змеиное яблоко», «Два лгуна» и другие. Появились первые скромные заработки. Но в начале нашего знакомства он явно нуждался. Помню, как он зазвал торговца, кричавшего за ок-

ном «Халат, халат», и продал ему, не торгуясь, за смехотворно дешевую цену отрез на пальто, очевидно присланный вятскими родными, поддерживавшими его материально.

В то время одежду было приобрести трудно. Сейчас даже невозможно представить, как это было трудно. Острой потребностью в одежде объясняется пышный расцвет в те годы барахолки на Обводном канале. («В моем окне на весь квартал Обводный царствует канал... Маклак штаны на воздух мечет...») Только там можно было купить одежду, хотя маклаки и старались всучить какую-нибудь гниль. Заболоцкий раздобыл коричневый костюм, на мой взгляд довольно приличный, но мне он говорил:

— Нужен черный. Только черный. Любой другой — это уже не то.

Он мечтал о черном костюме, но найти его тогда было негде.

Когда Николай Алексеевич стал зарабатывать, начали появляться и книги. Я увидел у него книгу о Лхасе, об английской экспедиции в Тибет. Эти записки о Лхасе он и сам прочитал с интересом и потом увлеченно пересказывал мне ее содержание. Маршак предложил ему переделать это в повесть для детей, что и было выполнено в 1931 году[1].

Заболоцкий жаловался на недостаток времени для работы над детскими книжками и, не без зависти, рассказывал о том, как организовал писание романов Александр Дюма. «Писали отдельные главы помощники, а он только следил, чтобы не перепутались живые и мертвые персонажи».

Из книг, которые я ему приносил, он прочитал сборник статей об экспрессионизме (издание «Всемирной литературы»). Там были репродукции картин Кандинского, Шагала и других. К современной живописи он всегда относился с неизменным интересом. Однажды рассказал о своем посещении Филонова:

— В комнате холодно. Дымит «буржуйка». На ней — жестяной чайник. Художник дует на озябшие руки и снова берется за кисти. Говорит, что приезжали богатые американцы. Предлагали переехать в Америку или хотя бы про-

---

[1] Книга о Лхасе «Таинственный город» вышла под псевдонимом Я. Миллер.

дать картины. Он им ответил: «Я русский художник, и мои картины принадлежат России».

Другая принесенная мною книга, очень заинтересовавшая его, — «Неизданный Пушкин» (Собрание Отто-Онегина). Он обратил внимание на варианты «Графа Нулина», где немало примеров переосмысления и отстранения привычных вещей. Вскоре он написал поэму «Падение Петровой», в которой я узнавал применение тех же приемов.

Говоря о возможностях обновления стихотворения, Н. А. заметил, что очень эффектны были бы длинные строки на фоне коротких. Это подчеркивало бы «вес выдвинутых строк» (по терминологии Тынянова). Он кое-что делал в этом направлении. В одном забавном (и, увы, как видно, уничтоженном) стихотворении о любви Лешего и Русалки были такие «выдвинутые» строки. Одну я запомнил:

«Может, что-нибудь и выйдет, несмотря на посредственную погоду». Николай Алексеевич говорил, что с помощью словосочетаний «задом-наперед», «наоборот» и особенно «книзу головой» возможно изображать предметы под новым углом зрения, в неожиданных ракурсах. Ему нравилось слово «руконог», придуманное Хлебниковым, — пример яркого, образного мышления.

Мне вспоминается чудесное стихотворение, которое привело в восторг Тынянова. Тема его — перерождение человека в старости. Я запомнил только два последних стиха:

...И над костлявым стариковским тазом
Две хари на стене причмокнут разом.

Кто-то предложил ему написать стихи в газету. Мне он прочитал уже готовое стихотворение.

Я сказал, что я совсем не против газетных стихов. Сам их писал. Но это стихотворение навряд ли взволнует читателя, навряд ли даст представление о подлинном Заболоцком. Это стихотворение в печати не появилось.

Николай Алексеевич безжалостно уничтожал свои стихи, если находил их не соответствующими своим замыслам, даже если стихи очень нравились другим. Иногда, написав стихотворение, он выбрасывал начало («оно обычно бывает искусственным»).

Николаю Алексеевичу нравились малоизвестные ли-

рические стихотворения Сковороды, Кантемира. Одну из силлабических песен Кантемира он даже знал наизусть.

Привлекала его внимание «легкая поэзия» английского поэта Александра Попа. Это отразилось в «Торжестве земледелия»: «Где вол, зачитываясь Попом...» (черновой вариант).

Мне Николай Алексеевич дал прочесть суворинское издание «Разговоров Гёте с Эккерманом». Мы много и часто говорили об этой великой книге.

Я, в свою очередь, принес ему томик Гёте, содержавший «Венецианские эпиграммы», «Римские элегии», натурфилософские стихотворения. Что он любил у Гёте? «Метаморфозы растений», «Метаморфозы животных», «Ефросинию»...

В букинистических магазинах я нашел поэмы Хлебникова «Ночь в окопе» и «Зангези» и подарил их Николаю Алексеевичу. Обрадовался он также и другому моему приношению — томику Державина. Державина декламировал с большим подъемом. Особенно оду «Бог». Я обратил его внимание на отрывок из «Изображения Фелицы» («Яви искусством чудотворным...»). Читали вслух «Лебедь», «Памятник» и другие стихотворения.

Перечитывали мы также Тютчева. Николай Алексеевич находил все новые чудеса, открывал близкие ему темы.

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных, —
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них.

Особенно волновал его стих «Состав частей разрушится земных».

О Тютчеве, Баратынском, Мандельштаме Заболоцкий сказал, что они не случайно писали преимущественно небольшие стихотворения. Это большие поэты, но у них короткое дыхание.

Однажды он с великим торжеством показал мне сборник стихотворений Мандельштама. В другой раз достал «Две книги» Пастернака (в этот сборник входили «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации»). Но тут же сказал, что отложил эту книгу, пока не закончит «Торжество земледелия». Боится чужого влияния. Эта боязнь, впрочем, не помешала ему читать мне первые главы «Спекторского», кото-

рые в то время появлялись в журналах. Из стихов Пастернака больше всего он ценил «Высокую болезнь», особенно начало.

Купил он также сборник Багрицкого «Юго-Запад». Отношение к этому поэту у него было двойственное. Он называл трескотней стихи:

Так бей же по жилам,
Кидайся в края... (и т. д.)

В то же время читал и перечитывал «Птицелова», неутомимо повторял четверостишие:

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Помню, читал он мне:

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...

— Какая безвкусица! Но зато какая прелесть дальше.

И он с восторгом читал все стихотворение. Особенно ему нравился финал:

За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих,
За песней трубы, потонувшей в лесах...

Николай Алексеевич часто повторял стихи Маршака:

Под пальмами Бразилии,
От зноя утомлен,
Шагает Дон Базилио,
Бразильский почтальон.

При этом говорил, что Маршак не имел успеха как лирический поэт, но нашел свое истинное призвание в другом жанре — жанре детской литературы.

К стихам Маяковского (дело было до опубликования поэмы «Во весь голос») Заболоцкий относился резко отрицательно.

Творчество Блока и Есенина, очень популярное в то время, в наших разговорах не обсуждалось и даже не упоминалось.

Особое место в наших беседах занимало чтение, изучение и обсуждение стихов Хлебникова, к которому мы относились с благоговением. Помню, с каким волнением он прочитал свои стихи о могиле Велимира в поэме «Торжество земледелия».

Кажется, у Н. Л. Степанова он раздобыл «Доски судьбы», «Ладомир», «Игра в аду».

— Представьте, Крученых утверждает, что «Игру в аду» написал он вместе с Хлебниковым. Какая чепуха! Никогда Крученых не напишет ничего подобного.

Еще в Екатеринославе я увлекся Хлебниковым, прочитав только что вышедшую в свет поэму «Ночь в окопе». Это было ново и ни на кого не похоже. И тема мне была близка. Место действия поэмы — степь, недалеко от Екатеринослава. В этой степи я видел древних каменных баб. Я читал и перечитывал эту поэму... Затем я узнал о потрясающе трагической, прекрасной судьбе поэта.

Возможно, нас с Заболоцким больше всего сблизила любовь к Хлебникову. Николай Алексеевич открывал мне все новые красоты в «Игре в аду», в «Зангези». Особенно ценил Заболоцкий разговор птиц в «Зангези»[1].

В Заболоцкого я поверил сразу, узнав его цельность и целеустремленность. Думаю, что и ко мне он относился с известным интересом. К тому времени я успел много прочитать, и мы находили общий язык, интересные темы для бесед.

Заболоцкий не читал просто беллетристику. Я, во всяком случае, этого не видел. Его образ жизни был самый аскетический и даже подвижнический. Все силы отдавались работе.

Когда мы уставали читать и говорить, Николай Алексеевич брал гитару и тихонько что-то наигрывал. Однажды он даже спел мне арию индийского гостя из оперы «Садко», аккомпанируя себе на гитаре.

---

[1] Он как-то сказал, что сознательно подражал Хлебникову в «Торжестве земледелия», когда писал: «И как каменные домы закачались у межи, медным трактором ведомы, колесницы спелой ржи». (Первоначальный вариант см. у Хлебникова: «Гнется, в грудь мою ведома, тонкой медью полоса».) Заболоцкий часто повторял восхищенно: «Бел, как хата, месяц сотен облаков». («Какой удивительный образ!») Любил он и другой стих Хлебникова: «Скинь рубашку с полуплеч!»

НАШИ ХОЖДЕНИЯ

Иногда мы бродили по Невскому, заходили в пивную, где все было так похоже на то, что он описывал:

> В глуши бутылочного рая,
> Где пальмы высохли давно,
> Под электричеством играя,
> В бокале плавало окно.

Он шутил, рассказывал смешные истории. Но чаще беседы велись на литературные темы.

Как-то мы стояли на трамвайной остановке у Александро-Невской лавры (тогда по Невскому еще ходили трамваи). Он обратил внимание на вывеску: «Дубовые гробы».

— А нельзя ли так: «Гробовые дубы»? Представьте вереницу мрачных дубов, из которых делают гробы.

В другой раз заговорил об элементах прозы и поэзии:

— Некоторые научные, технические термины следовало бы смело вводить в стихи. Я подумываю о таком слове, как «перспектива». Как бы оно оживило стих, создав впечатление глубины!

Как на пример дурного вкуса указывал он на пристрастие Виссариона Саянова к словам «фартовый», «братва», «братишка» и т. д. Это, по мнению Заболоцкого, ставило книжку Саянова «Фартовые года» вне поэзии.

Заговорили как-то о рифмах.

— Какие у меня рифмы. Я рифмую «мужика» и «шеста». И смех и грех!

Я напомнил Заболоцкому, что у него есть и весьма изысканные рифмы: «конклав» — «оседлав», «подходила» — «паникадило», «автомобили» — «Пикадилли» и т. д.

— Все хорошо к месту.

По какому-то поводу зашел разговор о проблеме заимствования.

— Неважно, кто сказал первый. Важно — кто лучше.

Заимствования, к которым прибегал сам Заболоцкий, — это, вероятно, тема специальных исследований. И я удостоился этой чести. Заболоцкому понравились мои стихи «Черная лестница». Эта тема была развита в его стихотворении «На лестницах». В других моих стихах была строка «Солнце медное базара». Впоследствии это трансформировалось в его стихах так: «Как солнце черное амбаров» (образ сковороды).

Однажды Николай Алексеевич сказал о плохих стихах у Хлебникова:

— Нужно, чтобы общий уровень стихов был высоким. На этом фоне возможны отдельные плохие стихи. Тогда они погоды не сделают. Мало того, надо сознательно писать стихи разного напряжения: одни места хуже, чтобы ярче выделить другие. Пример — «Медный всадник».

Заболоцкий находил, что долго не писать стихов, писать их с длинными перерывами полезно. Обновляются впечатления. («Я это неоднократно проверял... А начало стихотворения лучше отсекать. В нем всегда чувствуется напряжение: нужны разбег и свобода...»)

Он любил стихи Михаила Кузмина и был вхож в его дом. После одного посещения Кузмина Н. А. рассказал, что разговор был живой и интересный, но старый поэт так странно заглядывал в глаза, что становилось неловко. «Так мы смотрим в глаза девушкам...»

Один знакомый поэт хвастал, что особенно успешно сочиняет стихи в пьяном виде. Николай Алексеевич улыбнулся.

— Еще Пушкин над этим смеялся. Когда пишешь, не пей ни капли вина. Иначе выйдет то, да не то.

Заболоцкий критически отозвался о стихах в сборниках Ленинградского Союза поэтов. Особенно он издевался над «дамскими стихами». (Понравилось ему только стихотворение Фредерики Наппельбаум «Девчоночка-сестра с кудрявой головою».) Когда я спросил его, ко всем ли поэтессам он так пренебрежительно относится, он ответил:

— Нет, почему же! Была Елена Гуро. Ее и Хлебников ценил.

— Будущее, — говорил он, — принадлежит поэтам с острым зрением. Опыт таких поэтов, как Бальмонт, Северянин, увлекавшихся музыкальностью в ущерб живописности, образности стихов, говорит, что это неправильный путь. Напрасно и Пастернак идет в этом направлении...

В Институте истории искусств часто устраивались литературные вечера. Помню вечера В. Б. Шкловского, В. А. Каверина, П. Г. Антокольского, М. А. Кузмина (вступительное слово произнес В. М. Жирмунский) и другие. Я договорился с организацией института и был устроен вечер Н. А. Заболоцкого.

Большой зал института был переполнен. Публика — знатоки и любители поэзии. Я привел на вечер свою мать,

которая много слышала от меня о Заболоцком и захотела увидеть его.

Успех был несомненный. Стихи, как говорится, дошли по назначению. В то же время я видел, что публика много смеялась. Такой эффект чтения стихов, вошедших в «Столбцы», я наблюдал уже не впервые. Как видно, это объяснялось новизной, необычайной формой стихов. На одном из вечеров в Союзе поэтов, когда читал стихи Заболоцкий, Николай Чуковский смеялся до слез. Я обратил внимание Николая Алексеевича на такую реакцию публики и спросил, как он к этому относится.

— Ничего, — успокоил он меня. — Посмеются, а какая-то изюминка поэзии в сознании останется. Ирония страхует стих...

После вечера в Институте истории искусств группа студентов попросила меня устроить встречу с Заболоцким, чтобы почитать ему свои стихи. Я привел Николая Алексеевича в квартиру одного из этих студентов, находившуюся на Кирочной улице.

Скоро обнаружилось, что все эти студенты — поклонники поэзии Заболоцкого и подражают ему во всем. Эта встреча с народившимися эпигонами очень его позабавила.

Начинающего поэта Александра Гитовича, будущего переводчика китайской лирики, он называл одним из своих постоянных подражателей. Дело в том, что Гитович хорошо усвоил интонацию Заболоцкого, а, как известно, интонация и выдает эпигона. Заболоцкий говорил о нем без раздражения, скорее иронически, дружелюбно.

В бывшем Мариинском дворце состоялся большой вечер поэзии. Николай Алексеевич предложил мне поехать туда вместе с ним.

— Присмотримся к тем, кто будет выступать. Может быть, найдем интересных молодых поэтов.

Выступали Бенедикт Лившиц — автор книги «Полутораглазый стрелец», блестящий поэт и переводчик французских и грузинских поэтов, а также приехавшие из Москвы Светлов и Николай Дементьев. Выступали также молодые, но большого впечатления на нас они не произвели. На этом вечере я познакомил Светлова с Заболоцким. Помню недоуменное выражение их лиц. Они молча и равнодушно пожали друг другу руки. Заболоцкий, с которым мы пошли вместе, ни словом не обмолвился об этом эпизоде. Знакомство этих двух столь непохожих друг на друга поэтов не имело продолжения.

ВЕЧЕР В КАПЕЛЛЕ

По случаю приезда московских гостей Шкловского, Асеева и Кирсанова в здании Капеллы на Мойке состоялся публичный диспут на тему о состоянии современной поэзии. Выступали Шкловский, Эйхенбаум, Саянов и другие. Я примостился на эстраде между Хармсом и Заболоцким.

В своем выступлении Б. М. Эйхенбаум говорил о стихах Заболоцкого как о новом, многообещающем явлении в русской поэзии. Он объяснял свежесть и яркость его образов тем, что он пришел в поэзию из детской литературы и принес с собой непосредственность детского восприятия мира. Мы с Николаем Алексеевичем переглянулись, мы-то знали, что дело обстояло как раз наоборот. Заболоцкий сложился как поэт раньше, чем стал детским писателем. Но, конечно, возражать Эйхенбауму, который, впрочем, с большой симпатией говорил о Заболоцком, здесь было неуместно.

Хармс счел нужным прочитать специальную декларацию, начинавшуюся словами: «Ушла Коля!» Думаю, что кроме Заболоцкого и меня, никто не понял эту заведомо заумную речь. Здесь был упрек Заболоцкому, порвавшему с Обериу, тогда как его бывшие соратники вынуждены были одни отстаивать прежние позиции.

Заболоцкий вообще с самого начала стоял несколько особняком от остальных обериутов. Ему были чужды их методы пропаганды своего искусства, клоунада и эпатаж публики. Ему, как и Вагинову, это было просто не нужно, так как противоречило духу и смыслу его поэзии. Раздражение Хармса, как я думаю, объяснялось тем, что Заболоцкий оказался признанным поэтом, стал пользоваться несомненным успехом, а остальные обериуты почувствовали себя изолированными.

После Хармса выступил Кирсанов, читавший свои стихи. И тут разгорелись страсти.

Следует иметь в виду, что молодой Кирсанов мало походил на маститого поэта. В то время, о котором идет речь, стихи Кирсанова в основном были рассчитаны на внешний эффект. Особенно прогремело четверостишие:

Мэри — наездница
У крыльца

С лошади треснется
Ца-ца.

Такие стихи слабо, как говорится, котировались, особенно в тогдашнем Ленинграде. И вот в то время, когда он читал стихи, сидевший рядом со мной Хармс поднял ворот пиджака, укрыл в него голову, сунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. Кирсанов немедленно ответил: «Я тоже умею», и свистнул не менее оглушительно. Но когда он попытался продолжить чтение стихов, раздалось шиканье, и затем из разных концов зала послышались крики: «Заболоцкого! Заболоцкого!» Заболоцкий, разумеется, в такой обстановке не мог выступить, но это не меняло того факта, что вечер закончился его триумфом.

«СТОЛБЦЫ»

До поздней ночи мы с Николаем Алексеевичем сидели за столиком и вычитывали принесенные им из издательства гранки его книги «Столбцы». Мы путались в мудреных корректорских значках и чаще исправляли опечатки по-своему. Опечаток было немало, но мы работали добросовестно и, кажется, не оставили ни одной.

На память об этой совместной работе он подарил мне рукопись своей книги и экземпляр «Столбцов» с дарственной надписью. К моему горю, все это погибло в годы ленинградской блокады.

Николай Алексеевич был огорчен тем, что издательство утвердило бесцветную и трафаретную обложку книги работы художника Кирнарского, тогда как художник Юдин сделал яркую, красочную обложку, вполне отвечающую духу книги.

Николай Алексеевич затопил печку. Мы сидели с ним на корточках и смотрели на огонь. Я сказал:

— Ну вот, через несколько дней выйдет ваша книга. Может быть, как Байрон, вы однажды проснетесь знаменитым.

Он улыбнулся и сказал, что сейчас другие времена и все обстоит значительно сложнее, чем при Байроне.

Но я напророчил: он действительно проснулся знаменитым. В журналах появились ругательные рецензии и критические статьи. Особенно возмутительной была злобная статья некоего Амстердама, который, как видно, ничего не понял в стихах Заболоцкого и все поставил с ног на голову. Врага и обличителя мещанства этот критик превратил в апологета мещанства.

Николай Алексеевич не терял присутствия духа и стойко

переносил несправедливые нападки заушательской рапповской критики[1].

В этой критике было немало просто вздорного. Заболоцкий рассказывал:

— Нашелся какой-то критик-кретин, который обвинил меня в нимфомании. Кстати, вы не знаете, что это такое? За это судят?

Зашла речь о том, кому послать авторские экземпляры «Столбцов». Надо бы Пастернаку. И тут же Н. А. вспомнил Павло Тычину, который послал свою книгу на украинском языке Ромэну Роллану, Рабиндранату Тагору и Бернарду Шоу.

— Вот пошлешь книгу, а кто-нибудь получит и также посмотрит на нее с недоумением.

Однако Пастернак потом прислал открытку с вежливой, но сдержанной благодарностью за книгу.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В 30-х годах мы не виделись с Николаем Алексеевичем. Жизнь моя сложилась так, что я должен был заниматься делами, далекими от поэзии, и только издали следил за тем, как развивалось его творчество. Сочувствовал его тяжелой судьбе, радовался его удачам.

В октябре 1958 года, по пути в Ленинград, я остановился на несколько дней в Москве. Утром, выходя из гостиницы, я купил номер «Литературной газеты» и увидел извещение о смерти Н. А. Заболоцкого. Тут же сообщалось о том, что в этот день должна состояться гражданская панихида. Я бросил все дела и отправился в Центральный Дом литераторов.

Кто-то из произносивших речь сказал, указывая на множество цветов, окружающих гроб:

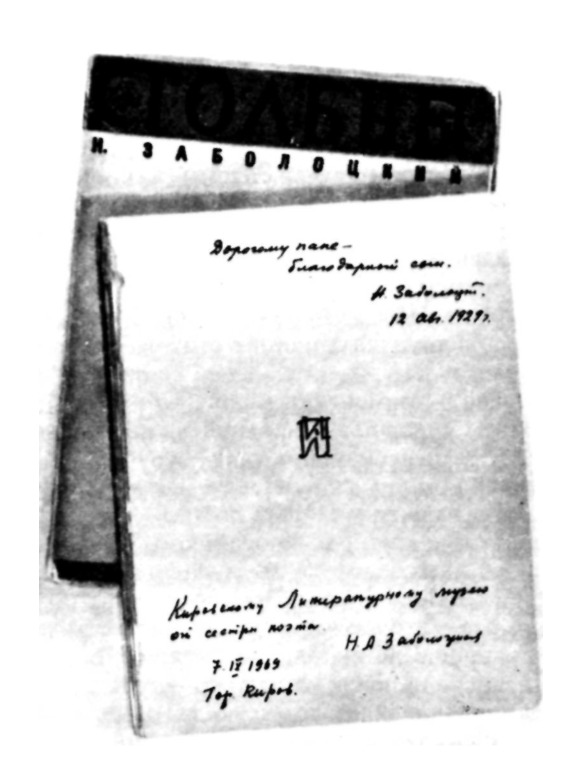
— Жаль, что он очень мало цветов видел при жизни.

Так судьбе угодно было устроить мне последнюю встречу с Николаем Алексеевичем.

1973

---

[1] О рапповских критиках Заболоцкий сказал так: «Одно дело, когда говорят: пиши о чем угодно, не касайся только одного. И совсем другое дело, когда рапповцы требуют: пиши только об одном и больше ни о чем. Это существенная разница».



Обложка первой книги стихотворений Н. Заболоцкого «Столбцы», 1929 г. Экземпляр этой книги, подаренный поэтом своему отцу Алексею Агафоновичу, хранится в Кировском литературном музее

Д. МАКСИМОВ

ЗАБОЛОЦКИЙ

(Об одной давней встрече)

Для всех, любящих русскую поэзию, и, в частности, для нас, людей старшего поколения, переживших ее бурный расцвет 20-х — 30-х годов, имя Заболоцкого незабываемо. В замечательном поэтическом полногласии тех лет и последующих десятилетий мужественный, громкий и глубокий голос Заболоцкого ни с чем не спутаешь. Его поэтический мир органичен и вместе с тем в большей мере, чем у других лири-

ков, подчинен творческой воле поэта, а его путь, ведущий его от захватывающей дисгармонии «Столбцов» к стройности и просветленности его лучших зрелых созданий, поразительно, классически рельефен и сознателен. Наша задача — восстановить общими силами как можно полнее образ поэтического мира Заболоцкого и его самого — рассказать о нем то, о чем нам вспоминается и о чем думается, не смущаясь ограниченностью своих воспоминаний, если они ограничены, как и моем случае.

Хорошо помню первое, очень, очень острое, почти ошеломляющее впечатление от стихов Заболоцкого, которые я слышал в его чтении. Оно вполне отвечало тому, что Цветаева в применении к каким-то совсем другим явлениям назвала «ударом узнавания». Заболоцкий выступал в 1928 году в небольшом зале «Кружка камерной музыки», который помещался на Невском, против Публичной библиотеки. Был вечер молодых поэтов — сплошь обериутов или обериутов с какой-то прослойкой, не помню. Время стерло из моей памяти имена выступавших, хотя среди них могли быть и хорошие поэты. Всех заслонило, по крайней мере для меня, чтение Заболоцкого. Он читал стихи из «Столбцов», которые еще не вышли, но, видимо, были уже в основном написаны или почти написаны. Заболоцкий, как я узнал впоследствии, был незадолго до того времени демобилизован. Поэтому, как недавний красноармеец («краткосрочник»), он еще не расстался со своим обмундированием и выступал в военной форме.

Чтение его резко отличалось от распространенного в то время «есенинского» выпевания стихов, лирической самоотдачи, уже лишавшейся душевной напряженности, превращавшейся в манеру. Заболоцкий читал так, как это соответствовало строю его ранних стихов: четко, императивно, мажорно, без всяких признаков «музыкального самозабвения». Гротескный иррационализм словосочетаний как будто сталкивался в этих стихах, и в их голосовой подаче и в их содержании с четкостью звука, бодрствующей мыслью, определенностью темы:

Гляди: не бал, не маскарад,
здесь ночи ходят невпопад,
здесь, от вина неузнаваем,
летает хохот попугаем;
раздвинулись мосты и кручи,
бегут любовники толпой,
один — горяч, другой — измучен,
а третий книзу головой...

И — окончание этого стихотворения («Белая ночь»):

И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса[1].

Больше всего останавливала внимание эта концовка. В ней. ощущались не только эпатирующая смелость, смысловая сдвинутость, которые могли возникать в поэзии и возникали иногда на почве чисто рационалистического задания. Эти стихи притягивали какой-то органической **странностью** («остранение» — не то слово!), заключенным в них невыразимым, но гипнотически действующим «третьим смыслом», от которого немного кружилась голова. (Эта «странность» мне и сейчас представляется особой, не вписанной в научную поэтику поэтической категорией. Тогда мы много разговаривали на эту тему с молодым поэтом, примыкавшим к обериутам, — Евгением Ивановичем Вигилянским.)

Теперь, заглядывая в «Столбцы», я чувствую в этих стихах и еще одну особенность — характерный для зрелого Заболоцкого ассоциативный фон: видение белых ночей Достоевского. «Недоносок» Баратынского, уводящий к гомункулу из «Фауста» Гёте, и тот же недоносок в спирту, взятый как будто из петровской Кунсткамеры, а рядом — полуиронические «ангел» и «небеса»... И наконец — вполне вольная мысль о том, что образ этого жалкого недоноска, рвущегося на небеса, резюмирует всю картину «несостоявшейся» белой ночи и заставляет догадываться о глубоко потаенном страдании поэта, уязвленного тем, что она «не состоялась», и, может быть, думающего за недоноска едва ли не в духе И. Анненского: «А если грязь и низость — только мука по где-то там сияющей красе...»

Прослушав эти и подобные им стихи Заболоцкого, мои товарищи и я так заинтересовались неизвестным нам и вообще малоизвестным тогда поэтом, что решили познакомиться с ним покороче. Мы просили его выступить в нашем

[1] Цит. по изд. «Столбцов», 1929. Сборник этот воспроизведен в первом томе трехтомного собрания сочинений Н. А. Заболоцкого. М., 1983.

небольшом, вполне приватном литературном кружке. Кружок наш состоял из молодых поэтов и прозаиков, товарищей по Ленинградскому университету, который они, то есть мы, только что окончили. Кружок этот — молодой, дружественный, веселый — по числу его членов назывался «Осьминогом» и собирался у меня дома на улице Жуковского, против Греческой церкви, ныне не существующей.

И вот в условленный вечер к нам пришел Николай Алексеевич Заболоцкий. Собравшиеся «осьминоговцы» и их гости, «молодежь без стариков», сверстники Николая Алексеевича, встретили его радушно и приветливо, даже «с почетом». Он пришел к нам охотно, по первому зову, держался с уважением к собеседникам, скромно, хотя и без излишней скромности и без видимой застенчивости, но отнюдь не пытался завладеть разговором, стать центром общества. Его лицо, здоровое, с правильными чертами, с заметным румянцем выглядело самым обыкновенным. Ничего нарочито поэтического, или богемного, или экзотического в этом лице и в сдержанных манерах нашего гостя не было. Очки, которые он носил, казалось, окончательно исключали возможность увидеть в нем поэта, каким он представлялся по старой традиции (Пушкин, Лермонтов, Блок в очках — ведь это невозможно!). Он смотрел просто и непритязательно, и, конечно, ни один прорицатель или экстрасенс не угадал бы в этих спокойных, трезвых и ничем не выдающихся чертах признаков его чудесного дара и откровений о его будущей жизни — большой, трагической, беспощадно суровой и все же прекрасной и значительной.

Как разительно отличался облик Заболоцкого от его товарища по группе обериутов Даниила Хармса, который также нас как-то посетил! Хармс по-футуристически заботился о своей внешности, стремясь придать ей вид необычный, и достигал в этом полного успеха. Идеально вежливый в обращении, высокий, эффектный, с лицом до предела бледным, даже зеленоватым, Хармс благодаря какому-то сгустку материи на голове, напоминающему тюрбан, был похож на индийского факира (он пояснял, что этот «тюрбан» — не что иное, как мешок из-под бумаги, заимствованный им из широко известного уединенного места). Зычный, отрывистый голос Хармса, читавшего свои «заумные» или детские стихи с мрачным, сосредоточенно-серьезным выражением лица, всей тяжестью обрушивался на взрослых слушателей, а детскую аудиторию — об этом мне рассказывал К. И. Чуковский — доводил до безграничного восторга.

Заболоцкий в способе носить себя, читать стихи и разговаривать был совершенно чужд этой «футуристической» позе. При первом взгляде его можно было принять за молодого инженера, врача, агронома, как его отец, пожалуй, даже спортсмена.

Николай Алексеевич читал нам то, что мы уже слышали, и другое, чего еще не знали. Окончив чтение, он попросил нас познакомить его с нашими собственными «поэтическими достижениями» и очень внимательно нас прослушал. Мои друзья, «осьминоговцы», настроенные в эстетическом отношении «правее» обериутов и даже «правее» Пастернака, отнеслись к поэзии Заболоцкого, как и на вечере в Кружке камерной музыки, с интересом и признанием, но довольно сдержанно. Для меня стихи его были ближе, чем для них. Меня влекла к этим стихам какая-то новая опредмеченная, играющая воля и острота. Я чувствовал в них не только иронию и отрицание, но и жизнеприятие, задорное утверждение плотского трехмерного мира. И все же в мире молодого Заболоцкого, при всем великолепии его причудливых, фантастических очертаний, мне лично не хватало «музыки», откровенной красоты, созерцательности, и я, завороженный услышанным, не мог сказать, что оно — вполне мое.

Серьезного обсуждения стихов не было. Мы сели за стол, напились чаю с колбасой и с каким-то скромным угощением. Обменялись мнениями о стихах и о разном. Николай Алексеевич живо заинтересовался моими лирическими опытами и пригласил меня к себе ознакомиться с ними подробнее и вообще поговорить.

Заболоцкий жил в конце 20-х годов на Конной улице (дом 15, квартира 33), в районе Старого Невского, недалеко от Александро-Невской лавры. Писатели, как и все на свете, живут чаще всего в местах случайных, безразличных к их внутреннему обиходу, не соотносимых с душевной окраской их жизни и творчества и не вникая в суть этих мест.

Не с каждым местом сговориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну, —

писала Ахматова.

Но бывает и по-другому. Бывает так, что и писатели, и их душевный микромир, и их окружение в городе или в деревне связаны тесным родством. Писатель вбирает в себя какие-то важные черты окружающей его обстановки, ее ауру, какие-то испарения и осадки ее души. А если это писатель значимый, то в дальнейшем, обычно уже тогда, когда его нет в

живых, место, где он жил, окрашивается его именем и порожденной этим именем атмосферой.

Таковы приземистые, прозаические кварталы Петербурга 70-х — 80-х годов прошлого столетия — Ямская улица и Кузнечный переулок, где находилось последнее жилище Достоевского. Блок выбрал себе местом жительства район, который соответствовал его давно сложившимся вкусам — вдали от чуждой ему парадной части Петербурга, вблизи от Новой Голландии, — на стыке бывшей Офицерской улицы и плавно изгибающейся набережной Пряжки с травянистыми зелеными берегами. И таким естественным казалось, что из верхних окон его дома (он жил на четвертом этаже) были видны краны и эллинги судостроительного завода, туманная полоска дальнего леса, а иногда и мачты проплывающих в далеком море кораблей. Старший современник Заболоцкого, близкий к обериутам, Константин Вагинов, один из последних носителей в нашей литературе старого, уже обессиленного, но все еще прельстительного, чисто петербургского европеизма, обосновался — не выбирая сознательно этого места — именно там, где, думалось, ему и надлежало пребывать: в узком проезде на задворках Консерватории, почти рядом с чернонепроницаемой, медленной водой Екатерининского канала, в двух маленьких комнатах, которые вместо электричества намеренно освещались желтым светом керосиновых ламп.

Приютившая Заболоцкого Конная улица и пересекающий ее Перекупной переулок — особая частица петербургского мира, окруженная родственными ей пространствами. Между прочим, в Конную вливаются два переулка с такими же многоговорящими названиями: Тележный и Железный.

Не знаю, долго ли живет в духовно переродившемся, обновленном городе, в его переименованных улицах, в зданиях, подъездах, каналах, чердаках его старая душа, обреченная на умирание. Думаю, что не очень долго. Сохранившиеся, кристаллизованные в архитектуре формы города намного переживают эту сложившуюся в далеком прошлом ветхую душу. Она лишь в редкие минуты, как привидение, взглядывает на нас из темных оконных проемов старых домов и, может быть, протягивает к нам руки.

Конная улица в то время, когда я посетил Заболоцкого (я был у него дважды), еще хранила в себе следы своего ушедшего в вечность прошлого: грузного, громыхающего быта дореволюционного торгово-промышленного

Петербурга. Недаром само название пошло от находившегося здесь конного базара, остатки которого, небольшой рынок частников нэповского периода, еще сохранились ко времени моего посещения. Мне запомнились на Перекупном переулке товарные склады в нижних этажах, тяжелые двери с железными скобами и с огромными замками, булыжная, пыльная мостовая и грохочущие ломовые телеги, запряженные слоноподобными битюгами.

Так ли это все? Может быть, я немного преувеличиваю, подкрашиваю, рассказывая об этих «центральных окраинах», накладываю на них более ранние, детские и отроческие воспоминания? Мне представляется, что — нет, память работает отчетливо и подкрепляется мыслью о нэпе, который, затихая, еще бродил тогда по улицам Ленинграда и старательно оживлял формы дореволюционного уклада. А если в самом деле следы далекой старины разрастаются в моем рассказе, то, вероятно, они разрастались и в мыслях Заболоцкого, который ежедневно соприкасался с тем, что встречало его у ворот его дома: с образами настоящего и застрявшей в уличных камнях призрачной душой старого города. Во всяком случае, хотя Заболоцкий жил в тех местах сравнительно недолго, в его «Столбцах» содержалось нечто, крепко связанное с тупым, заскорузлым неуютом Перекупного и Конной. Это — фон, пейзаж «Столбцов». Я внятно почувствовал его еще тогда — входя к Заболоцкому и выходя от него.

Ломовики, как падишахи,
Коня запутав медью блях,
Идут, закутаны в рубахи,
С нелепой важностью нерях.

Вокруг — пивные встали в ряд,
Ломовики в пивных сидят.
И в окна конских морд толпа
Глядит, мотаясь у столба...

Строки эти взяты из стихотворения, которое названо «Обводным каналом». Но мало ли таких каналов было в Петербурге! И Конная — Обводный канал, и Обводный канал — Конная. И даже кусок Невского, где располагалась тогда пивная «Красная Бавария» (название одного из стихотворений «Столбцов»), конечно совсем не похожий на Конную, находился с нею в каких-то потаенных отношениях.

Комната Николая Алексеевича, снятая у хозяина, была

не только маленькой и скромной, но и почти пустой, необжитой, как бы временной, с едва заметными признаками мебели. Но, к счастью, он жил в ней в одиночестве — не то что в годы студенчества и позже, когда в тесной мансардной клетушке ему приходилось ютиться вместе с тремя товарищами. Бросалась в глаза лишь одна примечательная подробность: стены комнаты были обвешаны цветными картинками, изображавшими фигуры каких-то причудливых человечков. Заболоцкий не скрывал, что это были его работы, в которых он откровенно подражал Филонову. Николай Алексеевич объяснил мне, что Филонов — его любимый художник и что он с ним встречается. (Филонов тогда пользовался большой популярностью, имел много учеников и был экспонирован в Русском музее значительно полнее, чем в наше время.) Филоновым и я очень интересовался, и в этом наши вкусы с Заболоцким вполне совпали.

Поскольку наш разговор зашел о художниках, Николай Алексеевич показал мне лежащую перед ним на столе книгу Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» со знаменитыми иллюстрациями Гюстава Доре. Он, по-видимому, уже задумывал тогда переложение этой книги для детей. Она ему очень нравилась, но о рисунках Доре, в самом деле великолепных, изобретательно-гротескных, полных веселой фантазии, он говорил едва ли не с интонациями влюбленного, для него редкими. И это бурное внимание Заболоцкого к раблезианскому пиршеству в иллюстрациях Доре и к самому Рабле отложилось в моей памяти очень ярко.

Но, разумеется, мы разговаривали тогда с Николаем Алексеевичем далеко не только об этих художниках. Основной темой была поэзия. Он читал мне свои стихи и слушал мои. Он вполне верил в свое дарование, в предстоящий ему путь творчества, и мимоходом сказал, что признан как поэт людьми, авторитет которых для него не подлежит сомнению. Говорил, между прочим, о Пастернаке, о том, что с этим поэтом, как бы Пастернак ни был талантлив, ему не по пути, что он не близок ему. Он говорил, помнится, и о Вагинове, находя его недостаточно смелым.

К моим стихам, которые он слушал с голоса и читал по рукописи, он отнесся очень положительно (они в чем-то соприкасались с его поэзией) и сделал о них несколько лестных для меня замечаний. Этой темы я не буду касаться, так как свои стихи не печатал — ни тогда, ни позже. Я хочу только отметить, что за этими замечаниями стояла какая-то общая изначальная доброжелательность, стремление не к

тому, чтобы указывать недостатки, а к тому, чтобы в первую очередь найти хорошее, оригинальное и уверить в том, что нужно продолжать начатое и сложившееся. Даже «минорный уклон», который он заметил в моих стихах и который, очевидно, не был ему близок, он нашел вполне органичным, то есть законным. Я так и не знаю, было ли это товарищески доброе отношение к чужому общим свойством его личности, или ему понравились именно мои пробы, но его отзывы, должен сознаться, подкрепили и без того возникшее во мне расположение к нему.

Конечно, сидя в аскетически скромном жилище Заболоцкого, занятый разговором с ним, и все же подспудно, непрестанно думая о его поэзии, я не дошел до общих выводов о ней. Я не был еще настолько испорчен наукой, чтобы предпочитать литературоведческие рефлексии интересному и живому разговору с милым и дружественно настроенным человеком. Заболоцкий был для меня не объектом анализа, а просто собеседником, и вместе с тем поразительным поэтом.

Мысли о творчестве молодого Заболоцкого стали складываться позже.

Откуда пришла к нам поэзия «Столбцов», такая дерзкая и своеобразная? В этом заключался один из основных вопросов.

Конечно, Хлебников, обериутское окружение — это было ясно при первом приближении к поэзии Заболоцкого того времени. Но думалось не только об ее литературных истоках, но и об истоках жизненных. Совершенно очевидно, что стихи эти породила встреча с какими-то страшилищами косного, бездуховного мира, обступившими поэта на полусимволической Конной улице и многих ей подобных, а может быть, и более того — явившимися в сознании поэта как псевдоним косных мировых сил в их универсальной космической сути. Недаром Заболоцкий писал о «глуши веков», имея в виду, ближайшим образом, пивную «Красная Бавария», и о «ходе миров», подвластных «маклаку», — в «Обводном канале». Не случайно стихотворение о кошках («На лестницах») в подаренном мне рукописном варианте он назвал «Бессмертием». Была очевидна и правота тех критиков (а среди них был и я в своей давней статье), которые видели в этих стихах презрение к уродливым порождениям нэпа. Нельзя не понять также и того, что одним лишь нэпом захват «Столбцов» не ограничивается, что эти стихи отно-

сятся к мещанской трясине и пошлости в самом широком ее проявлении — нэпмановском и сверхнэпмановском. Сам Заболоцкий в позднейшей автобиографии, не боясь некоторой схематизации и выпрямления, определил содержание «Столбцов» как «сатирическое изображение этого быта».

Но поэзию «Столбцов» вряд ли можно объяснить одним негативным отношением к физиологии быта, каким бы косным он ни был. Стоило ли поэту такого масштаба, как Заболоцкий, тратить свою творческую энергию на разоблачение пошлых мещанских свадеб и «пивного веселья»? Думается, что нет. Этим разоблачением содержание его молодой поэзии не исчерпывается.

А. Блок в одном из отрывков 1920 года писал об условном, а по сути, о диалектическом характере понятия «сатира», о том, что Мопассан в некотором смысле был влюблен в своего пошлого и разоблачаемого им героя Жоржа Дюруа (роман «Милый друг»), так же как и «Гоголь был влюблен в Хлестакова»[1]. Для всех ясно, что Заболоцкий в «Столбцах» презирает объекты своего изображения, своих «свинцовых идолов», стопудовую тупость вещей, символизирующих этот прозаический мир, и людей-уродцев и уродов, подобных этим вещам. Но Заболоцкий, как и Мопассан и Гоголь, — **художник** и как таковой не может по-своему не любоваться — **эстетически** любоваться — грубой и тупой, но остро ощутимой материальностью, фламандской плотью этого мира, громыханием его тяжеловесной материи, его грузной, утробной, но красочной жизненностью. Сравним стихи из «Рыбной лавки» Заболоцкого и «Жизни Званской» Державина:

Заболоцкий:

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

---

[1] Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М.—Л., 1962, с. 153. Этот отрывок условно назван редактором «Об искусстве и критике».

Державин:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером
Там щука пестрая: — прекрасны!

Понятием сатиры эти стихи не покрываются. Ни Державин, ни Заболоцкий, по-видимому, не имели намерения разоблачать в них нэпманов. Оба поэта отдавали дань фламандскому, снейдеровскому изображению и в этом были близки друг другу. Но между их описаниями есть и значительное различие. У Державина — просто любование. У Заболоцкого (это видно из дальнейших стихов «Рыбной лавки») любование художника совмещается с иронией и с издевкой над этим засильем еды. Этой убеждающей, эстетически правомерной двойственностью отмечены и все остальные темы «Столбцов». Заболоцкий, оценивая по заслугам духовную плоскость развернутого им быта, забавляется его фигурной экзотикой, его уродливо-потешными причудами и гримасами, разглядывает их, играет с ними «в шутку» или «всерьез», как бы подражая в своем словесном ряду их величественной нелепости:

И грянул на весь оглушительный зал:
— Покойник из царского дома бежал!

Покойник по улицам гордо идет,
его постояльцы ведут под уздцы... (и т. д.)

Во всей этой «сюрреалистической» игре, магической странности образов и в словесно-тематических сдвигах молодой Заболоцкий опирался не только на Хлебникова и зависимых от него поэтов. Вероятно, в такой же мере, как и они, в какие-то моменты ему помогли в его творческом самоопределении его любимые художники, такие, как Питер Брейгель, Анри Руссо, Шагал, может быть, Босх и участники «Бубнового валета», и во всяком случае и в первую очередь — Филонов. (В какой последовательности они влияли — сказать трудно.) Моя встреча с Заболоцким, как я уже упоминал, открыла мне глаза на его связь с искусством Филонова, когда об этом еще не писали и не могли писать. Вероятно, сыграли роль и эстетические идеи Филонова, близкие к идеям Хлебникова. Импульс, идущий от Филонова, явно сказался в «Столбцах» — Филонов шепнул их автору свое «тайное слово». Филоновская фантасмагория, деформация натуры, гротеск, аналитическое разложение вещей

ощутимо отразились в стихах молодого Заболоцкого. Улавливается и общность некоторых тем — например, образы ломовиков у художника и поэта. «Петербургский извозчик — это миф», — писал Мандельштам в «Египетской марке». Он имел в виду легковых извозчиков, но ломовики Филонова — Заболоцкого — еще более мифологичны, первобытны, доисторичны, зооморфны.

Однако различия Заболоцкого и Филонова были не менее значительны, чем близость. В «Столбцах» несравненно больше быта, предметности, чем у Филонова, и несравненно меньше иррационального. И еще более важное отличие — в их мироощущении: контраст упорной жизнеустойчивости и духовного здоровья Заболоцкого и трагической основы остроталантливого болезненного искусства Филонова.

Я уверен, что в эпоху «Столбцов» у Заболоцкого была и другая точка опоры. Я уже писал о том, что слышал от Николая Алексеевича почти восторженные отзывы о Рабле и особенно об иллюстрациях к нему Доре (восторг без слова «почти» у Заболоцкого, по-видимому, редко проявлялся). Над переложением для детей книги Рабле он много работал. Плотский и тучный раблезианский фермент — сам Рабле и Рабле через Доре — был кровно близок молодому Заболоцкому. Дух Рабле, цветение играющей, грубой жизненности торжествует и в наступательных, волевых интонациях «Столбцов» и в их гротескно-сатирической — более гротескной, чем сатирической, — образности, в их великолепной угловатой тяжеловесности.

Если бы я писал литературоведческую работу о Заболоцком, я, не убоявшись затертости этого понятия, коснулся бы вопроса о «карнавальной» стихии в «Столбцах», которую открыл в творчестве Рабле М. М. Бахтин. Но писать на эту тему бегло было бы неуместно, тем более что она уже была затронута в известной книге о Заболоцком А. В. Македонова. Скажу только, что «карнавальный» дух в «Столбцах», независимо от того, в какой мере он был связан с автором «Гаргантюа и Пантагрюэля», действительно присутствует. И вероятно, не только «пестрый», «серый», но и «черный — карнавал» — danse macabre. Раблезианство с его «полнокровным оптимизмом» [1] оказалось у раннего Заболоцкого своего рода поправкой к возможному влиянию болезненных

---

[1] Заболоцкий Н. Рабле — детям. — «Литературный Ленинград», 1935, 14 октября.

сторон филоновской живописи. Филонов и Рабле, в прямом и символическом осмыслении их имен, — два полюса в творчестве молодого Заболоцкого — похожие друг на друга в одном и далекие — в другом.

И все же безвоздушная жизненность «Столбцов», с приглушенным, полуспрятанным лирическим «я», отсутствие катарсической разрядки, их замкнутость в сфере беспросветного гротеска внушали тревогу. «Дом без воды» — называл я эти замечательные стихи впоследствии. Возникала, пока еще робкая, мысль о том, что в «Столбцах» — лишь одна из стихий еще не явленного в целом, но живущего в душе поэта, за гранью этих стихов, вольного и широкого мира гармонической поэзии. И, конечно, я был прав, во всяком случае по отношению к миру природы. Много позже я узнал, что Николай Алексеевич появился в нашем городе, приехав из далеких вятских краев с огромным опытом общения с природой, с ее образом в сердце, интимно и крепко связанный с ее первозданной чистотой. И узнал я еще, что и в период, когда он работал над «Столбцами», он создавал такие высокие стихотворения, как «Лицо коня», «В жилищах наших», «Прогулка», которые в корне расходились с содержанием этого сборника и не вошли в его первое издание. Вот, например, изумительные стихи о коне, где почти уже предсказана будущая «натурфилософия» Заболоцкого:

...Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.
И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется как царская порфира.

Возвращаясь к своей встрече с Заболоцким, я хочу сказать, что это другое, еще не увиденное мною в стихах лицо поэта, и тогда, неожиданно, на один миг мне открылось.

Я не могу сейчас передать, даже относительно связно и полно, о чем мы еще говорили в тот вечер с Николаем Алексеевичем, но одна подробность запомнилась крепко. Она может показаться мелкой, но для меня она была важной, открывающей именно ту сторону поэтического

мира Заболоцкого, о которой я сейчас упоминал и которую читателям его первой книги разглядеть было трудно.

По ходу беседы я прочитал Николаю Алексеевичу несколько стихотворений одного молодого поэта К., посетителя наших «осьминоговских» сборищ, моего приятеля (он как поэт никогда не печатался). Одно из них называлось «Дон-Жуан». В нем в белых стихах говорилось о горбатом Дон-Жуане, с эфирным горбом, и его встрече со своей страдающей подругой. Тема стихотворения была эротической, но вполне свободной от дурного эротизма. В стихотворении большое значение имели те словесные сдвиги и деформации образа, которые, как мне казалось, должны были понравиться Заболоцкому. И оно ему в самом деле понравилось. Но, говоря о нем (я это хорошо запомнил), Николай Алексеевич совсем не коснулся заострений его словесной фактуры. Внимание Заболоцкого привлекла едва ли не самая простая и бесхитростная строка, в которой без всякого нажима и тайнодействия рисовался образ героини в час «вечерней любви» — «на склонах дня»:

Поголубели руки как ручьи.

— Как чисто! Какой чистый образ и звук!

Мне показалось, что Заболоцкий сказал это с некоторым волнением, с чувством, выраженным сильнее, чем это бывает при обычном разборе стихов. И мне показалось также (может быть, позже?), что эта фраза Заболоцкого что-то открывала. И не только в стихах пришедшего в мир и без следа ушедшего из него поэта, о котором шел разговор, но и в самом оставшемся в мире и навсегда утвердившемся в русской поэзии авторе «Столбцов». Поразил меня в этом восклицании Заболоцкого новый звук, не совпадающий со звучанием «Столбцов». Там все было иное: забавляющее поэта, пугающее его, презираемое им, заклинаемое им игрой, но упорно наседающее на него — массивное, приземистое — непролазный быт полумифологических Ивановых. Но то было в настоящем, а будущее показало, что развивающимся ядром, основой роста в поэзии Заболоцкого оказались не его отношения с миром «Столбцов», а то, о чем проговорился он в этой случайной реплике. Оно и восторжествовало в предстоящей ему поэзии.

Да, то, о чем я рассказываю, было лишь намеком, но за ним стояло уже тогда большое, сущее в душе поэта, сущее изначально. Именно этому живому и гармоничному строю

поэтического сознания Заболоцкого суждено было окрепнуть с годами и привести поэта к созданию таких прекрасных, жизнеутверждающих стихотворений, как «Начало зимы», «Ночной сад», «Все, что было в душе», «Север», «Лесное озеро», «Слепой», «Гроза», «Бетховен», «Уступи мне, скворец, уголок», «Чертополох»... В 50-х годах он писал и такое, что мне эстетически не нравилось, что было сделано им, как представляется мне, по какому-то внутреннему рационалистическому и даже дидактическому заданию — человечески благородному и высокому, но не вполне совпадающему с его поэтической стихией — «на вытянутых мускулах» (например, «Некрасивая девочка», «Старая актриса» и др.). Но суть, конечно, не в этом. Заболоцкий нашел в себе новую глубину, гармонию и простоту и положил их в основу своего творчества.

...Жизнь повернулась так, что с Николаем Алексеевичем, после проведенного у него вечера, мне пришлось встретиться всего один раз. Мы говорили тогда мало. Помнится — о стихотворении «Север». Это была совсем другая эпоха в его развитии, которую не следует смешивать с эпохой «Столбцов». В ту пору он пользовался обогащающим опытом своей молодой поэзии, но она, как целостное явление, отодвинулась для него в прошлое, незабываемое и неповторимое. Его новые искания и достижения были связаны теперь и в дальнейшем с традициями русских классических поэтов, с их высокой человечностью и с их стиховой культурой.

Ленинград, 1983



Автопортрет Н. Заболоцкого. 1925 г

С. БОГДАНОВИЧ

ТО, ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

(Из встреч с Заболоцким)

В 1928 году, на вечере обериутов, Николай Леонидович Степанов познакомил меня и моего мужа В. А. Гофмана с Николаем Алексеевичем Заболоцким. На этом вечере читали свои произведения несколько молодых поэтов, но их выступления совершенно меня не затронули, стихи же Заболоцкого сразу поразили и очаровали.

Впечатление было похожее на уже испытанное мною в детстве, когда я видела и слышала Маяковского, читавшего только что созданные строки. Но тогда это было смутно, еле осознанно, теперь же ясно и определенно.

В мою задачу не входит сравнительный анализ стихов Маяковского и Заболоцкого и их значения в литературе, я говорю только о впечатлении нового, которое дает такую огромную радость человеку, способному это новое воспри-

нять. ...И вот мы стоим где-то в вестибюле, Николай Леонидович нас знакомит, и мы пожимаем руку розовощекому молодому человеку с гладко причесанными белокурыми волосами, с внимательным и в то же время самоуглубленным взглядом светлых глаз.

Мое описание внешности Заболоцкого ничуть не отличается от описаний других современников. Да, он был такой. Совершенно обыкновенное русское лицо. Но для меня внешность настоящего поэта настолько сливается с любимыми мною стихами, что даже нельзя себе представить, что он мог бы иначе выглядеть.

Его розовое лицо и пристальный взгляд голубоватых глаз до такой степени слились в моем представлении с образами его стихов, что как бы стали внешним выражением самого существа его поэзии.

Потом мы шли вместе с Заболоцким по Невскому, наперебой повторяя запомнившиеся строки его стихов или прося его прочесть особенно понравившееся стихотворение. Он читал охотно низким ровным голосом, без смысловых нажимов и ритмических распевов. Прочел он и «Красную Баварию». Это был очень знакомый мне бар, частенько именовавшийся «филиалом Детгиза», потому что молодые редакторы Детгиза любили встречаться там с авторами за кружкой пива. Ничего особенного в этом баре, кроме соседства с Домом книги, я не замечала. И вдруг мои представления растаяли, я вошла в «бутылочный рай», увидела плавающее в бокале окно, сирен с эмалированными руками, мужчин, качающих по потолкам «бедлам с цветами пополам». И эта дикая сказка стала для меня убедительней реальности.

Для молодого Заболоцкого характерно двойное видение мира. Ярко и точно показывает он внешние черты этого пьяного мирка: сирен, «жующих бутерброд от скуки», народ, который «спадает с лестницы» и «трещит картонною сорочкой», «жирные автомобили», но сам он одновременно внутри, в вихре событий, превращающих пьяный мирок в странный, бредовый мир, где «глаза упали точно гири, бокал разбили», где «мужчины тоже все кричали... Один язык себе откусит, другой кричит: я — иисусик», и «жирные автомобили» хватали «под мышки Пикадилли» и наверняка уволакивали ее за собой, так что ничего уже больше не оставалось... И только:

Через туман, толпу, бензин
Над башней рвался шар крылатый
И имя Зингер возносил.

После этих слов я невольно засмеялась: ведь чуть не каждый день видела я крылатый шар над Домом книги и не замечала этого «Зингера», или он мне так примелькался, что стал как бы неотъемлемой частью и шара, и самого Дома книги. И только сейчас меня поразила несовместимость имени фабриканта швейных машинок с домом, где создавалась новая детская литература, где трудилось столько замечательных людей. И это имя «Зингер» стало в стихах Заболоцкого как бы знаменем мещанства, собственничества, приобретательства, черты которых он видел в быте конца 20-х годов и показывал с такой беспощадной иронией.

Не стоит больше приводить примеров. Каждый читающий «Столбцы» (первая книга Заболоцкого) увидит их и в «Новом быте», и в «Свадьбе», и в «Обводном канале». Мне хотелось бы только передать, какой силы и глубины было впечатление от его стихов и как неожиданны они были.

В начале двадцатых годов чуть не большинство интеллигентных юношей и девушек любили и писали стихи. Они отлично знали ритмику и фонетику и стихи писали гладкие, грамотные. Но красота, сила, звучность произведений их «метров» перерождались у эпигонов в несколько приторную «красивость» и однообразную мелодичность. К 1927—1928 году потоки этой «эстетской» лирики иссякли, было неясно — кто придет на смену? И вдруг возник Заболоцкий. Теперь историки литературы находят его предшественников, его корни в русской поэзии. Но для нас, его современников, он был как бы первозданным, единственным. Новы были его тема, его образы, его ритмы. В то время излюбленным его размером был ямб, самый гибкий из русских стихотворных размеров, который у каждого настоящего поэта звучит по-своему.

Темы стихов на первый взгляд бытовые, приземленные.

Рассказывая о своих встречах с Николаем Алексеевичем Заболоцким в 1928—1929 годах, я не могла не остановиться на том впечатлении, которое производили на меня его стихи. Мне надо было разобраться в этом впечатлении и попробовать отделить Заболоцкого — поэта от Заболоцкого — близкого приятеля, частого гостя в нашем доме. Но я не смогла этого сделать — ничего не получалось. Он был цельный человек — поэт Заболоцкий. К нему никак не подходили слова Пушкина:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

...И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Никогда не казался он «ничтожным». Я всегда чувствовала его незаурядность и самобытность. Ему, видимо, нравилось проводить время в нашем маленьком домашнем кругу, состоявшем в то время из Гофмана — литературоведа, наших двух приятелей — молодых советских журналистов — Сияльского и Перелешина, жены Сияльского и меня.

Может быть, Николаю Алексеевичу льстило наше восторженное отношение к его стихам. Мы не были профанами в поэзии и в то же время не принадлежали к его обериутскому окружению. Мы были как раз те читатели и почитатели, которые нужны каждому поэту, еще не получившему широкого признания.

Когда мы собирались по вечерам у нас, Николай Алексеевич уютно устраивался в уголке дивана и, поблескивая круглыми очками, чуть улыбался шуткам остряка Сияльского. Если же начинался серьезный разговор о литературе, он очень внимательно слушал, особенно высказывания Гофмана, большого знатока и ценителя поэзии. Сам он говорил редко. Совершенно не помню его афоризмов или «особых мнений». Но его молчание не было тягостным. Он и без слов участвовал в разговоре — внимательным взглядом, улыбкой, чуть заметным кивком. И его согласие, одобрение радовали нас.

Правда мне приходилось встречать в те годы людей, считавших Заболоцкого надменным и высокомерным. Его улыбка казалась им презрительной, а молчаливость — нежеланием тратить слова на разговоры с простыми смертными. Он был человеком очень своеобразным, и это своеобразие иногда вызывало недружелюбие.

Почти каждый вечер у нас Николай Алексеевич читал стихи. Я готова была без конца слушать и «Красную Баварию», и «Свадьбу», и «Ивановых», хотя уже наизусть знала их. Но особую радость доставляли новые, недавно созданные произведения. Помню, как потрясли меня впервые услышанные «Прогулка» и «Меркнут знаки Зодиака». До меня никогда так полно не доходит стихотворение, впервые прочитанное в книге, как стихотворение услышанное, особенно если его произносит сам автор. По-моему, лучшие чтецы никогда не достигают совершенства авторского чтения. Я счастлива, что слышала и Блока, и Ахматову, и Мандельштама, и Маяковского. Каждый из них читал в

своей неповторимой манере. Слушая их, казалось, что присутствуешь при самом чуде создания. Я уже упоминала, что Заболоцкий читал ровно, не подчеркивая ритмических ходов и не выделяя важных смысловых моментов. О таком чтении можно сказать, что читал он «очень просто». Но простота эта была необычная. Когда после правильных ямбических строк:

То вдруг присвистнет, одинокая,
Совьется маленьким ужом,
И вновь несется, нежно охая, —

он совершенно тем же тоном заключал:

Прелестный образ и почти что нагишом!

(«Цирк»)

Этот прозаизм выделялся резче, чем нарочито подчеркнутый голосом чтеца. То же можно сказать о разноплановых его образах: его простое чтение делало их живыми и зримыми.

Я пишу только о произведениях раннего Заболоцкого не потому, что считаю эти стихотворения самыми значительными в его творчестве. Заболоцкий периода 50-х годов достиг большего совершенства той «неслыханной простоты», о которой говорит Пастернак:

Нельзя не впасть к концу,
Как в ересь, в неслыханную простоту.

Но мне важно передать впечатления современника, очарованного первой встречей с поэтом.

Иногда вместе с Заболоцким приходили к нам Хармс и Введенский — обериуты.

Хармс — высокий красивый блондин — казался мне типичным скандинавом. Его фамилию — Хармс я считала шведской или норвежской и очень удивилась, когда узнала, что он — Ювачев, а Хармс всего лишь псевдоним. Одевался Хармс оригинально: длинные шерстяные чулки, клетчатый пиджак, шапочка с небольшими полями и перышком, как у альпийского стрелка. Этот костюм подчеркивал его симпатичную чудаковатость. Он, как и Заболоцкий, был из молчаливых. Только, когда подвыпьет, вдруг произнесет какую-нибудь странную фразу вроде:

Ко мне пришла одна идея —
Она проста: скажите, где я?

Конечно, такие высказывания всегда имели большой успех в нашей компании. «Взрослые» произведения Хармса мне не нравились, но его стихи для детей были очень своеобразны, остры и неожиданны по темам и звучанию. Его талант отметил Маршак, и скоро Хармс сделался постоянным автором Детгиза.

Часто встречала я Заболоцкого в Детгизе. В те годы люди, имевшие какое-нибудь отношение к детской литературе, постоянно собирались в редакционном помещении как в литературном клубе. В просторной светлой комнате за небольшими столиками сидели редакторы, читая рукописи или разговаривая с авторами, а на широких подоконниках устраивалось несколько посетителей, пришедших по делу или просто поболтать. Подоконники эти обладали какой-то особой притягательной силой: нигде не сиделось так уютно и не разговаривалось так непринужденно. Вскоре компания возле окон увеличивалась: подходили закончившие переговоры авторы и кое-кто из редакторов. Самыми частыми и самыми желанными гостями «клуба» были Евгений Львович Шварц и Николай Макарович Олейников — редакторы Детгиза и детских журналов «Чиж» и «Еж».

Наделенный необыкновенным обаянием, Шварц в любом обществе сразу становился своим и незаменимым. Человек по-настоящему остроумный, он никогда не стремился поразить собеседников тонкими остротами и не стеснялся сказать просто смешную глупость. Но спокойный и даже слегка назидательный тон, каким произносилась эта глупость, и серьезное выражение его красивого лица заставляли слушателей покатываться со смеху. Шварцевские шутки и поддразнивания не задевали. Каждый не лишенный чуткости человек понимал, что подсмеивается он беззлобно, для поднятия настроения, для общего веселья.

Николай Алексеевич Заболоцкий чувствовал себя на подоконнике Детгиза так же хорошо, как у нас дома в уголке дивана. Он негромко, но весело и искренне смеялся каждой шутке; ласково и даже благодарно смотрел на Шварца. Казалось, что эти минуты непосредственного веселья служили для него какой-то разрядкой. Ведь за его сдержанностью и молчаливостью всегда чувствовалась очень напряженная внутренняя жизнь, и, вероятно, очень нелегкая.

С неменьшим интересом, чем шуток Шварца, ждали мы — публика — очередного выступления Николая Макаровича Олейникова. Кое-что из произведений этого неза-

урядного поэта козьмапрутковского стиля было позже напечатано.

Как только Николай Макарович — худощавый, стройный, со свисающим на лоб волнистым чубом — подходил к подоконнику, его просили:

— Николай Макарович, прочитайте «Жука»!

— Умер, умер «Жук», и вы это знаете, — вздыхал Олейников.

— Ну, тогда «Карася».

Олейников стоял, опустив голову, ни на кого не глядя, и негромко начинал:

Маленькая рыбка,
Бедненький карась,
Где ваша улыбка,
Что была вчерась?

Как-то он неожиданно оборвал чтение и взглядом «Макара Свирепого» пронзил стоявшего рядом Шварца («Приключения Макара Свирепого» печатались в журнале «Еж». Это серия картинок с подписями в стихах. На картинках изображен Николай Макарович, только с очень злым, даже жестоким выражением лица). Шварц надменно улыбнулся, и оба повернулись к столику, за которым сидела молодая хорошенькая сотрудница — Генриетта Давыдовна Левитина. Олейников слегка поклонился, приложил руку к сердцу и прочел:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.

Его голос слегка дрожал от глубокой обиды отвергнутого вздыхателя. Генриетта Давыдовна покраснела, закусила губу, чтобы не рассмеяться, но сразу вошла в игру: пожала плечиками, нежно поглядывая на Шварца.

Олейников тоже взглянул на Евгения Львовича и с яростью продолжал:

Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она, —
За него, за умом не богатого,
Замуж хочет как рыбка она...

Кончалось это признание в стихах скромной просьбой:

Разлюбите его, разлюбите,
Полюбите меня, полюбите.

Публика хохотала. Всем было известно, что Шварц и Олейников близкие друзья. Поэтому их соперничество казалось особенно смешным.

Но не только Генриетта Давыдовна удостоилась поэтического объяснения в любви. Было у Олейникова дежурное стихотворение, которое он посвящал многим знакомым «дамочкам». Начиналось оно с имени и фамилии, когда нужно заменявшимися другим именем и фамилией:

... ... — вы
Не выходите у нас из головы.
Ваша маленькая ручка и ваш глаз
На различные поступки вдохновляют нас.
Вы моя действительная статская советница,
Попечительница Харьковского округа.
Пусть протянется от вас ко мне взаимоотношений
лестница.
Обсушите вы меня, влюбленного и мокрого.
Для других вы — дамочка, для меня — завод,
Потому что обаяния от вас дымок идет!

Сколько бывало смеха, когда Николай Макарович, вчера прочитавший эти любовно-производственные вирши одной, сегодня в той же аудитории и с тем же пафосом читал их другой «дамочке».

Заболоцкий слушал Олейникова очень внимательно.

Здесь я привела только некоторые запомнившиеся строки Олейникова. Но в «клубе» Детгиза, где постоянно бывал Заболоцкий, Николай Макарович читал часто и много.

Когда шум и смех, вызванные шутками Шварца или стихами Олейникова, превышали обычную норму, кто-нибудь из редакторов указывал выразительным взглядом на дверь в кабинет Самуила Яковлевича Маршака: вы, мол, мешаете «самому», дождетесь гнева Юпитера!

Однако я не помню, чтобы Самуил Яковлевич сделал нам, гостям «клуба», или кому-нибудь из сотрудников гневное замечание: хохот за дверью его кабинета не мешал работе Маршака.

Иногда дверь вдруг распахивалась, и все замирали в ожидании разноса.

Но широкое лицо Самуила Яковлевича сияло, он обводил всех присутствующих счастливым взглядом:

— Вы только послушайте, как здорово!

Он подносил близко к глазам листочки рукописи и глуховато, но очень выразительно, так, что каждое слово доходило

до слушателей, читал несколько строк из произведения никому еще не известного автора.

Обычно отрывок был действительно хорош. Маршак чувствовал общее одобрение и удовлетворенно качал головой. А из-за его плеча выглядывал смущенный автор, никак не ожидавший подобного эффекта.

Это еще не значило, что рукопись будет напечатана, может быть, хорошим в ней был только кусочек, прочитанный Маршаком, но человек уходил ободренный, счастливый, готовый работать еще и еще.

Самуил Яковлевич Маршак и все сотрудники Детгиза были не только умными и тонкими редакторами, не только многие из них писали талантливые книги для детей, но они были еще и неутомимыми искателями. Они привлекали к работе над созданием новой детской литературы и молодых поэтов, и молодых историков литературы, и ученых. Люди, и не думавшие до встречи с Маршаком и его соратниками сделаться писателями, становились постоянными авторами Детгиза и написали много книг «хороших и разных».

Дружеское внимание и настоящая заинтересованность встречали каждого, приходившего в редакцию с серьезным желанием работать.

Заболоцкий в те годы (1927—1930) написал много стихотворений, рассказов и сказок для детей.

В 1930 году Заболоцкий женился на Екатерине Васильевне Клыковой, сделался домоседом и все реже и реже появлялся в нашей компании. Потом разные события в его и моей жизни окончательно развели нас.

Встречи с молодым поэтом Заболоцким остаются значительным событием моей жизни. И я счастлива, что они были.

1976



Н. Заболоцкий. Ленинград. Апрель 1929 г.

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

ЗАБОЛОЦКИЙ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

С Николаем Алексеевичем Заболоцким я довольно много общалась в 1928—1929 годах. Иногда он приходил ко мне. Чаще мы встречались у моих друзей — Виктора Гофмана и его жены Софьи Аньоловны Богданович. Гофман — он погиб потом в дни ленинградской блокады — был талантливый литературовед и лингвист, автор книги «Слово оратора» и большой, очень интересной статьи «Язык символистов». У Гофмана постоянно бывал и Н. Л. Степанов. К 1928 году относится начало дружбы Заболоцкого со Степановым — дружбы, пережившей все испытания, неизменной до самого конца. Все мы и еще кое-кто из молодых ленинградских филологов собирались принять участие в затеянном обериутами (в 1929 году) и несостоявшемся сборни-

ке — он должен был называться «Ванна Архимеда» (у Хармса есть стихи на эту тему)[1].

В 1927 году Заболоцкий демобилизовался и еще донашивал красноармейскую шинель. Зимой 1927/28 годов я снимала комнату на Загородном. Моих хозяев обслуживала веселая девушка Нюша, недавно приехавшая из деревни. Открыв дверь Заболоцкому, она кричала в коридоре: «Лидия Яковлевна! К вам солдат пришел!» Думаю, что и помимо шинели что-то в облике Заболоцкого (несмотря на очки) соответствовало представлениям Нюши о солдате. Само слово «солдат» бытовало тогда в деревне: горожане говорили «красноармеец».

Заболоцкий 1928—1929 годов — это Заболоцкий «Столбцов» и активного участия в группе Обериу. Об установках Заболоцкого этого времени уже писали, писал и он сам. Заболоцкому, по-видимому, принадлежат две первые части опубликованной в начале 1928 года декларации обериутов [2], призывавшей поэтов обратиться к конкретным предметам, очищенным от «литературной и обиходной шелухи». Жажда увидеть мир заново, содрать с него шелуху прошлого присуща была в искусстве многим молодым школам. Особенно сильной, понятно, была она у молодых поэтов послереволюционной эпохи. Новый поэт среди крушения старых ценностей должен все сделать сам и все начать сначала. В книге «Николай Заболоцкий» А. В. Македонов приводит рассказ Александра Гитовича о том, как в 1927 году Заболоцкий на вопрос о его отношении к Пастернаку ответил: «Я, знаете, не читаю Пастернака. Боюсь, еще начнешь подражать» [3] (позднее, в своей автобиографии,

---

[1] В мае 1929 года я находилась в Москве, и В. А. Каверин писал мне туда по поводу «Ванны Архимеда»: «Сборник, о котором Вы знаете (с участием обериутов), составляется. Есть данные предполагать, что он будет напечатан в Издательстве писателей. Отдел поэзии Вам известен (возможен и Тихонов). С отделом прозы — хуже, и именно по этому поводу мы решили побеспокоить Вас. Не можете ли Вы зайти к Олеше и рассказать ему о нашей затее? Было бы очень хорошо, если бы он дал в сборник хотя бы маленькую вещь или даже отрывок из большой. Участвуют в этом отделе еще Добычин, Хлебников, я, Хармс и предположительно Тынянов. В отделе критики лица, Вам отлично известные. Они (вместе с Вами) думают написать «Обозрение российской словесности за 1929 год». Кроме того, будут участвовать Бор. Мих. (Эйхенбаум), Юр. Ник. (Тынянов) и Виктор Борисович (Шкловский), к которому за этим делом просим мы Вас обратиться».

[2] Афиши Дома печати, 1928, № 2.

[3] Македонов А. Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы. Л., 1968, с. 103.

Заболоцкий вспоминал, что в юношеских стихах начала 20-х годов подражал «то Маяковскому, то Блоку, то Есенину»)[1].

Припоминаю и мой разговор с Заболоцким, но уже лет шесть спустя, в 1933-м. Заболоцкий не боялся уже за свою самобытность, и Пастернака он прочитал; прочитал, но не принял ни Пастернака, ни ряд других старших своих современников. Тогда я с Заболоцким спорила, а теперь понимаю, как неизбежна такая несправедливость, как невозможно требовать от писателя всеядности, особенно от молодого, потому что писатель зрелый обычно шире, терпимее, беспристрастнее. Но писатель в процессе становления ищет и берет то, что ему нужно, иногда совсем неожиданное[2], на посторонний взгляд неподходящее, и порой нетерпеливо отталкивает то, что не может ему сейчас пригодиться, особенно литературу недавнего прошлого, даже самую высокую. Так, в 1933 году Заболоцкий отвергал Пастернака, Мандельштама. Это бормотание, утверждал он, в искусстве надо говорить определенные вещи. Не нужен и Блок (этот петербургский интеллигент). В XX веке по-настоящему был один Хлебников. Есенин и тот переживет Блока.

Тогда же мы заговорили о прозе, и Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды.

---

[1] Заболоцкий Н. Избранное. М., 1960, с. 233.

[2] Такой неожиданностью является, например, интерес Заболоцкого к некоторым стихотворениям Бенедиктова, малоизвестным, не замеченным современниками (в отличие от нашумевших произведений 1830-х годов). В 1936—1937 годах я подготавливала издание Бенедиктова для «Библиотеки поэта». Об этом издании зашла как-то речь с Заболоцким, и он сказал мне, что любит несколько бенедиктовских стихотворений 1860-х годов, особенно «Бессонницу», где ему нравились строки:

Дума — не дума, а что-то тяжелое
Страшно гнетет мне чело,
Что-то холодное, скользкое, голое
Тяжко на грудь мне легло.
Прочь! — И, как всползшую с ядом, с отравою
Дерзкую, злую змею,
Сбросил, смахнул я рукой своей правою
Левую руку свою,
Вежды сомкну лишь — и сердце встревожено
Мыслию: жив или нет?
Кажется мне, что на них уж наложена
Тяжесть двух медных монет...

Николай Макарович Олейников, не входя формально в Объединение реального искусства, был гораздо ближе к обериутам, чем, например, участник объединения Вагинов. Антимещанская тема особенно сближала Олейникова с ранним Заболоцким (вот почему в этой заметке я и дальше буду упоминать Олейникова).

Олейников с его сильным и ясным умом очень хорошо понимал, где кончается бытовой эпатаж обериутов и начинается серьезное поэтическое дело. В 30-х годах он как-то сказал мне о Хармсе:

— Не расстраивайтесь, Хармс сейчас носит необыкновенный жилет потому, что у него нет денег на покупку обыкновенного.

О поэтах символистического и послесимволистического периода Олейников говорил примерно то же, что и Заболоцкий, только с большим пылом и раздражением, чем сдержанный, обдумывающий свои речи Николай Алексеевич.

— Они пишут слова, которые ничего не означают, — и, ах! — какие они красивые! — говорил Олейников.

Антиэстетизм вовсе не был индивидуальной или групповой чертой воззрений Заболоцкого, Олейникова, обериутов. Все мы, воспитанные поэтикой 20-х годов, терпеть не могли всяческое эстетство, «красивость», стилизаторство, все это были бранные слова. Но мы не приписывали эти грехи Пастернаку, даже Мандельштаму, несмотря на его «классицизм».

Отзывы Олейникова сердили меня сначала. Кто-то сказал: «Если ему нравятся его собственные стихи, ему не должны нравиться стихи Мандельштама». Очень верно. Это опять проблема выбора и отвержения, нужного и ненужного для становления поэта. Проблема, стоявшая и перед Заболоцким, когда он отвергал поэтов XX века. Другое дело классика. Мешает, кто сейчас (или недавно) не так выражает то, что имеет выразить вот этот поэт, а классики в другое время выражали другие вещи, иногда очень нужные Заболоцкого всегда влекла классика, в период «Столбцов» архаическая; чем дальше, тем больше он приобщался к русскому XIX веку. Олейников же знал наизусть лермонтовскую «Любовь мертвеца». Это стихотворение было ему нужно, когда он писал свою балладу «Чревоугодие», варьирующую формулу Лермонтова:

Я перенес земные страсти
Туда с собой.

Но это совсем другие страсти — не любовь, а неутоленное желание еды, о чем прямо и говорится:

Любви мне не надо,
Не надо страстей,
Хочу лимонада,
Хочу овощей...

И молодому Заболоцкому, и Олейникову гротескное, издевательское словоупотребление нужно было не только в их противостоянии обывателю, но и в борьбе с системой красивых слов, носителей уже не существующих ценностей. Пародия и словесный гротеск должны были, в частности, накрепко забить вход в символизм.

Еще до революции, в 1910-х годах, радикальную борьбу с символистическим наследием начали футуристы. Но Хлебников, даже Маяковский были окружены тогда плотной атмосферой русской «новой поэзии» начала века. Поэтому борьба была внутренней, она проходила в столкновении разных начал, и площадкой ей служило их собственное творчество. Для поколения Заболоцкого символистическое наследие было уже фактом внешним, злом, на которое можно было посмотреть со стороны. В декларации обериутов Заболоцкий объявил задачей воспитанного революцией поэта «очищать предмет от мусора истлевших культур». Для этого нужно было покончить с доставшимися от прошлого смысловыми ореолами слов, с их установившимися поэтическими значениями. Эти враждебные значения притаились и в творчестве поэтов послесимволистической поры — так думал молодой Заболоцкий, и отсюда настороженное отношение к Пастернаку, Ахматовой, Мандельштаму.

В декларации Заболоцкий предлагает поэту посмотреть «на предмет голыми глазами». Так, у раннего Заболоцкого, у Хармса возникло подсказанное хлебниковской традицией голое слово, слово без определения. Это попытка освободить слово от ореолов, пустить его в строку голым — пускай само набирает значения какие может. Имитация первозданного называния предметов. Заболоцкий иногда проделывал это вызывающе:

На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.

Если бы, скажем, в серых штанах, уже ничего не было бы удивительного; энергия слова здесь именно в отсутствии эпитета.

В голых словах авторская оценка дана в скрытом виде; раскрыть ее предоставляется читателю. Но Заболоцкий «Столбцов» знает и другое отношение к слову. По самой сути лирика — своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей человека, но также и антиценностей — в гротеске, в обличении и сатире. В «Столбцах» мир антиценностей — это мир мещанского понимания жизни, отраженный в словах, умышленно скомпрометированных, будь то слова грубо-бытовые или подчеркнуто книжные, «красивые». Здесь опять с Заболоцким 30-х годов сближается Олейников с его гротескной стихией «галантерейного» языка в новом обличии. В качестве языка любви, любовной лирики, «галантерейный» язык выражает сознание людей, уверенных в том, что на месте ценности — мерзость, но что в хорошем обществе о мерзости говорят так, как если бы па ее месте была ценность. Это язык подложной эротики, бутафорского эстетизма.

Антиценность в поэзии всегда соотнесена с ценностью, явной или подразумеваемой. И у Олейникова сквозь все гротескные наслоения слышится подлинный голос поэта. В стихах раннего Заболоцкого рядом с разоблачением живет утверждение — природы, знания, творческой мысли. И, утверждая, Заболоцкий, подобно Хлебникову, не боялся прекрасных слов, освященных традицией.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

А в «Торжестве земледелия» — о могиле Хлебникова:

Вкруг него томятся ночи,
Руки бледные закинув,
Вкруг него цветы бормочут
В погребальных паутинах...

Для Заболоцкого все это не было уступкой «истлевшим культурам». Одухотворенным предстает лицо коня, о Хлебникове говорит бык. Заболоцкому понадобились здесь

высокие слова, но в его контекстах они, сохраняя испытанную временем эмоциональность, должны были освободиться от своих наследственных смыслов; они тоже должны были стать чистым и точным называнием предмета, но только предмета прекрасного.

Ни одному поэту, однако, еще не удавалось — и не удастся — в самом деле посмотреть на мир «голыми глазами». Это иллюзия, нередко овладевающая молодыми литературными школами. В поэзии, даже самой новаторской, утверждение высокого и прекрасного черпает свою достоверность в традиции, опирается на традицию (вольно или невольно), — так Хлебников, например, опирался на фольклор, на древнерусскую национальную культуру. Но в подлинной поэзии традиция служит новым целям.

Чем традиция хронологически ближе, тем упорнее навязывает она слову свои собственные значения. И Заболоцкий среди сложных своих счетов с «истлевшей культурой» недавнего прошлого искал опору в прошлом отдаленном, в обращении к русскому XVIII веку.

В конце 20-х годов имелось у меня нечто вроде альбома. Полностью он не уцелел, но сохранились листы с автографом Заболоцкого. В доме Гофманов обсуждался (вероятно, не очень серьезно) проект, раздобыв моторную лодку, совершить на ней большое путешествие, — подробности уж не помню. Путешествие не состоялось, к моему огорчению, — я выросла на Черном море и на всю жизнь сохранила пристрастие к воде и всевозможным лодкам. По этому случаю и был написан в мае 1928 года «Драматический монолог с примечаниями» — стихотворение шуточное, пародийное, в значительной мере стилизованное под XVIII век (особенно примечания). Стилизован в этом духе даже почерк. «Монолог» любопытен тем, что интерес Заболоцкого к XVIII веку вышел в нем на поверхность — в шуточной, но характерной для Заболоцкого форме. Привожу текст целиком, с двумя небольшими купюрами, вызванными упоминанием фамилий нескольких литераторов.

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ»

с примечаниями

Обладательница альбома сидит под сенью лавров и олеандров. Вдалеке видны величественные здания храмов и академии. Подходит автор.

Автор

(робко и несколько растерянно)

Смиряя дрожь своих коленок,
стою у входа в Иллион[1]
Повсюду тысяча . . . .
И . . . . миллион.
О Лидья Яковлевна, каюсь —
я так недолго протяну;
куда пойду, куда деваюсь,
в котору сторону шагну???

(Оглядывается по сторонам, горько улыбается и замолкает. Проходит минута молчания. Затем автор устремляет взор в отверстые небеса и продолжает мечтательно.)

Одна осталась мне дорога —
терновый заказать венец,
а также вымолить у бога
моторной лодки образец.

И перед склонами Урала
про все на свете позабыть,
стрелять волков из самопала[2],
киргизок маленьких любить...

(Внезапно умолкает. Воспоминания тучей ползут на его челе. Глаза горят недобрым пламенем. Скрестив на груди руки, он продолжает глухим голосом.)

А здесь любить? О, Sancta mater!
Здесь дамы строже старика,
литературных дел . . . .
и та была не так строга.

(Внезапно спохватившись.)

Ай-ай, я, кажется, не то
хотел сказать... Ну, не буквально...
Но жизнь, ей-богу, так печальна:
стихи, обед, вино, лото —
не то! Ей-богу — все не то...

(Умолкает. Тишина. Вдруг — протягивая руки к обладательнице альбома.)

Ах, до свиданья, до свиданья!
Бокалы выше головы!
Моторной лодки трепетанье
Слыхали ль вы, слыхали ль вы?[3]

---

[1] Автор не силен в мифологии, но все же термин сей примечателен.

[2] Употребление сего орудия свидетельствует о героической натуре автора, который решается выйти на охоту со столь древним приспособлением.

[3] Явный, но неудачный плагиат.

...Повсюду тишь и гладь реки,
свистят, играя, кулики,
и воздух вятского затона
прекраснее одеколона.
Дышали ль вы?
Нет! Не дышали!
Слыхали ль вы?
Нет! Не слыхали!
И я как будто не слыхал...

(Посмотрел на собеседницу. С отчаянным воплем.)

Я. Лидья *Якольна*[1], нахал!
Мошенник я, мерзавец, тать!
Как можно *этим* Вас пытать?

(Вкрадчиво.)

Но вы не сетуйте на время,
мой незабвенный меценат,
Виргилий в дебрях «Академий»[2],
в версификациях — Сократ.
Не сетуйте, ведь все мы люди —
мерзавцы, тати и лгуны[3],
но все-таки выходим «в люди»[4]
и долетаем до луны[5],
и вот Вам вывод: даже тати
имеют нечто людям дати...[6]

(Секунда молчания.)

Но этот вывод горделивый
хотел бы я смягчить. И вот —
представьте дом неприхотливый,
в столовой гроб, в гробу — урод...[7]
Тут, видите ли, вместо крыс
уральский волк меня загрыз[8].
Я знаю: вид такого дома
немножко мрачен для альбома,
но дело в том, что если гроб —
то и конец. Довольно! Стоп![9]

12.V 1928 *Н. Заболоцкий*

---

[1] Сие сокращение слогов как нельзя лучше свидетельствует о душевном волнении автора.

[2] Имеется в виду издательство. — *Примеч. Л. Гинзбург.*

[3] Сего понять невозможно иначе как явную ложь и клевету.

[4] И сие свидетельствует лишь о низменном состоянии души сочинителя.

[5] Безрассудная самонадеянность и ложь.

[6] Сии скорее отъемлют, нежели дают. Поистине сочинитель потворствует падению нравов.

[7] Непонятное, неуместное кощунство, которое, однако, можно было ожидать после предшествующего.

[8] Сие — вредный вздор. Волки, хотя бы и уральские, крысами не питаются.

[9] Оправдание сие — смешно и нелепо. Оно свидетельствует также о вредном свободомыслии сочинителя, который как бы не верует в загробное бытие.

Монолог сей — есть опыт автора малоуспешного, хотя и самоуверенного. Таланты сии отнюдь не расцветают по природным дарованиям своим, но все же терпеливым прилежанием и трудолюбием в достойных авторов обратиться могут. Посему всякое легкое поощрение и просвещенное содействие сему сочинителю послужит на великую пользу».

В шуточном «Драматическом монологе», несомненно, чувствуется Заболоцкий «Столбцов». От «Столбцов» пародийность, черты примитива и архаики, даже отдельные образы: волк, урод, самопал... «Монолог» открыто напоминает о связи раннего Заболоцкого с поэзией XVIII века. Впервые отметил эту связь Н. Степанов в рецензии 1929 года на «Столбцы», с тех пор не раз говорилось об обращении Заболоцкого к одической интонации, одической лексике Ломоносова или Державина. Но для Заболоцкого не менее важна и «легкая поэзия» конца XVIII — начала XIX века, особенно анакреонтическая лирика позднего Державина. Именно здесь мог найти Заболоцкий ту первозданность восприятия, конкретную и наивную, которую он стремился воссоздать, особенно в стихах о природе (не включенных в «Столбцы» 1929 года).

Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.

Это из стихотворения Заболоцкого «Прогулка» (1929). А вот строки из державинского «Возвращения весны» 1797 года:

Сильфы резвятся, порхают,
Зелень всюду и цветки
Стелют по земле коврами;
Рыбы мечутся из вод;
Журавли, виясь кругами
Сквозь небесный синий свод,
Как валторны, возглашают;
Соловей гремит в кустах,
Звери прыгают, брыкают,
Глас их вторится в лесах.

В том же 1797 году написано стихотворение «Развалины», где под именем Киприды воспета недавно умершая Екатерина II:

Киприда тут средь мирт сидела,
Смеялась, глядя на детей,

На восклицающих смотрела
Поднявших крылья лебедей;
Иль на станицу сребробоких
Ей милых сизых голубков;
Или на пестрых, краснооких
Ходящих рыб среди прудов;
Иль на собачек, ей любимых,
Хвосты несущих в верьх кольцом,
Друг другом с лаяньем гонимых,
Мелькающих между леском.

Для попытки взглянуть на мир «голыми глазами» годилась не только традиция Хлебникова, но и традиция удивительной державинской анакреонтики. И все же близость эту не следует понимать буквально. Заболоцкий считал себя поэтом «голых, конкретных фигур» (декларация Обериу), но в его поэзии «голые фигуры», «голое» зрение — только одно из начал, порой непосредственно сочетающееся с нагнетанием очень сложных и очень современных метафор. Но и к чистому называнию предмета Заболоцкий прибегает иначе, чем поэты XVIII века. Заболоцкий уже не мог быть наивным (об этом писали); его инфантильность обдуманная, внутренне противостоящая другим поэтическим системам. «Целует девку — Иванов» — простота подобного словосочетания — кажущаяся простота.

Поэзия всегда живет контекстом, но по-разному. В поэзии XVIII, даже начала XIX века решающим был не контекст данного стихотворения, но лежащие за его пределами контексты жанров, стилей, откуда слово приходило, уже заряженное определенными поэтическими смыслами. Активность данного, индивидуального контекста непрерывно возрастала от XIX века к XX. Послесимволистическая поэзия отбросила «сверхчувственные» значения символизма, но осталась повышенная способность слова вызывать неназванные представления, ассоциациями замещать пропущенное. В символистическом наследстве жизнеспособнее всего оказалась напряженная ассоциативность.

Ранний Заболоцкий — поэт конца 1920-х годов, чьим неотъемлемым достоянием является опыт его предшественников. Самоутверждаясь, он боролся с этой поэтикой, и все же она была у него в крови, поэтика индивидуальных контекстов и ветвящихся ассоциаций.

Коню бежать не воспящают
Ни рвы, ни чистых ветвей связь.
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь.

Великолепный конь Ломоносова может быть воспринят как самостоятельный образ, отвлечен от текста этой именно оды. Но кони Заболоцкого обретают свое значение лишь в общем контексте таких вещей, как «Лицо коня», «Движение» («А бедный конь руками машет...»), «Торжество земледелия». Традиция русского XVIII века нужна была Заболоцкому, но переплавленная опытом современного поэта.

Под конец еще о «Драматическом монологе». Он свидетельствует о том, что ранний Заболоцкий именно в шуточных стихах считал возможным открыто и прямо говорить от первого лица. В серьезных стихах того же времени авторское «я» спрятано. Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру. Это тоже, очевидно, был способ освобождения от «стародавних культур», от их носителей — всевозможных лирических героев, вообще от обычных форм выражения авторского сознания.

Отсутствие лирической интонации иногда вызывало сопротивление. Я сказала однажды Олейникову:

— У Заболоцкого появился какой-то холод...

— Ничего, — ответил Олейников как-то особенно серьезно, — он имеет право пройти через это. Пушкин был холоден, когда писал «Бориса Годунова». Заболоцкий — под влиянием «Бориса Годунова».

Это замечание тогда меня поразило. Есть сопоставления ожидаемые, напрашивающиеся. А есть неожиданные: они приоткрывают в писателе процессы, протекающие на большой глубине.

Разговор о «Борисе Годунове» относится к 1933 году, то есть к моменту, когда для Заболоцкого период «Столбцов» уходил уже в прошлое.

1973



Н. Степанов и Н. Заболоцкий. Таруса. Лето 1957 г.

Н. СТЕПАНОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. ЗАБОЛОЦКОМ

1. НАЧАЛО ЗНАКОМСТВА

В конце 1927 года в просторном холле Института истории искусств на Исаакиевской площади в Ленинграде появилась рукописная афиша с извещением о вечере обериутов, поэтов Объединения реального искусства, который должен был состояться в ближайшие дни в Доме печати. Буквы на афише были аккуратно вычерчены тушью, но имена поэтов — К. Вагинова, Даниила Хармса, Александра Введенского и Николая Заболоцкого — мне ничего не говорили. Я знал лишь Вагинова с его доброй, грустной улыбкой и зеленовато-землистым лицом чахоточного. Свои отрешенные от жизни стихи он читал тихим, глухим голосом. Об остальных я слышал лишь, что это какие-то чудаки, «заумники».

В обозначенный на афише день я отправился в Дом печати, который помещался на Фонтанке, неподалеку от Невского, в старом аристократическом особняке. Уже войдя в фойе, я увидел, что дом преображен необычайной живописью. Тогдашний директор Дома печати благосклонно относился к «левому искусству», и стены фойе и зрительного зала были украшены фресками работы учеников замечательного, несправедливо забытого художника Филонова, основателя школы «аналитического искусства». На полотнах изображены были нежными, прозрачными красками лиловые и розовые коровы и люди, с которых, казалось, при помощи чудесной хирургии были сняты кожные покровы. Отчетливо просвечивали вены и артерии, внутренние органы. Сквозь фигуры прорастали побеги деревьев и трав светло-зеленого цвета. Удлиненные пропорции, строгая размеренность композиции заставляли вспомнить фрески старинных мастеров, одухотворенные, лишенные физической плотности.

В этих картинах не было, однако, мертвенности. Нежно прорисованные голубые и розовые прожилки напоминали радужное цветение человеческого глаза, а прораставшие сквозь них изумрудные побеги зелени напоминали о неизменном возрождении жизни.

Я потому упоминаю об этих фресках, что они не только сочетались со всем дальнейшим содержанием вечера, но и потому, что картины Филонова и его учеников очень нравились в те годы Заболоцкому, который и сам иногда пробовал рисовать в этом же духе.

Большая зрительная зала завершалась эстрадой, со стоявшим на ней столом. За столом сидели участники мало кому ведомого Объединения реального искусства. Все они были очень молоды, самый старший — Костя Вагинов, уже известный в ленинградских кругах поэт. Наибольшее внимание привлекал Хармс. Даниил Иванович Хармс был в длинном клетчатом сюртуке, походя в нем на Жака Паганеля из «Детей капитана Гранта». Подчеркнуто серьезный и спокойный, Хармс держался с ошеломляющей чопорной вежливостью. На голове его была круглая шапочка, а на щеке нарисована зеленая собачка. Время от времени он брал со стола книгу и клал ее себе на голову или с необычайно серьезным видом прикладывал к носу палец. Рядом с ним Александр Введенский с красивым, слегка тронутым оспинами лицом. С краю стола сидел невысокий блондин с соломенно-желтыми, аккуратно расчесанными на пробор воло-

сами и нежно-розовым цветом лица, в круглых очках, прикрывавших голубые близорукие глаза. Выгоревшая зеленая гимнастерка, такие же брюки, обмотки и грубые солдатские башмаки свидетельствовали о том, что их владелец недавно демобилизовался из армии. Это был Николай Алексеевич Заболоцкий, которого на этом вечере я увидел впервые.

Ровным, спокойным голосом он прочел декларацию обериутов, в которой в ученых лингвистических терминах утверждалось право поэта на интуитивное постижение реального мира, его аналитическое разложение на составные элементы сообразно внутреннему чувству художника.

Затем выступали поэты. Первым — Константин Вагинов. Читал он монотонно и грустно:

В книговращалищах летят слова —
В словохранилище блуждаю я.
Вдруг слово запоет, как соловей, —
Я к лестнице бегу скорей.
И предо мною слово: точно коридор,
Как путешествие под бурною луной
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
Не в звуках музыка, она
Во измененье образов заключена.
Ни о, ни а, ни звук иной
Ничто пред музыкой такой.
Читаешь книгу — вдруг поет
Необъяснимый хоровод,
И хочется смеяться мне
В нежданном и весеннем дне.

Потом вышел Александр Введенский. Он прочел несколько произведений, сочетавших стихи и прозу, лишенных не только знаков пунктуации, но и общепонятного смысла.

Верьте верьте
ватошной смерти
верьте папским парусам
дни и ночи
холод пастбищ
голос шашек
птичий срам
ходит в гости тьма коленей
летний штык тягучий ад
гром гляди каспийский пашет
хоры резвые
посмешищ
небо грозное кидает
взоры птичьи на Кронштадт.

Отсутствие знаков пунктуации не имело особенного значения, так как самые образы лишены были какой-либо мотивировки. Введенский вежливо раскланялся и, не дождавшись аплодисментов, удалился.

После него на опустевшую эстраду двое служителей с большим трудом выдвинули огромный шкаф, на котором спокойно и неподвижно восседал Даниил Иванович Хармс. Он громко прочел свои стихи, порою почти выпевая их:

Как-то бабушка махнула,
и тотчас же паровоз
детям подал и сказал:
пейте кашу и сундук.
Утром дети шли назад.
Сели дети на забор
и сказали: вороной
поработай, я не буду.
Маша тоже не такая,
как хотите может быть,
мы излижем и песочек,
то, что небо выразило,
вылезайте на вокзале.
Здравствуй, здравствуй, Грузия.

Стихотворение Хармса называлось «Чинарь взиральник (случай на железной дороге)». Несмотря на отсутствие логической связи, можно было догадаться, что в нем речь шла о поездке в Грузию. Но что произошло с едущими на поезде детьми, оставалось неясным. Однако в стихах Хармса чувствовался юмор, смешная бессмыслица детской считалки.

У Хармса нашлись поклонники: несколько очень молодых людей бурно ему аплодировали. Неподдельный талант Хармса проявился в его произведениях для детей. Вместе с Введенским он вскоре пришел, при дружеской помощи С. Я. Маршака, в ряды писателей для детей.

Последним читал Заболоцкий. В старенькой гимнастерке и обмотках он казался совсем юным, румяным деревенским парнишкой. В то же время серьезность манер, круглые очки делали его похожим на молодого ученого, а легкая застенчивость человека, не привыкшего к эстрадным выступлениям, вызывала симпатию.

Заболоцкий сначала прочел небольшое стихотворение «Движение», напомнившее мне ранние футуристические рисунки:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня.
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Но особенно сильное впечатление на меня да и на всех присутствующих произвели стихи о Ленинграде. Ленинграде времени нэпа с его пьяным пивным баром на Невском, с мутной накипью крикливого мещанства. Неожиданно и резко поразило стихотворение «На рынке», по-фламандски реальные картины, живописная деятельность образов, словно перенесенных с картины в стихи:

В уборе из цветов и крынок,
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,
Их шаль невиданной красы,
И огурцы, как великаны,
Прилежно плавают в воде.
Сверкают саблями селедки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот, разрезаны ножом,
Они свиваются ужом.
И мясо властью топора
Лежит, как красная дыра,
И колбаса кишкой кровавой
В жаровне плавает корявой,
И вслед за ней кудрявый пес
Несет на воздух постный нос...

Здесь уже, бесспорно, явился поэт со своим видением мира, со своим голосом. Поэт необычайной, почти наглядной осязаемости вещей, предельной изобразительной живописности образа. Тщательная выписанность натюрморта, простодушный мужицкий комизм Тенирса или Брейгеля приобретали трагическую гротескную выразительность в передаче картин изуродованного нэпом города, ленинградского рынка двадцатых годов:

Калеки выстроились в ряд.
Один — играет на гитаре.
Он весь откинулся назад,
Ему обрубок помогает,
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.

Эти стихи впоследствии вошли в состав сборника «Столбцы», появившегося в 1929 году. Но впервые они прозвучали в зале Дома печати с его ампирной белизной и стройными дорическими колоннами.

Стихи Николая Заболоцкого подкупали своим неповторимым голосом. Правда, эти стихи 1926—1927 годов еще лишь намечали тот своеобразный стиль, который сказался в «Столбцах», сложившихся годом позднее. Такие стихотворения, как «Ночной бар», «Футбол» и в особенности «На рынке», уже непосредственно включаются в круг лирических образов «Столбцов». За плечами Заболоцкого остался период ученичества, когда он шел вслед то за Маяковским, то за Блоком, то за Есениным. Здесь он уже нашел свои темы, образы, слова. В его стихах заклеймен был тусклый и гнилостный мирок нэпа, пытавшийся, впрочем ненадолго, раскинуть свои щупальца в тогдашней жизни страны, оправлявшейся после гражданской войны и разрухи. Николаю Алексеевичу было тогда двадцать четыре года, и он со всем энтузиазмом молодости пережил очистительный пламень революции. Поэтому сурово и гневно осудил он плесень нэповских лет.

Для меня стало ясно, что в литературу пришел новый, большой поэт.

Я был свидетелем выступлений футуристов и буйных вечеров имажинистов в первые годы революции. Они были рассчитаны на эпатаж, на скандал. Вечер обериутов, несмотря на чудачества Хармса, как-то не вызывал атмосферы скандала. Да, по правде говоря, после выступлений футуристов и имажинистов публику трудно было чем-либо удивить. Эпатаж казался уже старомодным и бесполезным. В поведении Заболоцкого не чувствовалось никакого вызова. Он просто читал стихи со всем сознанием своей ответственности перед аудиторией.

После чтения стихов началось их обсуждение. Было немало насмешливых и враждебных голосов. Я выступил с взволнованной речью, в которой высоко оценил стихи Заболоцкого.

Когда все устремились в гардеробную за пальто, я задержался в зале и вскоре увидел Заболоцкого, казавшегося немного растерянным и взбудораженным. Это было одно из первых его выступлений, особенно для него важное, так как вечер собрал большую студенческую и литературную аудиторию.

* * *

При выходе из Дома печати я подошел к нему, и мы познакомились. Оказалось, что мы оба любим поэзию Хлебникова. Я пригласил Заболоцкого к себе, желая познакомить его с неизданными произведениями Хлебникова, которые я в то время подготовлял к печати.

Заболоцкий только что демобилизовался и ходил в старой военной шинели со следами споротых петлиц и пришитыми к ней коричневыми пуговицами. На ногах были солдатские обмотки и грубые армейские ботинки. Вполне штатской была лишь небольшая кепочка на его коротко остриженной голове, придававшая ему чуть детский вид.

Вскоре он пришел ко мне на Бронницкую. Порозовевший от мороза, с запотевшими стеклами очков, сняв которые он стал похож на близоруко щурящегося крестьянского паренька. Глаза были добрые и очень голубые. Заболоцкий в тот раз много рассказал о себе. О годах учения в Уржуме в реальном училище, о приезде в 1920 году в Москву, где он поступил на медицинский факультет. Там он проучился лишь первый год, а затем переехал в Ленинград и стал студентом Педагогического института имени Герцена. Вспоминал друга Горького — профессора В. А. Десницкого, походившего на древнего столпника. В. А. Десницкий выделял и ободрял его. Стихи Заболоцкий начал писать еще в реальном училище, но лишь в последние год-два нашел свой путь.

Мы долго по очереди читали Хлебникова — поэмы его «Поэт и русалка», «Три сестры», «Ночной обыск»... Заболоцкий запомнил этот вечер и впоследствии несколько раз говорил мне о нем. Хлебников всегда оставался одним из его любимых поэтов, непосредственное воздействие его поэзии больше всего чувствуется в «Торжестве земледелия».

2. ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ

В «Чиже» Н[иколай] А[лексеевич] сидел всегда какой-то подтянутый, корректный, лишь улыбаясь на шутки и проделки окружающих. Перед ним лежал аккуратно разграфленный лист бумаги, отражающий состояние очередного номера журнала. Иногда и он принимал участие в шутках в той постоянно задорной, задиристой обстановке, которая его окружала.

Нередко, заходя в редакцию в два-три часа дня, я там никого не заставал. Вся компания уходила на обед. Напротив Госиздата (по другую сторону канала Грибоедова) в то время находилась «Культурная пивная». В ней можно было пообедать, было чисто и в это время было не очень многолюдно. Придя туда, можно было встретить всю компанию во главе с редактором Н. М. Олейниковым.

...Помню писателей (Шварца, Заболоцкого, Хармса, Введенского), художников Лапшина, Мизерницкого, Травина, Курдова, Васнецова, Стерлигова.

В эти годы Н[иколай] А[лексеевич] находился в постоянном окружении друзей и сотрудников «Чижа». Е. Шварц, Н. Олейников, Д. Хармс, А. Введенский, Л. Савельев, Б. Житков, В. П. Матвеев были [1] с ним особенно близки. Правда, отношения с ними были не одинаковы. Ближе всех Н[иколай] А[лексеевич] был с Е. Шварцем и Д. Хармсом. К А. Введенскому он относился настороженно. А. И. Введенский был умный и талантливый человек. Но любил оригинальность и экстравагантность во всем. Он писал заумные, ни на что не похожие и непонятные полустихи-полупрозу. Но все это было как-то холодно, «от ума». Он был воспитанно вежлив и самоуверен.

Сложные отношения были и с Н. М. Олейниковым. Н[иколай] М[акарович] очень умный, очень иронический человек. Он был в этой компании единственный партиец, юнцом участвовавший в гражданской войне, ушедший из дома, из кондовой казачьей семьи.

Николай Макарович при всем своем признании поэзии Заболоцкого называл его Фомой Опискиным. Любовь Николая Алексеевича к порядку, вера в правоту своих взглядов и их настойчивое повторение вызывали у Николая Макаровича, очень чутко и иронически подмечавшего слабости у людей, сопротивление.

...Я несколько раз бывал с Ник[олаем] Ал[ексеевичем] у Хармса.

...Ник[олай] Алек[сеевич] высоко ценил стихи Хармса... Уже незадолго до смерти Ник[олай] Ал[ексееви]ч несколько раз говорил мне, что он собирается поехать в Ленинград, чтобы разыскать рукописи Хармса, в частности особенно ценимую им «Комедию города Санкт-Петербурга».

Тесная дружба связывала всю компанию с Б. С. Житковым. Бор[ис] Ст[епанови]ч был значительно старше нас всех. За его плечами большой жизненный опыт, заграничные путешествия. Был он и обеспеченнее остальных и любил



Н. Заболоцкий с женой Екатериной Васильевной и сыном Никитой. Сестрорецк. 1935 г.

хлебосольство. Был он небольшого роста, с лысиной, но сохранил высокое мнение о своей наружности, с гордостью показывал в альбоме свои юношеские фотографии. Кроме того, у Бор[иса] Ст[епановича] всегда бывала целая коллекция настоек — на чае, на ягодах, на травках, полыни, которые он сам любовно изготовлял и охотно угощал посетителей. Следует сказать, что у него никогда не напивались и беседы за чайным столом велись серьезные.

Тесная дружба сохранялась с А. И. Гитовичем. Она особенно относится к ленинградскому периоду жизни Ник[олая] А[лексеевича], когда он поселился в доме на канале Грибоедова, где по соседству жил и Гитович. Он был большим поклонником поэзии Заболоцкого!

Гитович всегда громко кричал, громил литературных врагов, горячо восхищался стихами Николая Алексеевича, с необычайной энергией выражал свое мнение, не терпя возражений.

...Помню то тяжелое впечатление, которое произвело на

всех, и в частности на Ник[олая] Ал[ексеевич]а, убийство Кирова. Николай Алексеевич к Кирову испытывал особое чувство. Он был его земляком, из Уржума. ...Николай Алексеевич написал стихотворение «Памяти Кирова». Это было, пожалуй, первое стихотворение, написанное прямо на конкретную политическую тему. Оно в какой-то мере явилось толчком к созданию стихотворения «Север».

* * *

Шел январь 1946 года. Мы жили тогда в помещении литературного музея на Моховой улице, напротив Ленинской библиотеки (позже музей Калинина). «Квартира» состояла из бывшей барской кухни и при ней маленькой комнаты для повара. Выходила она на черную лестницу музея.

В этот день я и моя семья с утра разошлись по разным делам. Я возвратился часов около двух, незадолго до обеда. Войдя в помещение, где начиналась лестница и лежали нарубленные для печки дрова, я неожиданно обнаружил сидящего на дровах человека. Почти сразу я узнал его — Коля Заболоцкий!

Это был он. Похудевший, но сохранивший свой детский румянец. В очках, в какой-то куртке наподобие бушлата, теплой ушанке, он показался усталым, чуть стесняющимся своего вида. Мы не виделись восемь лет.

...Мы устроили Н[иколая] А[лексеевича] в большой комнате, где Н[иколаю] А[лексеевичу] пришлось спать на обеденном столе, так как на полу было холодно. Да и сами мы спали на каких-то ящиках. Со свойственной ему аккуратностью Н[иколай] А[лексеевич] педантично складывал на ночь свою одежду, а рано утром был уже такой же чистый, вымытый и розовый, как всегда.

Здесь же начались первые припадки стенокардии. В морозные дни у него болела грудь. Через несколько лет стенокардия завершилась инфарктом. Несмотря на неопределенность положения, мы жили очень интенсивной, даже веселой жизнью. Приходили друзья повидать Ник[олая] Ал[ексеевича]. Ираклий Андроников с Вивой [1]. Мы вместе с Н[иколаем] Ал[ексеевичем] часто ходили через Каменный мост к Тихоновым, где нас встречали особенно радушно и приветливо.

---

[1] Вивиана Абелевна — жена Ираклия Андроникова.

У Тихоновых обычно всегда собиралось много народу. Ужин начинался поздно. Много говорили, смеялись. Помню, что в то время часто бывал Борис Чирков.

Мария Константиновна, человек исключительный, добрый, любящий гостей, радушный, как-то незаметно умела делать эти вечера веселыми, объединять самых разных людей. Кого только не было у них: альпинисты, приезжие грузины, полярные летчики, иногда люди непонятных профессий и склонностей.

...Вскоре по приезде в Москву Н[иколай] А[лексеевич] выступил с чтением своего перевода «Слова о полку Игореве» в Государственном] Литературном музее. В то время заместителем директора был очень хороший и отзывчивый человек, старый большевик-подпольщик М. М. Машкевич, только что демобилизованный (он был почти всю войну заместителем командира дивизии по политчасти). При его содействии удалось устроить это чтение в зале музея.

Перевод был встречен большинством присутствовавших весьма одобрительно. Лишь один А. Югов выступал против, отмечал, по его мнению, важные упущения и неверные истолкования «Слова». Н[иколай] А[лексеевич] эти нападки переживал особенно тяжело. Ведь перевод «Слова» для него был не только художественным подвигом, но и гражданским, патриотическим делом, его вкладом в общенародный военный подвиг.

Перевод довелось опубликовать при содействии В. П. Ильенкова в журнале «Октябрь». Это была уже победа. Впервые после девятилетнего перерыва имя Заболоцкого появилось в печати.

...Он переехал к Ираклию Андроникову на Арбат. Андроников жил тогда с семьей в однокомнатной, правда, отдельной, с крохотной кухонькой, квартире. Навещая Н[иколая] А[лексеевича], я всегда никак не мог понять, где еще там можно было улечься, даже на полу, — там кроме самого Ираклия, Вивы, маленькой дочки их Мананы жила еще нянька, обычно называемая «нянюньтя».

Ираклий очень добрый. Скольким людям он помогал! Со свойственным ему темпераментом и неудержимостью таланта. С Н[иколаем] А[лексеевичем] они были старые приятели, еще по «Чижу».

...Н[иколай] А[лексеевич] поселился в Переделкине, сначала на даче В. П. Ильенкова, человека глубоко порядочного и доброжелательного, а затем на даче Кавериных. Вот в это время он нередко встречался с Фадеевым, жившим в

эти годы преимущественно в Переделкине и несколько раз посетившим Заболоцкого. Хотя я при этих встречах не присутствовал, но Ник. Ал. не раз мне о них рассказывал, всегда относился к Фадееву с благодарным уважением. Из этих рассказов мне запомнился рассказ об одном из первых посещений Фадеевым, еще на даче у Ильенкова.

Фадеев пришел невзначай и попросил Николая Алексеевича прочесть стихи. Он с большим вниманием слушал их, но особенно поразило его стихотворение «Слепой». Прослушав его, Фадеев расплакался...

Фадеев не раз помогал Н[иколаю] А[лексеевичу]. Помог ему получить квартиру на Беговой, издать книжку стихов. Сейчас опубликован его краткий доброжелательный отзыв об этой книжке, проходившей трудно. В книжку не вошла большая часть написанных Н[иколаем] А[лексеевичем] стихов. Сейчас это кажется малопонятным, но само издание даже такой урезанной книжки по тем временам казалось целым событием.

* * *

Последние два года жизни (1957 и 1958) Н. А. Заболоцкий проводил в Тарусе.

В этом тихом, маленьком городке на берегу Оки, окруженном лесами, стоящем вдалеке от железной дороги, сохранилось спокойствие, утраченное в подмосковных местах. Полноводная Ока, полевые просторы, раскинувшиеся — напротив высокого берега, на котором расположена Таруса, — все это привлекало Заболоцкого, полюбившего этот уголок.

Николай Алексеевич снимал в Тарусе две комнаты с террасой на улице Карла Либкнехта, немощеной, по-деревенски заросшей травой, почти на вершине холма. Одноэтажные деревянные домики с зелеными заборами и ставнями окружены были густо засаженными садами, в которых весной бурно цвели яблони, вишни, сирень, а летом из-за оград выглядывали яркие цветы — розовые, красные, желтые, голубые.

На улицах и во дворах сновали петухи, куры, гуси, цыплята, чувствовавшие себя хозяевами всей территории. С раннего утра слышалась куриная воркотня, гоготанье гусей, звонкие задорные выкрики петухов. В доме, в котором проживал Николай Алексеевич, было обычно тихо и безлюдно.

Все помещение состояло из двух комнат — столовой и примыкавшей к ней спальни. Бо́льшую часть дня Николай Алексеевич проводил на террасе, где стояли лежак с тюфяком и обеденный стол, или, в хорошую погоду, — в саду.

В Тарусе Заболоцкий поселился после первого инфаркта и поэтому вел малоподвижный образ жизни.

Здесь, в Тарусе, рождались стихи Заболоцкого о русской природе, навеянные окскими далями, просторами лесов и полей, сдержанной красотой русского пейзажа. Николай Алексеевич хотя и восторгался величием кавказской природы, горами Грузии, цветением крымских парков, морской панорамой Гурзуфа, но больше всего любил скромную, непышную русскую природу. Он говорил мне, что горы, закрытый горизонт подавляют, не дают такого ощущения простора, как ровный пейзаж русских полей и лесов. В одном из «тарусских» стихотворений — «Вечер на Оке» — он со свойственной ему точностью и лирической проникновенностью изобразил этот приокский пейзаж.

Классическая соразмерность и философическая углубленность этого пейзажа заставляют вспомнить о Тютчеве, поэзию которого Заболоцкий особенно любил и ценил.

Николай Алексеевич много работал. Он переводил сербский эпос, обдумывал или писал стихи. В Тарусе была написана поэма «Рубрук». Николай Алексеевич не раз говорил мне, что ему нигде так хорошо не работалось, как в Тарусе. Работал он большей частью с утра до обеда. После обеда отдыхал, беседовал, гулял. Сидя на террасе или под яблоней, он часами мог думать, наблюдать за окружающей его природой. Такие стихотворения, как «Птичий двор», «Стирка белья», «Летний вечер», «Вечер на Оке», «Гроза идет», «Городок», «Подмосковные рощи», «На закате», не только были написаны в Тарусе, но и навеяны ее природой, тихой жизнью городка, далями приокских пейзажей.

Николай Алексеевич был уже тяжело болен, переживал мучительную личную драму. И тем не менее в нем было столько душевной стойкости, мудрого понимания окружающего, проникновенной любви к людям и природе, интереса к жизни, что я забывал о смертельной угрозе, над ним нависшей. Он не любил говорить о болезни, жаловаться. Старался только как можно больше сделать, завершить ранее начатое. Он любил образцовый порядок во всем и старался даже в своем трудном положении следовать этому порядку.

Сидя на открытой террасе, Николай Алексеевич мог

долго смотреть на хлопочущих во дворике кур, шутливо посмеивался над красавцем петухом, который появлялся из очередного петушьего боя с сильно поредевшим хвостом и разодранным в клочья, окровавленным гребнем. Больше всего привязался он к небольшой мохнатенькой собачке с бородкой, смутно напоминавшей о ее происхождении от каких-то предков из породы скочтерьеров. Эта собачка терпеливо сидела целыми днями на крыльце и умильно смотрела на Николая Алексеевича. Собачка была понятлива и звонко лаяла на незнакомых посетителей. Вот об этой собачке он и написал в стихотворении «Городок»:

Целый день стирает прачка.
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет —
Заскулит в сторонке.

Собачку звали Дружок. Николай Алексеевич любил с ней разговаривать.

Как-то утром он прочел мне эти стихи, чуть близоруко прищуриваясь, с той лукаво-доброй улыбкой, которая делала его лицо каким-то особенно радушным, чуть мужицким.

Он как никто любил шутку, но шутил обычно с самым серьезным видом, напуская на себя простовато непонимающий вид.

Из садика виднелись крыши домов, спускающихся к Оке, море зелени. Было тихо. Лишь изредка где-то в отдалении слышался гудок пароходика, напоминавший о том, что Таруса не на краю света, а в трех часах от Москвы.

* * *

Ник[олай] Алекс[еевич] был необычайно принципиален. Даже в мелочах, в житейских и литературных делах он не допускал ни малейшего компромисса... Он никогда не менял своего мнения. Не приходил в гости, если знал, что может среди приглашенных встретить человека, ему неприятного. С посторонними всегда был очень сдержан, даже, иным казалось, высокомерен. Но это была, скорее всего, самозащита.

...Вообще вся жизнь его проходила в упорном и организованном труде. Как я уже говорил, он наводил идеальный порядок в «Чиже». Не сомневаюсь, что он был аккуратнейшим чертежником. Но прежде всего поражает огромность его переводческой деятельности. Ведь за десять — двенадцать лет он перевел помимо двух огромных томов грузинской поэзии множество стихов — украинских, венгерских, таджикских и других поэтов. При этом к своей переводческой работе Н[иколай] А[лексеевич] относился не менее тщательно и серьезно, чем к своему собственному творчеству. ...Н[иколай] А[лексеевич] работал над переводом с утра до обеда — часов пять, аккуратно выписывая своим четким почерком многочисленные варианты. За день он обычно переводил около тридцати строк, выкуривал чуть не пачку папирос. Потом переписывал и правил.

...Правда, в тех случаях, когда у него возникал замысел собственного стихотворения, он откладывал всякую другую работу и целиком отдавался выполнению этого замысла.

Меня всегда поражало исключительно серьезное, уважительное отношение З[аболоцко]го к своему творчеству. Он относился к нему как к Высшему Долгу, священной обязанности, во имя которой он всегда готов был пожертвовать и любыми удобствами, и материальной выгодой.

С интересом и сочувствием следил Н[иколай] А[лексеевич] за творчеством Л. Мартынова, одобрял стихи П. Семынина, часто к нему приходившего, чувствуя в них некоторую близость к своим исканиям. Но особенно любил и ценил последние годы жизни стихи Б. Пастернака, которые часто перечитывал и читал мне вслух. Многие новые, тогда еще не напечатанные стихотворения Б[ориса] Л[еонидовича] он самолично переписывал и даже перепечатал маленькую тетрадку (кроме «Рождественской звезды» там были «Объяснение», «Гамлет», «На страстной», «Зимняя ночь»).

Особенно восхищался он «Рождественской звездой», буквально умиляясь, сравнивая ее с картинами старых фламандских и итальянских мастеров, изображавших с равной простотой и благородством «Поклонение волхвов».

«Рождественскую звезду» по проникновенности, по мудрой простоте и изобразительной силе Н[иколай] А[лексеевич], считал одним из совершеннейших произведений поэзии.

...О Б. Л. Пастернаке стихотворение «Поэт» 1953 года, в котором точно переданы и природа Переделкина, и самый облик Пастернака:

Черен бор за этим старым домом,
Перед домом — поле да овсы,
В нежном небе серебристым комом
Облако невиданной красы.
По бокам туманно-лиловато,
Посредине грозно и светло, —
Медленно плывущее куда-то
Раненого лебедя крыло.
А внизу, на стареньком балконе, —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет, —
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.
А леса, как ночь, стоят за домом,
А овсы, как бешеные, прут...
То, что было раньше незнакомым,
Близким сердцу делается тут.

Давняя и тесная дружба связывала Н[иколая] А[лексеевича] с грузинскими поэтами. Еще в 1935 году он познакомился с Тицианом Табидзе и Георгием Леонидзе и во время их приезда в Ленинград проводил все свое время с ними. Поездка в Грузию в 1937 году, на годовщину Руставели, особенно закрепила и упрочила эти связи.

И когда Н[иколай1 А[лексеевич] вернулся, то такой прекрасный поэт, тонкий и чудесный человек, как Симон Чиковани, не только воскресил прежнюю дружбу, но стал вскоре советником и помощником в переводах Пшавела, Руставели, Гурамишвили и других грузинских поэтов.

* * *

Последние годы Н[иколай] А[лексеевич] крепко дружил с Э. Казакевичем, жившим несколько лет в том же доме на Беговой, на той же лестничной площадке. Казакевич в то время лишь начинал свою писательскую деятельность. Тогда напечатана была лишь его первая повесть «Звезда», сразу же вызвавшая общую любовь своим лиризмом, благородной простотой и в то же время романтической взволнованностью. До войны Казакевич писал стихи на еврейском языке, затем был председателем еврейского колхоза в Биробиджане. Войну начал сапером-добровольцем, а окончил начальником дивизионной разведки, был несколько раз ранен и контужен.

...Он хорошо знал поэзию и любил стихи, внимательно и с большим интересом относился к творчеству Заболоцкого.

В свою очередь, Н[иколай] А[лексеевич] читал и любил произведения Казакевича.

* * *

...В последнее десятилетие своей жизни Н[иколай] А[лексеевич] «чистил» несколько раз свою небольшую, но тщательно подобранную библиотечку.

Он пережил несколько увлечений. Притом не стихами. В поэзии его вкусы в основном оставались неизменными. Он благоговел перед «Словом о полку Игореве», высоко ценил русские былины. Одним из последних его замыслов было перевести на современный язык, обработать былины. Он постоянно говорил с сожалением, что имеющиеся записи былин (Гильфердинг) слишком многословны и тяжелы, изобилуют ненужными повторениями. Он мечтал о своде былин по типу «Калевалы». Перевел две былины об Илье Муромце.

Стихов, в особенности современных поэтов, у него в библиотеке было не много. Пушкин, Тютчев, Баратынский, Жуковский занимали почетное место и неоднократно перечитывались. Любил он Козьму Пруткова.

В чтении прозы было несколько увлечений. Сначала Чеховым, которого он превосходно знал и постоянно перечитывал. Затем Достоевским, чье полное собрание сочинений в издании А. Маркса он приобрел. И в последние годы перечитывал Толстого и Бунина.

Я помню, как восхищался он некоторыми местами в «Войне и мире», перечитывал вслух отдельные фрагменты. Даже к одному из стихотворений взял эпиграф Толстого.

Пятитомник Бунина он досконально изучил. Помню, как он вслух читал и перечитывал поразившую его прозаическую миниатюру «Капитал». Заключительную фразу этого замечательного рассказа, когда мужик осведомляется о цене кваса: «Мужик жует, думает. Потом со вздохом, но твердо: «Нет, на семитку не взойду. Капитал не дозволяет!» — Н[иколай] А[лексеевич] постоянно повторял, восхищаясь ее меткостью, да и всей языковой выразительностью рассказа, великолепным мастерством Бунина.

* * *

Когда Н[иколай] А[лексеевич] приехал из Италии (1957), он привез довольно много художественных изданий, среди них были особенно любимые им художники — Брейгель, Матисс, Сезанн, Моне, Марк Шагал (его альбомы были в разных изданиях), Боттичелли.

Мы долго разглядывали эти книги с прекрасными репродукциями. Особенно умилялся Николай Алексеевич картинами Шагала, и ранними — его романтической местечковой фантастикой, — и его витражами на библейские сюжеты.

Николай Алексеевич рассказывал мне о том огромном впечатлении, которое произвело на него искусство Италии. Особенно восхищался он Боттичелли. Будучи во Флоренции, в галерее Уффици, он шесть часов просидел в зале с картинами Боттичелли, художника особенно им ценимого.

Вообще последние годы жизни особенно высоко ценил старую классическую живопись. Он купил копию [с картины] Леонардо да Винчи [«Мадонна Литта»], мечтал заказать копию «Зимней охоты» особенно любимого им Питера Брейгеля.

Кроме того, он приобрел несколько картин русских художников. Но оставил у себя только две — портрет работы Рокотова (возможно, что копия) и, с моей точки зрения, довольно бездарную безымянную картину, на которой изображено было какое-то желтое здание вроде казармы и омывающий его пенистый поток. Я неоднократно выражал свое недовольство этой картиной, но Николай Алексеевич по непонятным мне причинам всегда отшучивался, и картина до самой его смерти висела в его комнате.

Николай Алексеевич любил пошутить по поводу портрета, купленного им у кого-то по случаю. «Я заплатил восемь тысяч за него, — говорил он, — хочешь, тебе уступлю за десять?»

Я давал шесть, он со смехом отказывался.

* * *

Пантеистическое восприятие жизни в ее космическом единстве и закономерности у Заболоцкого лишено мистических устремлений. В основе его поэтических построений лежит рационалистический принцип. Разум Вселенной. Все происходящее в мире может быть познано человеком с помо-

щью разума. Преклонение перед наукой, перед всесилием человеческого разума. Поэтому и поэзия его, подобно поэзии Ломоносова, гениального ученого, проповедовавшего в своих стихах достижения современной науки, в известной мере дидактична.

Стихотворение «Сквозь волшебный прибор Левенгука...» — это гимн науке, раскрывающей перед человеком тайны Вселенной.

Точное, классически весомое слово, преодоление зыбкости, недосказанности, когда найдено логически точное выражение мысли. Тематическая и синтаксическая завершенность каждой строфы — все это подчеркивает планомерный ход размышления автора.

Стихотворение это могло стать дидактичным, если бы не чувствовались лирические переживания автора, отепляющие:

Там звездное чую дыханье.

Здесь впервые врывается авторское «я», здесь чудесное «чую дыханье».

В стихах Заболоцкого нет лирического героя. Они, за редким исключением, не автобиографичны. Это чаще всего философские раздумья автора — наблюдателя, соглядатая жизни.

Средством выражения авторского сознания является пейзаж. Пейзаж у Заболоцкого не импрессионистичен и не символичен. Он строго реален, точен в деталях. Продолжая многие принципы философской лирики Баратынского и Тютчева, Заболоцкий по-новому видит мир, его краски напряженнее, резче, необычнее.

* * *

Всегда обычно серьезный и сдержанный, Николай Алексеевич любил пошутить, ценил меткие, острые слова. Атмосфера шутки, розыгрыши, царившие в «Еже», шутки в дружеском кругу, комические застольные тосты. Произносил их Николай Алексеевич с полной серьезностью, лишь лукавый огонек сквозил из-под очков.

Он охотно писал шуточные стихи, в которых давал волю самому безудержному и вместе с тем милому юмору. Таковы, например, «Записки аптекаря» или шуточные басни, преподносимые мне обычно в день рождения, как исследователю Крылова.

Николай Алексеевич любил гостей, был особенно радушным и приветливым хозяином. К приему гостей он относился серьезно, как к особо важному и ответственному делу. Особенно торжественно проходили такие вечера, когда приезжали грузинские писатели из Тбилиси — Симон Чиковани, Карло Каладзе, Бесо Жгенти. Стол тогда проходил, по грузинской традиции, в обилии тостов, в которых отмечались бесчисленные заслуги присутствующих. Особенно близок Николаю Алексеевичу был Симон Чиковани, которого, и жену его Марику, глубоко уважал и любил. Приезд Симона Ивановича превращался в настоящий праздник.

Николай Алексеевич виртуозно импровизировал тосты, внося в каждый из них серьезный, поучительный, дидактический смысл. Это не только дань традиционному грузинскому красноречию, но и дань уважения гостю, признание (и восхваление) его заслуг.

* * *

В Николае Алексеевиче не было ничего богемного, легковесного. Он любил положительность, порядок, солидность. Всюду, где бы он ни находился — ранее в Ленинграде, в квартире на Беговой, на даче в Тарусе, — всюду в его комнате царил порядок, обдуманная экономия места. Бумаги и рукописи он или хранил в папках, или переплетал. На письменном столе никогда ничего не было лишнего, в ящиках в порядке лежали папки и бумаги.

Время от времени он пересматривал бумаги и уничтожал ненужные. Производил пересмотр своей библиотеки и тщательно «чистил» ее, раздавая ненужные книги.

Образцом его аккуратности и, конечно, гордой независимости может служить тот факт, что он из первых же относительно свободных денег отдал, как он считал, «долги» по точно составленному им списку.

Мы жили на Беговой в одном доме. Нередко Николай Алексеевич звонил мне по телефону: «Приходи. Мне надо прочесть тебе новое стихотворение». Когда я приходил, Николай Алексеевич придвигал стул к письменному столу для меня, солидно садился в кресло, брал листок бумаги с тщательно, аккуратно написанными строками, чаще всего карандашом (лишь в окончательной стадии работы он или переписывал, чаще чернилами, или сам отпечатывал на машинке). Николай Алексеевич читал стихи не торопясь, не

прибегая к эффектам, я бы сказал — степенно, как и все, что он делал.

Николай Алексеевич внимательно выслушивал не только похвалы, но и замечания. Иногда с некоторыми частностями, касающимися отдельных слов, соглашался, отмечал в рукописи.

Показывая новое стихотворение, он был всегда по-особому благостен, серьезен, чуть торжествен.

Н[иколай] А[лексеевич], как правило, добивался окончательной, отшлифованной доработки своих стихов. Он всегда многократно переписывал и переделывал их, уничтожая черновики. Чаще всего предварительная работа производилась «в карандаше». Обычно в карандашном варианте он читал их мне или давал самому прочесть. Это был, в сущности, уже окончательный, неоднократно переработанный и переписанный вариант. Внешне он также выглядел совершенно завершенным: был переписан тонко отточенным карандашом, без помарок, красивым, уверенным почерком.

...Выслушав мои замечания, чаще всего касавшиеся отдельных слов или выражений, иногда — впрочем, не так уж редко, — он соглашался с замечаниями и переделывал. Иногда оставлял без последствий. Бывало, что он и соглашался с отрицательной оценкой таких стихотворений, как «Смерть врача», которое вызвало мои решительные возражения (так же, как «Некрасивая девочка» и некоторые другие), и все же сохранил стихотворение в том основном своде, который в году 1952-м он перепечатал в отдельную книгу, а затем через каждые года два приносил мне вновь переписанные дополнения (и аккуратно перепечатанные). Вероятно, что в ряде случаев он читал свои стихи до печати еще кое-кому из друзей — В. Каверину, Н. Чуковскому. Но уже после этих чтений, а в особенности после напечатания (или перепечатки на машинке) он уже не переделывал своих стихов[1].

Лишь особые обстоятельства заставляли его изменять этому принципу. Так, после чтения Н. Чуковскому «Рубрука» Н. А. дописал новый конец поэмы[2].

[1] Известны многочисленные случаи правки стихотворений, уже перепечатанных Заболоцким и включенных им в очередной машинописный сборник. — *Примеч. сост.*

[2] По совету Н. Чуковского Заболоцкий написал «Заключение» к циклу «Рубрук в Монголии», однако в авторский свод произведений 1958 года «Рубрук» был включен Заболоцким без этой последней части. — *Примеч. сост.*

...Я пишу обо всем этом вот почему.

Окончательно подготавливая за несколько месяцев до смерти свои произведения к печати, Николай Алексеевич уже чувствовал, что это его последняя возможность осуществить мечту всей жизни — издать *полное* собрание своих произведений.

Поскольку стихотворения «Столбцов» и поэма «Торжество земледелия» вызывали неизменно острые нарекания, Николай Алексеевич переделал многие строки «Столбцов».

1961—1972



Н. Заболоцкий. Ленинград. Осень 1937 г.

В. КАВЕРИН

СЧАСТЬЕ ТАЛАНТА

1

Встречи с писателями в Институте истории искусств происходили обычно в Красной гостиной. За длинным овальным столом сидели гости, докладчики, профессора, а все прочие — где придется. На каждом кресле помещались по меньшей мере три студента, а на диване, покрытом красным штофом, С красными же, немного бледнее, цветами — едва ли не все мои слушатели. Я вел тогда в институте семинар по современной прозе.

Это было, должно быть, в 1927 году. На встречу пришли обериуты — Н. Заболоцкий, А. Введенский и Д. Хармс, — три молодых человека, которых, судя по внешности, можно было объединить только на основе неопределенных взглядов, изложенных в их «Манифесте». Заболоцкий был в длин-

ной солдатской шинели, которую он так и не снял, читая стихи. Хармс — в актерском пиджаке, застегнутом у самого подбородка, под которым был аккуратно расправлен детский шелковый бант. Введенский, напротив, щеголял обыкновенностью прекрасно сшитого костюма, с платочком в наружном кармане. Но и особливость, и обыкновенность сразу же забылись, когда поэты стали читать стихи. Возможно, что память изменяет мне, но, кажется, именно в этот вечер Заболоцкий прочитал «Поприщина», которого он впоследствии не включил в основное собрание.

Безумие Гоголя и Поприщина сопоставлено в этом стихотворении. Просвистанный метелью Петербург рождает не жалкого чиновника с «престранной фамилией», который в кабинете директора департамента чинит гусиные перья, а воинствующего мечтателя, недаром вообразившего себя королем Фердинандом. Вопреки воле департаментского Рока, торжествующая Севилья встречает своего короля. Ветер, опрокидывающий кареты, покорно ложится к его ногам. И он не сдается, не жалуется, не просит матушку «спасти своего бедного сына». «Испанский король» выбирает смерть.

...в последней отваге
Встречая слепой ураган, —
Качается в белой рубахе
И с мертвым лицом —
Фердинанд.

2

Я знал Николая Алексеевича Заболоцкого в течение многих лет. Мы были друзьями. Это не была полная, окончательная откровенность, та близость, при которой между друзьями нет и не может быть никаких тайн. Между нами была известная сдержанность, — может быть, потому, что я инстинктивно чувствовал в нем эту черту. Он был человеком глубокой мысли и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Все выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действа, свершения. Думая о нем, невольно вспоминается библейское: «Вначале было слово».

Я не сразу понял по молодости лет ту главную черту, которая кажется мне для него необычайно характерной: что происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него — всегда и неизменно было связано для него с сознанием того, что он был поэтом.

Это вовсе не было ощущением учительства, стремлением поставить себя выше других. Это было чертой, которая морально, этически поверяла все, о чем он думал и что он делал. Ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни. Он был честен, потому что он был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом. Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом. Все нормы его существования, его поведения, его отношения к людям определялись тем, что, будучи поэтом, он не мог быть одновременно обманщиком, предателем, льстецом, карьеристом. Прекрасно понимая, что ложь и поэзия «две вещи несовместные», он не мог писать то, чего не думал.

3

Когда я познакомился с ним, это был розовощекий мальчик, только что вернувшийся из армии, мальчик, которому, как это часто бывает с молодыми поэтами, казалось, что он все начинает сначала. Я помню, как однажды он встретился у меня с Антокольским и как Антокольский, выслушав его стихи, сказал, что они похожи на стихи капитана Лебядкина [1]. Заболоцкий не обиделся. Подумав, он сказал, что ценит Лебядкина выше многих современных поэтов.

В том, что писали обериуты, было много «нового во что бы то ни стало», которое казалось им важным для нашей поэзии только потому, что оно было новым. С этим направлением боролись. Поэтов упрекали в семи смертных грехах.

Но для меня, тогда еще совсем молодого писателя, за этим мнимо новым чудилась подлинная новизна, обязывающая задуматься над собственной работой. Это осталось навсегда. Стихи Заболоцкого всегда возвращали меня к мысли об ответственности в собственной работе.

Даже для самых слепых или по меньшей мере близоруких уже и тогда в стихах Заболоцкого был виден не только острый и оригинальный талант, но талант социально направленный — вот что крайне важно отметить. Лучшие стихи тех лет, вошедшие в последнее, составленное им самим

---

[1] В воспоминаниях П. Г. Антокольского этот эпизод описывается несколько иначе: вечер был у Н. С. Тихонова, и реплику о сходстве стихов Н. Заболоцкого со стихами капитана Лебядкина произнесла жена П. Г. Антокольского — Зоя Бажанова. Несмотря на расхождение в деталях, мемуаристы сходятся в главном — сравнение со стихами капитана Лебядкина и реакция Н. Заболоцкого. — *Ред.*

незадолго до смерти собрание, — это стихи против пошлости, против косности в быту и сознании.

Странно, что они не были поняты нашей критикой. Странно хотя бы потому, что в стихотворениях «Новый быт», «Свадьба», «Ивановы» почти впрямую (что редко для Заболоцкого) дано его тогдашнее кредо.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

В картине мещанского праздника («Свадьба»), написанной с бешенством и отвращением, это «оружие» названо с определенностью, не оставляющей и тени сомнения:

А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

Одновременно возникает вторая, крайне важная для Заболоцкого тема — природы. Я не знаю в нашей поэзии другого поэта, который с такой проникновенной задумчивостью остановился бы перед самым понятием природы, перед ее бесконечно многообразным воплощением, перед теми сложными, подчас поразительными отношениями, которые возникают год за годом между нею и человеком. «Школа жуков», «Торжество земледелия», «Прогулка», «Меркнут знаки Зодиака...» — я думаю, что по меньшей мере треть всего, что написал Заболоцкий, связана с размышлениями о природе, с картинами природы, с преображением природы.

Поэма «Торжество земледелия» сыграла особенно важную роль во всей его дальнейшей работе. Он был поражен идеей преображения природы, которое только что начиналось в нашей стране. Странно представить себе, что это высокопоэтическое произведение было понято как попытка исказить в нашем представлении это чудо преображения.

Может быть," здесь была виновата необычная форма поэмы? Но положите рядом «Фауста» Гёте и «Торжество земледелия» — и сразу станет видно, откуда идет это стремление взглянуть на мир глазами батрака, коня, предков, кулака, сохи, животных, солдата, тракториста. Духовный и материальный мир природы глубоко задет духом преображения, спором человека с природой, стремлением человека преобразить и подчинить ее.

Человек с его надеждами, стремлениями, несчастьями, любовью поздно появился в стихах Заболоцкого. Этой теме научила его сама жизнь. «Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела...» Появилось «я» Заболоцкого, и тогда оказалось, что пригодилось все — и ирония, и ненависть к пошлости, и вера в светлое будущее, без которых он не мог бы жить и работать.

4

Заболоцкий провел несколько лет вне литературы, вне поэзии, вне той жизни, которой были полны его друзья по делу литературы. Это были трудные для него годы, о которых он не рассказывал ничего или почти ничего. Это были годы, когда, работая землекопом, дорожным рабочим, чертежником, он совершил подвиг — не могу иначе назвать — перевод «Слова о полку Игореве», который является, как мне кажется, одной из вершин его мастерства. Можно смело сказать, что каков бы ни был суд потомков над нашей во многом виноватой и ни в чем не повинной поэзией, перевод «Слова о полку Игореве» займет в ней высокое место.

Многие ли из нас читали «Слово» в подлиннике? Это очень трудно. Гениальный памятник древнерусской литературы, в сущности говоря, никогда не читался. Его изучали любители, студенты-филологи (в том числе и я, когда это было нужно к экзаменам по истории древней литературы). Но до появления перевода Заболоцкого «Слово о полку Игореве» никогда не было «чтением». Более того — увлекательным чтением.

Здесь дело не только в том, что Заболоцкому удалось передать с исчерпывающей точностью смысл каждого слова — в этом легко убедиться, положив рядом оригинал и перевод. И не в том, что ему удалось передать трагедию Руси, потерпевшей одно из тяжких своих поражений, и даже не в том, что он понял «Слово» как интересное чтение и

сумел передать читателю это ощущение. Заболоцкий сделал то, что до него не удавалось другим переводчикам, среди которых были великие поэты. Он перевел «Слово» на язык современной поэзии.

Это могло быть сделано только в наше время, хотя бы потому, что внутренне перевод «Слова» связан не только с поэтической деятельностью самого Заболоцкого. Он входит как неотъемлемое целое в ту работу, которой лучшие наши поэты отдали годы.

И подумать только, что когда в 1946 году появился перевод «Слова о полку Игореве», нигде — ни в газетах, ни в журналах — не появилось ни строки! Можно было, пожалуй, вообразить, что в нашей поэзии подвиги совершаются едва ли не ежедневно!

5

Все, что перевел Заболоцкий, стало фактом русской поэзии, как это в свое время произошло с переводами Лермонтова, Жуковского. С удивительной силой он видит и чувствует личность другого поэта, в себе самом находит его черты и передает их так же сильно, как они выражены в оригинале.

Время, народ требуют лица поэта, его поэтического характера, его позиции в жизни и литературе, той позиции, которую нельзя подменить решительно ничем и которая должна быть такой же сильной и своеобразной, как самый поэтический голос. Вот почему при чтении подлинного, глубокого поэта всегда возникает ощущение его личности, его поэтической биографии. Стоит только представить себе, насколько образ, возникающий при чтении Лермонтова, отличается от наших представлений, когда мы читаем Некрасова, чтобы оценить все значение личности поэта — не позы, а именно личности.

Размышляющие глаза Заболоцкого видны за его стихами, читая их, вы неизменно встречаете этот почти в упор направленный взгляд. Поэзия его поучительна, потому что она построена на требованиях высокого разума, и в этой поучительности отчетливо видны классические традиции русской поэзии, ведущие нас от Жуковского (его влияние подчас скользит в стихах Заболоцкого) к Мандельштаму.

Близка ему и грузинская поэзия, в которой всегда были сильны мотивы рыцарской морали. Он переводил разных,

не похожих друг на друга поэтов — Гурамишвили, Орбелиани, Важа Пшавела. Каждый раз нужно было открыть новый потайной ход к чужой душе, разгадать новую тайну. Для Гурамишвили нужно было обладать тем желанием добра, той поучительностью, о которой я говорил выше. Для Важа Пшавела нужно было иметь размышляющее направление ума, нужно было уметь думать о поэзии. Орбелиани нельзя было хорошо перевести, не обладая изяществом, светлой легкостью чувства. И во всех этих случаях нужно было прежде всего быть мастером русской поэзии.

Я перешел к переводам непреднамеренно, хотя, может быть, и не случайно. В сороковых годах и пятидесятых Заболоцкий отдавал очень много времени переводам. Но работа над оригинальными стихами продолжалась, развивалась, была полна новых поисков и новых открытий.

Он пишет ряд психологических портретов — «Жена», «Неудачник», «Некрасивая девочка», «Старая актриса» — и как бы подводит итог этим опытам в стихотворении «О красоте человеческих лиц».

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Это — не только об «архитектуре» человеческой души, но о собственном опыте, жизненном и поэтическом, которые переплелись теперь неразрывно.

Жизнь поэта со всеми ее тревогами, сомнениями, разочарованиями в конечном счете направлена к тому, чтобы стать самим собой, выразить себя с наибольшей полнотой. Среди немногих счастливцев, которым это удалось, одно из первых мест принадлежит Заболоцкому.

Однажды мы говорили о нем с Евгением Шварцем, нашим общим и близким другом. Это было в трудную для

Заболоцкого пору, когда его поэзия была объявлена «юродивой» и даже умные, казалось бы, критики нанесли ему нерасчетливо-беспощадные удары.

— Нет, он счастлив, — упрямо сказал Шварц, — никто не может отнять у него счастья таланта.

Он был прав, потому что самые горшие из несчастий превращаются в поэзию силой таланта и счастье поэта — поэзия, как бы ни сложилась жизнь.

6

В конце жизни он написал цикл «Последняя любовь», десять стихотворений, объединенных одной темой — и неожиданных, потому что прежде он не писал о любви. К его поэзии размышлений не шла «обыкновенность», казалось бы, давно исчерпанной темы. Но в этом цикле вдруг открылась такая глубина нежности, которую трудно было прежде разглядеть за поэтической неторопливостью Заболоцкого, за торжественностью его стихового строя.

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

Изящество, которое Заболоцкий передал в переводах грузинской лирики, точность, которой он достиг в стихах о природе, жадное, неукротимое стремление к правде, озарившее весь его поэтический путь, — все соединилось в цикле «Последняя любовь».

Почти каждое стихотворение — открытие в поэзии Заболоцкого, а такие, как «Чертополох» и «Можжевеловый куст», — в русской поэзии XX века.

7

Вспомним двадцатые годы. В конце этого знаменательного периода нашей литературы я, вопреки своей молодости, считал себя писателем уже сложившимся, хотя подчас и сомневался в этом. И меня смутило то обстоятельство, что почему-то все, что пишет этот молодой человек, только что вернувшийся из армии, — важно для меня, так же как и то, как он относится к написанному мной.

Закончив роман «Художник неизвестен», я был далеко не уверен в правильности избранного пути. Некоторые отзывы друзей меня сильно огорчили. Книга, например, совершенно не понравилась Е. Шварцу, Л. Добычину. Я подарил ее Заболоцкому — мы уже были дружны. И вдруг однажды, часов в восемь утра, раздался звонок, и он пришел ко мне с этой книгой, взволнованный, полный размышлений, важных для меня и в высшей мере неожиданных. После этого наша близость определилась. Это были отношения двух литераторов, с любовью и интересом следящих за работой друг друга. Иными словами, нечто прямо противоположное тому, что писал А. Блок:

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды.
Но как же и жить и работать.
Не зная извечной вражды?

Ни тени этой вражды, нередкой и в наши дни, не было между Заболоцким и мною.

Почему «Рубрук в Монголии» я считаю произведением огромного значения? Почему Заболоцкого привлекла эта тема? В чем смысл поэтической цели, которую он себе поставил?

В XIII веке — в 1253 году — в католическом мире пронесся слух, что монголы приняли христианство. Король Людовик IX, замышлявший крестовый поход, решил, что он пошлет своего верного помощника в делах веры, Вильгельма Рубрука, голландца по происхождению, к монголам — с тем, чтобы присоединить их к этому крестовому походу. И Рубрук отправился в длиннейшее путешествие, длившееся лет шесть или семь. Это было путешествие из Константинополя через Крым в Южную Россию, в Сарай, в Южную Сибирь. Он встретился там с Батыем и другими монгольскими ханами и был принят ими очень хорошо. Они отпустили его с большими дарами. Однако монголы в хри-

стианство не перешли. Вернувшись, Рубрук написал «Записки». На русском языке они были изданы впервые в «Собрании путешествий» Д. И. Языкова в 1822—1825 годах. Без сомнения, Заболоцкий был хорошо знаком с ними, иначе он не мог бы с такой точностью описать это путешествие. Но, разумеется, он не намеревался написать его историю. Перед ним открылся беспредельный познавательный материал. Предстоял отбор — более чем сложный. Вспомним, что в самом факте отбора подчас сказывается гениальность. Пушкин отобрал только одну сцену из «Фауста» — разговор Фауста с Мефистофелем, — и этого оказалось достаточно, чтобы перед нами появился и тот и другой.

Так же поступил и Заболоцкий, отобрав из того, что он узнал, тематические фрагменты, которые должны были составить цельное произведение. Не инвентарь, а то, что его поэтическому воображению было дорого, то, что казалось ему наиболее выразительным и, одновременно, было бы согрето сильным чувством. На чем же он остановился? Размышляя об этом, нельзя не подивиться тонкости его искусства.

Он выбрал четыре поэтических элемента. Во-первых, пропасть между языками; во-вторых, предметы быта; в-третьих, небо; в-четвертых, позицию автора. Все это необыкновенно ново и странно, даже если взглянуть на названия глав. Так, одна из них называется «Движущиеся повозки монголов», другая — «Рубрук наблюдает небесные светила».

Берестяные грамоты, в которых отразилась личная жизнь новгородцев XII и XIV веков, были бытовыми фактами, естественно принадлежавшими обыденному, ежедневному укладу. Заболоцкий «прочел» монгольские предметы быта как грамоты. Он дал через них историю.

Позиция автора прямо противоположна позиции автора «Слова о полку Игореве». Она подчеркнуто современна. Поэма написана так, как если бы Рубрук дожил до нашего времени и в середине века рассказал о своем путешествии. Вот язык поэмы:

И он сквозь Русь спешит упрямо...

Или:

Был этих дам суров обычай...

Или:

Не то чтоб сложной их натуры
Не понимал совсем монах.

Эта современность связана с позицией автора. Но следует взглянуть более глубоко, оценить пропасть между двумя языками, здесь ясно выраженную. Язык — самое полное отображение духовной жизни народа. Перед нами в языке дано столкновение двух миров — Запада и Востока. Заболоцкий впервые дал такое острое и оригинальное сопоставление.

Что касается неба, то взгляд европейца на него, на его карту, совершенно противоположен взгляду монгола. Для монгола небо и земля — это почти одно и то же. На небе ничего нельзя сделать с помощью бога. Это заземление, прямо противоположное миссии Рубрука, ставящее на голову его задачу, выражено здесь с удивительной силой.

8

В 1931 году в издательстве «Academia» вышел сборник «Мнимая поэзия», составленный из произведений пародической поэзии XVIII—XIX веков. Название, взятое из одного старинного сборника, метко определяет «вторичность» пародийной поэзии, ее утилитарную цель.

О Заболоцком в последнее время пишут заслуженно много. В интересных «Рассказах по памяти» И. Рахтанов отметил заслугу С. Я. Маршака, «привлекшего Д. Хармса, А. Введенского и других обериутов к детской поэзии». Верно и то, что он рассказывает о талантливой энергии С. Маршака в истории создания журналов «Еж» и «Чиж», несомненно представляющих собой совершенно особенное явление в мировой детской литературе. Однако вопрос о связи творчества Заболоцкого с детской поэзией сложнее, чем кажется на первый взгляд, и не исчерпывается понятием примитивизма или, еще в меньшей степени, инфантилизма. Между тем его исследователи, забывая о «мнимой поэзии», часто упоминают именно об инфантилизме. Он отдал должное «мнимой поэзии», сохранившейся в немногих списках, — по-видимому, против его воли.

Судя по восстановленным по памяти или случайно записанным стихам, «мнимая поэзия» заняла в его творчестве свое место. Достаточно упомянуть «Записки аптекаря», написанные от имени неторопливо-рассудительного, гордого своими познаниями, идиотически-серьезного человека:

«Бессмертны мы!» — вскричал мудрец Агриппа.
Но обмишурился и умер он от гриппа.

Как странно: у Ильи-гомеопата,
Как и у нас, по рупь пятнадцать вата.

Возможно, что в соленом огурце
Довольно много витамина «С».

И т. д.

«Мнимая поэзия» лежала рядом с детской — в обоих случаях сложное, ассоциативное слово отвергалось. На смену ему приходили разговорность, подчеркнутые прозаизмы, прямота обыкновенного языка. Детские стихи Заболоцкого нельзя сравнить ни с острой поэзией Д. Хармса, как бы с размаху швыряющего детей в неожиданную словесную игру, ни с манерой А. Введенского, у которого классический русский стих слегка сдвинут, что (в соединении с забавной степенностью) производит комически-успокоительное впечатление.

Заболоцкий писал стихи для детей нехотя, как бы тяготясь самим назначением детского чтения. Между тем он был очень близок к детской поэзии. Более того — я думаю, что этот факт имеет некоторое значение для понимания его творчества в целом. Мне всегда казалось, что инсценировки классических произведений редко удаются потому, что театр в его неспецифическом, но тем не менее вполне законченном выражении входит в эти произведения как органическое начало. Спектакль в них уже сыгран — и с большей полнотой, чем это могут сделать актеры во плоти, вместе с режиссером, театральными рабочими и директором театра. И все же искусственные роды происходят, да еще подчас с наложением щипцов.

Так нельзя «вынуть» детскую поэзию из стихов Заболоцкого. Итальянский перевод его стихов вышел в переплете, на котором воспроизведен холст Пиросманишвили. Заболоцкий любил знаменитого французского примитивиста Анри Руссо. Самодельное (и самое подлинное) издание «Столбцов» украшено копией его картины (на фронтисписе). Но мне кажется, что для понимания творчества Заболоцкого в целом важен не примитивизм (с такой силой изображенный им в стихотворении «Движение»), а детское зрение, которое создает «до-живопись», и часто исчезает, когда начинаются годы учения. Сравнение с примитивизмом кажется мне в свою очередь, примитивным, потому что оно говорит лишь о внешнем сходстве, а не о тех «выходах» в иное поэтическое сознание, которые были связаны у Заболоцкого с его детским зрением. Без зоркости детского зре-

ния, сопровождавшего его всю жизнь, они и не могли бы состояться. Знаменитое стихотворение «Меркнут знаки Зодиака» построено на детском отношении к простейшим существам и предметам:

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака.
Дремлет птица Воробей.

Это — колыбельная, в которой за голосом, укачивающим ребенка, чувствуется уходящее в сон детское сознание.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.

Но самоуспокоение только чудится, и детская колыбельная вдруг превращается в нравственный самоотчет:

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Таких «выходов» из детской поэзии много в творчестве Заболоцкого. Таковы «Лебедь в зоопарке», «Полдень», «Осенние пейзажи», «Оттепель», «Журавли».

Лексический строй в этих стихотворениях, очень близких к детской поэзии, интонационно углублен, предполагая совсем не детский разговор с неведомым читателем или с самим собой.

Так, в «Отдыхе» веселая, мирная, немного сонная, по-детски разноцветная картина грузинской маслодельни вдруг озаряется драматическим светом:

Все спокойно. Вечер с нами!
Лишь на улице глухой
Слышу: бьется под ногами
Заглушенный голос мой...

9

Рукописное собрание стихотворений Николая Заболоцкого лежит передо мной на столе — сто семьдесят стихотворений и четыре поэмы. Принято считать, что Тютчев написал мало. Но он написал много. Это в полной мере относится и к Заболоцкому.

На последней странице примечание: «Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мной в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно...»

Неудачными или случайными он считал, без сомнения, и свои шуточные стихи и поэмы. Он был сдержан, молчалив, все, что он делал, было проникнуто глубоким достоинством поэта. Вместе с тем он был человеком оригинального юмора, душевного веселья. Редкая встреча у него или у его друзей обходилась без шуточных эпиграмм, экспромтов, стихотворных посланий.

Незадолго до смерти он сжег почти все эти стихи, среди которых многие были настоящими шедеврами по тонкости, выдумке, блеску. Он не хотел шутить ни с поэзией, ни со своей жизнью, которая, может быть, предстала бы в этих стихах совсем другой, чем она была на деле.

Разумеется, бесконечно жаль, что эти стихи погибли. Но, размышляя о светлой и трагической жизни поэта, начинаешь понимать, что он не мог поступить иначе. «Есть литература на глубине, — писал Юрий Тынянов о Хлебникове. — Есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными, сознательными ошибками, с восстаниями решительными, с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений».

1969—1974



Шарж художника Б. Б. Малаховского на Н. Заболоцкого, автора поэмы «Торжество земледелия». 1930-е годы

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Однажды — это было в 1929 году в Ленинграде (я был студентом) — художник С. Г. Бережков показал мне книжку стихов какого-то нового поэта Николая Заболоцкого, «Столбцы». Я открыл ее и набежал на строчку:

Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья...

— Это что, — сказал мой собеседник, — вы посмотрите его стихи в этом журнале. Словно маслом на холсте писано. Изумительный натюрморт:

Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,

Хвостом прицеплено на крюк.
Под ней кета пылала мясом,
Угри, подобные колбасам,
В копченой пышности и лени
Дымились, подогнув колени,
И среди них, как желтый клык,
Сиял на блюде царь-балык.

За этой роскошью красок вставал нэп — убогий, пошлый мещанский мир, на который Заболоцкий изливал ядовитую иронию, язвительные насмешки, презрение...

Год спустя, окончив университет, я был зачислен на должность секретаря детских журналов «Еж» и «Чиж». Устроил меня один из самых добрых и веселых людей, только еще начинавший тогда драматург Евгений Львович Шварц. Он ведал редакцией «Ежа». «Чижа» вел Николай Алексеевич Заболоцкий. Вот уж никогда не подумал бы, что это автор «Столбцов». Румяный. Блондин. Косой пробор. Очки. Негромкий басок. Немногословный. Серьезный. Движения степенные. А в интонациях и в глазах так и сверкает юмор. Реплики в разговоре весомые. Сдержанный смех. И отчетливо выраженное чувство собственного достоинства.

Почти всю комнату занимал огромный редакционный стол. Мне отвели место справа от Заболоцкого. Он был тогда совсем молодым. Но решительно всем внушал глубокое уважение. Обстоятельность, аккуратность его вызывали во мне не только почтение, но и сладкую зависть. Все у него было в срок. В назначенный день и час ему приносили рисунки и стихи для «Чижа». И сам он писал стихи для журнала, подписывая их псевдонимом: «Яков Миллер».

В тихие минуты... хотя что-то не много я помню в нашей редакции тихих минут. Особенно когда нас навещал Николай Макарович Олейников, еще недавно ответственный редактор и «Ежа» и «Чижа», а теперь заходивший пошутить и прочесть свои иронические стихи. Его появление вызывало взрывы смеха и ответного юмора, внезапных шуток, стихотворных экспромтов, прозвищ, придумок, карикатур, изображений и подражаний. Многие веселые страницы журнала возникали из этого словесного серпантина. В комнате всегда было многолюдно, празднично, весело. К Олейникову и Шварцу присоединялись Даниил Хармс, Александр Введенский. То художник Лебедев Владимир Васильевич заглянет, то друзья из детской книжной редакции. А Заболоцкий и реплики подает, и в то же время клеит, нумерует, расчерчивает макет...

В те часы, когда в редакции действительно было тихо и

сидели за столом только мы с Заболоцким да пожилой молчаливый художник редакции Николай Федорович Лапшин, Николай Алексеевич говорил о величии и совершенстве природы, о космосе, о Циолковском, с которым состоял в переписке. Говорил о Гёте, советовал прочесть его натурфилософские работы, хвалил стихотворение Баратынского «На смерть Гёте»:

Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна...

Многие суждения Заболоцкого становились для меня важными. Когда я в 1932 году ушел из издательства, встречи наши стали довольно редкими, но личность и поэзия Заболоцкого имели уже отношение ко мне самому, коль скоро принадлежали высокому таланту и прекрасному человеку, к которому я испытывал любовь и глубочайшее уважение.

В 1935 году я переехал в Москву.

Снова мы встретились только в 1946-м.

Союз писателей решил обсудить новую работу Николая Алексеевича — перевод «Слова о полку Игореве». Был послан вызов. В это время Заболоцкие жили в Караганде. Приехав в Москву, Заболоцкий поселился у нашего общего друга, литературоведа Николая Леонидовича Степанова. Степанов работал в то время в Литературном музее, который предоставил ему для житья комнату в музейном здании.

Обсуждение перевода прошло успешно. Но срок командировки кончился. Между тем стоял вопрос о переезде Н. А. в Москву. Отъезд оборвал бы хлопоты. И мы с женой перевезли Николая Алексеевича к нам, на Арбат, в Спасопесковский переулок. Время шло. Каждый день ответ обещали дать завтра. Жили мы тогда в одной комнате с десятилетней дочкой и няней. Николай Алексеевич гостил у нас, если меня не подводит память, с середины марта 1946 года до Майского праздника. На Майские дни его «взяли» к себе Мария Константиновна и Николай Семенович Тихоновы. От них он снова вернулся к нам.

Какие это были для нас хорошие дни. Близко подружиться с Николаем Алексеевичем, следить за тем, как рождаются такие стихи, как «Гроза», как «Слепой», «Утро», пояснения к переводу «Слова о полку Игореве». И «Творцы дорог» читались здесь в разных редакциях, и «Город в степи», и переводы Григола Орбелиани... Жаль, я дал Николаю Алексеевичу уничтожить черновики всех этих стихотворений, когда он от нас уезжал. Я попросил его оставить мне

их на память, а он сказал, что, закончив вещь, всегда уничтожает варианты. И оставил мне только карандашные варианты. «Слепого». Они и сейчас у меня. Но процитирую я не «Слепого», а напомню «Грозу»:

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.
Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы.
И, играя громами, в белом облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

У нас часто бывали гости. Еще чаще мы уходили в гости сами. А Заболоцкий садился решать задачки для нашей дочери. Только однажды, я помню, мы были все вместе у Бориса Леонидовича Пастернака, и Заболоцкий читал ему стихи последнего времени.

Наконец — это было уже в начале второй половины мая — Николай Алексеевич поселился в городке писателей Переделкино, к нему приехала семья. И нас разделило пространство в двадцать пять километров.

Два года спустя и Заболоцкие, и мы получили квартиры в Москве, на Беговой улице. И снова мы стали постоянно встречаться. Дружба обогащалась еще и тем, что у Николая Алексеевича и у нас было много общих друзей. И прежде всего Симон и Марика Чиковани, Леонидзе, Бажаны, Степановы, Гольцевы, Казакевич. Работа над переводами уже давно связала Заболоцкого с Грузией. Его переводы — Руставели, Гурамишвили, Григола Орбелиани, Важа Пшавела — прекрасны по проникновению в дух, по животрепещущему звучанию стиха, по точности и свободе.

С каждой новой работой обнаруживались все новые стороны его колоссального дарования. Внутренний мир человека раскрывался перед ним все глубже. Зрела и ширилась мысль. Одно из самых прекрасных творений советской

поэзии — «Некрасивая девочка». Я хочу прочесть его с вами:

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Какая глубина! Благородство. И человечность!

1974



Н. Заболоцкий и П. Антокольский в день пятидесятилетия Заболоцкого. Москва. Май 1953 г.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

«СКОЛЬКО ЗИМ И ЛЕТ»

Впервые я увидел Николая Алексеевича Заболоцкого и познакомился с ним в самом конце двадцатых годов — у Тихонова, на знаменитой Зверинской улице. Это могло быть в 1928-м или 1929 году, но не раньше, ибо я уже знал его стихотворение о форварде: слышал из уст Эдуарда Багрицкого. Он читал стихотворение восторженно, задыхающимся, астматическим голосом, — читал наизусть. Очевидно, прочел его в журнале «Звезда», где оно было напечатано в 1927 году.

Николай Алексеевич поражал с самого начала своим не «поэтическим» обликом: очень молодой, скромный, физически здоровый, коренастый и застенчивый, в очках, в аккуратной синей пиджачной паре, — скорее всего он был

похож на только что кончившего курс студента, работающего над дипломом.

По приглашению Николая Семеновича начал он читать стихи, которые впоследствии вошли в его первый сборник «Столбцы». Он никак не «подавал» их своим чтением. Никакой экспрессии! Но странное дело — экстравагантность образной структуры, неожиданность и смелость тем сильнее действовали на слушателя, чем меньше заботился об этом автор. И, например, такие строки:

Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья. —

сразу же вызвали дружный смех слушателей. Это повторялось не однажды. Николай Алексеевич спокойно пережидал реакцию и продолжал свое дело.

А дело было простое и правое — утверждение себя: «Я есмь!» Ясна была цельность поэтической и человеческой сути этого юноши, его подлинность, не схожая с кем бы то ни было из современников, самобытность и самостийность. Рядом со мной была моя жена Зоя Бажанова, актриса Театра Вахтангова. Внезапно она вспыхнула и сказала нечто, что могло, казалось бы, и смутить, и даже оскорбить поэта:

— Да это же капитан Лебядкин!

Я замер и ждал резкого отпора или просто молчания.

Но реакция Заболоцкого была совсем неожиданна. Он добродушно усмехнулся, пристально посмотрел сквозь очки на Зою и, нимало не смутившись, сказал:

— Я тоже думал об этом. Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение. Больше того: это мой Петербург — Ленинград нашего поколения: Малая Невка, Обводный канал, пивные бары на Невском. Вот и все! Я хорошо помню:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

Такой была эта первая встреча. Хозяин, Николай Тихонов, довольный тем, как она происходит, похохатывал и помалкивал. Он явно гордился Заболоцким и любовался им самим и тем впечатлением, которое он производит на новых гостей.

Заболоцкий читал много. Все это были стихи, вошедшие в скором времени в «Столбцы».

Книга эта вышла в 1929 году. Заболоцкий был так мил, что прислал ее мне. Читал я ее с интересом, близким к жгучему. Чувство сенсации, новизны, прорыва в область, никем еще не обжитую до Заболоцкого, главенствовало над всеми прочими чувствами. Думаю, что то же самое испытывали очень многие, не только поэты. Может быть, для иных это «то же самое» оборачивалось ощущением скандала. Но это были не лучшие читатели и не лучшие поэты.

Сейчас, когда прошло «столько зим и лет» после конца двадцатых и начала тридцатых годов, когда многое в общенародной и личной судьбе каждого отшумело, отпылало и заросло травой забвения на дорогих нам могилах, сейчас, говорю я, тогдашняя оценка и недооценка поэзии Заболоцкого стали явлением историческим, и только историческим. И это тем более важно, что путь самого поэта завершен и мы ощущаем — жизненно и духовно — органичность и прямоту этого пути.

Сейчас легко понять (хотя это совсем не весело), отчего поэма Заболоцкого «Торжество земледелия» была встречена в штыки в начале тридцатых годов, отчего прямая патетика поэмы, ее утверждающая сила была принята за издевательскую пародию. Ведь это был не единственный случай! Новизна формы выражения всегда отталкивает от себя людей с косыми глазами и косным мышлением. Развитие в искусстве никогда не идет по накатанным автострадам. Скорее здесь надо говорить о ничем не предусмотренном росте дерева — не сосны и не пальмы, а такого, которое ветвится в узловатых сучьях, изгибается, богатое наростами и горбылями коры, меняется год от году, но продолжает рост, как все живое.

Так растет художник. Так рос и Николай Заболоцкий. И в диалектике своей философии, и в приемах мастерства. А стиль задан был ему с самого начала. Но и стиль видоизменялся, становился проще, если угодно — классичнее. Если «Столбцы» были вызовом общепринятому вкусу и стилю эпохи, то зрелый Заболоцкий глубже и спокойнее понял свою связь с великими предшественниками от Ломоносова до Хлебникова. Он принял эту связь как дар и как систему, а прежде всего — как совершенство самообладания.

Эти страницы, однако, не претендуют на оценку всей творческой эволюции Заболоцкого. Они посвящены воспоминаниям о человеке, который после Великой Отечественной войны оказался духовно мне близким, скоро сделался и

другом. Как это произошло, рассказать в подробностях трудно. Но здесь были два узловых момента, две встречи в работе. И это определило многое.

Одна из этих встреч была в 1951 году, когда мы оба совместно вели семинар на втором совещании молодых поэтов при ЦК ВЛКСМ. Конечно, чему-то мы «учили» своих питомцев, но больше учились у них. Николай Алексеевич серьезно готовился к каждой встрече. Его выступления всегда были заранее написаны и в силу этого носили очень деловой характер. Он был критиком благожелательным, по-своему строгим, но не придирчивым. Он легко схватывал главное — не в молодом поэте как таковом, не в его личности, а в самих стихах, в их тексте, в смысловой нагрузке, а не в формальных, внешних особенностях. Ум у него был аналитический, и в то же время склонный к обобщению чужого опыта (или неопытности — все равно). Большинство наших слушателей плохо знали Заболоцкого-поэта: «Столбцы» были совершенно недоступны в те годы, последующие книжки тоже. Но к словам его прислушивались очень серьезно, ибо сразу чувствовали его собственную серьезность, его заинтересованность в общем деле, наконец — его чуткость к слову, к языку, к метафоре. Он не был ни говорливым собеседником, ни диагностом с налету. Порой он смахивал на педанта, но такое впечатление было ложным: подводил ровный тон его речи. За всем этим стояла ответственность мастера и уверенность в правоте, выношенность взглядов на искусство слова. Между тем обстановка семинара была шумной, говорливой, иногда и бранчливой. На наш семинар приходили молодые из других групп. Все было непринужденно и, если угодно, беззастенчиво. Заболоцкий был моложе меня на целых семь лет, но в такой обстановке он казался самым старшим, наиболее умудренным в тайнах искусства. А я (по званию руководитель семинара) невольно пасовал перед ним, перед его отчужденным холодом. Говоря «отчужденность», я, может быть, и преувеличиваю задним числом. В ту пору мы невольно и естественно перешли на «ты». Но это нисколько не уменьшило дистанцию между двумя разными характерами.

В дни семинара несколько раз нам пришлось сидеть вдвоем за ресторанным столиком. И это были случаи, когда Николая Алексеевича покидала его скованная сдержанность. Он любил хорошо поесть, любил ресторанный быт, его обрядность, ожидание заказа, явление официанта. Любил разглядывать посетителей; правда, он молчал, не

делился своими наблюдениями, но явно был доволен, где-то регистрировал про себя — благодушно и беспристрастно.

И я регистрирую тоже задним числом, через много лет. А задача только одна: возможно точнее обрисовать облик *человека* в Заболоцком, которого все-таки я знаю больше как поэта, а не как личность.

А до семинара 1951 года мы оба вошли в группу писателей, ехавших по командировке СП СССР в Грузию. Дело было весной 1947 года. Группа состояла из Тихонова, Заболоцкого, Гольцева, Межирова и меня.

Заболоцкий впервые тогда летел в самолете. Это подтверждается замечательным стихотворением «Воздушное путешествие» — настолько *первозданно* и остро выражено здесь впечатление от полета:

В крылатом домике, высоко над землей,
Двумя ревущими моторами влекомый,
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,
И облака, скользя, толпились подо мной...

Дальше это впечатление еще усиливается:

Я к музыке винтов прислушивался, я
Согласный хор винтов распределял на части,
Я изучал их песнь, я понимал их страсти,
Я сам изнемогал от счастья бытия.

Право же, здесь очень явственно проступает, так и просится наружу, ищет выражения, адекватного пережитому, *первое* впечатление живого и страстного человека от того, что он высоко над землей и летит, черт возьми, благодаря великолепно устроенной и благоустроенной машине. И Заболоцкий не скрывает своих чувств, он действительно «изнемогал от счастья бытия» — это сказано в неистовом восторге. Человек высокой культуры, он не против того, что критики по обычаю называют «реминисценцией», хотя, по чести сказать, я плохо разумею, что означает этот расхожий термин.

Казалось, из долин за нами гнался кто-то,
Похитив свой наряд и перья у орла.

Быть может, это был неистовый Икар...

Да, да, эллинский миф не напрасно вспомнился поэту. Поэту дано право окружить современную реальность сказочным климатом многовековой давности — именно она, эта сказка, подтверждала его изнеможение «от счастья

бытия», служила достойным аккомпанементом высокому одушевлению. Я сказал «дано право». В сущности, это сказано слабо, а то и неверно. Дело обстоит серьезнее, когда речь идет о поэзии. Вернее сказать, что это долг, если не неизбежность. Культура, история, миры сказок обступают поэта с такой силой внушения, в таком многообразии, что здесь не может быть речи об отталкивании или пренебрежении со стороны поэта. Он катализатор сложных химических реакций. А они разлиты в воздухе эпохи и одинаково совершаются внутри и вовне поэта. Счастлив поэт, чьи антенны принимают эти ультракороткие волны мировой культуры.

Если Заболоцкий тогда впервые совершал воздушное путешествие, то в Грузии он был не впервые. У него уже было много друзей — грузинских поэтов. Он много и талантливо переводил их. В числе его достижений были и перевод поэмы Руставели, и Важа Пшавела, и романтики начала прошлого века, и друзья-современники.

Но еще больше и яснее о причастности Заболоцкого к Грузии, к ее природе, к труду ее людей говорит весь корпус его стихотворений, посвященный грузинским впечатлениям 1947—1948 годов, — «Храмгэс», «Ночь в Пасанаури» и многие другие. Никак не скажешь, что они стоят особняком в творчестве поэта. Это все тот же лирик и философ, эпик и живописец, человек широкого дыхания и напряженной, сосредоточенной любви к делам и чудесам мира сего. И если порою он кажется уравновешенным и спокойным созерцателем, то это обманчивое впечатление. Наоборот, весь мир Заболоцкого продолжает оставаться в вечной переплавке, в динамике перемен и преображений. Заболоцкий прирожденный диалектик. Для него мир заново создается. Весна и осень одинаково созидательны, навсегда молоды и первоначальны. Это рабочие дни сотворения мира, без выходных, без статики завершенного покоя.

В гостинице в Тбилиси Заболоцкий, единственный из бригады, жил один: Тихонов с Гольцевым, я с Межировым. Правда, Заболоцкий был *пятым,* то есть фактически для него не нашлось соседа. Но была в этом и своего рода логика предопределенности: ему пристало такое одиночество. Оно было нужнее для этого сдержанного, некомпанейского, неговорливого человека, чем любое соседство. Впрочем, он ничего не чуждался, никакого шумного (и неизбежного в Грузии) застолья не избегал. И в этих случаях он был на своем месте, как член экипажа в кают-компании.

Однажды Георгий Леонидзе завлек Николая Алексе-

евича и меня в интересную авантюру. Где-то километрах в двадцати от Гори праздновал свой день рождения один из долгожителей — колхозник более чем столетний. Мы попали на третий день праздника, происходившего на открытом воздухе. Стояли длинные столы, уставленные всеми дарами благодатной природы. За столом теснилось в основном многочисленное потомство старца: сыновья, дочери, их жены и мужья, внуки, правнуки, может быть, и праправнуки знаменитого старца. Все это великолепие было в высшей степени патриархально, с соблюдением всех вековых обычаев такого застолья. Разумеется, главным атрибутом торжества было свое, деревенское молодое вино. Его было много, слишком много для нас. Гремел и главенствовал, конечно, Георгий Леонидзе, давний друг этой семьи, самый почетный и чтимый гость. Но и двум москвичам было отдано по законам гостеприимства должное внимание.

Торжество кончилось поздно за полночь. Нам пришлось заночевать в колхозе, в доме именинника. Мы спали на полу на сене, обложенные подушками, тесно прижавшись друг к другу — Леонидзе, Заболоцкий и я. Рано утром, ни свет ни заря, молодые хозяева разбудили нас, и было от чего. Старец тяжело заболел. Нам пришлось взять его с собой. В Гори в больнице его не приняли. Пришлось везти его в Тбилиси. Старик страдал, ему было не легко. Как он выжил, как перенес тряску в машине, не представляю себе. В Тбилиси мы сдали больного с рук на руки врачам. Потом мы узнали, что благодаря их заботам столетний старец выжил, его поставили на ноги и он как ни в чем не бывало вернулся домой.

Весь этот эпизод с феноменом выздоровления и прочим прямого отношения к воспоминаниям о Заболоцком не имеет, но он восстанавливает климат нашей тогдашней авантюрной поездки. Может быть, он хотя бы косвенно отразился где-то в обертонах грузинских стихов Заболоцкого. Конечно, искать эти отражения дело сложное и неблагодарное, но в таких случаях нельзя пренебрегать чем бы то ни было.

Дальнейшие мои воспоминания о Николае Алексеевиче бессвязны, отрывочны и особого интереса не представляют. В течение нескольких лет мы часто встречались как члены бюро секции переводчиков. Это было дело прозаическое, организационное, чисто «деловое» и общественное. Он был сух, аккуратен, истово «служил» общему делу, мало отличаясь от других товарищей.

Весной 1953 года ему исполнилось пятьдесят лет. В маленькой квартире на Беговой улице собрались друзья Заболоцкого. Сын его Никита снимал нас. Екатерина Васильевна, добрая подруга поэта, была хозяйкой стола. Все было как всегда в таких случаях — сердечно и многословно, но, по сравнению с грузинскими сборищами, сдержанно и, так сказать, семейно замкнуто, без шумных тостов и прикосновений к «мировым» пространствам.

Этот весенний вечер 1953 года, в сущности, был последней встречей моей с Николаем Алексеевичем. Дальше дороги наши разошлись. Он был широко признан, успел побывать в Италии, привез оттуда великолепные стихи, много и плодотворно работал. Стихи его пятидесятых годов вообще одни из лучших. В них сформировалось мировоззрение поэта, его историзм, глубина в постижении *движущегося* портрета, который включает в себя *биографию* изображенного героя или героини, не только их прошлое, но и будущее:

Отсутствие контакта между нами — дело, наверно, случая или судьбы, — это неважно.

В 1958 году Николай Алексеевич безвременно скончался, пятидесяти пяти лет, в расцвете творческих и душевных сил, на полдороге. В это время я был во Вьетнаме и узнал о его смерти уже в Москве.

В 1972 году вышел двухтомник Николая Алексеевича, впервые наиболее полно собравший его литературное наследие[1]. Это — явление большой значимости в нашей современной культуре. Ему предстоит долгая жизнь. Всесторонняя оценка двухтомника не входит в мою задачу. Остановлюсь на том, что мне особенно дорого и близко.

Я имею в виду поэму «Безумный волк». На этом образце можно проследить и обнаружить поразительные поиски и находки Николая Заболоцкого в области неожиданной для нашей советской поэзии. Эта область — *мистериально-карнавальная драматургия.* Я пользуюсь термином, заимствованным у М. М. Бахтина, из его гениальной книги о Достоевском. Литературоведческая аппаратура этого ученого грандиозно велика. Он возводит эту драматургию к античности, к греко-римской мениппее, в дальнейшем прослеживает ее деформацию и развитие в средних веках, наконец, в

[1] В настоящее время наиболее полным изданием произведений Н. А. Заболоцкого следует считать трехтомное собрание сочинений. М., «Художественная литература», 1983—1984.

Ренессансе, то есть в карнавале как народном, простонародном и всенародном празднестве. Для моих целей эта аппаратура не понадобится: речь идет о явлении нашего века, нашего искусства.

В поэме Заболоцкого много действующих лиц. Кто они?

Медведь. Сам Волк, названный безумным, что оказывается ошибкой: безумие Волка в его особой проницательности и одаренности. Он — открыватель новых дорог, новатор, гений, всегда обреченный при жизни на непризнание. Все это обнаруживается в последней сцене поэмы, посвященной гибели героя:

Председатель
Сегодня годовщина смерти Безумного.
Почтим его память.

Волки
(поют)

Встаньте, звери, встаньте в раз.
Ударяйте, звери, в таз!

Вместе с бурей из ракит
Тень Безумного летит.

Дальше они спрашивают:

«Кто ты, страшный? Что тебе?»

Тень Волка отвечает:

«Я — Летатель. Я — Топор.
Победитель ваших нор».

Начинается диспут. В этом вихревом, перекрестном споре поочередно выступают волки-ученые, волки-студенты, волки-музыканты. Диспут продолжается долго. В нем ритм человеческого, а не звериного, общежития и общения, организация нового мира.

Председатель кончает поэму взрывом ликующего отчаяния. Можно сказать — и отчаянным ликованием. Он обращается к почившему Безумцу как к провозвестнику новой эры:

Ты — первый взрыв цепей!
Ты — река, породившая нас!

Мы, стоящие на границе веков,
Рабочие молота нашей головы,
Мы запечатали кладбище старого леса
Твоим исковерканным трупом.

Лежи смирно в своей могиле,
Великий Летатель Книзу Головой.
Мы, волки, несем твое дело
Туда, на звезды, вперед!

Эта поэма была написана в 1931 году, сорок два года, почти полвека назад. Не впервые Шестикрылый Серафим коснулся «перстами легкими, как сон» глаз русского поэта на историческом и личном перепутье. А поэт, «духовной жаждою томим», откликнулся суровой эмблематикой, многозначным явлением духовной и поэтической культуры. Мощный подтекст поэмы Заболоцкого может быть расшифрован по-разному. На то и существует поэзия. Но первая расшифровка кажется мне ясной, и она напрашивается сама собою.

Это вековая борьба человека с мирозданием, с кажущимся устойчивым порядком. На самом же деле порядок неустойчив, он нуждается в новых коррективах, в новом угле зрения, в новой точке отсчета времени. Если физики хотя бы швырнут глаз на этот мчащийся ткацкий станок времени (вспомним Гёте: «So schaff ich am Sausendem Webstuhle der Zeit»), тогда они услышат *музыку* в творении Заболоцкого, патетику и смысл его: общее дело человеческой культуры сдвинуто, может быть, на одну долю секунды, но оно сдвинуто работой мнимого Безумца, точнее же сказать — того, кто при жизни числился «безумцем», а посмертно возвеличен. Конечно, мое толкование слишком однозначно и оттого грубо и схематично. Еще раз: поэзия шире и глубже однолинейных толкований.

Рядом с «Безумным Волком» стоит знаменитое «Торжество земледелия», как уже сказано, в свое время истолкованное несправедливо. Тоже случай нередкий и по-своему характерный в истории всех искусств.

В двухтомнике Заболоцкий восстановлен как великий поэт нашей эпохи, новатор, освеживший язык и ритмы русской поэзии. Корни его глубоки. Они восходят через Пушкина к самому началу XVIII века — к Ломоносову, но приближаются к Хлебникову, к его гениальным поискам и находкам.

Но здесь я должен снова вернуться к М. М. Бахтину, к его концепции карнавально-мистериального начала в литературе. Материал Бахтина — проза, роман, в частности Рабле и Достоевский. Но его термин (музыкального происхождения) «полифонический роман» приложим и к поэзии.

Поэзия Заболоцкого в высшей степени *полифонична,*

многоголоса. Еще в ранней его поэме «Лодейников» это сказалось с большой и убедительной яркостью. Но на карнавальной сущности этих молодых затей Заболоцкого тоже следует настаивать!

Кто же в самом деле все эти звери в «Безумном Волке»? Уж не святочные ли ряженые с Михаил Иванычем Топтыгиным во главе? Волки ли рядятся в людей или люди в волков? То и другое одинаково допустимо и реально.

И если отсюда же, от карнавально-шутейного характера этой *явной* драматургии, обратиться к самому началу Заболоцкого, к его «Столбцам», то в них, в их «подпочве», — Петербург и посленэповский Ленинград — легко можно обнаружить связь и с петровской «Всешутейшей ассамблеей», и с многими родственными явлениями, прежде всего с масленичными гуляниями и балаганами в Москве на Новинском, в Питере, кажется, около Исаакиевского собора. В незавершенном отрывке, недавно опубликованном А. С. Долининым, о представлении «Петрушки» в старом Петербурге рассказано о том, что Достоевский очень высоко ставил эту, по его определению, «народную драму». «Скажите, почему так смешон Петрушка, почему вам непременно весело, смотря на него, всем весело, и детям, и старикам? Но и какой характер, какой цельный художественный характер...», «Как он доверчив, как он весел и прямодушен, как он не хочет верить злу и обману, как быстро гневается и бросается на несправедливость и как тут же торжествует, когда кого-нибудь отлупит палкой». Это Достоевский говорит о Пульчинелле (Полишинеле). И рядом: «и какой же подлец неразлучный с ним этот Петрушка, как он обманывает его, подсмеивается над ним, а тот и не примечает. Петрушка вроде совершенно обрусевшего Санчо Пансы и Лепорелло, но уж совершенно обрусевший и народный характер».

И Достоевскому приходит в голову возможность поставить эту «народную драму» в Александринском театре: «Комедия бессмысленно весела, а вышло бы смело и оригинально...» Все это в разговоре со знаменитым актером и рассказчиком Горбуновым. Кончается этот отрывок так: «Мы после, разумеется, посмеялись, я шутил...»

Да, Достоевский шутил, но шутка была по-своему пророческой, если мы вспомним Стравинского и его балет «Петрушка», осуществленный Дягилевым в Париже в 1917 году. Так неожиданно исполнилось желание Достоевского, по его мнению, «шутливое».

Мне кажется, что этот имеет прямое отношение к раннему Заболоцкому, к его «Столбцам», к шутейно-гротесковым образам этих стихотворений: у них, как уже сказано, глубокие корни, они разветвляются, захватывая области, иногда совсем неожиданные и противоречащие друг другу. Но почва этих корней глубоко народна, и прежде всего она *демократична.* Герои «Столбцов», явные и подразумеваемые, в сущности, похожи друг на друга: это деклассированный, мелкий народ, то ли коренные петроградцы, то ли командированные из дальней провинции. Коренные питерцы справляют пасху в коммунальной квартире где-нибудь на Петроградской стороне:

И, принимая красный спич,
Сидит на столике кулич...

А приезжие в какой-то степени поверхностно ассимилируются с великим городом, но по сути своей они вредны. Это о них, бесчисленных и неизбежных «Ивановых», сказано:

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиного норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

Стихотворение так и называется «Ивановы». В известной мере оно программно для раннего Заболоцкого. Здесь открывается его ненависть, его отчаяние, его проницательность в отношении женской и девической судьбы в большом разворошенном городе, населенном «Ивановыми»:

Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик
И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

Было бы очень большой и явной несправедливостью сказать, что, кроме этих тяжелых, если не трагических, образов, Заболоцкий не заметил в конце двадцатых годов совсем другого, противоположного, широко раскрытого в будущее социалистического мира. У Заболоцкого была своя патетика, и она грандиозно вырастает как раз благодаря соседству со всякого рода «Ивановыми». В стихотворении «Свадьба» показано уродство страшного комнатного, идиотического праздничного обряда:

О пташка божья, где твой стыд?
И что к твоей прибавит чести
Жених, приделанный к невесте
И позабывший звон копыт?..

Но кончается эта свадьба совсем неожиданно:

И вслед за ними по засадам,
Ополоумев от вытья,
Огромный дом, виляя задом,
Летит в пространство бытия.

И, наконец, последняя строфа, которая все ставит на место:

А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

Здесь и прибавить нечего!

Но совершенно обязательно сделать отсюда вывод. И он должен прозвучать как *тезис.* Уже тогда, в самом начале поэтического пути, Николай Заболоцкий твердо знал, что живет во времени историческом. Он был не только одиночкой чудаком, но и *гражданским* поэтом, отдающим себе отчет в достоинстве этого звания, в его обязательности для себя, для всей нашей поэзии.

Так что «Торжество земледелия» было и продолжением гражданского начала, и вещим знаком преодоления некоторых особенностей «Столбцов», не всегда понятных многим читателям. Еще раз надо повторить: путь настоящего поэта всегда труден и должен быть трудным. Легкость пути — это признак легковесности и мотыльковой поверхностности поэта. Такие случаи тоже бывают, но мало чего они стоят в искусстве слова и ритма.

Но пора, наконец, обратиться и к «позднейшему», зрелому Заболоцкому, к тем его стихам и поэмам, которые заслужили наибольшее признание благодаря их совершенству и хрестоматийной «понятности» и доходчивости. Это и «Некрасивая девочка», и «Старая актриса», и трижды-семижды «Журавли», и «Седов», и «Портрет», и еще многое, слишком многое, чтобы нуждаться в лишнем перечислении и напоминании. Сюда же, в тот же избранный ряд, входят и переводы — не только грузинских поэтов, но Гёте и Шиллера, а также «Слова о полку Игореве». Это перевод не бесспорный, но — при всех возможных возражениях — смелый; он рифмован и ритмизован, так что речь идет о вольном переложении древнейшего памятника и соответ-

ственно вольном толковании некоторых особенностей, в их числе и коренных.

О другом, оригинальном творении Николая Заболоцкого хочется мне сказать напоследок — о последней по времени его поэме «Рубрук в Монголии». Это XIII век нашей эры. Рубрук — монах-францисканец, посланный французским королем Людовиком IX в Азию в связи с ложными слухами о том, что монгольский хан склонен принять христианство. Путешествие Рубрука было сложным. Из Константинополя, через Крым и Кавказ, дальше по Средней Азии и Южной Сибири монах добрался в Монголию, представился Батыю и Мартаку. Обратный его путь — Астрахань, Дербент, Ширван, Шемаха, Тифлис, Армения. Рубрук первый доказал, что Каспийское море не часть океана, а замкнутое в себе гигантское соленое озеро, названное морем вследствие своей обширности и глубины. В конце прошлого века в Париже были впервые изданы записки Рубрука вместе с записками Марко Поло под названием «Два путешествия в Азию в XIII веке».

Очевидно, Заболоцкий читал записки Рубрука в русском переводе издания 1911 года. Но его широкая осведомленность в исторических событиях той эпохи связана с другими книжными источниками. Во всяком случае, он хорошо вооружен для этого творения. Это обнаруживается в первой же главе, с первых же строк:

В те дни, по милости Батыев,
Ладони выев до костей,
Еще дымился древний Киев
У ног непрошеных гостей.

Не стало больше песен дивных,
Лежал в гробнице Ярослав,
И замолчали девы в гривнах,
Последний танец отплясав...

Монах видит дорогу Чингисхана: «Как первобытный крематорий, еще пылал Чингисов путь...»

Язык Заболоцкого в этой поэме как будто нарочито осовременен. В него вторгаются и музыкальные термины. Вторгаются с неистовой силой и дерзко. Они буквально затопляют повествование, все эти C-dur, «скрипки лиственниц и лип», смычок — бич, виолончель — бычий бок, шестая симфония чертей. И еще, и еще... Все это создает двуплановость, а то и многоплановость повествования. Невероятно седая древность — и рядом с нею весь этот

изощренный, сугубо специальный словарь, так что в результате явных анахронизмов сама древность отступает гораздо дальше своего XIII века, чуть ли не к баснословным временам сотворения мира, когда каждая заново сотворенная мелочь требовала для себя нового имени, по возможности неожиданного.

Тут, кстати, самое время показать, как в этой поэме преодолевается разность языков европейцев и азиатов, как идет эта «игра на гранях языка».

Трепать язык умеет всякий,
Но надо так трепать язык,
Чтоб щи не путать с кулебякой
И с запятыми закавык.

И толмач-переводчик определяется, как «наводчик с железной фомкой и ключом». И в конечном счете выходит, что

Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.

Николай Заболоцкий поднимает на свои плечи, на плечи родного ему русского языка, в сущности, непосильную тяжесть, но она в основе замысла этой стремительно развивающейся поэмы о давних временах, в самой сути этого рассказа о неудаче, обусловленной исторически: встретились два стана, два мира и два мировоззрения. Не может быть речи о том, чтобы они о чем бы то ни было договорились. Ситуация смахивает на сюжеты, излюбленные в современной фантастике, — о встречах людей с инопланетными существами.

Мне представляется, что именно здесь, в несходимости двух разных миров — культуры и исторической судьбы, когда обе стороны остаются при своем, так и не разгадав друг друга, — на этом эпизоде (последнем в поэме) и основан замысел Заболоцкого как поэта-историка. С этой задачей он справился блестяще. Таким образом, последний вывод, который слышится монаху откуда-то с неба, звучит весьма недвусмысленно и веско:

Твой бог пригоден здесь постольку,
Поскольку может он помочь
Схватить венгерку или польку
И в глушь Сибири уволочь.

Что и говорить, совет мудр и весьма реален в своем лукавстве. С небесными светилами в разных обстоятель-

ствах беседовали многие герои поэзии, в частности Автандил в поэме Руставели, которую перевел Заболоцкий. Там разговор был романтически возвышен, тем более что это был, собственно, монолог рыцаря. Светила благоразумно помалкивали. Зато сами боги часто запросто обращались к смертным, особенно в эллинских мифах.

Дата, поставленная под поэмой о Рубруке, — 1958, год безвременной кончины Николая Заболоцкого.

Никто не знает, была ли у него мысль о том, что, дописывая поэму, он прощается с жизнью и с поэзией. Да и нам незачем задумываться на эту тему. Оттого незачем, что поэтическое наследие Николая Заболоцкого не до конца разобрано, исследовано, проанализировано. Это еще предстоит многим из нас. Работы хватит на всех.

1973



С. Чиковани и Н. Заболоцкий. Тбилиси. 1936 г.

С. ЧИКОВАНИ

ВЕРНЫЙ ДРУГ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Николай Заболоцкий был упорным и трудолюбивым, благородным и взыскательным, закаленным в постоянной борьбе с поэтическим словом мастером. Он воспевал красочность земли, он умел находить непривычную красоту в каждом уголке нашей жизни и славил величие духа человека в полную меру своего животворного, самобытного таланта. Он был соратником грузинских поэтов и не только бережным ценителем, но и, по существу, своеобразным деятелем грузинской культуры.

Известная разность наших поэтических натур не мешала нам, однако, быть близкими друзьями, не мешала поверять друг другу свои заветные мысли и чувства, на протяжении

годов совместно обсуждать вопросы переводов грузинской поэзии и, как он сам писал в одной своей статье, быть первым дегустатором его творений в этой области.

Я познакомился с Николаем Заболоцким ровно двадцать три года назад в ленинградском клубе писателей, на вечере грузинской поэзии. К тому времени уже были известны его первый нашумевший поэтический сборник «Столбцы» и поэма «Торжество земледелия». Вокруг поэмы в тогдашней литературной критике поднялась целая буря. Почти все статьи резко критиковали молодого поэта, упрекали его в отходе от позиций истинного реализма. Действительно, творчество Н. Заболоцкого носило какой-то нарочито наивный и в то же время вызывающий бунтарский характер. Может быть, поэтому я представлял себе автора «Столбцов» человеком с подчеркнутой поэтической внешностью и ярким, даже властным характером. Каково же было наше удивление, мое и Тициана Табидзе, когда один наш старый знакомый представил нам молодого полного блондина, среднего роста, в очках, со спокойным и серьезным выражением лица и сказал: «Познакомьтесь, поэт Николай Заболоцкий». Я, изумленный, глядел на него, и мне казалось, что его внешности недостает поэтической убедительности. Он больше напоминал степенного ученого. Но сам Заболоцкий неожиданно опроверг наше заранее сложившееся представление о нем. Он вежливо приветствовал нас и любезно произнес: «Я большой поклонник грузинской поэзии. Правда, я лишь недавно начал изучать ее, но уже успел полюбить некоторых из грузинских поэтов».

Эту коротенькую речь он произнес с многозначительными паузами, сопровождая каждое слово движением указательного пальца. Тон беседы был сдержанный, почти официальный, но внутренний смысл его слов дружеский и даже предвещающий восторг. Говорил он спокойно, без излишнего красноречия, и казалось, что даже самые незначительные слова были заранее им подобраны, обдуманы и взвешены. Подобное несоответствие между его внешностью и творческой натурой заинтересовало меня, и я тут же попытался снять с моего нового знакомого этот панцирь кажущейся недосягаемости. Оказалось, что это было не таким трудным делом. Н. Заболоцкий в то время переводил «Заздравный тост» Гр. Орбелиани. Стоило мне затронуть эту тему, как лед мгновенно тронулся, а вскоре и совсем растаял. Мне сразу открылась его тонкая, чуткая, благород-

ная душа, и между нами завязалась непринужденная дружеская беседа.

Взгляды его на поэзию, на искусство отличались научной точностью и четкостью, и вместе с тем в душе его гнездились удивительные образы, поэзия проникла в его плоть и кровь, вдохновение навсегда завладело его твердым и по-своему упрямым характером.

Тот вечер в Ленинграде положил начало нашей близости, а год спустя в Минске, где мы встретились на пленуме Правления Союза писателей, посвященном вопросам поэзии, наша дружба окончательно окрепла. Мой новый друг пригласил к себе в гостиницу Миколу Бажана, меня и нескольких московских товарищей. Он читал нам свои новые стихи — «Север», «Лодейников», «Осень», «Начало зимы», — которые всех нас привели в восхищение.

Поэт как бы рисовал самостоятельную, дотоле не познанную жизнь природы, он как бы постигал душевный лад мироздания и делал зримыми невидимые до сих пор картины. Природа была для него не только объектом проникновенного видения, но и предметом своеобразного поэтического анализа, и поэтому все в его поэзии казалось вновь открытым и научно удостоверенным. Будто нетронутая, первобытная краса вдруг воплотилась в тщательно отделанные образы, вызывая у слушателей невольное чувство восхищения, смешанное с удивлением. Сильнейшее впечатление произвели на меня нарисованные в стихах пластические образы природы и подлинное чувство величия внутреннего строя этих образов. И хотя поэт рисовал картины бескрайних северных просторов, я понял, что он может постичь и образы природы, воссозданные в грузинской поэзии. И я попросил его познакомиться с творчеством Важа Пшавела и попытаться перевести его поэмы. «Обязательно постараюсь, — ответил мне Николай Заболоцкий. — Я уже знаком с подстрочным переводом «Гостя и хозяина», он привел меня в восторг и смятение, но теперь я спешу закончить перевод стихов Григола Орбелиани». И он прочитал нам свой замечательный, теперь уже хорошо известный перевод «Заздравного тоста».

Начиная с этого дня, между нами возникли самые тесные — дружеские и деловые — отношения. И мне кажется, что на протяжении этих двадцати двух лет его творческая и домашняя жизнь прошла у меня на глазах и что завязавшаяся между нами дружеская беседа так и не прерывалась до конца его жизни. Казалось, его рабочий стол стоял где-то

неподалеку от моего окна, и я мог воочию наблюдать за вдохновенным трудом любимого друга, видеть, как переводит он лучшие творения грузинской классики и как проверяет на свой острый слух музыкальность взлетавших с этого стола звучных строк. Он был вдумчивым и взыскательным мастером. Он не сразу открывал нам свое сердце и не был склонен поддаваться поверхностным поэтическим впечатлениям и страстям. У него был вид уверенного, делового человека, и если уж он за что-нибудь брался, то всегда выполнял работу к намеченному сроку. Обязательность и принципиальность всегда были отличительными чертами его характера. Человек исключительной организованности, дома он оказывался на редкость добрым и по-детски мягким.

По своей натуре он был настоящим русским человеком, бесконечно влюбленным в свою родину. С детства пленили его картины северной природы, нескончаемая снежная русская зима и резко обозначенное рождение северной весны. В этой неоглядной шири зародились его первые поэтические видения, и глаз его привык к необозримости русских просторов. Но, несмотря на такой, вполне определенный склад души, он благодаря своим друзьям до конца понял и полюбил нравы и обычаи грузинского народа, великолепие грузинской природы и своеобразный, народный, благородный артистизм грузинского гостеприимства; он сам у себя дома с открытой душой и распростертыми объятиями встречал своих тбилисских друзей, с радостью затевал пир и строго придерживался правил грузинского стола. Застольные бдения у Заболоцкого были и впрямь похожи на платоновские пиры, и вместе с заздравными чашами из рук в руки передавалось там драгоценное поэтическое слово. В Тбилиси ли, расцвеченном осенними красками, у журчащего ли родника Сагурамо, в просторах ли, обозреваемых с квишхетских балконов, в желтеющем ли октябрьском гомборском лесу, виноградной ли порой в Кахетии и Картли, или в живописном Чаргальском ущелье, — всюду постигал он Грузию, жизнь ее народа и воссозданные в грузинской поэзии картины величественной грузинской природы. Николай Заболоцкий переводил лучшие образцы грузинской поэзии и тем самым прививал русскому читателю любовь к Грузии.

Заболоцкий не говорил по-грузински, но умел читать и отлично чувствовал музыкальное звучание грузинского стиха. Он знал наизусть — на грузинском языке — целые

строфы из Руставели, а также некоторые строки из «Давитиани» Гурамишвили. «Дидеба шенда, дидеба, сахит мзета мзео!» («Слава тебе, слава, солнцеликая!») — любил он повторять эти строки Гурамишвили и тут же замечал, что в переводе невозможно сохранить величавую простоту и музыкальность этого стиха. Прямую передачу музыкальной природы грузинского стиха в русском переводе Заболоцкий считал невозможной, но он находил обязательным для переводчика знание музыкальной стороны переводимого материала. Н. Заболоцкий был человеком неисчерпаемой поэтической энергии. Около пятнадцати лет работали мы вместе, и я ни разу не замечал у него хоть малейшего поэтического спада или оскудения необыкновенной его фантазии. Последние пятнадцать лет своей жизни он посвятил переводу на русский язык лучших образцов грузинской поэзии и создал в этой области творчества немало несравненных шедевров.

Как известно, Н. Заболоцкому принадлежат переводы сборника стихов Григола Орбелиани, поэм И. Чавчавадзе «Отшельник», «Видение», «Мать и сын», «Димитрий Самопожертвователь» и нескольких его лирических стихотворений, переводы поэм Важа Пшавела «Гоготур и Апшина», «Охотник», «Алуда Кетелаури», «Копала», «Раненый барс», «Этери», «Бахтриони», «Гость и хозяин», «Оленья лопатка», «Кровная месть», «Змееед», «Дзаглика Химикаури», «Гила и Квири» и до двадцати его лирических стихотворений, «Давитиани» Д. Гурамишвили и нескольких лирических жемчужин Акакия Церетели, а также целого ряда образцов грузинской народной поэзии. Недавно он завершил перевод бессмертной поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Всю эту колоссальную работу, требующую не только большого таланта и вдохновения, но и большой жизненной энергии, физической силы, Заболоцкий проделал с присущим ему мастерством и обогатил русскую поэзию самобытными и яркими переводами.

Н. Заболоцкий совершил своего рода поэтический подвиг, сделал очень важное для потомства дело и еще более укрепил святую духовную дружбу между нашими народами. Однажды в дружеской беседе он сказал мне: «Моя мечта — познакомить миллионы с грузинской поэзией». И действительно, он не жалел сил для выполнения этой благородной задачи. Имя его навеки связано с грузинской поэзией.

Немыслимо, чтобы один поэт (каким бы широким творческим диапазоном он ни обладал) с одинаковым проникно-

вением и мастерством перевел таких разнохарактерных поэтов, как перечисленные выше грузинские классики. Тут необходим своего рода избирательный подход к материалу, надо найти хотя бы отдаленное родство между собой и природой переводимого поэта. Николай Заболоцкий из грузинских поэтов особенно любил Давида Гурамишвили и Важа Пшавела. Не все из названных выше поэтов могли быть ему одинаково близки, но нужно тем не менее подчеркнуть, что буквально каждый перевод Заболоцкого отмечен печатью подлинно вдохновенного творческого труда и тонкого поэтического вкуса. Заболоцкий любил грузинскую поэзию в ее цельности, единстве, яркая живописность ее образов вызывала у него восхищение, возбуждала и вдохновляла его. Замечательный мастер слова, он с исключительным чувством ответственности относился к своему труду. Из-под его пера не могла появиться неотточенная, необструганная строка или вялая поэтическая фраза. От его слуха не могла ускользнуть глухая или недостаточно звучная строчка; языковая ткань его переводов прозрачна, тонка и благозвучна. Если в переведенных Заболоцким поэмах Важа Пшавела напряженная духовная жизнь героев передана сравнительно спокойной интонацией, то в них с блеском и точностью воспроизведена живопись и монументальная картинность поэзии Важа Пшавела, правильно поняты общественные устремления поэта и его сложный духовный мир.

В переводах же Давида Гурамишвили Заболоцкий смог сохранить естественность народной поэтической речи, иносказания и афористические поэтические фразы, нашел многочисленные ритмометрические соответствия и во всей полифонической музыкальности и многокрасочности воссоздал на русском языке его поэзию. С такой же тонкой проникновенностью перенес он в русский перевод степенную, полную достоинства лирическую интонацию и богатство пластических образов в произведениях Григола Орбелиани (поэма «Заздравный тост», лирика). В переводе стихотворений Гр. Орбелиани, написанных в манере «мухамбази», Н. Заболоцкий сохранил тбилисский народный колорит, размах и свободу поэтической речи. С не меньшим увлечением и любовью работал Заболоцкий и над переводами произведений советских грузинских поэтов.

Н. Заболоцкий с большим увлечением изучал древнегрузинскую литературу, историю Грузии, сохранившиеся на грузинской земле архитектурные памятники, восхищенно

любовался чарующей природой Грузии, ее девственной, первозданной красотой.

Осенью 1936 года Н. Заболоцкий побывал в Гори и через месяц опубликовал созданное под впечатлением этой поездки стихотворение «Горийская симфония», в котором выразил всю свою глубокую и нежную любовь к грузинскому народу.

В благородных и благозвучных строках этого стихотворения воскрешены пленительные картины горийских окрестностей, щедрые краски горийской осени. Глаз поэта, привычный к северной природе, по-своему увидел величие грузинской природы и благородство трудолюбивого народа. Здесь нашел Заболоцкий излюбленную гармонию цветов. Эту же песнь оживших и заговоривших красок природы уловил поэт в осеннем шелесте пожелтевших листьев гомборского леса. Навсегда подружился он с горами Грузии. В стихотворении, опубликованном недавно, Заболоцкий писал:

С тех пор мне собратьями сделались горы,
И нет мне покоя, когда на трубе
Поют в сентябре золотые Гомборы
И гонят в просторы и манят к себе.

А в стихотворении «Тбилисские ночи» поэт воспел чистоту и достоинство грузинки, признав ее спокойную прелесть высшим проявлением женской красоты.

Полностью оставаясь русским, он мысленно переносит эту восхитившую его красоту в родные ему северные просторы, окружает ее образами исконно русской, почти из песни взятой натуры, окутывая южную красу то в соболя или меха золотых песцов и куниц, то в снежный ворох сибирских полей. Это редчайший в новой поэзии пример гармонического слияния предельно русского поэтического восприятия с поистине пушкинской влюбленностью в красоту грузинки.

...Таковы внутренний пафос и целеустремленность поэзии Николая Заболоцкого. Он любил сдерживать творческий порыв и постигал красоту мира, спокойно и мудро его созерцая. Он больше опирался на поэтическое видение, чем на поэтический восторг. Гармонию живого характера и природы он находил и в чисто внешних проявлениях красоты грузинского пейзажа. В стихотворениях «Храмгэс», «Греми», «Казбек», «Сагурамо», «Воздушное путешествие» с подлинным блеском изображены пленительные пейзажи

различных уголков Грузии, вместе с тем в них полностью сказалась склонность Заболоцкого к поэтической монументальности.

Такая тяга к монументальности и раньше была заметна в поэзии Заболоцкого. Его сравнительно ранние стихи — «Север», «Лодейников», «Начало зимы», «Седов» — характеризовались своеобразной духовной гармоничностью и монументальностью внешней поэтической формы. Но особенно резко выявилось это чувство монументальности в стихах Заболоцкого, посвященных темам социалистического строительства. В этих произведениях поэт нашел соответствующие краски для воплощения темы социалистического труда и с помощью своеобразной торжественной интонации смог передать героическую патетику жизни строителей социализма, показать утверждение новой жизни в глухой тайге и безлюдных пустынях.

Поэт сумел ярко и живо изобразить строительство дальних дорог, величие уральских пятилеток и социалистическое преобразование сибирских просторов. В его стихах «Город в степи», «Урал», «В тайге», «Творцы дорог» и других создан совершенно особый, монументальный мир. Это — гимн социалистическому труду. В звонких, словно из бронзы отлитых, строках воспевается рожденная на безлюдных просторах жизнь и ее неувядаемая чарующая краса.

Этими стихами Заболоцкий открыл новые пути в русской советской поэзии.

Николай Заболоцкий, как вскользь было замечено выше, прошел сложный и противоречивый путь. В пору своей поэтической юности он находился под некоторым влиянием В. Хлебникова, хотя «заумь» всегда была чужда поэтической натуре Н. Заболоцкого. Напротив, в поэзии он всегда искал и добивался точности слова и поэтической мысли. Заболоцкого тогда увлекало только хлебниковское отношение к природе, его стилизованная античность и любовь к древнему русскому фольклору. Он сам стремился художественно воссоздать современность с первозданной поэтической непосредственностью. В стихотворениях этого периода эксцентрическое восприятие мира сливается с поэтической манерой культивированного лубка, а подчеркнутая «наивность» и «удивление» составляют основу его поэтического видения и служат своеобразному остранению поэтической интонации. Все это родственно тому восприятию действительности, которое вносили в художественное

мышление французский художник Анри Руссо и отчасти Нико Пиросманишвили. Н. Заболоцкого тоже, вероятно, пленяли народные зрелища, бродячие паяцы, различные виды народного цирка. Но Заболоцкий недолго оставался в сфере влияния поэзии В. Хлебникова и живописи Анри Руссо. Вскоре он все свое внимание перенес на классическую русскую поэзию XVIII и XIX веков. Постепенно он склоняется к поэтическому мышлению классической русской поэзии и окончательно избирает путь реалистического творчества. Его любимые поэты — Е. Баратынский и Ф. Тютчев. Их влияние сказалось на интонационном звучании некоторых стихов Н. Заболоцкого.

Своеобразной данью этому увлечению был и заметный налет архаизма в стихах того периода. Замечательное стихотворение Заболоцкого «Завещание», обращенное к будущему поколению, не может не напомнить строки Баратынского:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

Эти стихи Баратынского и стихотворение Н. Заболоцкого «Завещание» как бы перекликаются друг с другом. Здесь, конечно, исключено прямое заимствование, это пример сознательного усвоения старых поэтических традиций и их творческого развития. Воскрешение некоторых забытых поэтических приемов приобретает в творчестве Заболоцкого характер новаторства. Советский поэт, обращаясь к будущему поколению, словно продолжает начатую Баратынским лирическую беседу. Но в «Завещании» воссозданы образы новой жизни, найдены новые краски, создан самобытный поэтический мир:

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

Характерно и то, что Баратынский ищет в будущем читателя, а Заболоцкий — продолжателя своего дела, и будущее поколение он считает соучастником своей работы.

В последние годы жизни не только тембром своего поэтического голоса, но и характером своего восприятия природы Заболоцкий все более сближается с русской классической поэзией. Он очень любил стихотворение Баратынского «Запустение» и прекрасно его читал, стараясь донести до слуха друзей всю глубину этого произведения. С такой же любовью читал он мне «На смерть Гёте» Баратынского, очень радовался тому, что в свое время это произведение нравилось Важа Пшавела. Поднимая вверх указательный палец, он многозначительно произносил: «Это — не случайно!» Это стихотворение как бы приобщало его к творчеству Гёте, помогало ему постичь высокий поэтический строй души автора «Фауста». Гёте был для него предметом благоговейного восторга и поклонения.

В сравнительно ранний период творчества Заболоцкий увлекался своеобразными эпическими зарисовками русского пейзажа, стараясь постичь внутренние законы природы и придавая тем самым своим вещам внешний философский оттенок. Он любил описывать картины природы и затевать с природой лирический разговор философского плана. Автор «Севера» в своей лирической исповеди опирался преимущественно на живописное изображение натуры. В дальнейшем он вернулся к пути, проложенному классиками, и стал более реалистически воспринимать природу, вплетая в образы внешнего мира образ своего духовного двойника, и философски осмыслять свои лирические эскизы. Если раньше в его поэзии живописность несколько довлела над лирическим излиянием, теперь поэт сознательно ограничил свою палитру и отвел живописной образности место и роль фона глубокой лирической исповеди. Но любовь к изобразительному искусству, особенно к живописи, Заболоцкий сохранил навсегда. В 1953 году он писал:

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Эти строки имели для Заболоцкого принципиальное значение. Хотя он и обладал незаурядным музыкальным слухом, все же его поэтическое вдохновение больше тяготело к живописи.

Глубокие поэтические переживания нарушили внешнее спокойствие поэта и обогатили его душу новыми впечатлениями современной жизни. В его спокойную интонацию

вторгся сильно драматизированный голос, изменивший весь строй его души. Главным, определяющим качеством поэтических замыслов Заболоцкого стал гуманизм нашего времени, рожденный советской действительностью. Наряду с лирическим постижением красоты природы он увлеченно стал ваять образы людей. Причем человеческие образы он стал воспринимать так же, как и картины природы: в человеке, как и в природе, он видел яркое отражение своей души. Поэта увлекли беспейзажные картины быстротекущей современности и образы людей с необычной биографией. Примерно год назад он сказал мне: «Раньше я был увлечен образами природы, а теперь я постарел и, видимо, поэтому больше любуюсь людьми и присматриваюсь к ним». Как результат этого благородного увлечения появились на свет блистательные, отмеченные большой лирической экспрессией реалистические стихотворения: «Старая актриса», «В кино», «Некрасивая девочка», «Последняя любовь», «Слепой» и другие. В этих произведениях Заболоцкий выступает как тонкий знаток человеческой души, певец богатых характеров и благородных устремлений. Художник с изысканным вкусом и замечательный мастер слова, он, кажется, и впрямь пользуется кистью Рокотова, создавая портреты старой актрисы, некрасивой девочки или своей «незнакомки», встреченной в кино.

Н. Заболоцкий в совершенстве владел богатством русского языка и, как настоящий художник, искусно отшлифовывал и отчеканивал каждую фразу. Но он не был виртуозом стиха и по своей поэтической природе был даже противником виртуозности, чрезмерной изощренности в поэзии. Он обращал особое внимание на поэтическую речь, стремился сохранить верность классическим образцам и донести до читателя свои сокровенные помыслы. Каждая его строка была мастерски отделана. И каждое слово в строке сверкало червонным золотом. Таким безошибочным вкусом и высокой поэтической культурой характеризуется его перевод древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве».

Н. Заболоцкий был передовым поэтом-гуманистом. С большим вниманием относился он ко всем передовым научным воззрениям, открытиям и от поэзии требовал научной точности. С восторгом беседовал он со мной о запуске искусственного спутника Земли. Однажды в разговоре Заболоцкий неожиданно обратился ко мне: «Знаешь, кто оказал на меня самое сильное влияние?» И сам же ответил на этот вопрос: «Диалектика природы» Фридриха

Энгельса и труды Константина Циолковского». Он показал мне книги Циолковского, и на одной из них я увидел дарственную надпись автора. Сам автор подарил ее Н. Заболоцкому. Оказывается, поэта и ученого связывала большая дружба. Циолковский посылал из Калуги в Ленинград каждую книгу своему молодому другу. Эти увлечения не были для Заболоцкого случайными — они теснейшим образом были связаны со всем его мировоззрением и составляли основу его поэтического мировосприятия.

Поэтический талант Н. Заболоцкого с каждым днем становился все богаче и ярче. Сама действительность обогащала поэта новыми и новыми впечатлениями. Сколько новых желаний, сколько новых замыслов пускали корни в душе поэта, чтобы дать богатые всходы новых образов! В каждый наш приезд в Москву, при каждой нашей новой встрече он был полон поэзией, и жизнь его была похожа на весеннее пробуждение природы.

Но смерть, нелепая, безбожная, своим холодным дыханием коснулась его и остановила щедрое сердце и животворящую руку поэта.

1958

Перевод с грузинского Г. Дарахвелидзе



Книги грузинских поэтов в переводах Н. А. Заболоцкого.

Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ

СВЕТ ПАМЯТИ

Мое знакомство с Николаем Алексеевичем Заболоцким произошло в том приснопамятном году, когда в журнале «Костер» из номера в номер печатался сделанный им для юношества перевод-переложение «Витязя в тигровой шкуре».

Так что знакомство было вполне заочное и одностороннее, кстати, и по той причине, что тогда мне едва минуло тринадцать лет. Упоминаю же я об этом потому, что трепетно-влюбленное и уважительно-восторженное отношение к автору того поистине волшебного русского пересказа великой поэмы возникло у меня именно тогда, получив лишь дополнительные подтверждения в дальнейшем, когда я уже стал зрелым читателем стиха, а тем более профессиональным литератором.

Познакомил же нас — в прямом смысле этого слова — в начале 1949 года Виктор Викторович Гольцев, одно имя которого олицетворяло в ту пору едва ли не весь комплекс русско-грузинских литературных взаимосвязей.

«Грузин московского разлива», как он горделиво шутливо говорил о себе, или «Витя в тигровой шкуре», как ласково пошучивали его друзья, стал в конце сороковых годов редактором альманаха «Дружба народов». В. Гольцев пригласил меня, начинающего литератора, на должность ответственного секретаря альманаха. В редакции же альманаха — тогда еще на Кирова, 18 — я увидел впервые Николая Алексеевича и воскресил в себе с новой силой все чувства к нему, с детских лет идущие и помноженные на поздние впечатления от апокрифических или, если угодно, ставших библиографической редкостью «Столбцов» и «Второй книги».

Примерно к этому же времени, точнее с 1947 года, возобновились и грузинские дружеские и творческие связи Николая Алексеевича, возникшие еще в середине тридцатых годов. Однако я не был ни участником, ни свидетелем первой послевоенной поездки Н. А. Заболоцкого в Грузию — об этом прекрасно написал Симон Чиковани (мне довелось перевести на русский язык этот мемуарный очерк), об этом помнят, пишут и рассказывают Александр Межиров и грузинские друзья Николая Алексеевича.

В сорок девятом же году, о котором речь, Николай Алексеевич предстал предо мною окруженный дружеской заботой Виктора Гольцева. В этой заботе он тогда нуждался.

Уже месяцы сорок седьмого года, проведенные в Тбилиси и Сагурамо, в Доме творчества писателей, помогли Николаю Алексеевичу оправиться после первого, вслед за возвращением в Москву, года с неустроенным бытом и неналаженными деловыми и литературными связями, столь необходимыми для нормального творческого самочувствия.

В Москве такую благоприятную атмосферу создавали Н. Тихонов, Н. Степанов, В. Гольцев. Начать с того, что недавно возрожденный альманах «Дружба народов» был, как говорится, открыт для стихов и переводов Заболоцкого. А некоторые члены редколлегии альманаха (например, М. Бажан) и виднейшие фигуры из его творческого актива (скажем, П. Антокольский) были давними друзьями Николая Алексеевича, и они, вместе с Виктором Викторовичем, создавали тут обстановку «наибольшего благоприятствования», которую рьяно поддержали и в Грузии и которая так была ему нужна. Виктор Викторович сразу же включил и

меня в орбиту этих своих общественно-литературных интересов.

В результате мне выпала честь одним из первых оценить сначала на страницах «Дружбы народов», а затем и в других органах прессы целый ряд переводов Заболоцкого. И когда в 1950 году я напечатал в «Новом мире» рецензию на недавно выпущенную в Москве под редакцией В. Гольцева и С. Чиковани антологию «Поэзия Грузии», Николай Алексеевич остался доволен той краткой характеристикой, которая была посвящена в ней его переводческому опыту и методу.

Ему пришлась по душе, как он сказал, точная и сжатая формулировка принципиальных установок, которых он придерживался и которые он сам собирался изложить в скором времени. Ныне мне эта характеристика кажется и слишком сухой, и слишком общезначимой, но тогда она, по-видимому, выглядела несколько иначе, хотя бы потому, что была чуть ли не единственной на рубеже сороковых и пятидесятых. И лишь в силу освященности их похвалою самого Заболоцкого приведу я здесь эти несколько строк своего критического вывода: «Глубокое и всестороннее постижение творчества переводимого поэта, а также эпохи и литературной атмосферы, питавших это творчество, редкая добросовестность в сочетании с большим мастерством, то необходимое чувство меры, поэтический такт, который дает возможность переводчику, не становясь рабом подстрочника, сохранить, вместе с тем, идейно-образный смысл и поэтическую стихию произведения, — все это обеспечило Н. Заболоцкому большую и заслуженную творческую победу». Прочитав позднее «Заметки переводчика», опубликованные Николаем Алексеевичем в «Молодой гвардии», я убедился, что попал, как говорится, в точку.

Однако самые яркие воспоминания этой поры связаны у меня с выходом в свет русского перевода поэм Важа Пшавела, столь блестяще выполненного Н. А. Заболоцким. Как известно, появление этой книги совпало с печальным рецидивом вульгаризаторской оценки наследия Важа Пшавела, и Николай Алексеевич испытывал понятную тревогу по этому поводу. И я по сей день с чувством глубокого удовлетворения вспоминаю, что мне довелось тогда, откликнувшись на просьбу Николая Алексеевича, знавшего мои на этот счет взгляды, выступить соответственно и на публичном обсуждении этих переводов в Москве в Союзе писателей, и в

периодической прессе того времени (в «Литературной газете», а более обстоятельно — в грузинском журнале «Мнатоби»).

Я бережно храню записку Николая Алексеевича от 14. VI. 1952 г., в которой он сообщал мне дату обсуждения книги: «Дорогой Георгий Георгиевич! Обсуждение книги Важа Пшавела назначено на 17 июня во вторник, в 8 ч. веч. Билет Вам пришлют. Очень прошу Вас, как мы договорились, принять участие в этом вечере. Вечер в клубе писателей, ком. 8». Вечер прошел триумфально. Мне предстояло как бы задать тон обсуждению, но я уверен, что впечатление, произведенное прочитанными самим Николаем Алексеевичем фрагментами из поэм Важа, было столь сильным, что перекрывало все возможные и невозможные опасения. Я, разумеется, выступил, выступали и другие. Среди присутствующих и «болеющих» был мой друг Гурам Асатиани. Свою большую — в два с лишним листа — статью о творческом подвиге Николая Заболоцкого, опубликованную через несколько месяцев в журнале «Мнатоби», я заключил словами: «Заболоцкий постиг тайну пушкинского стиха! Грузинский титан звучит по-русски конгениально!»

Отклик мой на переводы Заболоцкого в «Литературной газете» появился 5 февраля 1953 года — во многом благодаря доброжелательному интересу, проявленному главным редактором газеты К. М. Симоновым, а в Грузии полный вариант статьи был напечатан в январском номере «Мнатоби». Это совпало с моим окончательным возвращением в родной Тбилиси. А в середине мая 1953 года я получил такую открытку от Николая Алексеевича: «Дорогой Георгий Георгиевич! Тронут Вашим поздравлением, благодарю Вас. Вашу обстоятельную и деловую статью в «Мнатоби» мне здесь перевели, и она, естественно, порадовала меня. В. В. Гольцев просит у меня перевод — хотят посмотреть в «Др. народов». Не можете ли Вы выслать мне «Мнатоби», № 1? У меня нет. Очень хотелось поговорить с Вами по разным делам. Когда будете в Москве, прошу Вас обязательно позвонить мне и встретиться. Жму Вашу руку. Ваш Н. Заболоцкий».

Я поздравлял Николая Алексеевича с 50-летием, которое исполнилось 7 мая того — пятьдесят третьего года. И я, разумеется, звонил и встречался с ним в каждый свой приезд в Москву. И мы, конечно, говорили «по разным делам». Особенно памятна мне встреча, которая длилась четверо суток и происходила в вагоне поезда Москва — Тбилиси (в

те времена путь этот был вдвое дольше по сравнению с нынешним).

Но пока еще о моем московском 1952 годе. Он был знаменателен для меня также и работой над небольшим сборником «Избранных стихотворений» Акакия Церетели, составить и редактировать которой я был приглашен Детгизом. Это было первое послевоенное издание классика грузинской поэзии, и ставилась задача своего рода «второго рождения» его в новых, преимущественно, переводах. Из прежних работ испытание временем выдержали лишь переводы П. Антокольского и отдельные удачи В. Звягинцевой. Остальное предстояло открывать русскому читателю заново. Н. Заболоцкий, Б. Пастернак, А. Кочетков, В. Державин и — молодые тогда — Н. Гребнев, И. Снегова, Е. Николаевская — уже этот круг привлеченных нами поэтов обеспечил успех издания. Успех этот во многом зависел и от правильного распределения лирических шедевров Акакия Церетели среди переводчиков, с учетом того «избирательного сродства», которое порою возникает между оригиналом и поэтом-переводчиком, а если уж возникает, то ведет к явлению поэтического чуда. Так вот, «классическое самочувствие» Заболоцкого этой поры, столь счастливо сказавшееся не только в его стихах, но и в переводах из Григола Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Важа Пшавела, определило лирический эффект церетелиевских «Рассвета», «Свирели», «Юности», «Волнуйся, море», а блестящий опыт работы над переводом простонародно-городских стихотворений Орбелиани, типа восточных по колориту и форме «мухамбазов», поддержал его в блистательном русском преображении церетелиевского «Мухамбази». Ныне восприятие и понимание поэзии Акакия Церетели русским читателем немыслимо без этих переводов Н. Заболоцкого.

...В поезде же Москва—Тбилиси и в Москве, на Беговой, в квартире Николая Алексеевича, речь шла, помимо всего прочего и главным, конечно, образом, о поэзии, о стихах, о поэтах, о переводах. Сейчас мне трудно восстановить в памяти, когда именно что говорилось. Но в поезде часто звучали стихи из новых, частью вошедших в сборник 1948 года, а частью ожидавших встречи с читателем. Шла речь о поэтах — Пастернаке, Тициане Табидзе, Леонидзе, Чиковани. Мне стал понятен характер изменения некоторых пристрастий и оценок Николая Алексеевича, заметных, например, при сопоставлении стихотворения 1948 года «Чи-

тая стихи», где явно чувствовался отголосок давней, еще довоенной полемики его с «алогичной, темной речью» Пастернака, и стихотворения 1953 года «Поэт», прозвучавшего любовным и восхищенным лирическим раздумьем о нем же — в переделкинском слиянии с русской природой. Николай Алексеевич вместе с Симоном Чиковани побывал в гостях у Бориса Леонидовича в Переделкине, читал там свои новые стихи из созерцательно-философских, вызвав у «собеседника сердца» дружелюбно-шутливую реплику: «Николай Алексеевич, да, оказывается, я по сравнению с вами — боец!» Об этом эпизоде рассказывали мне и Симон Чиковани, и сам Николай Алексеевич.

А раз уж мы коснулись дружбы Заболоцкого и Чиковани, дружбы многолетней и на редкость — если об этом можно так неуклюже сказать — плодотворной, то я хочу, несколько забегая вперед, приоткрыть «завесу» над историей возникновения одного из лучших грузинских стихотворений Заболоцкого — «Гомборскии лес». Совершая как-то переход через Гомборский перевал, одинаково ослепленные и оглушенные красотою здешней природы, два поэта — по азартному предложению Заболоцкого — заключили пари или договор — написать об этом чуде стихи. Николай Алексеевич опередил Симона примерно на год — «Гомборский лес» подписан пятьдесят седьмым, а «Переход через Гомбори» Симона Чиковани — пятьдесят восьмым годом. Думаю, не стоит уточнять, кто выиграл пари, — в выигрыше осталась поэзия, и выиграл, конечно, читатель. И происхождение, и перекличка этих стихотворений — редкий и чистейший образец сродства душ, слияния помыслов, настроенности на одну поэтическую и душевную волну — **благородства** этих душ в прямом и исконном — родословном — значении этого слова. И затем: таким **единым порывом** может быть охвачено только **разное**, но в этот час равновеликое. И уже одна неповторимость такого часа определила дальнейшую **русскую судьбу** стихотворения Симона Чиковани — **его не должен был переводить сам Заболоцкий!** Задачу эту позже с редким артистизмом выполнил Александр Межиров — поэт и человек, в равной мере близкий им обоим, проницательный очевидец многих их общений «на земном платоновском пиру». (Это выражение самого Межирова.)

А оба стихотворения — прямое подтверждение реалистической достоверности самого что ни на есть условно-метафорического воплощения, настолько явственно све-

тится в двух с безудержной фантазией выполненных картинах одна и та же благословенная реальность.

Вот облекает в строфы свои впечатления Николай Заболоцкий:

В Гомборском лесу на границе Кахети
Раскинулась осень. Какой бутафор
Устроил такие поминки о лете
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,
Был клен в озаренье и в зареве бук,
И каждый из них оказался виновник
Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы
Топорщил кустарник. За чащей вдали
Рядами стояли дубы-старожилы
И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланье огня.
Подобно бесчисленным арфам и трубам,
Кусты распустились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал.
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал...

А Симон Чиковани как бы соревнуется с ним, откликаясь ему, а заодно и Гомборскому перевалу:

В три пополудни по тропе оленьей,
По горной тропке пробирались мы
И забрели в Гомборский лес осенний,
В столпотворенье хрупких светотеней,
Слепящих красок и кромешной тьмы.

...Гудели тихо суходолов ульи,
И плющ капризно задевал плечо,
И, как в жаровне тлеющие угли,
Потрескивали кроны горячо.

Хотелось гладить ствол ребристый граба,
С листвой в чащобах затевать возню,
Чтоб наши пальцы трепетали слабо,
Как от прикосновения к огню.

Переливались яркие подвески
Зажженных люстр, и лесу не спалось,
И свет струился нестерпимо резкий,
Кустарники пронизывая вкось.

Гомборский лес готовился к молебну,
Чего-то ждали ветви и стволы.
А мне казалось — навсегда ослепну,
Не выберусь вовек из этой мглы.

Перед лесной, задебренной протокой
Я замирал над медленной водой,
Мечтая о фиалке одинокой,
О зелени иорской молодой.

И в грозно бронзовеющем уборе,
На склоне вечереющего дня,
Пылал мятежным факелом Гомбори,
Испепеляя красотой меня.

Отдавший первым свой долг Гомборскому лесу, Николай Алексеевич говорит от своего имени и о себе, где-то намеком поминая им самим же перевоплощенный недавно важапшавеловский образ («туманы — это размышленья могучих гор, седой венец их человечности»), предвосхитивший нынешнюю строку о себе — «я стал размышлением каменных скал», а Симон Чиковани, вторя ему, считает нужным указать и на присутствие спутника-друга и начинает свое живописание как бы от имени двоих («пробирались мы», «забрели в лес», «наши пальцы трепетали слабо»), и лишь затем сосредоточивается на своих единоличных ощущениях. И если это «единоличное» уводит мысль Чиковани от Гомборского буйства, как бы по контрасту, к более близким его натуре «фиалке одинокой» и «зелени иорской молодой», то перед Заболоцким оно как бы мгновенной вспышкой высвечивает «эрмитажные» видения Рембрандта и Мурильо — уже по смежности ощущений.

...О чем же еще были эти беседы — разные по времени, но слитные в памяти?

Ранее Николай Алексеевич, придавая особое значение своей работе над переводами из Важа Пшавела, с благодарностью подчеркивал, что редактор его книги, выдающийся грузинский ученый и тонкий литератор П. И. Ингороква, помог ему, вопреки существовавшим предрассудкам, утвердиться в решении перевести ряд поэм Важа Пшавела четырехстопным ямбом. Тем самым окончательно была отброшена догматическая и нетворческая концепция обязательной эквиритмии в переводе, с поисками всевозможных искус-

ственных метрических схем, якобы близких ритму грузинского стиха. Установка эта в свое время во многом повредила сборнику «Грузинские романтики», вышедшему до войны под редакцией А. Федорова. Неплодотворной оказалась и бытовавшая в двадцатых—тридцатых годах ориентация в переводах Важа Пшавела на стихотворные формы русского фольклора. В редких случаях все эти схемы преодолевались силою таланта поэта-переводчика, но дополнительные затраты творческой энергии явно были направлены на взятие искусственно воздвигаемых преград. В те времена шли поиски путей, и неверные шаги были не только допустимы и возможны, но и неизбежны. Недаром даже поэт такого тонкого чутья, как Тициан Табидзе, вполне одобрил в свое время выбор Заболоцким для перевода «Алуды Кетелаури» Важа Пшавела чуть ли не былинного белого стиха, а Виктор Гольцев даже в конце сороковых годов весьма настороженно отнесся к четырехстопному ямбу в применении к грузинским переводам. И вот Заболоцкий — случай редкий в переводческой практике — заново переводит того же «Алуду Кетелаури» без оглядки не только на старые теории, но и на свой собственный старый, довоенный перевод и достигает едва ли не самого блистательного успеха во всей своей переводческой работе. И Николай Алексеевич рад был лишний раз услышать подтверждение правоты своих новых принципиальных установок в этой области. Правда, позднее, работая над новым полным переводом поэмы Руставели и, несомненно, добившись самого значительного по сравнению с другими результата, он сознательно не решился нарушить незыблемую традицию хореического перевыражения поэмы Руставели, хотя, как мы знаем, уже в переводах Важа Пшавела дерзнул тот же — по метрической схеме совпадающий с русским хореем — шаири перевести четырехстопным ямбом. Не нарушил он и традиции четырехкратной рифмовки — согласно оригиналу — руставелиевской строфы, хотя признавался мне, что из старых переводов предпочитает другим перевод Г. Цагарели, где была применена система перекрестной рифмовки, более естественная для русского стиха. Я и в данном вопросе в беседах с Николаем Алексеевичем исходил из его же опыта и был склонен поощрять большую свободу переводчика в решении задач чисто версификационных, дабы творческие усилия его в еще большей мере были приложены к сфере глубинно-поэтической, к области выразительности и «внутренней формы» стиха. Я, собственно, высказывал им же

самим выработанные и творчески выстраданные суждения, но в случае с «Витязем в тигровой шкуре» Николай Алексеевич не считал возможным торопиться с перерешением кардинальных вопросов («потому что еще не пора» — мог бы он сказать словами поэта); он пока еще считал нужным придерживаться господствующей точки зрения — слишком прочна была традиция и слишком особое было отношение на родине Руставели к «Витязю в тигровой шкуре», чтобы преждевременно экспериментировать даже в области «внешней формы». И он мог бы ответить мне одним из пунктов своих же «Заметок переводчика»: «Откуда ты взял, что творчество переводимого тобой поэта пожаловано тебе в виде пожизненной вотчины? Шекспира переводили десятки раз и будут переводить не меньше. Успех перевода — дело времени; он не может быть столь долговечен, как успех оригинала». И он ссылался на то, что сам же два раза перевел «Алуду Кетелаури» и вот во второй уже раз взялся за перевод «Витязя в тигровой шкуре».

Удивительно интересны были его рассуждения о грузинских классиках. Я не стану на этом задерживаться, так как главное им самим изложено в статьях о Руставели и Давиде Гурамишвили. Да и я в одной из основных своих работ о Заболоцком еще в 1958 году уделил особое внимание внутреннему «лирическому» контакту поэта-переводчика с лирическими героями великих грузинских поэтов разных эпох.

...Однажды разговор зашел о стихотворении 1957 года «Казбек». Оно очень точно передавало отношение Николая Алексеевича к определенным историческим событиям и, так сказать, к роли той или иной личности в истории. Как всегда у Заболоцкого, здесь не было фельетонно-публицистического решения темы и стихи поднимались до высокого философского обобщения. Это было истинно поэтическое воплощение философии истории, нравственного и человеческого смысла исторического деяния. Обобщение было так глубоко и емко, что могло обнять любой отрезок истории или любой ее сюжет, по нравственному своему смыслу подходящий для этого обобщения. Для меня оно удивительно перекликалось со стихотворением Галактиона Табидзе этой же поры «Народ», конечно неизвестным Заболоцкому. Но в нашем разговоре мы остановились на другой, еще более явной и на этот раз вполне преднамеренной перекличке «Казбека» с образом того же Казбека в «Записках проезжего» Ильи Чавчавадзе. Вспомним: «Он величав, безмолвен и

спокоен, но такой холодный и белый облик его изумляет меня, но не трогает, повергает в холод, а не согревает. Одним словом, это ледник. Казбек во всем его величии — потрясает, но любить его невозможно. К чему же мне тогда его величие!.. Мирские бури и вихри, мирские невзгоды и радости не отразятся на его высоком челе... Не люблю я ни такой высоты... ни такой неприступности. Да благословит бог все тот же безудержный, безумный, шальной, неистовый, непокорный, мутный Терек!.. Мне, сыну своей страны, милее образ Терека...» И перечитаем теперь Заболоцкого:

С хевсурами после работы
Лежал я и слышал сквозь сон,
Как кто-то, шальной от дремоты,
Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала
Заря, и, закованный в снег,
Двуглавым обломком кристалла
В окне загорался Казбек...

...Земля начинала молебен
Тому, кто блистал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен
В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,
Скопленье домов и закут,
Казалось мне в это мгновенье
Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.

А он, в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,
Внизу, из села своего,
Лишь мельком смотрели хевсуры
На мертвые грани его.

Сколько спокойной, несуетной мудрости в этих стихах и сколько проницательного благородства в этой благодарной и умной оглядке на Илью Чавчавадзе, лучшим переводчиком которого, кстати, был и остается Николай Заболоцкий.

Особую радость доставляло нам, слушателям, чтение

самим Заболоцким не только своих переводов, но и фрагментов оригинала на грузинском языке. Грузинским языком Николай Алексеевич не владел, но он владел грузинским письмом и мог читать довольно свободно и знал наизусть большие куски из Руставели, Гурамишвили, Важа Пшавела. Читал он, четко скандируя и получая явное удовольствие от соприкосновения с иноязычной материей стиха и от самой демонстрации своих возможностей. Тут он часто улыбался своей неповторимо-серьезной и лукавой одновременно улыбкой, забыть которую невозможно и в которой участвовали и губы, и глаза, и все лицо, и даже сам голос поэта!..

Я уже упомянул выше, что избирательному интересу Заболоцкого к грузинской классике я посвятил специальную работу. Здесь я лишь добавлю, что особыми симпатиями Николая Алексеевича пользовались, по его же словам, руставелиевский Автандил и важапшавеловские Алуда, Миндия и Агаза.

Об Автандиле и Миндии он говорил, что они опередили его в братании с природой, Алуда восхищал его верностью «голосу сердца», что ставило его выше любых религиозных или национальных барьеров и предрассудков, а с героиней «Гостя и хозяина» Агазой он в одну из последних наших встреч (наверное, уже в 58-м году) неожиданно сравнил самого дорогого в жизни человека — свою жену Екатерину Васильевну.

Дом Заболоцких — квартира на Беговой — поистине «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Московское хлебосольство, скрещенное с грузинским гостеприимством. Бутылки «Мукузани» ставились на стол одна за другою и в тот день, когда мы с Симоном Чиковани и Александром Межировым были в гостях у Заболоцких на Беговой, и едва ли не в последний раз. Это совпало с трудной полосой в личной жизни Николая Алексеевича. Происходило, как сказал бы Герцен, «кружение сердец», в итоге еще больше сплотившее эту чудесную семью (есть об этом прекрасные стихи у Григола Абашидзе). Но в тот день настроение и состояние Николая Алексеевича было предельно напряженным, и надо обладать пластическим даром большого художника, чтобы передать все увиденное и услышанное в тот день. Увы, я в этом бессилен, Симона уже нет, и я могу уповать лишь на память, слух и талант Межирова. Но, быть может, упоминание двух особых деталей осветит хоть часть картины. Николай Алексеевич начал проигрывать пла-

стинку с записью «Болеро» Равеля. Мы все сидели за столом — за «Мукузани». Пластинка проигрывалась до конца, а Николай Алексеевич все ставил ее заново, и так несколько раз, нам же казалось — без конца. И сам по себе бесконечный круговорот равелевского ритма, круговращение «скудного и печального» «напева волынки», трагически подчеркнутое вдруг на наших глазах Николаем Алексеевичем, создавало атмосферу до такой степени накаленную внутренне, что выхода, казалось, из этого замкнутого круга не было. Этот выход нашел сам Николай Алексеевич, вдруг откуда-то незаметно достав книжку Бунина и от начала до конца прочитав нам, завороженным, околдованным, онемевшим, потрясенным, небольшой рассказ «Ида». И так же, как «Болеро», эта «Ида» приобрела какой-то дополнительный щемящий и пронзительный смысл, то есть не приобрела, конечно, а открыла таящуюся в себе до поры силу — будто некий светильник включили в сеть с удвоенным вольтажом.

Как мне передать это непередаваемое чтение? Переписать весь рассказ Бунина и сопроводить текст нотными знаками? Ферматами, глиссандо, форте и пиано? Пусть об этом напишет стихи Межиров.

...Не прошло и года после Декады грузинской литературы в Москве, превратившейся, кстати, и в триумф переводов Николая Заболоцкого, как Россия потеряла одного из крупнейших своих поэтов, а Грузия — великого своего друга. В те годы еще не были в обычае многолюдные похороны, и провожавшие Николая Алексеевича в последний путь грузинские его друзья и почитатели были явно заметны в малочисленной процессии. Прилетели из Ленинграда Вадим Шефнер и Ольга Берггольц (как описать прекрасное ее — в слезах — лицо!). Я навсегда запомнил Бориса Слуцкого, с солдатской обязательностью и преданностью взявшего на себя все деловые хлопоты и как бы несущего вахту... Грузинскую писательскую семью представляли Бесо Жгенти и я. Вот передо мной и телеграмма Георгия Леонидзе — с просьбой заказать венки от его семьи и от Института истории грузинской литературы им. Шота Руставели. Помнится, Бесо Жгенти произнес на могиле взволнованную речь.

Так это было 14 октября 1958 года. Но и с тех пор неразлучен с нами Николай Алексеевич Заболоцкий. 21 ноября 1961 года в Малом зале ЦДЛ (уже в новом здании) состоялся вечер, посвященный творческому опыту Н. Заболоцкого. Председательствовал его друг и сподвижник Павел Гри-

горьевич Антокольский. Мне была предоставлена честь выступить с докладом «Творческий подвиг Н. Заболоцкого». На вечере прекрасно выступили друзья и коллеги Николая Алексеевича — М. Зенкевич, В. Каверин, Н. Любимов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Н. Степанов, Н. Чуковский, М. Квливидзе. Жаль, что не велось стенограммы.

...Он живет в сердце каждого читающего грузина. В Грузии о нем пишут исследования и диссертации, ему посвящаются радио- и телепередачи. Чудесные стихи посвятил ему Григол Абашидзе. Недавнее посмертное присуждение ему национальной Руставелиевской премии символически выразило меру благодарности и любви грузинского народа к своему русскому Автандилу — благороднейшему другу и побратиму, рыцарю поэзии и рыцарю дружбы. ...Телеграмма же из Москвы гласила: «Очень рады, что Николай Алексеевич удостоен почетной награды, что труд его высоко оценили в горячо любимой им Грузии. Ваши Заболоцкие».

1976



Рисунок Н. Заболоцкого, изображающий сына Никиту, который в то время учился в Сельскохозяйственной академии, 1953 г.

НИКИТА ЗАБОЛОЦКИЙ

ОБ ОТЦЕ И О НАШЕЙ ЖИЗНИ

I

Мои первые впечатления от жизни, сохранившиеся в памяти, относятся к 1936 году. Лето того года наша семья провела на Украине. Смутно мне вспоминается киевская квартира М. П. Бажана, у которого мы прожили несколько дней, помню, как жили в Прохоровке близ Канева, потом в Святошине под Киевом. Когда жили в Прохоровке, стояла очень

жаркая погода, и мы каждый день купались в протоке Днепра с горячим песчаным пляжем. Отец брал меня на руки и нес в воду — я боялся и визжал. Домой возвращались мимо большого дуба, на котором жили огромные шершни и жуки-олени. Тропинка далеко огибала это страшное место. От того времени остались воспоминания о черной собаке, которую хозяйский мальчик водил за передние лапы, о часах с кукушкой, о пасеке под окнами белого домика, о том, как я, папа и мама после обеда отдыхали в саду на одеяле, постеленном на траву. Трава была совсем близко, интересно было рассматривать листочки, стебельки, жучков, муравьев, пчел, кузнечиков. Я шалил — ходил вокруг одеяла и плевал в траву, а папа говорил: «Не надо плевать, а то ты всего себя выплюешь и ничего от тебя не останется». Для меня жизнь в Прохоровке была временем семейной идиллии, радости, света, временем первого познания окружающего мира.

А потом была ленинградская осень с желтыми листьями в Михайловском саду, с их особым запахом, который смешивался с запахом влажной земли. Осень с впервые осознанными впечатлениями улицы: плиты панелей с замысловатыми трещинами, гранитные цоколи домов, каменные тумбы на тротуарах, черная кора старых деревьев — все было ново, все было интересно. Нередко я ходил гулять с папой. Помню, как он показал мне смешные и страшные головы людей, вырезанные на стволах деревьев в Михайловском саду, помню, как однажды один мальчик упал в воду с края мраморного павильона. За ним сразу прыгнул какой-то дядя, и я удивился, что вода едва покрыла его ноги, но папа быстро увел меня с того места, и я не видел, что было дальше.

В начале зимы в нашей квартире на Канале Грибоедова был ремонт, и мы всей семьей некоторое время жили в Петергофе в гостинице, которая использовалась писателями как Дом творчества. Мама возила меня на саночках среди голых заснеженных деревьев, отец работал. От того времени осталась в памяти песня, которую отец пел под гитару:

Птицы нас покинули давно,
Холода их выгнали из дому;
На полях и по лесу пустому
Белое ложится полотно...

В нашей ленинградской квартире было две комнаты — одна комната была кабинетом отца, в другой располагались мы с мамой. Несмотря на то, что большую часть времени я

находился в детской, гораздо лучше я запомнил кабинет отца, который был одновременно и столовой.

В конце комнаты у окна стоял отцовский письменный стол. На нем стопками лежали папки, книги, рукописи. Отец в то время много работал, в частности готовил к изданию свои переработки для детей «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Тиля Уленшпигеля». Помню, я нарезал бумагу небольшими прямоугольниками и исчеркивал их карандашом в подражание отцовским рукописям.

В кабинете была простая зеленая кушетка с валиком. Устав от работы за столом, отец ложился на эту кушетку и писал лежа. Если я входил в это время в комнату, мне можно было залезть на кушетку и покачаться на отцовской ноге. В такие минуты отец иногда брал с полки томик А. К. Толстого и читал мне:

Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.

Я понимал, что ему самому нравится читать, а также нравится, если слушала мама. Первые слова строки читались нараспев, а последнее слово — отрывисто. Временами отец даже изображал, как ходит Спесь.

Была в доме гитара. Отец приходил в детскую с гитарой, садился и пел «В глубокой теснине Дарьяла» или «Есть одна веселая песня у соловушки». Иногда он играл со мной, сооружая из кубиков крепости с высокими башнями и стенами.

Вся правая стена в кабинете была заставлена полками с книгами. Отец специально собирал интересовавшие его книги, все менее для него интересное отсеивалось на антресоли. Что это были за книги, можно судить по письму, написанному маме несколько лет спустя с Дальнего Востока:

«...Будет нужно, продай прежде всего 20 томов в картонных крышках библиотеки Брокгауза и Ефрона — Шекспира, Шиллера, Пушкина, Мольера, Байрона. Эта библиотека стоила мне 1700 р. Вероятно, она и сейчас стоит не дешевле, — только продавать нужно целыми комплектами. Вообще, мне хотелось бы, чтобы из моей библиотеки сохранились лишь немногие книги: Пушкина однотомник, Тютчева томик, Баратынского два тома, Гоголь, Сковорода, Лермонтов, Достоевский, Бунин, Хлебников; книги, относящиеся к «Слову о полку Игореве» и Руставели. Есть также малоценные, но нужные мне книги, например Памятники отреченной литературы, библиотечка Чудинова (Нибелунги и пр.), и

это, кажется, все. Остальные книги продавай, когда придется туго...»

Очень ценил отец также брошюрки К. Э. Циолковского, полученные им лично от автора и переплетенные в единый томик. Эта книга и еще большой однотомник Пушкина, единственные сохранившиеся из ленинградской библиотеки отца, перечитывались им до конца жизни.

В детской была поставлена этажерка, на которой собирались книги специально для меня. Читать мне их было еще рано, родители говорили, что я их прочту через несколько лет, когда стану постарше.

Над средней книжной полкой в кабинете отца висели шестигранные стенные часы с римскими цифрами и боем. Отец всю жизнь имел пристрастие к часам. Как-то он рассказывал, что с детства ему мучительно хотелось иметь часы, но приобрести их долгое время не было возможным. И вот появились часы не только карманные, но и стенные. А в столе рядом с грузинским кинжалом и другими интересными вещами лежали старинные часы деда Алексея Агафоновича. Однажды мне вздумалось покопаться в механизме этих часов, после чего я узнал, что такое снятый ремень отца.

В те годы в квартире появилась тумбочка красного дерева с граммофоном. Среди немногих пластинок помню «Песнь индийского гостя» и стихотворение отца «Горийская симфония» в роскошном исполнении Антона Шварца, а также несколько пластинок с записями Шаляпина.

Слева в кабинете стоял обеденный стол, на стене висел застекленный шкафчик с какой-то фарфоровой посудой. На столе обычно стояла ваза с апельсинами. В 1944 году в письме к маме отец вспомнил эту вазу. «...Я ем самые замечательные вещи, — писал он, — щи с капустой, кашу пшеничную и пшенную, иногда лапшу, а также и хлеб. Уверяю тебя, что все это очень вкусно, и там бывает масло, и я не отказался бы еще от лишней порции. А вот напиши-ка ты мне: что ты ешь? И помнишь ли ты ту вазу с апельсинами, которая когда-то стояла на нашем столе?»

По вечерам, когда приходили знакомые, за столом бывало довольно шумно. Я, лежа в кроватке в соседней комнате, долго не мог заснуть от разговоров и смеха и от желания быть вместе со всеми. Среди наших гостей помню Гитовичей, Олейниковых, Хармса... Хармс с серьезным лицом обычно показывал мне какие-то фокусы с шариком, и затем я удалялся в детскую.

Впрочем, нередко бывало, что вечером отец уходил из

дома в какую-то свою компанию, к художникам, в пивную. Еще с более раннего времени сохранилась записка, в которую завернута прядь моих первых детских волос: «Катя! Я уехал к Мейерхольду. Ключ взял. Возможно, что приеду поздно. К.»[1].

Будучи командиром запаса, отец регулярно ходил обучать красноармейцев-призывников. Один раз он пришел с занятий с большим прямоугольным ящиком. Я стал приставать к нему с расспросами, подозревая, что ящик предназначен для меня. Отец говорил, что принес ружья с военных занятий. В конце концов выяснилось, что в свертке игрушка для меня — прикрепленные к доске клоуны с чашками. В верхнюю чашку следовало положить шарик, клоуны кувыркались, передавая шарик друг другу, затем шарик катился и попадал в одну из лунок. Родители принимали самое активное участие в освоении новой игры.

Весной 1937 года родилась сестра Наташа. Летом мы жили на даче под Лугой в довольно большом деревянном доме, расположенном в сосновом лесу недалеко от озера. Меня отпускали гулять в лес, на озеро, на болото вместе с какой-то девочкой и ее мамой. Моя мама нянчила Наташу, отец работал. Только к вечеру выходил он из дома прогуляться у озера. Уже тогда запомнил я название поэмы, которую переводил отец, — «Витязь в тигровой шкуре»; позднее в доме появился кусок шелка с портретом Шота Руставели.

Осенью у отца обострилось заболевание эндартериитом, и он уехал лечиться в Сочи. Я уже умел читать и получил от него открытку следующего содержания: «Уважаемый Никита Николаевич! Пишет вам профессор Пичужкин из города Сочи. Сегодня я послал вам книгу «Приключения Травки». Из этой книжки вы узнаете много нового. До свидания. Скоро я еще напишу вам. Профессор Пичужкин». С маминой помощью я догадался, кто такой профессор Пичужкин, — шутки подобного рода были у нас обычным явлением.

И снова наступила зима благополучной ленинградской жизни. В доме была домработница, помогающая маме вести хозяйство и нянчить сестру, а мне рассказывающая страшные истории об огненной птице и злых колдунах. Я каждый день стал ходить в немецкую группу, гулял с детьми и воспи-

---

[1] По свидетельству Е. В. Заболоцкой, то была единственная встреча с В. Э. Мейерхольдом.

тательницей по бульвару Перовской и слушал чтение немецких книг. Впрочем, овладеть немецким языком мне не пришлось...

II

Между ленинградским и московским периодами жизни отца были десять лет странствий и испытаний. За это время отец работал и на Дальнем Востоке, и на Алтае, и в Казахстане. В 1946 году он получил возможность вернуться к литературной работе и в 1946—1947 годах жил под Москвой, в дачном поселке Переделкино. С 1948 года до конца жизни он прожил в Москве на углу Беговой улицы и Хорошевского шоссе.

После почти семилетней разлуки я увидел отца в конце 1944 военного года. В это время он работал техником-чертежником на строительстве железнодорожной ветки в степях Алтайского края. Сам отец так описывал образ своей жизни того времени: «...Оседлой жизни у нас нет. Мы люди странствующие: живем на месте, пока идет стройка, окончится она — мы едем дальше, куда назначат. Это может быть и Крайний Север, и Дальний Восток, и Средняя Азия, и т. д. Отсюда вывод: наша мебель — чемоданы, имущество — самое необходимое, то, что полегче и поудобнее для перевозок. Однако теплые вещи должны быть, так как суровый климат в нашей жизни — дело обычное. С квартирами постоянные хлопоты. Здесь живем в крестьянских избах, зачастую вместе с хозяевами»[1].

В один прекрасный зимний день, а точнее — вечер, в такую избу приехали и мы — мама, сестра Наташа и я. Из города Уржума Кировской области, где мы жили в эвакуации, мы прибыли на станцию Кулунда, там пересели на местный товарничок и по вновь построенной ветке железной дороги доехали до станции Михайловское. Здесь в одиноком станционном домике мы расположились у жарко натопленной печки, и мама с дежурным стали звонить по селектору в управление строительством, чтобы за нами выслали лошадь. К телефону удалось вызвать отца, он сказал, что сам приедет за нами. Мама потом рассказывала: «Дежурный устроил нас на прямоугольном деревянном диване направо от двери. Комната совсем маленькая, с большой печью. Вот уже стем-

---

[1] Из письма к Е. В. Заболоцкой от 28 сентября 1944 г.

нело. Дети дремлют, сидя на диване, а я все выхожу посмотреть, не едут ли. Но нет, не едут. Уже совсем темно. Небо в звездах, степь, тишина. Казалось, я не могу при свете с ним встретиться, — можно не вынести счастья.

Все нет, все нет. Я сижу подольше. И наконец выскакиваю и сталкиваюсь в дверях. Папа, который не терпел никакой аффектации, опустился перед детьми на колени, смотрел, смотрел...»

Похудевший, в валенках и теплой куртке, отец показался мне очень бодрым, с быстрыми движениями, помолодевший и веселый. До села, где жил отец, ехали на санях, запряженных заиндевевшей лошадкой. От мороза нас с Наташей укрыли одеялом, а когда одеяло сняли, я увидел черное небо с огромным количеством звезд, а потом почувствовал специфический запах избы. Нас приветливо встретила старушка-хозяйка необычным для нас угощением — пирогами с диким пасленом и солеными арбузами. В те трудные военные годы все это казалось несказанным лакомством. Тут же, в избе, в морозные зимние ночи обитали бараны, теленок и еще какая-то живность. Мы тоже кое-как устроились на ночлег при свете керосиновой лампы без стекла, тускло освещавшей иконы красного угла, клеенку стола и баранов, жавшихся к теплой русской печи.

Утром отец ушел на работу в управление чертить в проектном отделе. Отцу нравилась профессия чертежника, которая так соответствовала его природной аккуратности и склонности к графике. Впрочем, любое дело, каким ни пришлось бы ему заниматься, отец стремился делать как можно лучше — это было в его характере. Освоив профессию чертежника еще до войны, он одно время серьезно изучал техническую литературу и писал, что, по словам специалистов, из него мог бы получиться неплохой архитектор.

Даже в самых тяжелых условиях работы на лесозаготовках он умел видеть в труде творческое начало. Недаром в уничтоженном отцом, но сохранившемся в архиве Н. Л. Степанова стихотворении «Начало стройки»[1] есть такие строки:

...Когда в трущобах кедры вековые,
Под топором треща наперебой,
Вдруг накренят свои седые выи, —
Я не владею в этот день собой!

---

[1] «Новый мир», 1972, № 12. Публикация Е. Заболоцкой.

В какое-то короткое мгновенье
Я наполняюсь тем избытком сил,
Той благодатной жаждою творенья,
Что поднимает мертвых из могил...

Добывая строительный камень, отец с интересом рассматривал оголенные пласты камней и минералов, размышляя о геологических катаклизмах, породивших их, и о человеке, извлекшем их из земных недр. Позднее он писал: «В карьере мы обнажаем и взламываем вековые пласты каменных пород, и странно видеть их матовую поверхность, впервые от сотворения мира обнаженную и увидавшую солнечный свет»[1].

Однако, стремясь находить удовлетворение и в чертежной работе, и на лесоповале, и в работе на карьере, и в других делах, которыми отцу приходилось заниматься в те годы, он всегда тосковал по литературной работе, в которой видел истинное свое призвание.

В письмах маме он писал:

«Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, но внутренне я чувствую себя... целостным человеком, который мог бы еще и жить и работать» (3 августа 1940 г.).

«Ничего не читаю и ничего не пишу — совершенно нет времени» (30 марта 1941 г.).

«Горько становится: не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос — неужели один я теряю от этого? Я чувствую, что я мог бы сделать еще немало и мог бы писать лучше, чем раньше» (6 апреля 1941 г.).

«Если бы я мог теперь писать — я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной, как огромная тема, и все то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме» (19 апреля 1941 г.).

«Живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной» (18 февраля 1944 г.).

«Когда после работы выходишь из этих прокуренных комнат и когда сладкий воздух весны пахнёт в лицо — так захочется жить, работать, писать, общаться с культурными людьми. И уж ничего не страшно: у ног природы и счастье, и покой, и мысль» (30 марта 1944 г.).

---

[1] «Картины Дальнего Востока». — Заболоцкий Н. Избранное, т. 2. М., 1972.

«Умудряюсь немного читать — случайные книжки. Я бесконечно далек от всякой литературы, и искусство стало для меня атрибутом далекого светлого существования, о котором можно только вспоминать» (6 августа 1944 г.).

Только очень редко неутоленная жажда литературного труда прорывалась наружу, и тогда в голове складывались строфы позднее записанных стихотворений («Лесное озеро», «Соловей»), или обычное письмо вдруг превращалось в очерк о природе Дальнего Востока («Картины Дальнего Востока»).

В те дни жизни среди Кулундинских степей вечерами, после прихода отца с работы, родители рассказывали друг другу о злоключениях, которые пришлось претерпеть каждому из них в разлуке. Мама рассказывала отцу о жизни в осажденном Ленинграде, об эвакуации в Кировскую область, в городок, где прошло детство отца, — Уржум. То были рассказы о бомбардировках и обстрелах Ленинграда, о ночевках в бомбоубежище, о жестоком голоде и невероятных усилиях сохранить детей. За несколько дней до того, как нас вывезли из Ленинграда по ледовой Дороге жизни через Ладожское озеро, в квартире Е. Л. Шварца, где мы тогда жили, во время очередного обстрела разорвался вражеский снаряд. По счастью, все мы ютились в кухне и от взрыва не пострадали. Не погибли мы и от голода. После месячного пребывания в специальном стационаре для голодающих ленинградцев (в Костроме) весной 1942 года мы оказались в глубоком тылу. О нашей военной жизни отец еще раньше кое-что узнал из письма мамы. В ответ он писал: «...Это первое письмо, из которого я узнал, что было с вами в Ленинграде до эвакуации. Сердце дрожит за вас, хотя и прошло все это и стало прошлым. Сама судьба сберегла вас, и я не хочу больше роптать на нее, раз приключилось это чудо. Ах, вы, мои маленькие герои, сколько вам пришлось вынести и пережить! Необычайная жизнь выпала на долю нам, и что-то еще впереди будет!»[1]

В бумагах отца сохранился листочек письма, на котором моей детской рукой написано стихотворение:

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Свищут снаряды, бомбы летят,
По улицам города люди спешат.
Они спотыкаются, падают замертво.

---

[1] Из письма к Е. В. Заболоцкой от 18 февраля 1944 г.

По гладкому снегу санки скользят,
В санках трупы голодных ребят.
В квартирах люди с коптилкой сидят
И горькие отруби ложкой едят...

Далее приписано отцовской рукой: «Эти стихи 10-летний Никита сочинил в Ленинграде, в январе 1942 года, сидя на антресолях в квартире Шварцев (во время блокады). Продолжение было:

И говорят все о том и о том,
Когда же нам хлеба прибавят».

Очень глубокое впечатление произвели на отца наши блокадные злоключения.

О своей жизни и работе на стройках отец рассказывал скудно. Помню только его рассказ о том, как однажды на работе в карьере, где добывался строительный камень, отцу пришлось лезть на высокую, почти отвесную скалу, чтобы закрепить наверху веревки, необходимые для подготовки к очередному взрыву. Приходилось всем телом прижиматься к обрыву и тщательно выбирать еле заметные уступы, куда можно было бы поставить ногу. И вдруг какой-то торчащий из камней корень зацепился за дужку очков, и очки повисли на одном ухе. Потеря очков в такой ситуации близорукому человеку грозила падением со скалы. Руки были заняты, и, только изгибаясь всем телом, с невероятным усилием удалось вернуть очки на свое место. По канатам, закрепленным на верху обрыва, взбирались люди и на определенной высоте долбили в скале шпуры для взрывчатки. И вот:

Рожок поет протяжно и уныло, —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда дремлет сонное светило,
В свои права вступает аммонал...

(«Творцы дорог»)

По воскресеньям родители ходили на рынок за продуктами, делали всевозможные домашние дела — отец пилил и колол дрова, ходил на колодец за водой, а до нашего приезда каждый вечер залезал на крышу и закрывал трубу мешковиной, чтобы в избе лучше сохранилось тепло. Обязанность закрывать трубу перешла ко мне, и я каждый раз поражался зрелищем огромного звездного неба, которое с крыши открывалось во всей своей широте.

Вскоре после нашего приезда к отцу я и Наташа заболели

корью. Помню, во время болезни я не мог пить непривычную, сильно минерализованную воду, и отец приносил мне бидон воды из Управления, которое находилось за несколько километров от села. Впоследствии мы, дети, болели довольно часто, отец всегда беспокоился и проявлял в это время к нам особое внимание. На фоне обычно сдержанного отношения мне было приятно ощущать эту заботу, когда он подходил к моей постели, смотрел некоторое время, спрашивал что-нибудь. Мы лежали в постели и слушали вечерние разговоры родителей, слушали, как отец репетировал в избе чтение английской баллады А. Нойса, которую он собирался читать на новогоднем вечере в управлении:

Выл ветер среди деревьев, стонала ночная мгла,
Полосою лунного света дорога в полях легла...

И далее про разбойника, который тихо подъехал к дубовым дверям кабака, где дочь кабатчика вплетала алую ленту в пряди длинных темных волос.

Как-то вечером в полутьме избы отец запел «Выхожу один я на дорогу». Пел он очень хорошо и очень грустно, потом остановился. Мама попросила петь дальше. И отец запел дальше: «Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть». С тех пор я не помню, чтобы отец пел серьезно. Вообще откровенные душевные проявления не были свойственны сдержанному его характеру. Но меня всегда поражало, что отец многое умел делать, и делать хорошо, — чертить, рисовать, петь, колоть дрова, разговаривать на различные темы.

В управлении были папки для дел, оклеенные гранитолем. Отец делал из них очень аккуратные коробки. В одной из таких коробок у него лежали курительные принадлежности — табак, курительная бумага, мундштук, кустарная зажигалка. Особый порядок в этой коробке всегда привлекал меня. Курение казалось мне очень «уютным» делом. На это отец говорил, что существует много уютных дел, например коллекционирование марок. Все, за что ни брался отец, приобретало какую-то особую привлекательность именно тем, что все было четко, систематизировано и делалось обстоятельно.

На всю жизнь осталось у отца особое пристрастие к некоторым вещам, от которых во времена его работы на строительствах зависело очень многое. Такими вещами были, например, поясные ремни и валенки. Позже в московской квартире в письменном столе отца всегда лежало несколько

аккуратно свернутых ремней, а на антресолях — несколько пар валенок, совершенно уже ненужных в условиях города. Лежали на антресолях и необычайно прочные и тяжелые сапоги и походный бушлат. Как-то раз, году в 1956-м, я принес домой туристский металлический топорик, предназначенный для подарка одному моему товарищу. Отец взял его посмотреть и, уже не выпуская из рук, отдал мне 25 рублей, которые стоил топорик, и спрятал его к себе. Орудие это отцу, конечно, никогда не понадобилось и позднее нашло применение в кухонном обиходе. А году в 1952-м отец купил в комиссионном магазине прекрасную рихтеровскую готовальню, купил и убрал в книжный шкаф — видно, когда-то намучился с плохим чертежным инструментом.

Так прошли первые несколько месяцев нашей жизни после приезда к отцу. Это было счастливое время, несмотря на материальные трудности, на плохое жилье, на наши болезни. Мы снова были все вместе, а радио приносило радостные известия о победоносном продвижении нашей армии на Запад. Все понимали, что близится победа, что конец войны не за горами, что скоро можно будет заняться мирным трудом...

III

К концу зимы 1945 года отец вместе со всем персоналом стройки был переведен в город Караганду. Ехали в утепленном товарном вагоне в составе эшелона. Отец, пользуясь свободным временем, занимался со мной древней историей, литературой и другими предметами и был весьма удручен, обнаружив мои посредственные знания. Впрочем, в школу я ходил в тот год только урывками и, учась в пятом классе, поменял четыре школы в разных частях страны.

Еще до нашей встречи отец беспокоился о моем образовании и 18 мая 1944 года писал маме: «Было бы хорошо, если бы он больше читал. Чтение классиков поможет ему овладеть языком и грамматикой. В его годы я уже порядочно знал русскую литературу». В двенадцать лет он уже порядочно знал русскую литературу!

Вместе с нами в теплушке ехала семья инженера Г. М. Зотова. Стояли сильные морозы, и взрослые по очереди дежурили у чугунной печки, круглые сутки подбрасывая в нее уголь. На одной из длительных стоянок под раскаленной печкой загорелся пол вагона, и топку пришлось заливать водой, после чего холод в теплушке стал нестерпи-

мым. Однако все мужественно переносили и холод и перебои в снабжении пищей.

Прибыли мы на какие-то запасные пути близ Караганды, где некоторое время жили в эшелоне. Отца, Зотова и других служащих возили в город на работу на грузовиках, а нас, школьников, — в школу на розвальнях.

Кончились продукты. На третий день отец и Зотов получили продукты, но разразился сильный снежный буран, и к эшелону пришлось идти пешком. Зотов вспоминает: «Буран был настолько силен, что снег проник в карманы костюмов, несмотря на то что верхняя одежда была застегнута на все пуговицы. И вот, когда пришли в свой вагон, расположились на нарах, Николай Алексеевич сказал: «Да, человек самое выносливое животное. Какой зверь в такой буран может делать такие переходы?»[1]

Помню, как на нарах мама оттирала буквально забитого снегом отца. К счастью, все обошлось без обмораживания.

В начале апреля мы получили жилье в саманном домике в селе Михайловке, километрах в трех от Нового города Караганды. Родители занялись благоустройством помещения и борьбой с клопами. Отцу где-то удалось достать две широченные доски, которые были положены на чурбаки и стали кроватью. Появились ящики и другая подобного рода мебель. Но, несмотря на трудности буквально во всем, появилось ощущение своего дома и семьи. Я подружился с мальчиком-казахом из соседнего дома, который однажды, утром 9 мая, забарабанил к нам в окно с радостным криком: «Война кончилась! Кончилась война!»

Работая в Караганде сначала техником-чертежником, потом начальником канцелярии, отец в свободное от службы время начал возвращаться к литературному труду. Мостом, по которому отец в конце концов вернулся к литературе, послужила работа над стихотворным переводом «Слова о полку Игореве». Перевод этот был начат еще в Ленинграде. Волею судьбы рукопись сохранилась и вместе с немногими другими сохранившимися рукописями была привезена мамой в Алтайский край. Много раз за годы разлуки с отцом я открывал чемодан, на дне которого лежали странички с аккуратно написанными строчками стихотворного текста. Помню заглавия: «Поход» (так называлась первая часть «Слова»), «Осада Козельска», «Меркнут знаки Зодиа-

---

[1] Из письма Г. М. Зотова к Е. В. Заболоцкой.

ка», «Безумный волк». Разглядывание и перебирание этих рукописей мне очень нравилось и в какой-то степени заменяло общение с отцом. К сожалению, позднее все или почти все они отцом были уничтожены.

Как следует из письма к Н. Л. Степанову[1], работу над переводом «Слова» отец задумал возобновить сразу же после нашего приезда к нему, еще в Алтайском крае, но только после получения собственного жилья под Карагандой для этого оказались реальные возможности.

Работать было трудно. Не было ни времени, ни необходимых книг. Проделав трехкилометровый путь от канцелярии до дома, наскоро поев, отец отгибал одеяла, раскладывал на кровати книги и рукописи и начинал работать. Не сразу, наверное, все получалось. Появилась раздражительность, но работа над «Словом» стала для отца и любимым делом, и надеждой на лучшее будущее. Степанову он писал:

«...Можно ли урывками и по ночам, после утомительного дневного труда, сделать это большое дело? Не грех ли только последние остатки своих сил тратить на этот перевод, которому можно было бы и целую жизнь посвятить, и все свои интересы подчинить? А я даже стола не имею, где я мог бы разложить свои бумаги, и даже лампочки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь» [2].

Помнится к тому же, что где-то за городом у нас был огород, куда мы ездили иногда по выходным дням — окучивали картошку, пололи, рыхлили, поливали. Тем не менее уже к июлю работа над переводом «Слова» была в основном завершена. В июле отец получил отпуск и дней на десять ездил в дом отдыха в Ак-куль, где окончательно доработал первый вариант своего перевода.

Осенью нам дали комнату в городской квартире в Новом городе, где мы прожили всю зиму. Отец же в конце 1945 года сдал дела по службе и 2 января нового года уехал в Москву, куда в июне переехали и мы.

IV

И вот для нас наступило мирное время. В начале лета 1946 года мы поселились под Москвой, в Переделкине, на даче писателя В. П. Ильенкова. У отца была отдельная маленькая

---

[1] См.: З а б о л о ц к и й Н. Избранное. М., 1972. Примеч. ко 2-му т., с. 297.

[2] Там же.

тихая комнатка для работы на втором этаже дачи. Окно этой комнаты выходило в березовую рощу, которая в то время была настоящим лесом, так как соседние дачи стояли достаточно далеко. С раннего утра роща наполнялась голосами птиц, и иволга тоже пела.

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет...

Отец снова стал писать стихи. То были первые оригинальные стихотворения Заболоцкого, созданные им после длительного перерыва. В Караганде он, бывало, говорил, что не станет более писать своих стихов, а будет теперь заниматься исключительно переводами иноязычной поэзии. Но, попав в обстановку мирного времени, в литературную среду, в которой помнили и любили его стихи, он не смог преодолеть стремление к поэтическому самовыражению. И каковы бы ни были его настроения в отношении собственного творчества, он многие годы, часто помимо своей воли, обдумывал и вынашивал то, о чем должен был сказать в стихах.

И вот свершилось. Мысли стали оформляться в замыслы, замыслы — в строки стихов. По всей видимости, первыми стихотворениями, написанными после длительного перерыва и признанными, а значит, и сохраненными автором, были стихотворения «Утро», «Гроза» и «Слепой». За ними последовал ряд других стихотворений 1946 года. И тут поэт, так долго тосковавший по поэтическому самовыражению и так много ожидавший от этого действа, почувствовал разочарование. Ему казалось, что стихи не отражают всей глубины его ощущений и замыслов.

И не случайно первые стихи 1946 года посвящены теме творчества. В «Грозе» — разрешение напряженности раздумий радостью поэтического восторга, вдохновения, самовыражения. В «Слепом» — трагическое единство поэта и его призвания, мучительные поиски слов для «возвышенной песни живой». Видно, нелегким для поэта был тот внешне благополучный период возвращения к литературной деятельности. Были радости, были сомнения, было и чувство бессилия выразить то многое, что скопилось в душе и в мыслях и искало пути к слову. Кто знает, сколько созданных тогда строк и стихотворений Заболоцкого было им уничтожено в минуты разочарования. Но не писать стихов отец уже не мог.

В Переделкине он легко и органически вошел в круг литературных интересов, в круг литературных знакомств. Правда, впереди еще была трудная зима 1946/47 годов, когда материально мы были еще не устроены — не хватало продуктов, одежды, дров. Отец всегда считал своим долгом материально обеспечивать семью, и наша неблагоустроенность того времени заставляла его искать литературную работу, которая регулярно давала бы средства к жизни. Такой работой были художественные переводы.

В Переделкино к нам приезжала профессор М. В. Юдина, которая готовила к изданию песни Шуберта и предложила отцу перевести для нот стихи старых немецких поэтов. Мария Вениаминовна появилась у нас с гостинцами для нас, детей, и долго мучила отца увязыванием слов переводов с музыкальными требованиями. Эти требования, видимо, не всегда совпадали с поэтическими намерениями отца, что в конце концов заставило его отказаться от такого рода работы. Но, несмотря на это, он сделал отличные переводы, и некоторые из них (например, «Рыцарь Тогенбург» Шиллера) с удовольствием читал друзьям наряду с собственными стихами.

Из-за начавшихся в ноябре холодов отец был вынужден переехать из своей холодной комнатки наверху к нам, в общую комнату. Работать ему стало трудно, так как от нас, детей, покоя не было целый день, поскольку кто-нибудь из нас обычно болел и лежал в той же комнате. Отца раздражали помехи в работе, беспокоило наше плохое здоровье и школьные дела — из-за болезни я пропускал много занятий, а дома занимался неохотно. Родители постоянно говорили, что мне нужно больше работать, что иначе я останусь на второй год, что после седьмого класса меня отдадут в техникум и поселят в общежитии. Странно, что при этом, а может быть, благодаря этому я хорошо успевал в школе, и в конце года меня премировали «за хорошие успехи в учебе». Отец сам присутствовал на торжественной части выпускного вечера (школа была семилетней) и был, кажется, доволен мною. Впрочем, отец не только журил, но и помогал мне писать сочинения, чертить. Помню, как он помогал мне писать сочинение на вольную тему — «Буран в степи»; сохранилась «Характеристика Хлестакова», написанная отцом для того, чтобы я посмотрел, как это делается. Однажды я написал в школьный журнал стихотворение и показал его отцу. Отец был несколько даже озадачен, потому что стихотворение ему понравилось. Конечно, он говорил об этом с

иронией, но с некоторой гордостью прочитал мое стихотворение одному своему товарищу по жизни на Востоке, который в то время посетил нас. Прочитал серьезно, с той же интонацией, с какой читал и свои стихи, что мне особенно польстило:

Взгляни на сосны, что стоят, как стражи пред тобой.
Взгляни на них. — Что может быть прекрасней их зимой?
Стеной зеленой средь снегов они одни стоят,
И птицы зимние в ветвях лишь изредка кричат...

В Переделкине у нас часто бывали друзья и знакомые отца. Вспоминается воскресный день в конце ноября, когда к нам пришли Е. Л. Шварц и Н. К. Чуковский с женами. Шварцы привезли гуся, появились вино, водка. На фоне нашей скудной жизни это было настоящее пиршество. На следующий день утром пришел А. А. Фадеев. Снова сели за стол, и начался разговор отца с Фадеевым, который затянулся до вечера. Говорили о литературе, о писателях, о Дальнем Востоке, отец читал свои новые стихи, в том числе стихотворение «Слепой». Стихи Фадееву понравились, но он сказал, что печатать сейчас такие стихи, как «Слепой», несвоевременно. Во время жизни в Переделкине отец еще не раз встречался с А. А. Фадеевым.

В декабре 1946 года вышел журнал «Октябрь» с напечатанным переводом отца «Слова о полку Игореве». Накануне по этому торжественному случаю к нам приезжали Чиковани и Степановы. Отец снова читал свои стихи и новые переводы. Особенно запомнилось мне чтение отрывка о природе Дальнего Востока из «Творцов дорог»:

Под непрерывный грохот аммонала,
Весенними лучами озарен,
Уже летел, раскинув опахала.
Огромный, как ракета, махаон.
И т. д.

Отец читал, подчеркивая согласные, более отрывисто первые две строчки и плавно-величественно слова «опахала», «огромный», «махаон». В начале 1947 года поэма была напечатана в «Новом мире», а через месяц «Литгазета» выступила с ее резкой критикой.

Наступил Новый, 1947 год. В своем дневнике я писал: «...Какая красота кругом! Поглядишь в одну сторону — стоят высокие сосны. Тихо, тихо. Видны желтые стволы; а между ними кажется темно совсем от синевы, верхушки сосен в инее. Повернешь голову — голые березы, и каждая

веточка в инее. Две развесистые сосны на поляне, и тоже все в инее. Дачи стоят какие-то тихие, как будто совсем необитаемые... Встречали Новый год сравнительно хорошо. 31-го папа ненадолго уезжал в Москву. Когда он приехал, стали украшать елку. Елочка маленькая, ее поставили в графин на столе. Игрушки все самодельные, елочку посыпали ватой, прикрепили 10 свечей. Папа и мама никуда не ходили. Новый год встречали одни, только потом позвали Н. И. (сестру хозяйки дачи). Была бутылочка «Цинандали», ели севрюгу с соусом, был пирог с надписью «1947», «печеньюшки», мандарины. Легли во втором часу...» За столом отец произнес краткую торжественную речь. Он сказал, что самое прекрасное в мире — дружба, любовь; не страшны никакие испытания, когда сохраняются эти чувства.

Той встрече Нового года посвящено стихотворение отца «В новогоднюю ночь», в котором нашли свое выражение чувства отца к маме в связи с нашей блокадной жизнью. Заключительные строки стихотворения хорошо сочетаются с новогодними словами отца в тот вечер:

Только б нам не потерять друг друга,
Только б нам не ослабеть в пути...
С Новым годом, милая подруга!
Жизнь прожить — не поле перейти.

Стихотворение это отец не включил в итоговый свод своих произведений, но именно оно открыло новое направление в его лирике, иногда именуемое «некрасовским» (вспомним его слова: «живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной»).

Жизнь постепенно устраивалась. С помощью Ильенковых нас прикрепили в хороший магазин в Москве, какое-то время мы получали питание в переделкинском Доме творчества, отец там недолго жил. Родители постоянно ездили в Москву по делам, за продуктами, за керосином. Отец любил в привокзальном ларьке выпить водки и настраивался на философский лад. Как-то мы ездили в Москву всей семьей, и отец говорил нам о людях, которые каждый день рано утром спешат в город и вечерами, уже поздно, возвращаются в свои пригородные дома: «Им некогда думать, они не осознают всей серости своей жизни. Думать за них должен я, в этом призвание истинного писателя». Мама укоряла отца за то, что он слишком расхвастался, но в этих словах отца уже были отголоски тех настроений, которые позднее легли в основу таких стихотворений, как «В кино». На железнодорожной станции отец встречал слепого старика, который

ходил, подняв вверх лицо и ощупывая палкой дорогу. Старик пел «Лазаря», и в жестянку из-под консервов ему бросали монетки. Эти встречи и послужили поводом для написания стихотворения «Слепой».

Материальному улучшению нашей жизни во многом способствовало возобновление отцом литературных связей с Грузией, которые впервые наметились еще в 1935—1936 годах. Поездка отца в Грузию с бригадой московских писателей в начале лета 1947 года и затем наше двухмесячное пребывание в Доме творчества Сагурамо заложили основу для многолетней работы отца над переводами грузинской классической и советской поэзии.

Большая многолетняя работа над переводами грузинской классики завершилась выходом в 1958 году фундаментального двухтомника «Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого». Сам отец очень ценил этот свой труд, завещал включить его в свое собрание сочинений как второй и третий тома. В авторском проекте собрания есть рукописная приписка: «Эти томы сейчас изданы в «Заре Востока». Текст проверен и исправлен. Н. Заболоцкий. 7 апр. 1958».

В начале апреля 1948 года отец получил двухкомнатную квартиру в Москве, куда мы вскоре переехали с дачи В. А. Каверина, в которой мы провели вторую зиму нашей жизни в Переделкине.

V

Наступил последний, московский, период жизни отца. То было время материального благополучия и постепенно растущего признания отца как крупнейшего поэта-переводчика. Мы, дети, кончали школу, поступали в институты, в аспирантуру, а отец работал. От малоподвижного образа жизни он располнел, здоровье ухудшилось. Но выходили книги переводов, собственные стихи все чаще печатались в журналах, в 1948 году вышел маленький, урезанный сборник стихов отца, а за год до смерти отца вышла следующая, и последняя при жизни книжка стихов Заболоцкого. Это радовало отца так же, как и другие знаки официального признания, важнейшими из которых были награждение орденом Трудового Красного Знамени и включение в состав делегации советских писателей для поездки в Италию в 1957 году.

Творческий путь отца, несмотря на свою сложность,



Н. Заболоцкий с женой Екатериной Васильевной. Москва, 1955 г.

представляется мне чрезвычайно цельным. Эта цельность проявляется прежде всего в целенаправленности, в постоянном ощущении своего призвания. Через все злоключения в жизни и поэтической судьбе пронес он ясность цели и неизменность следования по тому пути, который избрал себе еще в детские годы. Отец уважал в себе такое постоянство и, бывало, стремился воспитать его в своих детях. «Слава и деньги рано или поздно придут сами собой, — говорил он нам с сестрой, — не это главное — главное в жизни выбрать свое дело и делать его с любовью и умением».

Работал отец регулярно и методически. Вставал он часов в девять утра. К этому времени мы с Наташей уже уходили в школу. Родители завтракали на кухне, и отец садился за письменный стол. Обычно он работал над переводами до обеда, а иногда и после обеда. Изредка выходил из-за стола в ванную покурить, забирая с собой листочки с только что написанными стихами. В комнате отец никогда не курил, разве что когда бывали гости. Обычно отец устанавливал

для себя норму — перевести определенное количество стихотворных строк. К концу своего рабочего дня удовлетворенно говорил, что сегодня перевел столько-то строк. Бывали дни, когда работа шла особенно споро и отец сообщал, что перевел около 100 строк. Это был рекорд. Если он не кончал работу к обеду, он быстро съедал все поданное ему и, не дожидаясь, когда мы кончим есть, уходил к себе в комнату писать дальше. От уговоров мамы: «Коленька, ну посиди с нами», только отмахивался. Слышимость в квартире между комнатами была отличная, но, видимо, отец умел отключаться, и наши разговоры не очень ему мешали. Впрочем, днем нас обычно не было дома, а если и были, то старались ему не мешать и не входили к нему в комнату без особой надобности. Иногда звонил телефон, стоящий на письменном столе. Отец разговаривал или звал кого-нибудь из нас и терпел наши разговоры, однако перенести телефонный аппарат в другое место не хотел.

Кончив работу, отец читал, встречался с кем-нибудь из соседей-писателей, пил пиво или вино, в последующие годы часто слушал музыку или раскладывал простенький пасьянс. Ходить гулять не любил, но иногда все-таки выходил куда-нибудь.

Квартира наша была на первом этаже четырехквартирного кирпичного корпуса. Перед окнами родительской комнаты располагался небольшой садик, который был предметом постоянного ухода и заботы, особенно маминой. Отец тоже любил, бывало, летним вечером, высунувшись из окна, поливать садик из шланга, проведенного из ванной. Любил он изредка посидеть вечерком на скамейке под окнами, побеседовать с кем-нибудь из знакомых, живущих по соседству. Впоследствии именно этот садик под окнами упомянул отец в стихотворении «Можжевеловый куст».

Бывали дни, когда отец с утра уезжал по делам в город — в издательство, в Союз писателей, к врачу. По вечерам родители уходили иногда к кому-нибудь из знакомых. Временами, кончив определенный раздел или поэму, отец позволял себе день-два отдохнуть, занимаясь разными домашними делами — наклеивал фотографии в альбом, ездил в мебельный, антикварный или книжный магазин, читал. Отец любил сам ездить в мебельный комиссионный магазин и выбирать солидную мебель старого стиля. Купив стол, шкаф или буфет, он был очень доволен, аккуратно устанавливал его на место, любовался им, показывал знакомым. Помню, как отец сидел на тахте напротив только что куплен-

ного буфета из красного дерева и восхищался: «Ну и буфет! Не буфет, а прямо университет!» (в то время строился университет на Ленинских горах).

В какое время отец писал собственные стихи, я не знаю. Наверное, он писал их в самое разное время. Папка с черновиком нового стихотворения некоторое время постоянно лежала на письменном столе, чтобы всегда быть под рукой. После исправлений стихотворение перепечатывалось и опять лежало для новых исправлений. В какой-то момент отец читал стихотворение маме, потом Н. Л. Степанову или кому-нибудь еще из близких людей. Так, постепенно созревая, стихотворение считалось написанным и, если не попадало у автора в опалу, начинало читаться за столом для друзей. Проходили дни, недели или месяцы, и поверх этого стихотворения в папку ложился черновик нового стихотворения. Через более или менее длительное время избранные стихи пополняли машинописное собрание стихотворений.

В московской нашей квартире периодически стали собираться люди. За немногими исключениями это были литературные друзья и знакомые отца. Как-то сам собой выработался стиль дома и определенные требования к посетителям. Эти требования заключались примерно в следующем: следовало проявлять уважение, но без чрезмерных восторгов и душеизлияний; следовало быть искренним, но не фамильярным, не навязывать насильно свое общество, свой интеллект, свое мнение; нельзя было позволять себе вторгаться во внутренний мир, а следовало чувствовать рамки дозволенного; некоторые темы разговора были нежелательны, и нельзя было ими злоупотреблять. Отец ревностно охранял свой внутренний мир от посторонних вторжений. Возможно, именно поэтому так трудно говорить и о литературном влиянии отдельных личностей на его творчество.

Сам отец был неизменно вежлив, сдержанно-радушен и чем-то привлекал к себе людей, будь то писатель, профессор, шофер такси или слесарь-водопроводчик. Отец никогда не позволял себе ругательств и грубой или запанибратской формы разговора, а лишь временами иронический или шутливый тон по отношению к близким ему людям. Правда, в редких случаях он умел сделать так, что нежелательный посетитель у него больше не появлялся. Если это не удавалось, он просто прятался от назойливых посетителей. Помню, отец увидел в окно, что к нему идет одна навязчивая поэтесса. Он спешно взял папиросы и отправился курить в ванную, велев кому-то из нас сказать, что его нет дома.

Отцу нравилась грузинская манера общения через некоторую условность, через застольный разговор с длинными тостами, в которых любовь и уважение к человеку выражались не непосредственно, а как обряд, часто через вспомогательные образы. У отца было много добрых знакомых среди грузин, и этому во многом способствовала традиционная грузинская форма общения. У нас на Беговой стали бывать Чиковани, Леонидзе, Жгенти, Каладзе и другие грузинские друзья. Было у отца с ними много общего и в литературных и в издательских интересах.

Застольная беседа стала основным способом общения со всеми близкими знакомыми. В соответствии с этим у нас часто собирались гости. Отец сам заранее звонил всем приглашенным с просьбой прийти в определенное время. Затем с мамой и позднее с нашей домработницей тетей Полей обсуждалось меню, в которое неизменно входили пироги с мясом, капустой, визигой. На прием отец выдавал деньги независимо от обычного семейного бюджета. За вином он обычно отправлялся сам, иногда посылал тетю Полю или меня. В магазине «Грузия» покупалось «Телиани» — в то время это было лучшее красное сухое вино, а отец в винах разбирался превосходно. На втором месте стояло «Мукузани». Стол сервировался заранее, до прихода гостей. Отец тоже помогал ставить на стол посуду и еду или, сидя на тахте, наблюдал за приготовлениями. Вино наливалось в графины, вокруг графинов расставлялись закуски, пироги.

Начинали съезжаться гости, обычно довольно точно к назначенному времени. Отец их церемонно встречал в маленькой нашей прихожей, помогал раздеться. Мама еще продолжала суетиться; в кухне готовилось горячее — телятина, индейка или что-нибудь в этом роде. После непродолжительной беседы гости садились за стол, начинались первые тосты и восхищения мамиными пирожками. Нас с Наташей тоже сажали за стол, иногда я фотографировал собравшихся.

После первых тостов, пирога и горячего мясного блюда наступал перерыв в еде, но все продолжали сидеть за столом, и кто-нибудь просил отца почитать стихи. Иногда отец сам говорил, что прочтет новое стихотворение. Отец брал тонкую папку со своими новыми стихами и начинал читать. Наизусть он дома никогда не читал. Все замолкали и слушали чрезвычайно внимательно. После непродолжительной паузы гости выражали свое восхищение и просили про-

честь что-нибудь еще. Отец читал другое стихотворение либо решительно закрывал папку и убирал ее. Манера чтения стихов была у отца особая. Сохранившаяся звукозапись его чтения отрывка из Руставели, к сожалению, слишком эстрадна и не вполне отражает то, как он читал собственные стихи. Характерной чертой чтения отцом стихов было подчеркивание голосом некоторых звуков, часто согласных, и звуковых повторов. Конец строки часто читался твердо, даже отрывисто. Каждое слово произносилось четко и законченно, и вместе с тем в чтении была своеобразная смысловая музыкальность.

После чтения стихов начинался общий разговор, дальнейшие тосты. Когда гости начинали расходиться, отец провожал их, помогая одеться. При этом неизменно повторял изречение: «В борьбе гостя со своим пальто хозяин должен быть на стороне гостя». Затем принимал участие в уборке со стола. Грязным стол на ночь никогда не оставляли. Отец помогал носить в кухню остатки еды и грязную посуду, приподняв одно плечо и хитро ухмыляясь при воспоминании об эпизодах вечера. Прием завершался проветриванием комнаты. А на следующий день отец обязательно обзванивал по телефону всех приглашенных, благодарил за посещение и справлялся, как они добрались домой.

VI

По случаю дня рождения кого-нибудь из близких или по иному поводу отец сочинял стихотворения, которые принято называть шуточными. Какую роль в жизни и творчестве поэта играли эти шуточные стихотворения? В большинстве случаев они служили ему средством общения с близкими и друзьями. Сдержанной, сосредоточенной в себе натуре отца не были свойственны открытые душеизлияния и прямые изъяснения чувств, — свои лучшие чувства и искренние дружеские отношения он часто маскировал под личиной иронии, шутки, подсмеивания, гиперболизации. Все это мы и находим во многих его шуточных стихах, написанных в виде дружеских посланий, поздравлений или просто шуток. Но было в них и что-то серьезное — то, что оставалось неиспользованным в «серьезных» стихах и требовало выхода еще со времен «Столбцов». Вероятно, шуточные стихи были не только средством общения с близкими людьми, не только отходом от «большого» творчества, но и служили неким неосознанным запасом для сохране-

ния и отработки интересующих поэта ситуаций и образов.

Шуточные сочинения отец практиковал даже во времена работы на Дальнем Востоке и в Алтайском крае, развлекая ими своих товарищей, подобно тому, как когда-то в Ленинграде развлекал шуточными стихами работников Детгиза. Очевидно вспоминают три таких случая.

Г. Г. Татосов, с которым отец провел 1939—1943 годы, в письме ко мне пишет: «Более всего жалею, что у меня украли на раскурку лист бумаги, где был рисунок Николая Алексеевича и его стихи — 16 чеканных строк... Я оказался обладателем 25 пачек махорки, которая ценилась на вес золота. Как-то, когда я собирался лечь спать и откинул одеяло, к подушке был пришпилен лист, на котором был изображен я огромного роста, с нимбом вокруг головы, а внизу у моих ног на коленях стоял Николай Алексеевич, простирая ко мне руки. Сверху был заголовок «Моление о махорке». Я был приравнен ко всем скупцам мира, наиболее порядочным из которых был Гарпагон, и мне категорически предлагалось выдать махорку. Стихи были великолепными, рисунок тоже...»

По свидетельству магаданского журналиста А. С. Сандлера, однажды в январе 1944 года в Алтайском крае трое не очень сытых людей, имеющих склонность к поэзии, решили написать «Балладу о баланде» с описанием национальных яств. Среди этих людей был и отец. Вот как он написал о белорусской кухне (наверное, вспомнил, как жил в Белоруссии в 1932 году на военных сборах):

Огромная ложка зажата в руке,
Кушак распустил белорус.
Горшок со сметаной, и щи в чугунке,
И жирный говядины кус.

И тонет пшено в белизне молока,
И плавает в сале картошка!
Проходит минута... и дно чугунка
Скребет деревянная ложка.

Нарочито серьезные и даже торжественные описания разнообразных роскошных кушаний, сделанные участниками «Баллады», отец завершил строчками:

Ах, всех этих яств несравненных гирлянда
Ничто по сравненью с тобой, о баланда!

И далее другие соавторы иронически перечисляли достоинства баланды.

А в письме уже упоминавшегося Г. М. Зотова читаем: «Мне припоминается один весьма показательный случай. Как-то на работе в свободное время Николай Алексеевич написал условное заявление от имени малограмотного. Заявление с весьма большими запросами оплаты и требованиями бытовых мелочей за предложенные им услуги. Все заявление написано было неграмотными оборотами речи, с обычными грубыми ошибками. Подлинных слов этого заявления я, к сожалению, не запомнил. Запомнилось только одно заключительное предложение: «Если не дадите дополнительных карточек СП, то работать у вас не согласен».

В качестве примера «шуточных» стихотворений я хочу привести одно из них, прочитанное отцом гостям, собравшимся в 1950 году на день его рождения.

Мне жена подарила пижаму,
И с тех пор, дорогие друзья,
Представляю собой панораму
Исключительно сложную я.
Полосатый, как тигр зоосада,
Я стою, леопарда сильней,
И пасется детенышей стадо
У ноги колоссальной моей,
У другой же ноги, в отдаленьи,
Шевелится супруга моя...
Сорок семь мне годков, тем не мене —
Тем не мене — да здравствую я!

Помню, как к нам пришли Борис Викторович, Николай Борисович и Екатерина Брониславовна Томашевские, и отец прочитал им шуточную трагедию из старинной дворцовой жизни Англии. Эта трагедия, к сожалению уничтоженная потом отцом, имела неизменный успех, и Б. В. Томашевский, известный литературовед, человек очень серьезный, со строгими литературными требованиями, буквально заливался смехом, слушая ее строки.

В июле 1950 года в письме в Ленинград к Шварцам отец писал: «Мое семейство ознаменовало лето рядом крупных достижений: а) Наталья сдала экзамены на пятерки и перешла в 7 класс, в) Никита, сдав экзамены, получил аттестат зрелости с пятью четверками, остальные — 5, с) моя законная жена с отличными показателя-

ми закончила всемирно известные Курсы Кройки и Шитья и получила соответствующий диплом, вызывающий удивление во всей округе. Что касается меня, то я закончил свой труд (Важа Пшавела, том поэм) и 15-го еду доделать его на месте и сдать в Тбилиси в издательство».

В связи с этими «крупными достижениями» вспоминается, что, когда мама поступила на курсы кройки и шитья, отец принял за свою обязанность помогать маме чертить всевозможные швейные образцы и с явным удовольствием выводил чертежным шрифтом: «бельевой образец», «петельный шов» и т. д. Мамин альбом был, конечно, лучшим на курсах. Тогда же появился экспромт:

Не стало в доме мне житья,
Исколото все тело:
На курсах кройки и шитья
Жена осатанела.

Я же, окончив школу, стал готовиться к поступлению в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Мой выбор вуза нравился отцу. В его глазах звание агронома было связано с семейными традициями и как-то идеализировалось из-за отводимой ему роли в переустройстве природы. Через несколько лет, когда сестра поступала в фармацевтический институт, отец, бывало, говорил: «Ну вот как хорошо! Теперь на старости лет и кусок хлеба будет — глядишь, агроном без хлеба не оставит, и чем полечиться будет...» Сохранился рисунок отца, на котором кривоногая корова с надеждой смотрит на меня, агронома, задумавшегося над научным преобразованием сельского хозяйства.

Еще учась в 10-м классе, я поехал в Тимирязевскую академию и беседовал там с деканом факультета почвоведения и агрохимии профессором В. В. Вильямсом. Я стремился выяснить возможности научной работы на кафедрах факультета, а профессор разъяснял мне, что в академии готовят не научных работников, а практических агрономов. Моя уверенность в научной карьере показалась ему весьма странной, особенно когда он узнал, что я не круглый отличник. Эта история очень понравилась отцу, и потом, когда я успешно поступил в академию, он, посмеиваясь, но и не без гордости пересказывал ее знакомым преувеличивая парадоксальность моих высоких запросов при сомнительных возможностях.



Н. Заболоцкий с дочерью Наташей. Переделкино. Лето 1956 г.

Однажды я, придя домой с занятий в академии, рассказал, как мы в лаборатории определяли содержание витамина С в соленых огурцах. И скоро в шуточных «Записках аптекаря» у отца появилось двустишие:

Весьма возможно, что в соленом огурце
Довольно много витамина С.

После окончания третьего курса я уехал на сельскохозяйственную практику в Сталинградскую область. В одном из писем, полученных мною из дома, было вложено три листочка — от мамы, сестры и отца. Сестра Наташа писала: «...Как-то ездили в Химки с папой и Георг. Конст. Цагарели. Проплыли по Москве-реке и оказались в какой-то довольно неприглядной деревеньке Чиверево. Но все-таки я поймала пчелу с обножкой. Мы ведь теперь пчелами увлекаемся. Мы — я, мама и даже папа. Он теперь читает эту книгу Халифмана... Я к папе приставала, чтобы он написал тебе пару слов. И он написал». На отдельном листочке отцов-

ской рукой написано стихотворение несколько фривольного содержания о некоем агрономе, коровах и пастухе.

Я очень хорошо представляю себе лукавую усмешку отца, когда он согласился написать мне «пару слов» и тут же сочинил этот не совсем приличный экспромт, и, конечно, был очень доволен, что так ловко вышел из положения.

VII

Из увлечений отца следует отметить живопись и музыку.

К живописи отец всегда относился с большим интересом. Хорошо известна его склонность к таким художникам, как Филонов, Брейгель, Руссо, Шагал. Помню, как мы с отцом ходили на выставку картин Дрезденской галереи в музее Изобразительных искусств им. Пушкина. Отца там случайно засняли на кинопленку и потом показывали в кинохронике. Ходил отец на выставку картин Н. К. Рериха, которого ценил весьма высоко. Бывал в мастерских С. Коненкова, Л. Гудиашвили. Наверное, посещал и другие выставки и мастерские. Регулярно заходил в комиссионный магазин, где продавали картины. Из немногих купленных им картин особенно гордился женским портретом школы Рокотова, любил показывать его знакомым, однажды попросил сфотографировать себя на фоне этого портрета.

На музыкальные концерты отец, кажется, ходил редко, но покупал только что появившиеся долгоиграющие пластинки и часто слушал их. Больше всего у него было собрано произведений Бетховена, были также Моцарт, Лист, Вагнер, Равель, Чайковский, Прокофьев и другие композиторы, из современных — почти исключительно Шостакович. Чаще других отец прослушивал многие произведения Бетховена, «Неоконченную симфонию» Шуберта, «Болеро» Равеля, «Ромео и Джульетту» Прокофьева. Бывало, окончив дневную порцию работы над переводами, отец звал меня к себе в комнату и предлагал выпить стаканчик пива. На столе стояла пара-другая бутылок московского пива, звучал скрипичный концерт Бетховена — отец слушал музыку.

Этот скрипичный концерт отец полюбил не сразу. После первого прослушивания он его отложил и некоторое время не ставил, но потом послушал снова, раз-другой, и в конце

концов это произведение стало одним из его любимых. А вот с «Шехерезадой» Римского-Корсакова случилось обратное — после какого-то периода увлечения ею отец перестал ее прослушивать. Про сюиту Прокофьева «Ромео и Джульетта» говорил, что в его восприятии эта музыка имеет не тот смысл, что следует из названия частей.

В театр и кино отец ходить не любил. Театр, видимо, не устраивал его своим репертуаром и характером исполнения. Может быть, ему понравилось бы что-нибудь вроде современного Театра на Таганке. Я помню, как однажды в 1957-м или 1958 году отец говорил: «Я бы написал пьесу, в которой действующими лицами были бы люди, камни, животные, растения, мысли, атомы. Действие происходило бы в самых разнообразных местах — от межпланетного пространства до живой клетки».

Что касается кино, то отец, посмотрев в кинотеатре какой-нибудь фильм, что бывало редко, обычно утверждал, что ничего не понял. До сих пор не знаю, прикидывался ли он таким простачком, спал ли во время сеанса или действительно не улавливал хода действия. Однако по телевизору отец фильмы иногда смотрел. Почему-то запомнилось, что накануне инфаркта в 1954 году отец смотрел фильм «Юность Максима», а вечером накануне смерти — «Летят журавли». В пользу интереса отца к кинематографии говорит и сохранившийся сценарий для детского фильма «Барон Мюнхаузен», написанный отцом в 30-х годах. Таковы были симпатии и антипатии отца в области искусства.

Все годы московского периода жизни отец регулярно выезжал куда-нибудь — то в Грузию по литературным делам или для поездки по республике с бригадой писателей, то на Рижское взморье для работы и отдыха, то на Украину, то в Крым, то в Подмосковье на дачу, в Дом творчества или в санаторий. Последние два лета провел в Тарусе.

Ему нравился этот городок на Оке, возможно напоминавший ему городок его детства Уржум. Вместе с дочерью Наташей и венгерским писателем А. Гидашем и его женой он совершал небольшие прогулки по городу и по окрестностям, сидел над Окой и, несмотря на болезнь сердца, думал о будущей своей жизни и работе. Вопреки всем хворям ему хотелось жить. Он даже присмотрел себе домик вблизи березовой рощи, на тихой живописной улице, выходящей огородами к краю оврага. Помню, как отец, собираясь купить

этот дом, внимательно его осматривал, справлялся, не завелся ли в бревнах жучок-древоед, беседовал с хозяином о цене и о возможностях перестройки дома. Сохранился нарисованный отцом план дома с предполагаемыми в будущем террасами. В букинистических магазинах он скупал годовые комплекты старинного журнала «Русская старина», собирался перевезти их в свой домик в Тарусе. То были мечты о тихой старости, которым не суждено было сбыться.

Большое впечатление произвела на отца поездка в Италию, совершенная им за год до смерти. Помню, я встречал отца на Белорусском вокзале после его возвращения из Италии, и меня поразила перемена, происшедшая с отцом после этой поездки. У него уже давно было больное сердце, и он обычно двигался мало, избегал носить тяжести. А тут вдруг быстро двигался, энергично распоряжался носильщиком, сам нес тяжелый чемодан. Весело представил меня приехавшему вместе с ним А. Т. Твардовскому, шутил по поводу чего-то. Но оживление это было временным...

К смерти отец был внутренне подготовлен, — он лучше врачей знал, что жить ему осталось немного, и в последний год жизни постоянно ожидал внезапной смерти, свойственной сердечным больным. Бумаги и рукописи его были всегда аккуратно собраны, все лишнее, ненужное уничтожено. И если он не успел собственноручно собрать и переплести последний вариант своего полного собрания стихотворений, то за несколько дней до смерти записал точные указания, как это следует сделать. К смерти отец пришел успокоенным, как в отношении благополучия в семье, наступившего после временных семейных неурядиц, так и в отношении своей неизменной веры в социальный прогресс и лучшее будущее человечества. Еще в 1956 году в письме к Г. Г. Татосову отец писал: «Полтора года назад хватил меня инфаркт, выжить — выжил, но с того времени здоровье идет под уклон. Круг дней близится, видимо, к завершению: ничто бесследно не проходит. Но дети подросли, времена пришли утешительные, так что и со здоровьем расставаться не так страшно».

Провозглашенная отцом формула поэтического творчества Мысль — Образ — Музыка с успехом может быть использована и для характеристики личности поэта. Именно эти три начала были характерны для внутреннего облика отца — раздумья о мироздании, о превращении материи, о месте человека и его разума в единой и столь сложной

природе; упорядоченное пространственное расположение образов, их четкость и живописность; и, наконец, то неуловимое начало, которое сродни музыке и которое делало внутренний мир отца не сухим и рациональным миром ученого, а страстным, одухотворенным миром поэта.

Натурфилософские представления отца в известной степени защищали его от страха личного уничтожения. Идею бессмертия он развивал, исходя из ощущения целостности всего организма природы и постоянных метаморфоз, которым подвергается материя этого организма. Он считал, что человек — орган мышления природы, следовательно — ее часть. И пока существует природа, он как один из ее органов бессмертен. Растворившись в природе, он предполагал возникнуть вновь в любой ее части — в листе, птице, камне, которые приобретают при этом хотя бы в небольшой степени его собственные свойства. Так же, как они уже вобрали в себя свойства других, ранее живших. Человек как будто проходит через ряд материальных форм, оставаясь самим собой. Но и оставленные материальные формы — не шелуха, не сброшенная змеиная кожа, а он же, но воплощенный в иные объекты природы. Таким образом, размышляя о жизни и смерти, отец воссоздавал в воображении мир, в котором часть в той или иной степени обладает свойствами целого. И в этом смысле все части (люди, животные, растения, минералы) родственны друг другу и как бы взаимопроникают друг в друга.

Однако не следует думать, что философская концепция Н. А. Заболоцкого являлась для него лишь защитой от неизбежности смерти. Эта концепция, возникшая в результате изучения произведений Гёте, Циолковского, Вернадского, Энгельса и других авторов, служила для отца той призмой, через которую он рассматривал весь естественный мир, открывая в нем множество новых связей и явлений, питающих его поэтическое вдохновение. Концепция отца не ограничивалась одной идеей бессмертия на основе единства и взаимопревращения живой и мертвой материи, но включала в себя и некоторые другие представления. Например, большое внимание уделял он человеку как составной части природы и его роли в организации и самосовершенствовании природы[1].

---

[1] Подробнее о взаимоотношениях человека и природы в поэзии Н. А. Заболоцкого см. в моей статье — «Вопросы литературы», 1984, № 2. — *Н. З.*

...Творческий путь отца остался незавершенным. Он прервался накануне наступления нового, я бы сказал, синтетического периода творчества Заболоцкого, который вобрал бы в себя все лучшее из периода «Столбцов» и из «классического» периода. В последних стихах и замыслах отца уже намечался характер такого пути.

После смерти отца на его письменном столе остался лежать чистый лист бумаги с начатым планом:

1. Пастухи, животные, ангелы

2.

Второй пункт остался незаполненным.

1973, 1983



Н. Заболоцкий. Москва. 1946 г.

МАРГАРИТА АЛИГЕР

ПРОХОЖИЙ

Нужно было заканчивать нелегкую работу, времени оставалось чуть, дома было колготно, и я уехала на десять—двенадцать дней в Переделкино, в Дом творчества, располагавшийся тогда, в первые послевоенные годы, в нескольких пустующих писательских дачах. Зима стояла снежная-преснежная, дорога была белым туннелем среди двух огромных сугробов, и если вдали показывалась машина, нужно было торопиться к разметенным воротам, а не то впору хоть в сугроб ложиться. Хорошо, машин было не много.

Однажды в конце дня, уже на грани сумерек, я пошла погулять в сторону станции железной дороги, тогда еще даже не электрической. Было тихо, покойно, и почему-то мне вспомнилось, что нынче за обедом, за столом, зашла

речь о Заболоцком и кто-то сказал, что, недавно вернувшись с семьей из Казахстана, он живет сейчас тут, в Переделкине, на даче Каверина. В Москве ему жить пока негде, но обещают квартиру... Меня странно встревожила эта сдержанная информация: где-то тут, совсем неподалеку, живет поэт горькой судьбы и неповторимой индивидуальности, поразивший меня когда-то на грани отрочества и юности, живет, вернувшись к жизни, возможно, наверное даже, пишет стихи... Какие? Может быть, отважиться, отыскать дачу Каверина, просто постучаться, зайти, познакомиться? Может быть, он был бы даже рад... А вдруг нет? Кто его знает? Что он за человек, этот странный поэт, столь отличный от других, столь ни на кого не похожий?.. Нет, пожалуй, не хватит у меня решительности и легкости просто постучаться к нему... Но я не могла отвлечься от мыслей о Заболоцком, вспоминала строки и стихи, и читала их про себя и вслух, и шагала в их ритме, и дышала в их ритме, благо была я совсем одна на вечереющей снежной дороге. И вдруг впереди показался идущий навстречу человек. Он был в валенках, в нахлобученном на глаза треухе, с заплечным мешком. Он шагал быстро, он не гулял, как я, он шел откуда-то и куда-то и прошел мимо, даже не взглянув на меня. Да и я в наступающих сумерках не успела даже взглянуть на него в то мгновение, когда мы поравнялись. Но почему-то он не только не нарушил хода моих раздумий, а как-то странно, совершенно естественно и органично, вписался в них, словно бы и он был причастен к ним, словно бы и он был частью их. Я вспомню этого случайного встречного на вечереющей зимней дороге, вспомню через семь с лишним лет, впервые читая стихотворение «Прохожий», вспомню столь же отчетливо, сколь отчетливо я вспоминала в тот ранний вечер все свои давние ощущения, связанные с именем Николая Заболоцкого.

Я и видела его только однажды, много лет тому назад, несколько минут, издали. На одном многолюдном литературном собрании кто-то из товарищей обратил мое внимание на несколько незнакомых мне до той поры лиц и пояснил, что это ленинградцы, ленинградские поэты, и что приехали они защищать Николая Заболоцкого — его недавно резко критиковали в «Комсомольской правде». Я читала эту критику не столько с интересом, не столько даже с возмущением, сколько с недоумением. Она была очень примитивна и даже вульгарна, и меня изумило, что такое ни на

что не похожее поэтическое явление, как «Столбцы», можно критиковать так ординарно, так банально. Но зачем, — во второй раз изумилась я, — зачем защищать эти стихи? И какими, собственно, средствами можно осуществить такую защиту? Ведь стихи Заболоцкого и рецензия на них суть явления совершенно разного качества и абсолютно разного измерения, неужели же это кому-нибудь не понятно? А уж ежели кому и не понятно, то тут решительно ничем не поможешь. По правде говоря, я до сих пор остаюсь при том же убеждении, и жизнь меня в нем поддерживает. Ведь вот я пишу сегодня воспоминания о Николае Заболоцком, а о той рецензии никто, наверное, и не помнит.

Среди ленинградцев мне тогда указали и Заболоцкого. Едва ли я до тех пор задумывалась о том, как бы он мог выглядеть внешне, но если бы передо мной поставили такую задачу, вероятно, я представила бы себе человека странной, необычной внешности, думаю, что высокого и костлявого. А оказался он белокурым, голубоглазым и даже румяным, довольно плотным и невысоким, обыкновенным человеком.

Так вот я и увидела его впервые, издали, на общем литературном собрании весной 1937 года. После этого мне долго не приходилось видеть его. Познакомились мы много позже, уже после войны, лет через десять, а то и двенадцать после той далекой и запомнившейся весны и позже того зимнего вечера, той встречи на зимней дороге со случайным прохожим.

Меня всегда волновало его существование, его присутствие в нашей поэзии, я всегда ждала от этого присутствия каких-то свершений, всегда испытывала острый интерес к тому, что он делает и что он еще сделает. Было известно, что он много переводит, решает большие и трудные переводческие задачи, но друзья его говорили, что он и много пишет, что у него много прекрасных новых стихов. Стихи эти, однако, нигде не появлялись, прочитать их, следовательно, было невозможно, я не решалась просить общих знакомых, даже друзей, дать мне возможность почитать их, — мне казалось, что Заболоцкий человек закрытый и скованный и, поскольку я и сама в какой-то мере такая, едва ли у нас получился бы контакт, несмотря даже на то, что до меня дошли его добрые слова о моих стихах. И вдруг весной 1949 года появилось объявление о том, что в Доме литераторов — кажется, тогда он еще назывался Клубом писателей — состоится поэтический вечер Николая Заболоцкого. Весной 1949 года, после долгой суровой зимы, полной

достаточно противоречивых впечатлений и переживаний... Вечер Заболоцкого, самый факт существования этого поэта — это казалось подарком судьбы и давало силы надеяться на непобедимость истинной поэзии. Вечер состоялся в одной из гостиных Клуба писателей. Среди присутствующих много было перекочевавших после войны в Москву ленинградцев, но поэтов было мало, совсем мало, постыдно мало. И Заболоцкий был какой-то скованный, невеселый, и читал он не много, как-то несвободно, не празднично. И стихи были какие-то скованные и, по правде говоря, особенной радости мне не доставили. Они были совсем иные, чем те, начала тридцатых годов, совсем иные, словно другим человеком написанные, — а так собственно, оно, наверное, и было. И мне показалось, что поэт находится в некоем душевном затруднении, что он еще чего-то не решил, чего-то не выбрал или же еще не вполне доверяет своим слушателям, еще таится от них, не раскрывает им самого главного.

Не припомню сейчас, до или после вечера появились в печати «Строители дорог», но и прочтенные глазами стихи эти вполне подкрепляли мои впечатления. Но за этими смутными, неопределенными ощущениями по-прежнему стоял вполне определенный неослабевающий интерес, вполне определенная надежда на то, что впереди предстоят неожиданные и прекрасные встречи с поэтом Николаем Заболоцким, с его новыми стихами, новыми свершениями.

В 1955 году недавно созданная молодая московская писательская организация приняла решение об издании альманаха московских писателей. Была создана редколлегия, которая охотно согласилась работать на общественных началах, понимая, что работа предстоит большая, нелегкая, но и по-настоящему интересная.

Я вошла в состав этой редколлегии, возглавляемой моим товарищем — Эммануилом Казакевичем. Мы обратились к московским писателям и поэтам с просьбой передать в новое издание неопубликованные произведения. Одним из первых интересующих нас поэтов был и Николай Заболоцкий, — всем, кто любил его стихи, было известно, что у него много нового. Заболоцкий в ответ прислал несколько стихотворений, отлично отпечатанных на отличной бумаге, но я даже не могу сейчас вспомнить, какие именно это были стихи. Запомнила я из них только одно стихотворение — «Бетховен», — очень красивое, очень возвышенное, оставившее меня, однако, совершенно холодной, как, впрочем, и другие

стихи. Все они были отмечены той самой невеселой скованностью, которая поразила меня несколько лет тому назад, когда поэт сам читал свои стихи. Если тогдашнее мое ощущение подтверждается и через пять лет, то, вероятно, следует считать его окончательным и смириться с тем, что трудные годы, постоянная переводческая работа сделали свое дело, и, как это нередко бывает, поэт Николай Заболоцкий, столь необычно начавший, превратился в серьезного, спокойного, пристойного ленинградского поэта, в какой-то мере вторичного и даже книжного. Проще всего было на том и порешить и опубликовать что-либо из отобранных самим Заболоцким стихов. Но что-то во мне отчаянно сопротивлялось подобному решению. Понимая, что в этот вопрос следует внести полную и окончательную ясность, я позвонила Николаю Алексеевичу и попросила разрешения встретиться с ним. Он охотно, но сдержанно согласился и пригласил меня приехать к нему на Беговую. Я приехала к нему днем, и он принял меня в большой, светлой, очень чистой, просто обставленной комнате. Мы сидели за круглым столом у окна, за которым в палисаднике — квартира была на первом этаже — на полуоблетевшем осеннем кусте отчаянно суетились воробьи.

— Мы их кормим, вот и привадили, — объяснил Николай Алексеевич.

Он был, как обычно, сдержан и немногословен, но очень внимателен и, насколько это было для него возможно, заинтересован.

— Мы очень хотим вас опубликовать, — твердила я, — поэтому у нас должно быть много стихов, много возможностей. Дайте нам еще стихи, побольше стихов.

Николай Алексеевич протягивал мне одно за другим отдельно отпечатанные, прекрасно отпечатанные на прекрасной бумаге стихи. Я читала их, одно за другим, что-то откладывала, что-то перечитывала, и меня не покидало ощущение грибника, попавшего в грибное место и безошибочно ощущающего, что где-то рядом сидят желанные, прекрасные, великолепные грибы, что нельзя уходить отсюда, пока во что бы то ни стало не найдешь их.

В ходе нашего разговора Николай Алексеевич откуда-то достал и зачем-то положил на стол рядом со мной три тоненьких книжки. Все, что он издал за всю свою жизнь. Я сразу представила себе, сколько книг издали иные мои товарищи, поэты, никак не смеющие претендовать на равенство с Николаем Заболоцким. Да и у меня книг было много

больше, хотя и меньше, чем у других моих ровесников, но все-таки...

Я ощутила какое-то смутное чувство, словно бы и я была повинна в том, что у прекрасного поэта, много горя в жизни хлебнувшего и уже шагнувшего за пятьдесят, издано только три тоненьких книжки. Я ничего не сказала, ничего не смогла сказать, но, вероятно, то, что я ощутила, было столь сильно, что как-то проявилось. И не мог сидящий рядом человек, при всем его внешне спокойном облике достаточно, наверное, напряженный и с обнаженными нервными окончаниями, не ощутить моего состояния. И, может быть, именно это состояние и расположило его в мою пользу. Вдруг Заболоцкий, отодвинув в сторону папку с отдельными стихами, протянул мне толстую, большую книгу в формат листа писчей бумаги, заключенную в твердый переплет.

— Здесь все, что я написал за несколько последних лет, все, что я считаю ст*о*ящим. Полистайте сами, если хотите, — просто сказал Заболоцкий и вышел из комнаты, оставив меня один на один со своими стихами.

Вот тут-то я и нашла их одно за другим — «Журавлей», «Некрасивую девочку», «Прохожего»... Помню, как вздрогнула, прочитав первые строчки «Прохожего»:

Исполнен душевной тревоги,
В треухе, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги
Шагает он ночью пешком...

Ибо сразу мне вспомнилась встреча на зимней переделкинской дороге, ведущей мимо погоста к станции... И человек, показавшийся мне Заболоцким. И то мое волнение. Все это было написано в найденных мною наконец стихах. И еще много стихов, поразительных стихов, такого высокого душевного строя и лада, такой поразительной чистоты и ясности, что все вокруг них словно озарилось и засверкало. И, второй раз в жизни ошеломленная совершенно иным звучанием, совершенно иным светом, совершенно иной трансформацией его таланта, новой поэтической силой давно покорившего меня поэта, я ушла с большой пачкой удивительных стихов, глубоко счастливая, полная решимости и надежды, что эти прекрасные стихи вырвутся из столь любовно собранной, перепечатанной и переплетенной самодельной книги и станут достоянием всей советской поэзии и ее несчетных читателей и почитателей.

Сегодня, когда стихи Николая Заболоцкого неопровержимо и безоговорочно стали классикой советской поэзии,

среди наших читателей найдется, наверное, немало таких, которые недоуменно пожмут плечами, не понимая чувств, обуревавших меня тогда. Вот и слава богу, что это уже непонятно. Не есть ли в этом самый несомненный знак тех глубоких и прекрасных перемен, которые свершились в нашей литературе? Но нам пришлось, однако, немало поспорить с предвзятостью, с инерцией — одной из самых долго и далеко действующих сил, которую не просто было преодолеть. Да, представьте себе, тогда нам приходилось отстаивать и Заболоцкого, и Леонида Мартынова, стихи, ныне широко известные и признанные. Собственно, в том и заключалась наша задача: показать не только широкому читателю, но и самой литературе, сколько у нее ярких сил.

Добившись публикации большой подборки стихов Заболоцкого, мы тем самым помогли рождению нового сборника поэта в издательстве «Художественная литература». Летом того же года издательство прислало мне на рецензию книгу, собранную Николаем Алексеевичем. Нет нужды, я полагаю, распространяться здесь о характере моей рецензии. Случайно я помню одно из немногих критических замечаний, сделанных мною. В стихотворении «Некрасивая девочка» была такая строка: «Дурнушка маленькая с ротиком уродца». «Дурнушка» и «уродец» в одной строке, — пожалуй, это слишком и лексически, и смыслово, показалось мне, и я высказала в рецензии соответствующее замечание. И через несколько месяцев, листая только что вышедшую, присланную мне автором новую книжку, я обнаружила, что он посчитался с моим замечанием и изменил строку. Меня, честно говоря, глубоко тронула такая реакция, такое отношение замечательного поэта к моему скромному замечанию.

Мы никогда не изливались друг другу в своих чувствах, никогда не делали друг другу никаких признаний, но Николаю Алексеевичу, разумеется, стало очевидно, что для меня значит его поэзия, и при всей его сдержанности, даже скованности, я неизменно ощущала его уважительное внимание, его признательную расположенность, и у нас само собой установились добрые человеческие отношения. Последние несколько лет его жизни были сложны, и, при всей своей скрытности и внешнем спокойствии, он иногда нуждался в человеческом обществе. Я, бывало, звала его в гости, и он всегда охотно приходил, неизменно спокойный, сдержанный и корректный.

Мне казалось иногда, а теперь особенно кажется, что он должен был быть благодарен природе за внешний облик,

которым она его наделила. Ему было определенно удобно иметь такую благообразную, благопристойную заурядную внешность, — она была для него естественной защитной маской, надежно скрывающей от посторонних глаз глубокие душевные бури, которые ему приходилось переживать, сильные чувства и пристальный интерес к чувствам других людей, все те прозрения и потрясения, которые он переживал сам и понимал в других, о чем никак было не догадаться по его виду, что поражало и изумляло в стихах его последнего десятилетия.

Отчетливо помню яркий, солнечный день лета 1958 года, когда мы поехали в гости к Заболоцкому в Тарусу с нашими общими друзьями Либединскими. Накупили вкусного и даже достали столь любимое Николаем Алексеевичем грузинское вино «Телиани». Он оказался дома один и ужасно нам обрадовался. Жил он дачником в небольшом старом тарусском домике с милым деревенским садом и охотно показывал нам невеликие свои временные владения, — видимо, он любил это место и ему тут было хорошо и покойно. Либединских было двое, и я была с дочкой, и водитель был за рулем машины, но мы все-таки втиснули еще и Заболоцкого туда же и поехали все вместе на другой берег Оки, в известное Поленово, посмотрели сохранившиеся там картины, знаменитых «Христа и блудницу», которые именно тут, в Поленове, и писались. Потом долго и весело купались в Оке, потом вернулись к Заболоцкому и с удовольствием обедали на небольшой застекленной терраске. Я всегда совершенно отчетливо вижу эту терраску, покрытый не новой скатеркой стол, когда читаю стихотворение «Принесли букет чертополоха и на стол поставили...». Вижу эту терраску, и яркий летний день вокруг, и милого, радушного, довольного приездом гостей Николая Алексеевича и при всем при том остро ощущаю вокруг неуловимое, непреодолимое присутствие грусти: «Но и я живу, как видно, плохо, ибо я помочь не в силах ей. И встает стена чертополоха между мной и радостью моей». И у меня начинает свербить в горле и щипать в носу.

Помню, я прочитала Заболоцкому ходившие тогда в литературной среде иронические стихи неизвестного поэта Холина, очевидно очень позабавившие его:

. . . .
Вот я... Уж дома не был сутки.
А где я был? У Нюрки спал.
А что жене своей сказал?

Сказал, чтоб не было скандала:
«Дела! Начальство задержало».

Николай Алексеевич долго веселился и на разные лады, лукаво и с видимым удовольствием все повторял одну строчку: «А где я был? У Нюрки спал». Очень ему пришлась по душе ее интонация.

Под ногами у нас все время путалась забавная и милая собачонка, явный гибрид, может быть, черт знает в каком давнем колене, обычной тарусской шавки с неким изысканным и породистым дачником, каким-нибудь жесткошерстным терьером. Собачка была явно заинтересована новыми людьми и весьма польщена нашим к ней вниманием. А Николай Алексеевич в ответ на это внимание несколько раз повторял: «На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой». Повторял как некую скороговорку, и я, честно говоря, не восприняла ее как стихи. Но как вздрогнуло сердце, как ожил в чувствах и в памяти весь тот чудесный день, когда я прочитала, уже после смерти автора, стихотворение:

Целый день стирает прачка.
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.

. . . .

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе.
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!

Ничто не ускользнуло от глаза поэта, ничто увиденное, угаданное, почувствованное не пропало, не ушло в песок, все откликнулось в его многозвучной, человечной поэзии.

Среди милой болтовни, шуток и смеха — говорили, разумеется, и о более серьезных вещах — Николай Алексеевич сказал, что собирается переводить «Нибелунгов». Я взволновалась: «Нибелунги» много означали для меня с детства, когда отец, бывало, рассказывал мне по вечерам одно за другим увлекательные немецкие сказания. Я часто вспоминала эти рассказы и свое детское восприятие их в долгие годы войны с фашизмом, и многое из того, что волновало и увлекало в детстве, представлялось по-другому.

— «Нибелунги»? Как интересно... — обрадовалась

я. — Но и ужасно трудно. И не только из-за объема работы, не только технически, но труднее всего идейная, духовная сторона. Вы не боитесь неизбежных ассоциаций со страшными годами Германии?

— Вот это и надо решить в переводе. Это и надо преодолеть, — ответил Николай Алексеевич. — Непременно надо преодолеть. Нельзя же отдавать нацизму народный эпос Германии. Еще чего не хватало!

Я вспомнила об этом разговоре недавно, прочитав в книге о Томасе Манне цитату из его доклада «Страдания и величие Рихарда Вагнера», произнесенного в 1933 году, на вагнеровских торжествах в связи с 50-летием со дня смерти композитора: «Совершенно недопустимо истолковывать националистические жесты и обращения Вагнера в современном смысле — в том смысле, который они имели бы сегодня, — говорит Томас Манн. — Это значит фальсифицировать их и злоупотреблять ими, пятнать их романтическую чистоту. Идея национального объединения в ту пору, когда Вагнер включил ее в качестве глубоко впечатляющего элемента в свое творчество, иначе говоря — до того, как она претворилась в жизнь, — пребывала в героической, исторически оправданной стадии своего существования, была прекрасна, жизненна, подлинно необходима для будущего. Когда в наши дни басы с целью произвести, кроме музыкального, еще и патриотическое впечатление, тенденциозно подают прямо в партер стихи о «немецком мече» — это демагогия».

Это было произнесено тридцать пять лет тому назад, когда фашизм только что пришел к власти и еще не все понимали, что случилось. А летом 1958-го Томаса Манна уже три года не было в живых, но боже, как тесно и крепко, словно за руки, держатся лучшие люди века в борьбе своей со злом, за победу, за вечное торжество добра. Если бы Заболоцкий перевел «Нибелунгов», его работа была бы тоже борьбой с демагогией, тоже борьбой со злом, за торжество добра. И перевод «Нибелунгов», вместе с «Витязем в тигровой шкуре» и «Сербским эпосом», стал бы еще одной колонной в великолепном здании мировой культуры. Но эту задачу Заболоцкому не дано было разрешить.

В 1957 году Заболоцкий в числе других советских поэтов побывал в Италии, на большой поэтической встрече. Осенью пятьдесят восьмого года несколько итальянских поэтов прилетели в Москву для продолжения беседы с советскими

поэтами. Мы встречали итальянских гостей на аэродроме и были очень встревожены состоянием нашего известного гостя Сальваторе Квазимодо — он прилетел совершенно больной и едва держался на ногах. На следующий день, когда мы собрались на открытие встречи, стало известно, что Квазимодо слег в тяжелом состоянии. Председательствующий на нашем собрании Сурков сообщил об этом и предложил послать в гостиницу «Москва» делегацию, для того чтобы передать больному Квазимодо привет от всего собрания. Поручение это было возложено на нас с Заболоцким. Приехав в «Москву», мы узнали, что у нашего гостя тяжелый инфаркт и его только что увезли в Боткинскую больницу. Когда мы вышли на улицу, пошел дождик, и Николай Алексеевич стал ловить машину, что было не так просто среди дня в центре Москвы. Я удерживала его, — чего там, доберемся и на троллейбусе, — помня о том, что у него у самого не так давно был тяжелый инфаркт. Все-таки ему удалось найти машину, он завез меня домой и поехал дальше, к себе на Беговую.

На следующий день на встрече с итальянцами Заболоцкого не было. Вечером он позвонил ко мне, сказал, что не совсем здоров и решил полежать, и попросил держать его в курсе дискуссии с итальянцами. Стало быть, и накануне, когда мы с ним добирались в гостиницу и оттуда, он уже чувствовал себя, очевидно, неважно. И ни слова не сказал об этом, ничем не подал и виду, — в этом, пожалуй, весь Заболоцкий. В течение тех нескольких дней, покуда длились встречи с итальянцами, мы ежевечерне перезванивались, и я старалась как можно подробнее информировать Николая Алексеевича о ходе нашей весьма интересной дискуссии. Он надеялся повидать все-таки итальянцев до их отъезда, мы даже собирались принять их вместе. Они должны были еще съездить в Ленинград и, кажется, даже в Грузию, так что времени впереди было предостаточно.

Но итальянцы съездили, куда собирались, и вернулись в Москву, и собрались возвращаться домой, и улетели, а Николай Алексеевич так и не встал с постели. А в середине октября мы его похоронили. И у открытого гроба во время гражданской панихиды, и по пути в крематорий, и там, пока звучали последние слова прощания, мне почему-то все время отчетливо виделась заснеженная дорога в зимнем Переделкине, ведущая к станции мимо погоста, и тяжело шагающий по ней человек в треухе, с мешком за плечами. И все я твердила про себя:

А тело бредет по дороге,
Шагая сквозь тысячи бед,
И горе его, и тревоги
Бегут, как собаки, вослед.

А вернувшись домой, весь вечер читала про себя и вслух поразивших меня всего-го три года назад «Журавлей»:

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе, —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

Москва, 1973. Лето



Дом на углу Беговой улицы и Хорошевского шоссе в Москве. Н. Заболоцкий прожил здесь последние десять лет своей жизни. Январь 1949 г. На переднем плане Наташа Заболоцкая и Женя Казакевич

МАРИНА ЧУКОВСКАЯ

В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ

Когда Заболоцкий в начале 1946 года появился в Москве, он как-то пришел к нам. Степенно пил чай, степенно закусывал бог знает какой послевоенной едой. А ведь сытым вряд ли был... Рассказывал о семье, оставленной в Караганде. В Николае Алексеевиче прежде всего бросалось в глаза его наружное спокойствие, неторопливость, полное отсутствие какой бы то ни было экзальтации. Казалось, ровное и спокойное состояние духа не покидает его. А что было внутри — не знаю... Близко к своей душе он не очень-то подпускал.

Мой двухлетний сынишка во все глаза глядел на незна-

комого дядю. И вдруг протянул Николаю Алексеевичу сухарь:

— Дядя, на...

Николай Алексеевич улыбнулся. Блеснула золотая короночка на переднем зубе.

— Спасибо! — как взрослого, поблагодарил он ребенка и, привстав, крепко пожал ему ручку.

Больше он не прибавил ничего. Но, может быть, этот ничтожный случай запал ему в душу и отозвался в стихотворении «Это было давно»:

...И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И, творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула.
...И, бросая перо, в кабинете
Все он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

Жил Николай Алексеевич по знакомым. Занятый устройством своих дел в Москве, хлопотами в связи с переездом семьи, Николай Алексеевич молчал о новых стихах. Мы не приставали с расспросами и не знали, пишет он или нет. И терпеливо выжидали, когда он заговорит сам.

И вот однажды, поздней весной 1946 года, уже поселившись в Переделкине и ожидая приезда семьи, Николай Алексеевич объявил, что написал стихотворение. И прочел «Слепого».

...А вокруг старика
Молодые шумят поколенья,
Расцветая в садах,
Сумасшедшая стонет сирень.
В белом гроте черемух
По серебряным листьям растений
Поднимается к небу
Ослепительный день...

Мы слушали, мы повторяли, мы не могли наслушаться...

Расцветая в садах,
Сумасшедшая стонет сирень... —

как завороженная, все твердила я, занимаясь повседневными унылыми делами. Я рисовала себе этот яркий и смелый

образ, и для меня все будничное тут же превращалось в праздничное. Будто волшебная палочка коснулась обыденщины и преобразила ее... Да что говорить! С тех пор прошло почти тридцать лет, но всякий раз, увидев цветущий куст сирени, я вспоминаю эти поразительные строки.

А после «Слепого» Николая Алексеевича словно прорвало. Он стал писать стихотворение за стихотворением. Все новое он читал нам. В те трудные годы поэзия Заболоцкого была для нас словно родник живой воды.

Спит растение картошка.
(«Меркнут знаки Зодиака»)

Синее-синее небо. Солнце. И ярко-желтые деревья на фоне синего неба.

Чудный день выдался 3 октября 1946 года. По переделкинским дорожкам гуляют писатели. Вот идет Бек, как всегда возбужденно, с жаром доказывающий что-то своему собеседнику. Идет по улице, на которой за забором дача В. П. Ильенкова. Там живет Заболоцкий с семьей. Живет трудно, мыкаясь, как и большинство из нас.

Но сегодня, в этот прекрасный, сухой день, вся семья Заболоцких копает на участке картошку, которую предусмотрительно посадил Николай Алексеевич весной. Ползает усталая жена, выбирая картошку. Лопатой выкапывает ее довольный Николай Алексеевич. Дети ведрами и корзинами таскают ее в дом. Что говорить, картошка не задалась — она и мелка, и много невкусных зеленых клубней. Но ведь и посажена-то была дрянная, выданная по карточкам. Зато картошкой обеспечены на всю зиму. И своего удовольствия Николай Алексеевич не скрывает. Знакомые, проходя мимо, переговариваются с ним через забор. Николай Алексеевич раскраснелся, улыбка не сходит с лица, короночка блестит. А Екатерина Васильевна все ползает и ползает, устало согнувшись в три погибели...

Николай Алексеевич был прав: зимой картошка выручала не только их, но зачастую и нас.

Всю трудную зиму 1946/47 годов мы жили бок о бок в Переделкине и виделись почти ежедневно. Как могли облегчали друг другу нелегкий быт.

Как-то зимним днем зашел Николай Алексеевич. Весь его облик выражал еле сдерживаемое возмущение. Он пофыркивал, поминутно снимая и протирая очки.

Оказалось, что его сын Никита написал стихи. Николай Алексеевич их принес и прочел нам. Для четырнадцатилетнего мальчика стихи были неплохи, даже хороши. Никита подражал стихам отца, и это было естественно.

Но Николая Алексеевича унять было трудно.

— Каков! — негодовал он. — Писать стихи! Да еще подражать отцу! Нет. Этого не будет. Стихи писать я ему не позволю.

И он разорвал листок и выбросил в топившуюся печку обрывки.

Часто зимой я ездила с Николаем Алексеевичем в Москву. Никакой электрички не было и в помине. Ходил поезд с грязными и закопченными, ледяными вагонами, в которых сидели главным образом укутанные молочницы с бидонами, жуя хлеб и лузгая семечки. Поезда нещадно опаздывали, ждать их приходилось на станции часами.

Пританцовывая, чтобы не замерзнуть, мы оживленно болтали с Николаем Алексеевичем о том о сем. Очень запомнился мне рассказ Николая Алексеевича, как он в Караганде переводил «Слово о полку Игореве». Днем он был на работе, дома отдельной комнаты у него не было, и вечером, когда дети засыпали, а Екатерина Васильевна в кухне вязала кофточки на заказ, Николай Алексеевич, отогнув постель, прикреплял свечку к топчану, на котором спал, и, встав перед ним на колени, трудился до глубокой ночи.

Иногда он заходил в буфет — пропустить рюмочку и согреться. После рюмочки становился еще оживленнее. Но никогда Николай Алексеевич не терял своей благообразной, достойной и даже важной осанки. Удивительно опрятно выглядел он в своем легком для зимы пальто с тщательно расправленным на шее шарфиком, в кожаной ушанке с мерлушкой, надвинутой на кончики ушей. Солидность придавали и очки, за которыми щурились близорукие глаза.

Но так или иначе, а мы пережили тяжелую зиму, и наступила весна. Наши сыновья, учившиеся в сельской школе, окончили семилетку. По установившейся традиции учителя отмечали выпускной вечер. И на вечер пригласили Николая Алексеевича и меня. Не помню уж, по какой причине, но выходило так, что я не смогу быть на торжестве. И я не внесла положенной суммы. А когда торжественный день наступил, оказалось, что я свободна. И Николай Алексеевич уговорил меня пойти с ним. Я была в нерешимости: идти, не

внеся своей лепты, мне было очень неудобно перед учителями.

— Ерунда! — махнул рукой Николай Алексеевич. — Возьмите с собой что-нибудь из продуктов — и все.

И мы отправились. Был прелестный июньский вечер. Теплый, все зеленело вокруг, гомонили птицы. Официальная часть выпала у меня из памяти. А вспоминаю я накрытый стол в учительской, незатейливое угощение, учительниц, хлопотавших у стола, и торжественного Николая Алексеевича. Внимательно слушал он, что говорят об успехах его сына чуть робевшие перед настоящим поэтом учителя.

Поели, попили. Провозгласили положенные тосты. Учителя развеселились. И стали хором петь русские песни. И до чего же было славно! Николай Алексеевич сначала слушал молча, а потом и сам с воодушевлением стал подтягивать им. И — торжественность слетела с него... А я и не подозревала, что он так много знает песен! Пели долго — всю ночь. И чем больше пели, тем яснее была видна давнишняя, прочная связь Николая Алексеевича с сельской скромной интеллигенцией. Много было у них общего.

Разошлись под утро. Несколько утратив чувство реальности после бессонной ночи, после многочасового пения, мы молча шли домой, изредка перебрасываясь замечаниями. Солнце стояло высоко, в зеленой листве снова не умолкая звенели птицы. Улыбка не сходила с лица Николая Алексеевича.

К лету 1947 года материальные дела Заболоцких стали поправляться. Николай Алексеевич много переводил, особенно грузинских поэтов. И на лето семья Заболоцких получила приглашение погостить в Грузии. Николай Алексеевич издавна был дружен с грузинскими поэтами — Чиковани, Леонидзе, Каладзе и другими.

Хлопот было много. Екатерина Васильевна шила и перешивала не разгибаясь. По тем временам, нищим, послевоенным, одеть всех было трудно. Помню, как все мы ликовали, когда Николаю Алексеевичу купили новый костюм. Серый костюм отнюдь не сидел на нем с иголочки — сзади, под воротником, образовалась внушительная складка. Но костюм был без штопок, без заплат, и в общем Николай Алексеевич выглядел в нем весьма импозантно.

В Грузии Заболоцкие провели прекрасное лето. Николая Алексеевича почитали, баловали. Грузинский уклад жизни с пирами, тостами, дружбами был очень ему по вкусу. «Телиани» лилось рекой, тосты за Николая Алексеевича не умолкали.

Зимой 1947/48 годов Заболоцкие прожили в пустующей даче Каверина в Переделкине. А мы с осени переехали в Москву.

Теперь Николай Алексеевич, приезжая в город, уже не торопился на поезд, а частенько оставался у нас ночевать. Сидели допоздна, разговаривая, читая стихи. Никогда ничего банального не было в речах Николая Алексеевича. Все, что он говорил, было всегда неожиданно оригинально. Часто Николай Корнеевич начинал читать стихи, раскрывая перед Николаем Алексеевичем то одного, то другого своего любимого поэта. Николай Алексеевич слушал очень внимательно. Да и читал Николай Корнеевич прекрасно, не выделяя смысловую сторону стихотворения, а подчеркивая его музыкальную звучность.

Спать укладывался Николай Алексеевич на полу в кабинете Николая Корнеевича, как мы ни протестовали и ни умоляли его лечь на единственный диван, — раскладушек тогда не было и в помине. Прежде чем уснуть, оба еще долго курили и разговаривали, и сквозь сон я слышала приглушенно-спокойную речь Николая Алексеевича и взволнованный голос Николая Корнеевича, с жаром что-то доказывающего ему.

Сын Заболоцкого, хороший ученик, в школе отставал по немецкому. Война и трудные обстоятельства жизни родителей мешали Никите систематически заниматься языком. И Екатерина Васильевна надумала взять ему на время преподавателя. Не сомневаясь в его согласии, она сказала об этом Николаю Алексеевичу.

— Нет, — неожиданно жестко сказал он, — никаких преподавателей. Пусть карабкается, но добивается сам. У меня репетиторов не было.

В своей семье Николай Алексеевич был властелином. Несмотря на изысканную вежливость и корректность, в нем иногда проступала не только твердость, а даже какая-то жесткость и беспощадность. А уж прощать Николай Алексеевич совсем не любил. И не прощал.

Наконец Заболоцкие получили скромную двухкомнатную квартирку.

Было это так.

Продкарточки Заболоцких я прикрепила в нашем закрытом распределителе, чтобы вместе получать продукты. Я получала, а Екатерина Васильевна, приезжая из Переделкина, забирала их. Таким образом она не теряла время на стояние в очередях. Однажды утром весной 1948 года позвонил Виктор Викторович Гольцев, старый приятель Николая Алексеевича, очень почитавший его. И, волнуясь, стал рассказывать, что вот было распределение квартир на Беговой улице, в домиках, которые строили пленные немцы, и ему, Гольцеву, не дали квартиры, и как это несправедливо, но зато он счастлив, что Фадеев дал квартиру Заболоцкому, что дать Заболоцкому было необходимо, что у него семья, и вообще нет своей жилплощади на земле, и хоть в этом случае восторжествовала справедливость. И мы с Гольцевым долго и взволнованно обсуждали это событие. Сообщить эту новость Заболоцким должна была я, так как в тот день собиралась приехать Екатерина Васильевна за продуктами.

Потом потянулся день, полный забот-хлопот, потом приехала Екатерина Васильевна, мы начали волнующий разговор о продуктах, потом она рассказала, как, возвращаясь поздно вечером со станции, Николай Алексеевич в талом снегу утопил калошу, а где взять ордер на калоши? На рынке покупать очень дорого. И мы долго говорили о калоше, а потом в городе у нее были дела, она быстро убежала, а я... я забыла сказать ей о квартире! В ужасе вспомнила, когда она уже ушла. Но дело можно было поправить — она должна была вернуться перед отъездом и забрать тяжелые сумки. С нетерпением поджидала я звонка, на чем свет кляня свою забывчивость. И сразу выпалила ей радостную новость. Что тут было! Как девочка, запрыгала Екатерина Васильевна в передней и заявила, что пусть Николай Алексеевич и дети думают что хотят, пусть не спят от беспокойства за нее хоть всю ночь, но она не уедет, пока не удостоверится, что эта новость не пустые слухи. И уехала уже ночью, последним поездом.

А потом случилось так, что в то же время Екатерине Васильевне досталось небольшое наследство и Заболоцкие смогли купить себе необходимые вещи и даже люстру, что было по тем временам настоящим чудом. Николай Алексеевич ходил по убогим магазинам, интересовался мебелью и любовно устраивал свой дом, которого так долго был

лишен. «И ничего мне больше не надо, — часто повторял он. — Состаримся, вырастут дети, и отдадим квартиру им. А что нам со старухой нужно? И под лестницей жить будет неплохо», — шутил он, и весело блестела короночка.

Наконец-то он мог приглашать к себе гостей. А гостей Николай Алексеевич очень любил, любил длинные застольные тосты и был отличным и внимательным хозяином.

Так и вижу его за столом — вот он встал, поднял бокал с красным вином и издалека начинает тост, обращенный к кому-нибудь из гостей. Поначалу даже трудно догадаться, в кого он метит. Говорит своим глуховатым голосом с еле заметным северным говорком, скупо, но выразительно жестикулируя свободной рукой, чуть-чуть склонив набок голову со светлыми, тщательно приглаженными волосами. И стихи свои он читать не отказывался, когда его просили.

Как-то в день его рождения — это было уже в 1956 году — попросили его прочесть самое любимое свое стихотворение.

Он поднялся из-за стола.

— Я прочту — холодное, — подумав, сказал Николай Алексеевич. — Я считаю, что стихи и поэзия вообще должны быть холодными.

И прочел «Лесное озеро».

Расходились от Заболоцких всегда поздно, раскрасневшиеся и веселые.

Мы с Екатериной Васильевной увлекались шитьем. Однажды я пришла к ней, и она закалывала на мне что-то.

Вошел Николай Алексеевич. Посмотрел и, кругло разведя руками, он тут же придумал:

У одного поэта
Была жена без жакета...

Засмеялся и вышел.

На одной площадке с Заболоцкими поселился писатель Казакевич. Они подружились. Николай Алексеевич весело смеялся неистощимым колким шуткам Казакевича, который весь словно был пропитан юмором и насмешливостью. Юмор же Николая Алексеевича был совсем другим, чем юмор Казакевича, — не такой быстрый и находчивый, более мягкий и неторопливый и не рождался так молниеносно,

как юмор Эммануила Генриховича. Правда, порой и Николай Алексеевич умел быть злым... На досуге Николай Алексеевич стал сочинять «Из записок старого аптекаря» — очень смешные стишки. Оно и неудивительно: не мог же беспощадный и озорной сарказм «Столбцов» угаснуть навсегда, а Заболоцкий превратиться в святого с нимбом. Запомнила я, к сожалению, мало, хотя слышала их от него неоднократно. Лукаво улыбаясь, стараясь сохранить серьезность, читал он:

Не спал всю ночь: все вспоминал, как дыни
В учебнике зовутся по-латыни.

И:

О, сколь велик ты, разум человека!
Что ни квартал — то новая аптека!

Часто Казакевич приходил к Заболоцкому, Николай Алексеевич вытаскивал из буфета бутылочку любимого «Телиани», и Казакевич, потягивая веселящее красное вино, начинал петь еврейские песни, которых знал множество и пел их отлично. Он был очень музыкален. Заболоцкие много и часто рассказывали о пении Казакевича, но никогда не пришлось мне слышать его самого. Иной раз Казакевич приходил со своей сестрой, и они пели вместе, восхищая Заболоцких.

В начале пятидесятых годов Казакевич получил квартиру в Лаврушинском переулке. А в его бывшую квартиру переехал литературовед Дерман, с которым Заболоцкие тоже были в наилучших отношениях.

Дружба наша с Заболоцкими крепла. Мы частенько видались друг с другом. И всегда с нетерпением ждали новых стихов Николая Алексеевича. Его поэзия неизменно восхищала нас. Каждое новое стихотворение было как праздник, который он дарил нам щедро, не скупясь.

Летом Заболоцкие снимали дачу где-нибудь невдалеке от города. Но каких трудов стоило Екатерине Васильевне вытащить Николая Алексеевича подышать свежим воздухом! Он упорно сопротивлялся под любыми предлогами. А когда, недовольный, внимал ее просьбам, больше суток на даче не мог усидеть, сбегал тут же. Он любил свою комнату, письменный стол перед окном, книги, картины на стене, которые сам любовно выбирал и покупал, работу, размышления — и не терпел никаких перемен.

Вспоминаю нашу тревогу, когда в 1954 году у Николая

Алексеевича был первый инфаркт. Он долго был болен и лежал дома. Наконец Екатерина Васильевна позвонила и сказала, что врач разрешил ненадолго навестить Николая Алексеевича и он с нетерпением ждет нас.

Мы с Николаем Корнеевичем пошли. Бледный-бледный лежал Николай Алексеевич в постели, выпростав на одеяло словно неживые, без кровинки, руки. Он очень нам обрадовался. Мы входили и сидели у него по очереди, стараясь, как могли, развлечь его. Екатерина Васильевна ухаживала за ним. Она рассказывала, что, когда ему стало плохо, он лежал как мертвый и был белый словно мел. А когда сделали укол, стал постепенно розоветь. Последним порозовел лоб.

Летом Заболоцкие сняли дачу в Жаворонках, недалеко от Москвы. Николай Алексеевич понемногу поправлялся, лежа на шезлонге в саду. Вокруг дачи росли большие дубы, почти догола объеденные шелкопрядом. Пророчеством казалась строчка его стихотворения, написанного еще в 1936 году:

Вздохнут дубы, подняв остатки рук.

(«Засуха»)

Николай Алексеевич горестно качал головой, глядя на деревья. И все же, несмотря на болезнь, он много стихов написал в том году. Там, в Жаворонках, он впервые прочитал нам стихотворение «Бегство в Египет».

Несчастное сердце Николая Алексеевича подправили кое-как. И он снова стал приходить к нам.

Как-то пришел Николай Алексеевич. Стали говорить о стихах Мартынова, и Николай Алексеевич заметил, что в стихотворении Мартынова «Усталость» звучание слов совершенно соответствует содержанию, — «Вот признак подлинной поэзии», — сказал он[1]. Заболоцкие не раз рас-

---

[1]

УСТАЛОСТЬ

И все, о чем мечталось,
Уже сбылось,
И что не удавалось,
То удалось.
Отсталость наверсталась
Давным-давно,
Осталась лишь усталость —
Не мудрено!

Усталость разрасталась
В вечерней мгле;

сказывали, что любить Чехова Николая Алексеевича научила Екатерина Васильевна. В молодые годы она много читала Чехова, пересказывала Николаю Алексеевичу, и мало-помалу он тоже полюбил его, хотя раньше не признавал совершенно.

Помню, как однажды, говоря о Чехове, Николай Алексеевич сказал: у Чехова нет прямых высказываний о поэзии, но в рассказе «Святой ночью» перевозчик говорит о сочинениях монаха Николая так, что сразу видно, как точно Чехов понимал, что подразумевается под поэзией. «...Нужно, чтобы все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобы в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтобы ни одного слова не было грубого, жестокого или несоответствующего. Так надо писать, чтобы молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил...» И дальше: «...Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтоб каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтобы оно было гладенько и для уха вольготней...» Так пишет Чехов. А Заболоцкий: «Слова должны обнимать и ласкать друг друга, образовывать живые гирлянды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они должны перекликаться друг с другом, словно влюбленные в лесу, подмигивать друг другу, подавать тайные знаки, назначать свидания и дуэли. Не знаю, можно ли научиться такому сочетанию слов. Обычно у поэта они

Усталость распласталась
По всей земле;
Усталость становилась
Сильнее нас,
Но где ж, скажи на милость,
Она сейчас?

Прилег ты напоследки,
Едва дыша,
Но ведь в грудной-то клетке
Живет душа!
Вздохнул. И что ж осталось?
Твой вздох глубок,
Повеял на усталость,
Как ветерок.

Вот тут и шевельнулась
Она слегка,
Как будто встрепенулась
От ветерка.
И — легкая усталость,
Не на века —
Развеялась, умчалась,
Как облака.

получаются сами собой, и часто поэт начинает замечать их лишь после того, как стихотворение написано» («Мысль—Образ—Музыка»).

Помню, в 1957 году он приехал в Переделкино к Корнею Ивановичу. Непроницаемый, замкнутый, весь в черном, и церемонно вручил Корнею Ивановичу только что вышедшую книжечку стихов. Церемонно просидел, сколько положено, и уехал. А мы стали читать — и не могли оторваться... Когда прочитали «Журавли», Корней Иванович заплакал.

Нет в мире ничего прекрасней бытия...

(«Завещание»)

Не знаю, утверждал ли так Заболоцкий до конца своих дней. Думаю, что утверждал... Думаю, что чувство это было так сильно в нем, что, несмотря на удары судьбы, он душевно не сломился.

Последние два года жизни были очень тяжелы для Николая Алексеевича. Он отчаянно боролся, стараясь работой заглушить душевную боль. О душевной муке Заболоцкого можно судить по его стихам того времени. В те годы он написал множество стихов, а плодом его раздумий и ощущений явилось последнее его поразительное стихотворение «Не позволяй душе лениться...». И маленькая заметочка «Почему я не пессимист», в которой четко и ясно выражено его мироощущение: «...смотри на мир, работай в нем и радуйся, что ты — человек!»

Душа его не дрогнула и выдержала все. А сердце отказало...

1973



Н. Заболоцкий. Москва. Лето 1948 г.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ВНАЧАЛЕ БЫЛО «СЛОВО»

Мое знакомство с поэзией Николая Заболоцкого произошло задолго до личного знакомства с поэтом. «Столбцы», выпущенные Издательством писателей в Ленинграде в 1929 году, я, к сожалению, не раздобыл и пользовался зачитанным экземпляром моих друзей. За пользование книгой я обязался переплести ее, что и было сделано. Зато не менее редкую, вышедшую тиражом 5300 экземпляров, «Вторую книгу» (Л., 1937) я раздобыл. В нее я складывал все, что за подписью Николая Заболоцкого появлялось в газетах и журналах. Выступления поэта были редки, но заметны. Помню «Известия» с «Осенью» и «Прощанием» (1934), «Севером» (1936), «Седовым» (1937), «Литературный современник» с «Венчанием плодами» (1933), «Началом

зимы», «Ночным садом» (1937). Как радовали и обнадеживали эти стихи!

В Институте истории, философии и литературы (ИФЛИ), где я учился, и в останкинском общежитии, где я жил, Николая Заболоцкого знали. Стихи его нас, молодежь, студентов, не оставляли равнодушными. Они вызывали споры. Студенты были в восторге и с каким-то особым озорством и удовольствием читали вслух:

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.

Толстозадые русалки
Улетают прямо в небо.
Руки крепкие, как палки,
Груди круглые, как репа.

Один начинал, другой подхватывал:

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.

Третий был наготове:

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.

Забавляло, что луна — небесное тело — писалось у Николая Заболоцкого с малой буквы, а Паук (животное!) — с большой. Лихо, молодо, задиристо.

Авторитетный в ифлийской среде (да и не только в ней!), уже к тому времени известный своими «Страной Муравией» и «Сельской хроникой» наш студент и товарищ Александр Твардовский подтрунивал над нашей (в том числе и моей) увлеченностью. Со спокойной, можно даже сказать — тихой иронией он говорил: «Книжное все это, не от жизни». И осуждал нас, и охлаждал наш пыл. У Трифоныча (как называли мы Твардовского) были свои сторонники. Неприятие Заболоцкого было мирным, без улюлюканья и свиста.

Но лично мне, в ту пору искавшему сочетания классики и современности, традиции и новизны, нравились стихи Николая Заболоцкого. Увлекала его серьезная обращенность к природе (лучше — к Природе с большой буквы), к коренным вопросам бытия, к искусству, прежде всего к живописи

(поздней он скажет: «Любите живопись, поэты!»), к слову, к звуку родной речи, несуетность, неторопливость, основательность творческого поведения. Элегический строй Батюшкова и Баратынского он сочетал с новыми веяниями. Державина он соединил с Хлебниковым, Тютчева с Белым. Он показывал пример того, как можно достигать самобытности, оставаясь в пределах канона. На этот вопрос — по-другому — отвечали Пастернак и Багрицкий, Ахматова и Зенкевич. И все же решения Заболоцкого не могли не привлечь самого пристального внимания. Лубок и киномонтаж, учение Циолковского и новейшая живопись — все это незримо, но явно входило в эстетический кодекс поэта.

И голос Пушкина был над листвою слышен.
И птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нем лик Сковороды.

Он умел читать письмена на древних степных камнях. Он понимал их речь. Это встречало сочувствие одних и неприязнь других.

Критические статьи — одно дело. Другое — писание пасквилей. Упражнялись многие. Это поощрялось.

Помню, какой шум вызвала зубодробительная статья А. Тарасенкова «Похвала Заболоцкому», названная так по ассоциации с Эразмовой «Похвалой глупости».

Задетый за живое, я две ночи подряд писал ответ автору статьи. Статья была краткой и строгой. Я отнес ее в «Литературную газету». В таких случаях у нас говорят: «Литературка» заинтересовалась». Я несколько раз правил статью. Но я не мог статью протестующую переделать в одобряющую статью, то есть коренным образом изменить точку зрения. Итак, «Литературка», заинтересовавшись моей статьей, не напечатала ее...

Как впоследствии выяснилось, я был наивен, полагая: если Тарасенкову Заболоцкий не нравится (как тогда говорили «активно не нравится»), то я могу возразить ему, доказав на деле, почему мне этот поэт нравится. О, я сумею показать его достоинства! Мечтал я, чтобы Заболоцкий понравился как можно большему числу любителей поэзии, чтобы он победил и чтобы Тарасенков был публично посрамлен. Это было важно для меня самого. Мне хотелось, чтобы именно эти поэтические принципы возобладали в нашей поэзии, по меньшей мере были признаны и получили права гражданства. О наивные юношеские мечтания!

Шли годы. И в военную пору, и в послевоенную пору память подсказывала то одни строки, то другие. Это было житейской потребностью: включать в круг своих раздумий стихи Николая Заболоцкого. Отчетливо врезались в память чеканные, как решетка Летнего сада, строки из стихотворения «Начало зимы» (1935):

Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза постучало.

Это откликало начальные удары в пятой симфонии Бетховена: тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та...

Накапливался все новый и новый материал. Поэт властно и нежно заставлял следить за собой. Такова была сила самих стихов: «Воздушное путешествие», «Сагурамо», «Ночь в Пасанаури», «Город в степи», «Читая стихи», «Поэт», «Некрасивая девочка», «О красоте человеческих лиц», «Последняя любовь» и другие. Никто и ничто, кроме самих стихов, не внушали мне этой потребности — следить за ними.

В 1946 году произошло мое личное знакомство с Николаем Алексеевичем Заболоцким. Но сперва — еще о его поэзии, о его творческом облике, о том, как я воспринимал его стихи и переводы, его высказывания о поэзии, о том, как много они значили для меня...

Осенью 1958 года, незадолго до смерти, Николай Алексеевич Заболоцкий составил оглавление собрания своих стихотворений и поэм. Это собрание он разделял на две части: часть первая — «Столбцы» и поэмы» (1926—1933) и часть вторая — «Стихотворения» (1932—1958). Полная рукопись собрания объемлет примерно сто семьдесят стихотворений и три поэмы.

Поэт просит своих наследников и издателей в конце рукописи сделать следующее примечание: «Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мною в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные мной, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно.

Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены окончательно; прежде публиковавшиеся варианты многих стихов следует заменить текстами, приведен-

ными здесь. Н. Заболоцкий. 6 октября 1958 года. Москва».

Теперь, когда мы знаем, что это писалось за восемь дней до смерти поэта, можно только восхищаться его собранностью, взыскательностью, ясностью мысли, чувством глубокой ответственности перед поэзией и читателями — настоящими и будущими.

Нет смысла жаловаться на отсутствие внимания издателей, критики, читателя к творчеству Николая Заболоцкого, особенно после его смерти. Имя поэта теперь упоминается в ряду самых заметных имен русских поэтов советской поры. Его стихотворения прочно вошли в антологии и хрестоматии.

«Библиотека поэта» в Большой серии выпустила в 1965 году однотомник, который, вопреки завещанию автора, часть вторую (1932—1958) сделала первой, а первую (1926—1933) — второй, тем самым нарушив принятый самой же «Библиотекой поэта» хронологический порядок следования произведений. Можно ли объяснить, можно ли оправдать такое поставленное с ног на голову издание?

Двухтомное [1] собрание избранных произведений Николая Заболоцкого выпущено издательством «Художественная литература» в 1972 году. Первый том составлен согласно завещанию поэта. Он состоит из «Столбцов» и поэм и из «Стихотворений». Второй том составляют стихотворения разных лет, не включенные автором в основное собрание (часть из сборника «Столбцы», 1929, часть из стихотворений — и более ранних и более поздних), переводы («Слово о полку Игореве», грузинские, украинские, венгерские, немецкие, итальянские поэты), проза (автобиографические строки, письма, статьи и заметки).

Эти издания снова и снова возвращают к творчеству Николая Заболоцкого и заставляют заново пережить его стихи, поэмы, переводы, которые были всегда — по мере их появления — волнующими литературными событиями моей читательской жизни.

Первая мысль, приходящая на ум при чтении этого издания: написано поэтом количественно мало, но какой большой материал дает это немногословное творчество, как весома строка поэта, какие несметные мысли и страсти вну-

---

[1] См. сноску на с. 205 настоящего издания.

шает она, толкая на раздумья и споры самого актуального, самого животрепещущего характера!

Вслед за этой первой мыслью, вместе с ней, при чтении Николая Заболоцкого приходит и вторая мысль — о цельности этого творчества. От первой до последней строки, при всей разнохарактерности их, прослеживается живой путь художника, именно путь: одно следует за другим, одно естественно вытекает из другого. Нет двух Заболоцких, Заболоцкого «Столбцов» и Заболоцкого «Последней любви», итальянских стихов, «Рубрука в Монголии». Есть один цельный поэт, творчество художника в его единстве и его движении.

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела!

Это — начальные строки стихотворения «Метаморфозы» (1937). И далее:

А я все жив. Все чище и полней
Объемлет дух скопленье чудных тварей.
Жива природа. Жив среди камней
И злак живой, и мертвый мой гербарий.
Звено в звено и форма в форму. Мир
Во всей его живой архитектуре —
Орган поющий, море труб, клавир,
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

Принято считать, что сперва был Заболоцкий странных, гротесковых построений раннего периода, а потом явился поэт-мыслитель, поэт — создатель гармонически стройных форм. Вместе с тем чтение произведений Заболоцкого в их хронологической последовательности показывает, что и в раннюю его пору мы найдем у поэта стихи философского склада, а в позднюю — то там, то тут мелькают образы, более присущие ему в начальные годы. Для этого достаточно сравнить «Север» (1936) с «Движением» (1927), а «Лебедя в зоопарке» (1948) с «Человеком в воде» (1930), что и делают, впрочем, исследователи.

Школа «Столбцов» не прошла для поэта бесследно. Прислушаемся к словам самого поэта об его первой книге: «Столбцы» научили меня присматриваться к внешнему миру, пробудили во мне интерес к вещам, развили во мне

способность пластически изображать явления. В них удалось мне найти некоторый секрет пластических изображений».

В чем, с моей точки зрения, секрет пластических изображений?

Николай Заболоцкий в «Столбцах» материален и динамичен. Реальность, плоть мира, бытие вещей показано не в состоянии покоя, а в движении. В «Столбцах» есть прекрасные натюрморты. Достаточно обратиться к «Рыбной лавке» или «На рынке». Мы видим «тело розовой севрюги», которое «хвостом прицеплено на крюк», видим селедки, которые «сверкают саблями», колбасу, которая «кишкой кровавой в жаровне плавает корявой». Фламандская школа с полотен перешла на книжную и журнальную страницу. После символистических туманностей поэзия захотела трепета плоти, земли, реальности, как бы она ни была груба; захотела сочности и весомости материи, вихревой яркости красок. Это начиналось еще до Николая Заболоцкого. У Михаила Зенкевича, Владимира Нарбута, а затем перешло к Эдуарду Багрицкому, Леониду Лаврову, Николаю Тарусскому, Георгию Оболдуеву, Николаю Заболоцкому и другим поэтам. Каждый из поэтов шел своим путем. Павел Радимов воспевал живность, крестьянский двор, телегу. Контраст между предметом изображения и торжественным гекзаметром производил забавное впечатление. Леонид Лавров живописал мир красок, запахов — «резиновый шелест мака, кожаный хруст капусты». Эдуард Багрицкий показывал, как «густыми барашками море полно, и трутся арбузы, и в трюме темно...».

Напомню одно из стихотворений Михаила Зенкевича — «Пригон стада» (1913):

...слышно, поступь тяжела коровья —
Молочным бременем свисает зад.
Как виноград, оранжевою кровью
На солнце нежные сосцы сквозят.

И точно от одышки свирепея,
Идет морской бодливый белый бык
С кольцом в ноздрях, и выпирает шея,
Болтаясь мясом, хрящевой кадык.

Скрипит журавль, и розовое вымя,
Омытое колодезной водой,
В подойник мелодично льет удой,
Желтеющий цветами полевыми.

Вместе со стремлением показать вещность, плотность, весомость мира природы появилось стремление осмыслить природу вещей.

Можно и должно вспомнить Маяковского, его «А вы могли бы?», написанное в том же 1913 году, что и стихотворение Зенкевича:

Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши воду из стакана:
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана.

Показать «на блюде студня косые скулы океана», то есть за натюрмортом разглядеть более глубокую природу вещей и явлений, — это стало программой не только для Маяковского, но и для всей поэзии. Одним из таких поэтов был и Николай Заболоцкий.

С годами все более и более мир вещей, переданный в натюрморте, этюде, зарисовке «Столбцов», раздвинется и станет миром природы, миром общества, мирозданьем. Этот процесс шел медленно, в противоборстве страстей, с издержками, подчас мучительно, но — неуклонно.

Для Николая Заболоцкого, несмотря на подчас грубые окрики критики, характерен естественный путь развития. Поэт понимал, что голос легко сорвать, что его нужно беречь. И он умно и последовательно занимался постановкой голоса. В стихотворении «Уступи мне, скворец, уголок» (1946) он скажет:

Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется».

Николай Заболоцкий не сорвал голоса. Напротив, голос его окреп и звучал сильно и убедительно. Он наверняка звучал бы еще сильней и убедительней, да вот беда — песня прервалась на высокой, берущей за душу ноте.

Разработанные в юности, до «Столбцов» и в «Столбцах», основы живописности, передачи материального мира в слове не только остались в теоретических положениях Николая Заболоцкого. Они получили свое естественное продолжение в зрелых и в позднейших стихах. Изображение чертополоха в цикле «Последняя любовь», птичьего двора, лесной сторожки, одинокого дуба, летнего вечера, вечера на Оке,

стирки белья — все это говорит о том, что Николай Заболоцкий не отрекся от житейской школы юности. Нетрудно заметить, что кисть стала точней, выразительней, рисунок благородней; жесткий гротеск ушел на второй план, уступив первый план портрету и пейзажу в их классическом единстве.

Помимо пристрастия к живописности Николай Заболоцкий сохранил от начальной поры динамический принцип. Вещи даны не в статике, а в движении: «Как мир меняется! И как я сам меняюсь!»

Уже упомянутое здесь «Движение» выглядит так:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Летит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкает
В его блестящем животе.

Вместо четырех ног — восемь. Лошадь летит, мы ощущаем ее движение. Принцип монтажа кинокадров перешел в поэзию.

Ликует форвард на бегу,
Теперь ему какое дело!
Недаром согнуто в дугу
Его стремительное тело.
Как плащ, летит его душа,
Ключица стукается звонко
О перехват его плаща.
Танцует в ухе перепонка,
Танцует в горле виноград,
И шар перелетает ряд.

Движущийся гротеск. Съемка. Подчас замедленная — для демонстрации элементов движения. Некоторые детали укрупнены, как на полотнах Анри Руссо.

Младенец кашку составляет
Из манных зерен голубых.
Зерно, как кубик, вылетает
Из легких пальчиков двойных.
Зерно к зерну — горшок наполнен,
И вот, качаясь, он висит,
Как колокол на колокольне,
Квадратной силой знаменит.

Позднее, в «Лодейникове» (1932—1947), поэт покажет, как герой повествования лежал в саду и видел: «Трава пред

ним предстала стеной сосудов. И любой сосуд светился жилками и плотью».

В «Гурзуфе ночью» (1956), характерном для поздней манеры Заболоцкого, тот же принцип построения образа:

Здесь две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы
Своих переломанных линий.

Самый принцип видения и изображения, смело заявленный в «Столбцах», развился и утвердился в зрелую и позднюю поры.

В «Творцах дорог» (1947) встречаем такие образы: «Уже летел, раскинув опахала, огромный, как ракета, махаон» и «Тяжелый жук, летающий скачками, влачил, как шлейф, гигантские усы». Эта манера поначалу была экспрессионистской, подчеркнуто остраненно-острой, пугавшей своей необычностью:

Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья...

Это из «Свадьбы». (Знаю: все цитируют эти строки. Не мог от этого воздержаться и я. Действительно, очень популярные строки. Помнится, студенты одной из комнат нашего ифлийского общежития при входе говорили «прямые лысые мужья...», и им отвечали: «сидят, как выстрел из ружья». Это вошло в привычку.)

Самое состояние покоя передано как движение. Покой — как один из этапов движения, как потенциальная энергия, готовая к мгновенному действию — выстрелу.

Такие экспрессивные, динамические образы характерны и для позднего Заболоцкого:

На гладкой шелковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

«Стройный беспорядок» — антиномия, взрыв смысла. Стройность и беспорядок, то есть нестройность, — это дает новую, сильную краску, стык противоречий, живую несовместимость, рождающую живой образ мира.

«Столбцы» и примыкающие к ним стихи — это эпические этюды, подготовившие появление трех эпических картин Николая Заболоцкого, поэм «Торжество земледелия» (1929—1930), «Безумный волк» (1931), «Деревья» (1933).

У Заболоцкого своя флора и своя фауна. И та и другая

входят в общий мир его Природы. Он трогает листы эвкалипта и прикасается к шкуре лошади. Жалеет ли он животных? Не то слово. Он понимает их, он слушает их язык.

Сейчас, когда жестокость к животным принимает угрожающие размеры (лебедям сворачивают шеи, отрывают крылья у голубей, из рогаток целят в глаза собак), чуткость и нежность поэта к животным выглядят особенно притягательными.

Со скворцом он на равных, предлагает:

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.

Поэт предлагает скворцу начать серенаду, открыть представление, повернуться «к мирозданию лицом». Это общее дело — поэта и птицы, коня и звезды, дерева и ручья, даже камня, на котором — по мнению поэта — проступает лик Сковороды, философа. Лежащий камень и бродячий философ. Все едино.

«Лицо коня» говорит поэт, в отличие от других. Мордой, держимордой он назовет нечто иное. Конь «слышит говор листьев и камней. Внимательный! Он знает крик звериный и в ветхой роще рокот соловьиный». И далее:

И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь.

Привычно рассматривать путь поэта от «Столбцов» к поэмам и далее как путь от разоблачения лишенного духовности мещанского мирка к художественному исследованию мира. По внешним данным это похоже на правду. Но только — похоже.

В действительности же и в раннем Заболоцком прорываются задушевная лирика, духовность, пантеистические мотивы. Все более и более мир природы и мир человеческого общества в их единении и контрастности привлекают к себе внимание поэта. Духовный мир человека в его соотношении с миром природы — вот что определяет и организует мысль и чувство, лирику и эпос Николая Заболоцкого в зрелую его пору, последние два с лишним десятилетия его работы.

Наука и мечта, Энгельс и Циолковский («Диалектику природы» первого он штудировал; со вторым состоял в ра-

бочей переписке), физиология и астрономия питают любознательную душу поэта. Он далек от мысли об утяжелении поэтического образа грузом научных познаний. Нет, он не желал поэзию рационализировать, то есть лишить ее чувственного обаяния, но он решительно боролся с бездумностью, одолевавшей беспечных жителей нашего Парнаса. Николай Заболоцкий не боялся ни науки, ни ее терминов, ни ее положений. Он был поэт, и этого было достаточно, чтобы не перейти границу художества.

Сквозь волшебный прибор Левенгука
На поверхности капли воды
Обнаружила наша наука
Удивительной жизни следы.

Природа влекла его ум и воображение. Она испытывала его. Тревожила и напрягала его мысль. «Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа, — писал Заболоцкий. — И теперь она стоит передо мной как огромная тема, и все то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме».

Одни пишут пейзажи, другие вглядываются в огромный переменчивый лик природы. К последним принадлежит и Заболоцкий.

Поэта увлекает живая цепь явлений, единство мира, его тайные связи, его распорядок. Лишь порой в том или ином стихотворении дает о себе знать заранее приготовленный каркас, заведомо поставленная задача. Это чувствуется в «Урале», отрывок из которого приведен в первом томе двухтомника. «Все дары блистательной таблицы элементов здесь улеглись для наших инструментов и затвердели. Так возник Урал». Образная листва в этом отрывке отпала, и мы увидели голые сучья и ствол. У Заболоцкого это редчайший случай. Взыскательный художник, он не брал в книги то, что, пройдя сквозь периодику, не выдерживало испытание временем. Именно такого рода стихотворения считал, как явствует из приведенного в начале статьи завещания, «случайными или неудачными».

Поэтический мир Николая Заболоцкого не может в полной мере быть определен ни тематическим перечнем, хотя и он достаточно широк, ни научными интересами, хотя они внушительны, ни стихотворным мастерством, хотя оно

весьма высоко. Безграничность поэтического мира — вот что показывает нам Николай Заболоцкий. Можжевеловый куст, противостояние Марса, стирка белья, соловей, Бетховен, тайга, гробница Данте, подмосковные рощи, монах XIII века Рубрук, путешествующий по Монголии, строительство гидроэлектростанции в Грузии... Что общего между столь разрозненными в пространстве и во времени явлениями? Безграничный поэтический мир, включающий и то, и другое, и третье, и сто первое в силу органичности восприятия мира вещей и явлений. Для меня навсегда останется загадкой Заболоцкого чудодейственное слияние гротеска и лирики, шаржа и оды. Это слияние очень определяет человека и поэта. Определяет стиль. Во всем, чего бы ни коснулся Николай Заболоцкий, проступила его индивидуальность, его особый, только ему одному присущий способ видеть и соединять предметы. Именно в силу этого мы свободно передвигаемся в многообразии поэтического мира Николая Заболоцкого, стараясь вникнуть в него и понять его. В этом поэт нам помогает.

Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

Разум поэта видел «огромный мир противоречий», его сердце не слышит «правильных созвучий», душа «не чует стройных голосов». Это надо помнить, вступая в поэтические владения Николая Заболоцкого. Он не утешает, не убаюкивает, не умиляется. Он хочет, углубляясь в предмет, понять его двуедиными усилиями ума и сердца. И в этих усилиях талант Николая Заболоцкого творит произведения, исполненные психологической и философской глубины, живописной силы, окрыленноста и экспрессии. Здесь и «Некрасивая девочка», и «Болеро», и «Гроза идет», и «Старая актриса», и «На закате», и «Не позволяй душе лениться», и многое другое. Опыт и пример Николая Заболоцкого показывают, что для художественной передачи мира, терзаемого противоречиями, лишенного гармонии, не надо рвать стих, деформировать слова, уродовать речь. Напротив, классически ясные и четкие формы способны передать эту сложность. Пристальное учение у Державина, Пушкина, Баратынского, Тютчева дало Заболоцкому уверенность в правильности выбранного пути.

И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Так спрашивает поэт и так сам отвечает на свой вопрос:

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Это стихотворение звучало бы дидактично, если б оно не имело автобиографической основы, если б не предстало перед нами страницей дневника поэта, выражающей его сокровенные мысли о языке, стихе, стиле.

Стих Заболоцкого энергичен по существу своему, по природе своей. Энергия эта не внешняя, показная, она идет изнутри, из души поэта.

Два бешеных винта, два трепета земли,
Два грозных грохота, две ярости, две бури,
Сливая лопасти с блистанием лазури,
Влекли меня вперед. Гремели и влекли.

Так изображается движение самолета в «Воздушном путешествии». В «Ночи в Пасанаури» показано погружение в реку:

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

В ином тексте «бешеная дева» звучала бы анахронизмом и диссонансом. Здесь она на месте.

Гиперболу и литтоту, увеличенное и уменьшенное, Заболоцкий совмещает:

Железный август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

В картине есть только ему, Заболоцкому, присущее расположение фигур. Как у Брейгеля. Как у Босха.

В 1928 году Николай Заболоцкий писал своей будущей жене: «Вера и упорство, труд и честность... Я отрекся от житейского благополучия, от «общественного положения», оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его — я ничто...» Поэт остался верен этим принципам в жизни и в творчестве.

Далеко не все стороны биографии поэта освещены. Вот характерный эпизод.

В тяжелую пору жизни, вдали от дома Заболоцкий в редкие часы досуга изучал армянский язык. Он обрел несколько полезных профессий. Не было никаких условий для работы над стихами. Однажды, склонившись над чертежным листом, он услышал по радио строки из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. Его перевод! Несомненно, его, хотя имя переводчика не было упомянуто.

В поступательном развитии художника есть моменты особенно интенсивные. Они обретают силу толчков или взлетов. Попытки художника, его этюды и пробы в некий момент являются перед нами в чистом, очищенном от случайностей виде и являют высокий образец творчества.

Между 1938 и 1946 годами[1], в тяжелейших условиях, вдали от культурных центров, от библиотек, Николай Заболоцкий работает над переводом «Слова о полку Игореве». «Сейчас, когда я вошел в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот одинокий, ни на что не похожий собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему» — таковы предпосылки работы поэта над памятником древней русской литературы. Это не просто образцовая работа. Это работа рубежная для всей нашей литературы. Она в нашем сознании встает рядом с полотнами Нестерова и Корина, скульптурами Коненкова, гравюрами Фаворского, музыкой Прокофьева, то есть рядом с самыми высокими образцами русского искусства нашего века. Эта работа Николая Заболоцкого, по общему

---

[1] Точную датировку работы Заболоцкого над переводом «Слова О полку Игореве» см. в предисл. к публикации писем Н. А. Заболоцкого. — «Литературное обозрение», 1983, № 5, с. 106—107.

признанию (среди высказывавшихся о ней — такие люди, как А. С. Орлов, Д. С. Лихачев, В. И. Стеллецкий, К. И. Чуковский, В. Б. Шкловский, П. Г. Антокольский), явила нам талант его во всем блеске и во всей глубине. В переводе «Слова о полку Игореве» поэт делает сильный скачок вперед, к новому качеству своих оригинальных и переводных созданий.

После появления «Слова» в переложении Николая Заболоцкого появилось несколько переводов, переложений, пересказов других поэтов. При всех достоинствах, имеющихся в них, читатель до сих пор не расстается с переводом Николая Заболоцкого. В читательской симпатии к этому переводу кроется нечто обнадеживающее. Чеканный и вместе с тем легкий, благозвучный и заодно с этим содержательный и емкий стих Николая Заболоцкого не могут не привлечь внимания читателя, особенно молодого, желающего держать «Слово» в памяти, заучить его наизусть.

После «Слова» все окажется поэту под силу: и проникновенная лирическая нота, и высокие своды народного эпоса. Творчество обретает богатырский размах — не зря мечтой последних лет поэта было создание свода русских былин, именно свода, то есть единого эпического сказания (успел выковать только одно звено — «Исцеление Ильи Муромца»).

«Слово» послужило началом моего личного знакомства с поэтом. К истории этого знакомства я и перехожу.

Дело было в 1946 году, в журнале «Октябрь», где я в ту пору ведал отделом поэзии.

Седой, худощавый, тщательно скрывавший свою болезненность, Василий Павлович Ильенков — член редколлегии журнала, неизменно внимательный и чуткий, — без слов положил однажды на мой стол рукопись, аккуратную и разборчивую. Выделялось название: «Слово о полку Игореве». Это была именно не машинопись, а рукопись. Повеяло какой-то старомодностью. Я перелистал рукопись и посмотрел на последнюю страницу.

— Заболоцкий?! — удивился я.

— Он здесь, живет в моей переделкинской даче, — тихо произнес Ильенков и закашлялся.

Пока хриплый звук его кашля выталкивался из глубин легких, я еще раз успел перелистать рукопись.

— Поглядите внимательно. Я лично читал несколько

раз. Поэзия! О ней надо иногда вспоминать, печатая стихи, — иронично сказал взыскательный Василий Павлович. До этого Заболоцкий и Ильенков в моем сознании не сочетались. Любопытно!

Через несколько дней Ильенков появился в редакции вместе с Заболоцким. Николай Алексеевич сразу же показался мне человеком внятным и ясным в общении, таким же, как и его рукопись. Он положил на стул портфель и протянул руку. Я тут же не выдержал и выпалил:

Есть в Грузии необычайный город.
Там буйволы, засунув шею в ворот,
Стоят, как боги древности седой,
Склонив рога над темною водой.
Там основанья каменные хижин
Из первобытных сложены булыжин...

Читал я, помнится, чересчур громко. Мне нравились эти стихи с их мощной живописью, одической интонацией и полновесной, точной рифмой: «хижин — булыжин».

Мягко очерченный круг головы дважды повторен строгими окружьями очков, придававшими Заболоцкому несвойственную ему суровость. Но вот он снял очки, и сразу на его лице обнаружились незащищенная доброта и даже растерянность. Аккуратно зачесанные светлые волосы сияли, как на голове юноши.

Бледное лицо Заболоцкого осветилось улыбкой, быстро менявшей оттенки: недоумение, понимание, ирония, благодарность.

Мне хотелось сделать ему что-нибудь приятное, и притом немедленно. Я давно любил его поэзию и знал многие его строки наизусть. В тот день я еще не понимал, не мог понимать, потому что не знал, а только чувствовал — из какой бездны возник Заболоцкий, сколько ему пришлось пережить за годы 1938—1945.

Заболоцкий вежливо сидел в ожидании делового разговора. Но я не унимался!

Богиня сыра, молока,
Главой касаясь потолка,
Стыдливо куталась в сорочку
И груди вкладывала в бочку,
И десять струй с тяжелым треском
Стучали в кованый металл,
И, приготовленный к поездкам,
Бидон, как музыка, играл.

Заболоцкий удивленно смотрел на чудака, который во время исполнения служебных обязанностей кричит на всю комнату и крик свой выражает стихами и подтверждает жестами, которые могли показаться автору чуть ли не угрозой

Я наступал:

В моем окне — на весь квартал
Обводный царствует канал.

Ломовики как падишахи,
коня запутав медью блях,
идут закутаны в рубахи,
с нелепой важностью нерях.

Николай Алексеевич робко отодвинул стул, тронул портфель, загремев замком. Я на миг остановился и образумился.

— «Слово» — прекрасно. Постараюсь убедить начальство, что надо немедля печатать. Вероятно, понадобятся небольшие примечания. Именно небольшие. Ведь мы не академический вестник...

Заболоцкий поблагодарил, затем молча встал и вышел. В тот первый раз Николай Алексеевич показался мне человеком очень молчаливым. Он был скромен и сдержанно любезен.

Через час после ухода Заболоцкого я повторил свой репертуар в пространном кабинете Ф. И. Панферова. Присутствовал при этом и его заместитель Г. А. Санников, следивший не столько за тем, что я читал, сколько за реакцией главного редактора. А реакция главного редактора была самая живая. В который раз я нараспев читал:

Не пора ль нам, братия, начать
О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью рассказать
Про деянья князя удалого?
А воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам его и ранам —
По былинам времени сего,
Не гоняясь мыслью за Бояном [1].
Тот Боян, исполнен дивных сил,
Приступая к вещему напеву,
Серым волком по полю кружил,
Как орел, под облаком парил,
Растекался мыслию по древу.

---

[1] В окончательном варианте перевода: «Не гоняясь в песне за Бояном».

Федор Панферов сперва сидел смирно, потупясь. Потом развалился в кресле. Потом вышел из-за стола и стал ходить в своих больших белых бурках по комнате. Потом потребовал чаю, остановив меня:

— Будете читать все это на редколлегии! «Слово» печатаем... — сказал он, как хозяин — уверенно.

На редколлегии все повторилось сначала. Успех «Слова» был несомненным, голосования не потребовалось. Поэма была напечатана в 10—11 книжках «Октября» за 1946 год [1].

В пору редакционного движения «Слова» к печати Николай Алексеевич несколько раз появлялся в редакции. Несколько раз от его имени передавал поправки Ильенков. Он же повез Николаю Алексеевичу свежую книжку журнала. Мне было досадно, что я не увижу, как Николай Алексеевич примет журнал, какие в нем вызовет он чувства. Передавали мне, что он был очень обрадован появлению своего переложения в журнале.

«Слово» скрепило два периода жизни поэта. Нет двух Заболоцких, есть мастер в развитии от своего «штурм унд дранг» до своей классики. «Слово» — перевод-исследование, перевод-изобретение, перевод-любование — помогло поэту после вынужденного перерыва, проведенного вдали от дома, вернуться и к оригинальным стихам, и к переводческой работе, расширив их общий плацдарм (стиль, приемы, настроение). «Слово» заменило поэту его собственную исповедь друзьям и читателям и стало прошедшей сквозь толщу веков молитвой русскому мужеству и долготерпению, а заодно и заповедью, оставляемой будущему. Николай Заболоцкий, решивший было, твердо решивший, не возвращаться к творчеству, наказавший себе выйти из литературы, через широчайшие и мощные в своей многовековой архитектуре ворота «Слова» вошел в нее вновь, и теперь уже победоносно и — навсегда [2].

Переводя «Слово о полку Игореве», поэт исследовал его стиль и словарь. Он советовался по ходу дела со знатоками

---

[1] Рукопись примечаний к «Слову» хранится в архиве автора статьи.

[2] В письме из Караганды к Н. Л. Степанову от 4 июля 1945 года Н. А. Заболоцкий пишет: «Пусть эта моя работа (перевод «Слова») будет последним моим печальным приветом вам, мои друзья, потому что разрываться надвое я больше не буду, не хватит сил. Ибо нужно сохранить жизнь семье, а моя литература больше не в силах приносить пользу, наоборот — она требует дополнительной работы и расходов...» (Заболоцкий Н. Избр. произв. в 2-х т., т. 2. М., 1972, с. 298.)

древнерусской литературы В. П. Адриановой-Перетц и Д. С. Лихачевым. Он написал интересную работу «К вопросу о ритмической структуре «Слова о полку Игореве». Поэт-переводчик — это одновременно исследователь-мыслитель. Пример Заболоцкого показателен и убедителен.

«Слово», положив начало нашему знакомству, открыло новые возможности общения.

Наши беседы были эпизодичны и кончались пожеланиями: «Надо встретиться, поговорить как следует; ну, созвонимся...» Николай Алексеевич не раз выражал желание послушать мои новые стихи. Если он встречал их в печати, всегда говорил кратко и дельно о своем впечатлении. По телефону и при встречах. Мне запомнились его слова о стихотворении «В мастерской скульптора»:

— Верно схватили суть, но рифма чересчур изысканная — «лепете — лебеди». Это мне мешает...

Говорил он то о Пушкине, то о Сковороде, то о Хлебникове, то о Державине, то о переводимых им поэтах, чаще всего о Важа Пшавела, о Леонидзе и Чиковани. Его умение молчать вводило в заблуждение. Это не был молчальник по природе, он, вероятно, научился молчать. Мерцающая на его губах улыбка показывала, что слово на них вспыхивает и, непроизнесенное, гаснет...

Возможно, это была опаска сказать лишнее слово, боязнь своей остроты, желание пригасить свою яркость, слиться с окружающими, не выделяться...

За молчанием и кажущейся внешней холодностью угадывалась постоянная работа души, упорство и упрямство художника, сказавшего под конец жизни, в 1958 году:

Не позволяй душе лениться,
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь.

Мне нравилась его неприязнь к какой бы то ни было позе; естественность, его внешнее спокойствие, умение слушать других, терпение, которое если и иссякало, то выражалось в ироническом подергивании и опускании краев губ, при этом за стеклами очков видны были веки, прикрывающие его уставшие от пристальности глаза. Нечто детское, незащищенное вдруг появлялось в них, но тут же убиралось внутрь существа.

Спокойствие его казалось мне основательным, каким-то эпическим. Присутствие Николая Алексеевича на собраниях

секции переводчиков, за столом кафе, в редакционной комнате внушало уверенность в том, что сейчас происходит что-то важное, значительное, нешуточное.

В среде переводчиков Николай Алексеевич чувствовал себя отменно. Здесь он был среди друзей и доброжелателей, знавших ему истинную цену. Я встречал его в кругу Антокольского, Каверина, Звягинцевой, Степанова, Николая Чуковского, Левика, Арсеневой, Пеньковского, Петровых, Тоома, Межирова. Разговор касался всего на свете и всегда носил характер уважения друг к другу, широты. Мы читали друг другу новые стихи и новые переводы, знали о новых замыслах друг друга, и это создавало атмосферу взаимного доверия и уважения. В этой атмосфере можно было спорить и вовлекать в эти споры новую, еще не оперившуюся молодежь.

В такой атмосфере дружелюбия и творческих споров досуг оказывался тоже интересным.

Всем нам, переводчикам, передавалась увлеченность Николая Заболоцкого грузинской поэзией. Мало сказать — увлеченность. Одержимость! После того, одновременно с тем, что сделано и делалось в этой области Пастернаком и Тихоновым, Кочетковым и Антокольским, Арсеневой и Борисом Бриком, Бенедиктом Лифшицем и Державиным и некоторыми другими, Николай Заболоцкий занял свое особое место. Его лепта заметна. Это добрых два, а то и все три тома классической и современной грузинской поэзии в переводах Николая Заболоцкого. Это большой цикл оригинальных стихотворений поэта, естественно вошедших в основной корпус его произведений.

— Послушайте, как русский стих передает грузинскую мелодику! — сказал мне восхищенно Корней Иванович Чуковский, держа в руках книгу переводов Николая Заболоцкого. И он мне прочитал несколько строф из «Давитиани» Гурамишвили.

Чуковский читал, любуясь, ликуя, желая, чтобы и я любовался и ликовал.

Мне всегда Николай Заболоцкий представлялся мастером, умевшим ценить свое и чужое время, не жалевший его на отделку своих строк и строф. Но мне приходилось видеть его не только за рабочим столом. Он знал: когда говорить сосредоточенно, всерьез, когда шутить. Не любил смешивать житейские жанры.

Нередко мы усаживались за стол, пили чай или кофе и перебрасывались рифмами. Николай Алексеевич обычно начинал эту игру — две строки, я с ходу зарифмовывал их и замыкал строфу. И тут же предлагал и ему какие-нибудь две строки, которые он изящно подхватывал и лихо придавал им кольцевую форму.

Это выглядело примерно так:

Собеседник:

Нам долго пива не несут,
Ждать надоело, тяжело.

Заболоцкий (почти без паузы):

Стоит, увы, пустой сосуд,
Непривлекательный зело.

Другой раз начинает Заболоцкий:

Бифштекс с яйцом и с луком. Да!
Что ж, порцию двойную нам бы!

Собеседник:

Но водка кончилась, — беда,
А потому тоскуют ямбы.

Еще случай.

Собеседник:

Дарю вам вешнюю зарю
И сто рублей в придачу.

Заболоцкий (без паузы):

А я взамен вам подарю
Литфондовскую дачу.

Легкость, с которой он это проделывал, заставила меня однажды спросить его:

— А почему вы так мало пишете? Ведь у вас так легко идет...

Николай Алексеевич наклонил голову, снял очки и, подумав, тихо ответил вопросом-восклицанием:

— А зачем спешить?! — И еще тише, удивленно и уверенно: — А кто сказал, что надо спешить?..

Другой раз, боясь быть назойливым, спрашиваю, почему так редко выходят его книги.

— А кто сказал, что надо часто выпускать книги, — отвечает он, — надо, чтоб это были хорошие книги...

Стихи для печати, для очередных книг он отбирал так скупо, так беспощадно, так серьезно и взыскательно...

Глядя на него, слушая его, я хотел постичь тайну мастерства, а вернее — тайну его человеческого обаяния: почти без слов создавать настрой, нежно и уважительно говорить о человеке. При Заболоцком нельзя было ни выругаться, ни сказать о знакомом что-либо уничижительное.

Он был болен, болен очень серьезно. Но его болезнь никогда не шла впереди него. Он неизменно казался подтянутым и сосредоточенным. Не слышал я, чтобы он жаловался. Лишь однажды, встретив его в солнечный день, в хорошо отутюженном сером костюме, на улице Воровского, я услышал:

— Раньше с утра до вечера мог сидеть над строфой. Сейчас быстро устаю, не могу долго сидеть. — И после паузы: — Ведь я сверхсрочник. Врачи давно меня списали. Жаль, у меня планов много...

Одним из таких планов он поделился со мной:

— Хочу дать свод былин как некую героическую песнь, слитную и связную. Я смотрел профессора Водовозова, знаю и другие попытки. У нас нет еще своего большого эпоса, а он был, как и у многих народов, был, но не сохранился целиком. У других — «Илиада», «Нибелунги», «Калевала». А у нас что?.. Обломки храма. Надо, надо восстановить весь храм.

...В 1955 году, когда организовалось в Литературном институте отделение художественного перевода, я был приглашен в качестве руководителя творческого семинара. Первое, что я сказал: «А Заболоцкий?!» Это вызвало ответное: «Ну конечно, поговорите с ним, а вдруг он согласится вести параллельный семинар вместе с вами?»

Позвонил я Николаю Алексеевичу со счастливой мыслью, что вот наконец буду не столько его коллегой, сколько смогу поучиться у него житейской и поэтической мудрости. Как мне этого хотелось!

— Спасибо. Если позволит здоровье...

Мы ждали. Здоровье не позволило. В одном из своих писем Николай Алексеевич в марте 1958 года писал: «...здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера. Два с половиной года назад был инфаркт, теперь мучит грудная жаба. Но я и мое сердце — мы понимаем друг друга».

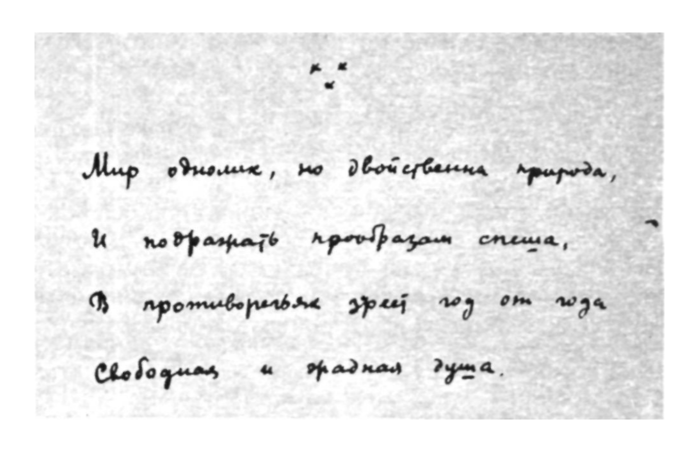
14 октября 1958 года от второго инфаркта Николай

Заболоцкий скончался. Жизнь завершилась. Теперь остается учиться у него по произведениям: в них и запечатлены его жизнь, натура, мудрость, судьба.

Николай Алексеевич Заболоцкий позаботился об одном: он написал свои стихотворения и поэмы, он осуществил свои переводы. Все остальное сделали благодарные читатели. Они это сделали раньше критиков.

На наших глазах произошел чудодейственный процесс. Ныне Заболоцкий в кругу наших наиболее почитаемых поэтов. Естественным путем, силой самих произведений он вошел в большую поэзию и остался в ней. На своем, ему одному принадлежащем месте.

1977, 1983


* * *

Мир однолик, но двойственна природа,
И подражать прообразам спеша,
В противоречьях зреет год от года
Свободная и рабская душа.

Автограф стихотворения Н. Заболоцкого «Мир однолик, но двойственна природа...». 1948 г.

М. В. ЮДИНА

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАД ЭКВИРИТМИЧЕСКИМ ПЕРЕВОДОМ «ПЕСЕН ШУБЕРТА» [1]

О Заболоцком опубликованы некоторые превосходные статьи, но поэзия его еще далеко не разгадана, недостаточно комментирована, не усвоена в значительной и должной мере современным читателем...

Хотя, возможно, поэзию и не следует лишать ее пророческого, «непостижного уму» обладания тайной.

Но мы, приверженцы этой вдохновенной поэзии, стремимся через «знаки» ее (лексику, поэтику, ритм) приблизиться к возможности ее познания. Николай Алексеевич

---

[1] Воспоминания печатаются по тексту выступления М. В. Юдиной по радио, хранящемуся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Текст этот был подготовлен ею в 1969 году на основе ее воспоминаний (хранятся там же) «О том, как возник сборник «Песен Шуберта» в переводах Бориса Леонидовича Пастернака, Николая Алексеевича Заболоцкого, Самуила Яковлевича Маршака и Александра Сергеевича Кочеткова под общей моей, Марии Вениаминовны Юдиной, редакцией (14 песен, Музгиз, 1949)».

Составители опустили из текста выступления М. В. Юдиной стихотворения Заболоцкого «Утренняя песня», «Птичьи песни», часть первую из перевода «Слова о полку Игореве», «Лесное озеро», «Седов».

Заболоцкий и сам помог нам в этом: многие изумительные стихотворения предоставляют нам ключи к пониманию его высказываний о природе и человеке, о метаморфозах мира (одна из наиболее дорогих ему тем), о ходе истории, сокровищах людского сердца, о жизни, смерти, вечности.

Общеизвестно, что Заболоцкий, замечательный поэт советской эпохи, продолжил лирико-философскую линию русской поэзии, идущую от Баратынского, Тютчева и Фета. Но к этим поэтам мы прибавим и Велимира Хлебникова, поэта начала советской эпохи, чрезвычайно любимого и чтимого Заболоцким. А две строчки Хлебникова:

Иди, варяг суровый,
Неси закон и честь, —

можно сказать, как бы с точностью воплощены в жизни и творчестве Заболоцкого.

Многоликая, величественная партитура творчества Заболоцкого и его современников, быть может, и не искрилась бы столь радужным сиянием, если бы ей не предшествовала несколько ранее, а потом и одновременно, эпоха грандиозного расцвета во всех искусствах, отмеченная заостренным отрицанием всяческого мещанства и отмирающего, запоздалого психологизма и субъективизма.

Заболоцкий — подвижник, и он «глаголом жег сердца людей». Но он был как бы овеян, огражден тишиной своего любимого севера, его муза точно ждала, пока читатель придет к ней сам. И он пришел, читатель. Мы с вами давно уже у ног его музы. Однако в стихотворении «Слепой» он назвал ее: «темная—грозная»...

Однажды, в пору работы со мной, в течение 1946 года, Заболоцкий сказал мне:

— Когда я написал стихотворение, оно уже живет самостоятельной, не зависящей от меня, своею собственной жизнью.

Может ли быть более высокое, более истинное определение призвания поэта?

Что же это была за работа со мной в течение 1946 года?

Работа была трудная, насыщенная, перспективная, но, увы, не столь долгая. Длилась она около года. Мы работали над русскими текстами песен Шуберта.

Общеизвестно, что культура поэтического перевода у нас в СССР чрезвычайно высока. Пламенно любя русскую поэзию всех веков (включая нетленную красоту текстов церковнославянских песнопений), я считаю необходимым слы-

шать у Шуберта, Брамса, Малера, а также у Баха — русское слово. Ведь читаем и слышим на сцене мы греческую трагедию и Шекспира в переводах, порою гениальных, — например, Лозинского, Пастернака и так далее. А «русский текст» вокальной литературы дает ощутимую, слышимую, зримую Всемирность и Вечность, ее Вселенское начало!

Мое личное (не «книжное») знакомство с Николаем Алексеевичем Заболоцким состоялось в Клубе писателей 4 марта 1946 года, когда все мы, друзья и читатели, встречали его по приезде из Караганды. Он читал свое — не могу выразиться иначе — гениальное «Переложение», или «Пересочинение», нет, «Перепоэзию» — «Слово о полку Игореве».

Я в то время еще не принадлежала к числу его друзей, я была просто читатель. Я написала ему потом хвалебную записку «О Транскрипции «Слова о полку Игореве» и вообще приветствовала его возвращение. Николай Алексеевич сразу мне ответил — тоже кратким и милым письмом (оно утеряно, увы!), благодарил меня, выразившись, что я «читательница взыскательная» и что он слыхал обо мне от Даниила Хармса еще в Ленинграде... Хармс!

Летом жар,
Зимою холод,
В полдень чирки
Кур-кир-кар!

Или:

Видел я во сне горох,
Утром встал и вдруг оглох.

Или (из «Фауста») (??):

Фридрих нежный, Фридрих милый!
Спрячь меня в высокий шкап,
Чтобы черт железной вилой
Не пронзил меня куда б!

И так далее...

Фантастика, почти бессмыслица этих Хармсовых виршей, музыкальный напор его Prestissimo, инфантильная наивность и невинность, первозданность этой младенческой поэзии имела в ту пору своих восторженных приверженцев, — среди них, на некотором отдалении, была и я.

Итак, после краткого обмена письмами после «Слова о полку Игореве», через некоторое время, я предложила Заболоцкому принять участие в создании русских текстов песен

Шуберта. Это было лето 1946 года. Заболоцкие жили тогда в писательском городке Переделкине, на даче Ильенкова. С трепетом направилась я к поэту, еще не зная, как буду встречена... Но получилось легко и отрадно: Николай Алексеевич был перед домом, во дворе колол дрова, около него были и симпатичные дети. «Вот Никита, вот Наташа», — представил он их мне; дети были среднего школьного возраста, Николай Алексеевич рассказал, как далеко — по другую сторону железной дороги — находится школа, как трудно порою, в любую непогоду, путешествовать им туда и обратно; но ведь общеизвестно, что Николай Алексеевич никогда ни на что не жаловался, то была лишь констатация. Я посидела на пенечке, пока убрали дрова, мы пошли в его рабочую комнату, наверх, я рассказала ему подробнее о своем предложении, он охотно согласился. Николай Алексеевич любил музыку, особенно симфоническую и ораториальную. Но конструктивно, теоретически мало ее знал, и на некоторое время пришлось взять на себя роль «учителя»; нам было весело: мне — объяснять, ему — познавать:

«Вот долгий слог, а вот короткий» (Борис Пастернак, «На ранних поездах», стих. «Дрозды»). Вот в этих долгих и коротких-то и «зарыта собака» эквиритмического перевода. Николай Алексеевич быстро ориентировался в тайнах ритма, несколько наших собеседований дали ему полную свободу построения.

В дивном, благоухающем соснами, с его далями и перспективами, Переделкине мы работали еще сравнительно мало, но именно там, летом, Николай Алексеевич подарил мне «Лесное озеро» (1-й вариант) и также там, в одну из первых встреч, прочел мне некоторые стихи, среди них волшебную «Грозу».

Работа наша тогда лишь начиналась. С осени она пошла активнее, быстрее, Николай Алексеевич заинтересовался музыкой и немецкой поэзией. Заболоцкий не вполне владел немецким языком. Я писала ему подстрочники в разных вариантах, он мог выбирать. Ряд стихов, озаглавленных им «Старые немецкие поэты», — это как бы его, Заболоцкого, «открытие Шуберта». Я предлагала, показывала ему самое прекрасное в Шуберте; в этих стихах есть и некий (малоизвестный) Майргофер, друг Шуберта, трагическая фигура. Шуберт много писал на его тексты. Избранный мною «Мемнон» Майргофера является, несомненно, его лучшим творением; однако эквиритмическая переработка — по причине именно Шубертовой трактовки стиха — представляла

здесь для переводчика некоторые трудности; я всегда крайне осторожно просила Николая Алексеевича о той или иной модификации: работа — работой, даже Шуберт — Шубертом, но я всегда знала и понимала — *кто* передо мной, с *кем* собеседую. И когда создание русского текста «Мемнона» оказалось для Заболоцкого сложным, он сказал: «Мне это стихотворение нравится, я оставлю его для себя!» (оно и было напечатано в сборнике Заболоцкого в 1957 году). Итак, в сборник «Песен Шуберта» вошли (в переводах Заболоцкого):

1. «Прощание Гектора» (Шиллер).
2. «Плач Кольмы» (Оссиан).
3. «Свидание и разлука» (Гёте).
4. «Песнь старца » (Рюккерт).
5. А «Рыцарь Тогенбург» (Шиллер) не вошел в сборник Шуберта — в основном по своей протяженности.
6. Также не вошла баллада «Порука» (Шиллер) и
7. «2-я песнь Эллен» из «Девы озер» (Вальтер Скотт).

Однако «Порука» была исполнена в марте 1966 года в первом занятии моего открытого краткого цикла «Романтизм — истоки и параллели» в Московской консерватории, Виктором Рыбинским, а «2-ю песнь Эллен» из «Девы озер» Вальтера Скотта спела Лидия Давыдова. Оба вокалиста пели с моим сопровождением. Эта дивная музыка обоих произведений, глубочайший нравственный смысл баллады «Порука», холодная, кристальная поэзия Вальтера Скотта, мастерство и находки дорогого Николая Алексеевича были горячо встречены полным Малым залом Консерватории.

Таким образом, Заболоцкий на основе нашей работы создал восемь русских текстов из сокровищницы немецкой поэзии XVIII и XIX веков [1]. И немецкие стихи великолепны, и русские тексты равны им.

На основании этой работы я намеревалась идти дальше, уже независимо от музыки; я написала для Николая Алексеевича точный перевод «Гимнов к ночи» замечательного поэта-романтика Новалиса (Фридриха Гарденберга) и передала ему. Он прочел, как все, что совершал он, внимательно, пристально. И через некоторое время сказал, и в этом суровом высказывании был оттенок грусти; «Нет уж, когда человек немолод, следует оставаться в том, что знаешь, что тебе близко, не вдаваясь в новое, пока чужое...»

---

[1] Из перечисленных произведений к немецкой поэзии относятся только шесть. (*Примеч. сост.*)

Не берусь утверждать, что слова его переданы мною абсолютно точно (увы, я тогда их по глупости своей не записала), но за смысл, за интонацию *ручаюсь.* Новалиса я начерно перевела ему, скорбя об отсутствии русского Новалиса и в надежде на русский текст — «Новалис — Заболоцкий». Возможно, «орфичность» Новалиса и не была сродни аполлиническому (отчасти) Заболоцкому, но пути поэтического родства неисповедимы.

...Ведь некоторая метафизичность поэзии Заболоцкого не может не перекликаться именно с немецкой романтической поэзией; далее я мечтала и о стихах: «Hölderlin—Заболоцкий», «Rainer Maria Rilke—Заболоцкий» (Rilke я, с позволения сказать, и сама переводила тогда — «Pro doma sua» пока что...), — но эти именно мечты рухнули. Быть может, следовало мне предлагать Николаю Алексеевичу П. Клоделя или Валери?.. Я, вероятно, тогда о французской поэзии и не вспомнила, увы...

Но мы с Николаем Алексеевичем не ограничивались Шубертом — мы оба любили Тютчева и Хлебникова, оба прохладно относились к Маяковскому; я подарила Заболоцкому несколько томиков Хлебникова. Николай Алексеевич, получив подарок, однажды вдохновенно читал некоторые стихи Хлебникова и говорил о нем с восхищением; подарила я ему и несколько отдельных томиков Пушкина (издания 1936 года, с гравюрами А. Кравченко), все это его радовало, а радостью так долго судьба его не баловала...

Он приезжал осенью, иногда в дождь и бурю, с неизменной своей точностью (телефонов ни у меня, ни у него, ни кругом почти что в ту пору не было), мы условливались от разу до разу, — согревался каким-либо приготовленным мною немудрящим завтраком, иной раз не свойственной даже стилю моего дома рюмочкой, и мы, в характере российского «чай пить — не дрова рубить», прилежно работали в немецкой культуре. Я имела счастье тогда многократно слушать чтение Заболоцким своих стихов. Я даже и не просила его, я знала, что он и сам прочтет; читал он мне тогда и «Лодейникова», и многое другое, и «Слепого», и рукопись «Слепого» подарил; говорил о своем любимом Сковороде; изредка я ему играла — Бетховена больше, нежели Баха.

Однажды он сказал мне: «С таким редактором, как вы, я готов работать всю жизнь!..» И еще была в Музыкальном издательстве одна великолепная пожилая сотрудница Ксения Поликарповна, она принимала рукописи и сдавала их на

оплату, милая интеллигентная особа, внимательно, бережно, ласково встречавшая Заболоцкого. Платили хорошо и быстро, платили независимо от принятия или непринятия переводов; это правильно — ведь автор потратил время, вдохновение и силы...

Словом, по этой работе, преисполненной высокого поэтического общения, его зримых и значимых результатов, — вне всякой лирики, — я могла надеяться на продолжение, на углубление, расширение... Кантаты Баха, романсы и песни Брамса, современная музыка...

Но не тут-то было! Видимо, нечто чуждое было как во мне, так и в самой работе — для Заболоцкого непреодолимое. И хотя, повторяю, ничего негативного ни разу не было Николаем Алексеевичем высказано и, учитывая его прямоту и правдолюбие — и не подумано, при первом ярком ином зове — он нас, сиречь меня, Шуберта, музыку, «старых немцев», и покинул. Его похитили у нас грузины.

Приступив к грузинским переводам, Заболоцкий сразу, «in medias res», нашу работу обрубил.

На этом я могу и кончить свои воспоминания.

Облик Заболоцкого — весь в его суровости:

Я воспитан природой суровой...

Здесь и некоторая абстрактность, и замкнутость; а я, однако, и не помышляла ни о какой сугубой дружбе; и я малость сурова и не чересчур многословна. Но и я все-таки была — как сотрудница, если угодно, как «редактор» — ушиблена внезапным отказом Николая Алексеевича продолжать работу.

...Но следы нашей работы остались.

1969



Тбилиси. 1947 г. Слева направо: Н. Заболоцкий, А. Межиров, Н. Тихонов, П. Антокольский

СЕРГЕЙ ЕРМОЛИНСКИЙ

САГУРАМО

Я твой родничок, Сагурамо,
Наверно, вовек не забуду.
Здесь каменных гор панорама
Вставала, подобная чуду...

Н. Заболоцкий

Я пытаюсь заглянуть на дно памяти, чтобы найти там живые черты, которые помогли бы мне выразить его образ — таким, как я его понимаю, вижу и сохранил навсегда. Память изменяет мне, конкретные факты почти совсем исчезли, вытеснились его стихами. Но, может быть, это к лучшему? Стихи его все больше поражают меня своим внутренним темпераментом, сдержанной, я сказал бы, торжественной силой и мудрым лаконизмом.

Они открылись мне не сразу, а много позже. Вернее, открывались постепенно, как и он сам. А вначале было удивление. Я знал, что до появления в Сагурамо он прошел нелегкий путь — были тяжелые годы, но как будто их не было! Передо мной стоял среднего роста, спокойный, благо-

получный человек, аккуратно одетый в стандартный мужской костюм, кругловатое лицо, роговые очки в негрубой оправе, гладкие волосы, причесанные чуть вбок. Прозаическая внешность, никаких катастроф позади! И казалось, ничто не нарушало и не нарушает его внутреннего равновесия... Когда я вспоминаю свое первое впечатление, я вижу, что это была не маска, не желание спрятаться за нее, а естественное поведение.

Чувство уважения не покидает меня, когда я думаю о Заболоцком. И призвание «поэт» приобретает вместе с его именем особый, высокий и важный смысл. Я думаю об этом, еще и еще раз вчитываясь в его строки, — и он встает передо мной живой и по-иному освещенный. И тут на помощь приходит другая память — главная, в которой важны не подробности, не отдельные случаи из жизни, а то, как поступал человек во всех, самых сложных поворотах своей судьбы.

Я познакомился с ним весной 47-го года, а до этого никогда не видел, но читал (и запомнил) его книжку «Столбцы», вышедшую еще в 1929 году. Тогда она ошарашивала издевательской, гиперболической беспощадностью образов, живописностью картин нэповского мещанства тех лет, его старого и нового быта.

Я не принадлежу к тем, кто считает его первую книжку мальчишеским фрондерством и формалистическими выкрутасами. По-моему, в «Столбцах» начинался блистательный и самобытный поэт, по-своему увидевший мир, на удивление цельный для молодого поэта, единый по манере, по приемам и языку. Он уже тогда в совершенстве владел формой.

Ученые-критики, разложив по правильным полочкам его раннее творчество, отметили нездоровые тенденции в «Столбцах» и попытку их преодоления в начале 30-х годов, а в таких вещах, как, например, «Метаморфозы», «Начало зимы», «Все, что было в душе» и др., разглядели черты будущего, зрелого Заболоцкого. Может быть, даже наверно, эти «черты» и отыскиваются, но разве об этом спор? Речь идет не об ухабах, и тем паче, не о плавном развитии его творчества. Речь идет о том, каким он стал. Никогда раньше не был он так уверен в себе, как в пору нашего знакомства.

Это пример могучий.

Он мог быть разорванным надвое — между страданиями своего времени и его высокими идеалами. Он мог быть придавлен трудностями жизни (и не только своей собственной). Он мог ожесточиться и возненавидеть. Он мог

замкнуться и ощериться. Он мог оробеть, чуя выжидательно-изучающие взгляды на себе. И, наконец, он мог просто устать, безнадежно устать. Этого не случилось. Напротив! Он не устал, не оробел и не ожесточился. Вопреки всему он возвращался, обретая гармонию! Широко распахнулся миру, природе, людям, их сокровенным чувствам, поэзии, лишенной пустой красоты!.. И Сагурамо стало для него той немаловажной вехой, откуда начиналась другая, новая жизнь. Война кончилась. А для него мирный день загорался вдвойне. Любимая профессия, единственная из всех возможных, возвращалась к нему!

Отшумели ненастья марта в Тбилиси, расцвел апрель, и это значило для меня, что можно перебраться в Сагурамо. Внизу, в городе, уже начиналась жара, а здесь, в горах, веяло прохладой...

От Мцхета дорога шла все выше и выше, мимо обелиска, поставленного на том месте, где предательски был убит Илья Чавчавадзе, далее поворот, и еще поворот, и, наконец, появлялись ворота, въезд в небольшую усадьбу с виноградниками по крутым склонам, к небольшому дому, где мы жили. Сейчас там, кажется, чавчавадзевский филиал литературного музея, а тогда — маленький Дом творчества Союза писателей Грузии. Я поселялся в нем, лишь только он открывался, а в начале лета 47-го года появились там и Заболоцкие. Продуктовые карточки (тогда были еще карточки) сдавались в Тбилиси Литфонду, и вот получали мы завтрак, обед и ужин, иногда похуже, иногда получше, но для нас — лучше не пожелаешь, и недорого, и без забот. Грузинский Литфонд знал, что для нас это буквально спасение, и Бесо Жгенти [1] отдавал распоряжение, чтобы путевки нам выдавали сразу на весь сезон. Ираклий, директор сагурамского дома, устраивал нас поудобнее (комнаты попросторнее, письменные столы с настольными лампами, лишние одеяла), потому что мы для него были не просто очередные «путевочники», а гости грузинских писателей. Даже полудикие овчарки, охранявшие виноградники, быстро привыкали к нам как к своим. Помню Куршу, которая, по рассказам Ираклия, одна справлялась с матерым волком, ежели он пробирался зимой к дому, чуя в загоне овец. Ее щенки

[1] Критик-литературовед, в то время председатель грузинского Литфонда.

настолько привязались к нам, что одного из них — Басара — Заболоцкий увез впоследствии в Москву, и он, вымахав в огромного пса, жил на даче у Кавериных, держа всех в страхе, и слушался, кажется, одного Никиту Заболоцкого...

Наша жизнь в Сагурамо сразу налаживалась, и день шел за днем, мало чем отличаясь друг от друга. Это был сказочный по тем временам быт, отключивший нас от постоянных мелких тревог. Можно было работать, сосредоточиться, подумать. Случилась великолепная остановка в пути, когда можно было передохнуть, набраться сил и подготовиться для дальнейшей жизни. Нужно ли говорить, как мы в этом нуждались? Поэтому мы старались жить здесь почти безвыездно, и эта отрешенность на все лето и осень не пугала, потому что нас не забывали.

Частенько, бывало уже в темноте, останавливался литфондовский грузовик или газик, и мы бежали встречать бесконечно приветливого Симона Чиковани, шумного, барственного Гоглу Леонидзе или кого-нибудь еще из тбилисских друзей. За скромным домоотдыховским ужином (бараньи косточки, чаек с кукурузными лепешками) появлялась бутылка вина, ее всегда привозили гости. Гогла произносил тосты. Ираклий подбрасывал парочку длинных огурцов, зеленый лук, а то, глядишь, и овечьего сыра. Нам вручали газеты за много дней — «Зарю Востока», «Правду», — новые журналы, почту, приходившую на наше имя в Союз, и, самое интересное, сообщались вести из Москвы, новости, слухи, городские толки. Засиживались заполночь. Заболоцкий получал папку с новыми подстрочниками для переводов. Гости редко оставались ночевать, и, казалось, их нисколько не обременяло такое мимолетное путешествие. Нет, они не забывали нас на нашей горе! И это было дорого, это было важно. И как важно было, что работу подбрасывали все больше и больше...

Его ценили в Грузии.

Там всегда ценили русских литераторов, которые любили грузинскую поэзию, понимали и знали ее истоки, ее историю. Но сейчас Заболоцкий нуждался в заработке. А при его гордыне не стерпел бы ни малейшего снисходительного участия в своей судьбе.

Но разве кто-нибудь смотрел на него свысока?

Его окружали прославленные поэты, известные и за пределами Грузии. Рядом с ними он был еще отнюдь не общепризнанный автор. За ним числились два сборника — до сих пор еще спорные — «Столбцы» и «Вторая книга». Его знали, конечно, как переводчика. В 1937 году за перевод поэмы Руставели он был даже награжден грамотой ЦИК Грузии. Но сколько времени прошло с тех пор и, главное, сколько событий произошло в его личной жизни! То новое, что он писал теперь, было мало кому известно и лишь крупицами. А его литературное и общественное положение все еще продолжало оставаться шатким.

Все это он понимал. И даже за пышнословным грузинским столом сдержанно откликался на обращенные к нему чувства, вежливо формулировал мысли, которые пристало сказать, когда приходил черед его ответному тосту. Как правило, он говорил коротко... Лишь постепенно освобождался он от тяготившей его внутренней напряженности, никогда не высказываемой, пока, наконец, не понял до конца, что он — не по-застольному почетный гость, что он — друг, что он — среди искренних друзей и что он — равный в их кругу!

...И вот он погружен в кропотливую работу над переводами. Он переводит современных поэтов (Г. Леонидзе, С. Чиковани, К. Каладзе и др.). Трудится над переводами грузинской классики, ее корифеев (Г. Орбелиани, И. Чавчавадзе), он постигает ее многовековую поэтическую культуру и ее сегодняшне тенденции.

Наряду с подстрочниками мастеров к нему на стол попадают и подстрочники молодых, часто несовершенных авторов. Это — текучка, журнальный заказ, а иногда застольные приятельские просьбы — как отказать? Однажды я прочитал стихотворение и удивился талантливости неведомого мне автора, которого он только что перевел.

— Очень хорошие стихи.

— А что? — Заболоцкий насторожился. — Хорошие? — И по-детски просиял. — Вы думаете?

— А вы — нет? Дайте-ка мне подстрочник!

Искоса на меня поглядывая, он неохотно подал листок.

— Ну, знаете! — возмутился я. — Ничего похожего!

— А что я мог сделать? — заволновался он. — Побудьте на моем месте! Надо же было, чтобы получились стихи, а не бог знает что!

— Вот, вот, так и создаются дутые имена. Бывает, таким способом и в антологии попадают.

— Верно, — насупился Заболоцкий, и детская радость, что под напором легкого возбуждения вдруг написалось хорошее стихотворение, тут же исчезла. — Верно, верно, — сказал он. — С этим надо поосторожнее.

Он стремился к широкому постижению поэзии.

Всякий дилетантизм отвращал его. Он хотел быть профессионалом, чтобы безукоризненно передавать живую пленительность подлинника. Буквальный перевод редко возможен, но Заболоцкий не допускал вольностей, не позволяя себе перепевать поэта на свой лад, как это иной раз делается. Поэтому он не мог довольствоваться знанием лишь отдельных стихотворений переводимого поэта, он старался понять его в целом. Только тогда, говорил он, открывается не только явный, но и тайный смысл произведения, его ключевые символы. Только в этом случае происходит второе перерождение поэта на новом языке. В записях к «Заметкам переводчика» он писал: «Переводчик сочетает в своем лице черты писателя и ученого. Но пусть черты ученого будут скрыты в глубине, а черты писателя явственно проступают наружу».

Но он не только переводил, он писал и свои стихи (гораздо больше, чем я мог себе представить). И все же наибольшая часть трудового дня приходилась на переводы.

Тотчас после раннего завтрака он усаживался за стол. Мы жили рядом, и иногда я слышал его размеренные шаги: он ходил по комнате.

Нередко среди дня он тихонько стучал ко мне и, поместившись в дверях, читал только что законченный перевод. Видимо, он читал не столько то, что казалось ему эффектным, а то, что было важным, ибо, на его взгляд, был подобран ключик к переводимому поэту, уловлен его характер, манера, жест. Обычно Заболоцкий предварял чтение кратким вступлением, объясняя мне, кто таков этот поэт и почему именно так, а не иначе сделан перевод. Он был серьезен в этот момент, даже угрюм. Но когда читал строчки особенно легкие, изящные, то не мог скрыть улыбки и как бы приглашал вместе порадоваться удаче.

Только я глаза закрою —
    предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
    над ресницами плывешь!

О, царица, до могилы
я — невольник бедный твой,
Хоть убей меня, светило,
я — невольник бедный твой.
Ты идешь — я за тобою:
я — невольник бедный твой.
Ты глядишь — я за спиною:
я — невольник бедный твой...

Ему нравились эти стихи. Он был доволен. Орбелиани удавался ему!

— Знаете, как называется эта форма восточного стиха? — оживленно говорил он. — Она называется — мухамбази. Григол Орбелиани часто пользовался ею, но очень свободно, соблюдая лишь пятистрочную строфу. А это рефрен:

Только я глаза закрою...

Он охотно знакомил грузинских писателей со своими новыми переводами, это обычно происходило в Союзе, а однажды участвовал в литературном вечере в Концертном зале им. Руставели и читал там свои стихи.

Он не любил выступать в больших аудиториях, нервничал, но на эстраду выходил спокойный, серьезный и, поправив очки, читал ровно и внятно. Рядом с громогласными и подвывающими поэтами, привычно разгуливающими по эстраде, он выглядел прозаично, и его провожали лишь вежливыми аплодисментами. Это его не огорчало. Он предпочитал читать в тесном кругу. И тут было видно, что ему отнюдь не безразличен будущий читатель. На слушателе, который оказывался рядом, можно было проверить ясность и заражаемость каждой своей строчки. Вот что было важно. Он не нуждался в дешевом, внешнем успехе. Мелкое тщеславие было ему чуждо. Его отношение к поэзии было выше этого. Но писал он не для себя, а для людей, хотя, требовательный к себе, печатался скупо и каждый раз по-юношески радовался напечатанному стихотворению. Он писал, чтобы печататься, и к этому стремился, но мне кажется, он писал бы и на необитаемом острове...

Он любил уединение, но страшился одиночества.

Он любил книгу, чтение, и его не тянуло к зрелищам.

Был абсолютно равнодушен к театру, к кинематографу. Не помню, чтобы он с увлечением рассказывал о какомнибудь спектакле или фильме. Теоретически любил цирк. И очень старательно вникал в живопись.

«Любите живопись, поэты!» — писал он позже, в 50-х годах, вглядываясь в портреты Рокотова, в таинственный психологизм их, подобно тому, как заражался в «Столбцах» великолепными примитивами современной живописи.

Теперь же он приглашает собратьев-поэтов любить живопись, потому что

Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Все ушло вглубь! Прекрасен восторг от женских глаз на рокотовском портрете, в которых — «два тумана, полуулыбка, полуплач» и этот «полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищенье смертных мук...». Внешняя суета, нарушавшая сосредоточенное созерцание, стала ненавистна ему...

Он сторонился болтунов. А уж если попадал в их компанию, то умел отключиться, даже находясь среди них, уйти в себя и незаметно продолжал жить своей внутренней жизнью.

В то памятное лето Сагурамо окружило его тишиной, и ничто не нарушало этой сладостной тишины! Что еще было нужно?

Окна наши выходили на родничок, тот самый, который описан им.

На противоположной стороне дома была веранда, летевшая над Карталинской долиной, над ее виноградниками, над ее простором. А горы подпирали нас со стороны родничка, они шли круто, поросшие густыми кустарниками кизила. Среди них вились тропы, уже в густых, перепутанных лесах, и выводили к скалистой Зедазенской вершине. Там стоял древний монастырь, один из первых христианских монастырей в Грузии, возникший на месте разрушенного капища огнепоклонников. В монастыре жил одинокий монах, он же служащий Мцхетского отдела охраны памятников старины. С этой вершины простиралась и вовсе широкая панорама — далеко внизу Мцхета, со своими серыми куполами, и Арагва сливалась с Курой, а чуть выше (но так же далеко внизу от нас) — Джвари. Иногда, закрывая эту панораму, под нами плыли облака...

Высоко забрались мы! Упоительно было пробираться по заоблачным склонам, в чащобах, по нехоженым тропам, на

которых виднелись вмятины легких оленьих следов. Только лесника Глахуну можно было встретить здесь. Бродили мы обычно, не докучая друг другу болтовней. Мы оба любили помолчать, и в этом были очень одинаковы.

Так вот и гуляли — молча. Набрели однажды на развалины какой-то церкви или часовни, не старой, по-видимому, и неведомо почему и как здесь возникшей. Встревоженные летучие мыши, висевшие вниз головой, взметнулись над нами. Раза два побывали в гостях у монаха, чернобрового, с жгучими, озорными глазами, угостили его вином. Он говорил по-русски с сильным кавказским акцентом и в отсветах костра казался огнепоклонником. Откуда он появился и где он теперь? Наверное, давно уже нет этого странного монаха, а к монастырю, должно быть, проложены оживленные туристские тропы, экскурсанты с наплечными мешками шумят в чащах, тогда нехоженных, диких, и уже нельзя встретить старого, мудрого Глахуну?.. А я помню ночь, когда мы спускались домой. Вокруг было полно таинственных шорохов и немного жутко...

Прогулки наши были редки. Надо было трудиться.

У меня тоже была своя «поденщина». По договору с киностудией я исправлял и редактировал сценарии, похожие на малограмотные подстрочники, но главное было не в них. Я работал над пьесой о Грибоедове [1]. Я писал о нем с увлечением. Тифлисская, грибоедовская атмосфера окружила меня! И конечно, «поденщина», отвлекая, ложилась грузом и мешала. Но нельзя было отлынивать ни от какой работы, пусть самой несносной — сценарной, потому что по соседству, не давая себе ни малейшего снисхождения, трудился удивительный Заболоцкий. Близко журчал наш неумолкаемый родничок.

И днем, над работой склоняясь,
И ночью, проснувшись в постели,
Я слышал, как, в окна врываясь,
Холодные струи звенели...

Даже тогда, когда мы подолгу не выходили из дому, не только этот родничок, но и вся величавая Зедазенская природа незримо присутствовала в наших комнатах. Ее дыхание

[1] В 1951 году эта пьеса была поставлена М. М. Яншиным в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского.

не покидало нас. Мы ее чувствовали ежеминутно. И когда было солнечно-тихо, и когда шумел дождь. Это было прекрасно и сохранилось в памяти на всю жизнь.

В разгар работы, в один из дневных заходов ко мне, Заболоцкий, остановившись, по обыкновению, в дверях, деловито спросил:

— А что происходит с вашим Александром Сергеевичем?

— Скоро он уедет в Тегеран, оставив Нину в Тавризе.

— Так. Значит, дело идет к концу? Но вы говорите, что он мечтал выйти в отставку, поселиться в Цинандали и, наконец, писать?

— Да.

— Вот видите. А получилось иначе. У таджикского поэта Катрана Тебризи есть такие строчки:

Ты замыслов полон, но рок не жалеет людей.
Насмешка надежд ты в великой гордыне своей.

Тебризи склонялся перед неотвратимостью судьбы, а Грибоедов? Нет! Он не склонялся, он испытывал судьбу! Спорил с ней!

Женился на Нине за несколько месяцев до своей смерти, чтобы вопреки всему на свете быть счастливым и доказать, доказать это! Как важно! Быть счастливым! Особенно когда нельзя терять мужества! Вы не находите? — Постоял еще немного и добавил: — Тебризи жил в Иранском Азербайджане, в одиннадцатом веке... Помешал? Простите.

Этот разговор мне запомнился. В нем, без сомнения, существовал какой-то потаенный смысл. Но всех обстоятельств его жизни я тогда не знал и не расспрашивал о них. Мы никогда не договаривали, даже если вдруг чуть-чуть касались личных переживаний: и он, и я.

Время от времени, отработав назначенное число страниц, как положено честным труженикам, отправлялись мы в духан на Военно-Грузинской дороге (на подъездах к Мцхета), где попивали дешевое, чуть терпкое, розоватое вино, пахнущее бочкой, и вспоминали, печалясь, родные речки и березы.

В то лето мало еще было туристов в этих местах, по

дороге катили главным образом грузовики и полувоенные газики, гораздо реже — «эмки». Духан обычно пустовал: забежит проезжий шофер наспех промочить горло стаканчиком, зайдет прохожий мастеровой, заедут два-три мохевца в войлочных шапочках, нашумят, не то повздорят на непонятном языке, не то поклянутся друг другу в вечной дружбе, и — нет их, только цокот копыт за окном. Чаще всего сидели мы вдвоем, и духанщик то и дело подносил нам новый кувшинчик. Выпивалось иногда порядочно, закусывали овечьим сыром не первой свежести. Разговор оживлялся, но я не представляю себе, чтобы у нас могла получиться пьяная беседа «по душам» с взаимными излияниями, после которых наутро стыдно и за себя, и за друга. Это исключалось. Да и вообще между нами, словно по молчаливому уговору, соблюдалась какая-то дистанция в отношениях. За дружеским вином мы становились несколько разговорчивее, чем обычно, чуть раскованнее, вот и все.

Однажды я рассказывал ему про роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Тогда о нем мало кто знал. При луне мы поднимались на свою гору, как мастеровые, зашабашившие на денек, и разговор наш от этого романа перешел к разговору об его авторе.

— Как вы думаете, Булгаков был житейски приспособленный человек? — спрашивал Заболоцкий.

— Думаю, да.

— Значит, по-вашему, он был приспособленный? — спрашивал Заболоцкий с каким-то особенно пытливым любопытством.

— А иначе как бы он выжил?

— Верно, верно. И неизбежная литературная поденщина не сломила его? То есть, я хочу сказать, не унизила его писательство!

— Нисколько.

— И то, что он писал либретто для опер, сценарии, инсценировки, редактировал чужие пьесы?

— Это никак не отразилось на его главном романе, о котором я вам только что рассказывал.

— И он продолжал выправлять его чуть ли не накануне смерти, хотя знал, что не увидит его напечатанным?

— Да.

— Так всегда бывает, иначе копейка тебе цена! — воскликнул он, и какие-то сомнения словно отлетели от него. — Природа обязательно находит защитную форму

для любого живого ростка, — говорил он. — Заметьте — живого! Характер наш формируется до пяти лет, в этом я убежден, а потом, смотря по жизни, вырабатывается и защитная форма. Понимаете? Было бы что защищать, и тогда сочетается приспособляемость и рядом — удивительно упорное самосохранение. У каждого по-своему, но для нашего брата обязательное. Вы не согласны?

— Я согласен.

— Однако приспособляемость эта, — засмеялся он, — должна находиться в строгих рамках, иначе все полетит к чертям!

Не раз возвращались мы нашей высокой дорогой, поднимаясь от Мцхета, и присаживались передохнуть у обелиска Ильи Чавчавадзе. Над нами было звездное грузинское небо, внизу уже гасли огоньки селений.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья.
Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Тогда он еще редко читал свои стихи. Это были «первые, дальние громы», которые я услышал. Но уже существовали строки, обращенные к Бетховену, столь созвучному его рождающейся вновь поэзии («первых слов на родном языке»):

...И яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов,
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров...

И были написаны стихи о бурной, горной реке, которая обняла его большое тело. Схватившись за ускользающие каменья, он лежал в ревущем потоке, но он переборол его, выходил из него и уже видел, как величественная овчарка приближалась к реке и (быть может, грозно?) ждала его...

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес, как божество спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

Эти стихи писались тотчас же после пребывания в Грузии. А писалось много, и очень скоро это стало видно. Тогда, в Сагурамо, энергия возвращения была так велика и так жадна, что все сочеталось: и стихи, и переводы, и не опускались руки.

Впоследствии он напишет, перекликаясь со стихотворением «Не спи, не спи, художник» Пастернака:

Не позволяй душе лениться,
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь.

Он писал, как думал и как чувствовал. Голос очищался от всякой фальши, но в стихах его редко встречаются строчки, впрямую говорящие о своем, о личном. Если Блок жил как в стеклянном доме, и по его стихотворениям можно проследить почти весь его жизненный путь, то Заболоцкий словно твердил себе: не надо разбазаривать тему своей биографии, надо увидеть мир шире — объективный мир, — а любое самокопание отбросить. Личные беды, особенно несправедливые беды, если пойти у них на поводу, превратятся в желчное разочарование, нет, хуже — человеконенавистничество. Тогда — конец, бесплодие, смерть. И нельзя откровенничать чересчур. Это постыдно, это лишит защищенности. Надо быть суровее, строже.

Сагурамское лето окончательно сформировало нового Заболоцкого. И это было счастливое для него время. В этом я уверен. Собранность, внутренняя энергия не покидали его.

Осенью 47-го года (кажется, осенью) Заболоцкие уехали. Они поселились под Москвой, на даче Кавериных в Переделкине, только что отстроенной, — тогда небольшой финский домик, наспех утепленный.

Легкий снежок лег на землю, когда я приехал к нему туда. В первый и единственный раз мы обнялись. За стеклами просторного окна в воздухе запушился снежок. Екатерина Васильевна уехала в город, ребята убежали в школу. Мы были одни. И мы возбужденно говорили о том, что жизнь наша устраивается как нельзя лучше. Ему обещана квартира на Беговой, мне — в Староконюшенном. Можно было подвести итоги, думать о будущем и писать, писать!..

Поэт, как постоянно строящийся дом, почти всегда в лесах. Только он — и никто больше — знает, что скрывается под этими лесами. И Заболоцкий сам — никто больше — был высшим судьей того, что он написал. Это высокомерие ничего общего не имеет с самовлюбленностью. Оно порождено не только взыскательностью мастера, но и умением беспощадно посмотреть на себя со стороны. То, что он отбирал из написанного, было лучшим. Не следует опровергать его решений. Доверьтесь им. Его решения были мужественными, он не хотел оставлять после себя не только черновиков, но и всего того, что искажало бы целостное представление о его поэзии. Он уничтожил многие шуточные стихи, домашние пародии на своих друзей и близких, веселые поэмки, которые не раз под общий хохот читал за столом. Наверно, жаль, что это уничтожено. Но, подводя итоги прожитой жизни, он был строг к каждой своей строчке. И это было последовательным выражением его характера.

В Сагурамо, когда я вспомнил отдельные строчки из «Столбцов», которые любил и люблю (и по-прежнему ставлю высоко), он морщился:

— Оставьте! Эка что застревает у вас в памяти!

Он хмурился. Продолжать разговор на эту тему он тогда решительно отказывался. Но в Москве, оглядываясь на весь пройденный путь, он посчитал «Столбцы» законной главой своего поэтического развития и включил в план своего итогового сборника стихов.

Наши встречи в Москве становились все реже.

Едва ли не в последний раз я увидел его, зайдя в Союз писателей. В одной из комнат собрались переводчики. Когда я туда вошел, Заболоцкий читал:

Только я глаза закрою —
предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
над ресницами плывешь!..

На лицах слушающих возникали улыбки. Нельзя было не улыбаться, это выходило само собой. А он читал, подчиняясь скользящему ритму, чуть прикрыв глаза:

Семь дорог на нашем поле —
все они к тебе бегут!
Смутны думы поневоле —

все они к тебе бегут!
Растерял свои слова я —
все они к тебе бегут!
Позабыл свои дела я —
все они к тебе бегут!..

На миг мне стало почему-то тревожно, но ведь ничего неожиданного я не услышал, это был прежний, хорошо мне знакомый перевод. Да и сам Заболоцкий мало изменился: чуть погрузнел — и выглядел осанистее, увереннее, только голос, пожалуй, стал гуще, с хрипотцой. Он читал, а мне вспоминались его стихи, новые, одно за другим появившиеся в журналах, — «Некрасивая девочка», «Старая актриса», «Генеральская дача», «Жена». В них раскрывались маленькие человеческие драмы. В нешироких горизонтах переделкинских писательских заборов он увидел писателя, который был окружен «любовью столь смиренной и столь трепетной верой в свой талант», какой не знали «ни Данте, ни Гёте». Стихотворение «Жена» заканчивалось так:

О чем ты скребешь на бумаге?
Зачем ты так вечно сердит?
Что ищешь, копаясь во мраке
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопочешь на деле,
О благе, о счастье людей,
Как мог ты не видеть доселе
Сокровища жизни своей?..

Он писал не о себе, а об одном из соседей, и, говорят, очень портретно, но все равно это стихотворение, мне кажется, было болезненно близко к его раздумьям в то время. Пожалуй, весь этот стихотворный цикл проще, простодушнее, чем его прежние вещи о человеке и природе, — он — душевнее. Однако в этих житейских сюжетах его настигал иногда несвойственный ему сентиментальный нравоучитель... Что это — поворот к новой теме, размышления о жизни в «нешироких горизонтах» или углубленное затишье? Перед чем? Почему?

Обо всем этом я невольно задумался, пока он продолжал чтение, и вышел из комнаты на цыпочках, незаметно, лишь только начал читать другой поэт. В ушах у меня оставался рефрен: «только я глаза закрою...» Таким он мне и запомнился — чуть прикрывший глаза и, казалось, умиротворенный.

Умиротворенный ли? Ах, как обманчива его «обыкновенная» внешность!

В дистиллированной воде рыба не ловится. Она ловится в глубинах и таинственных заводях, в бурных потоках под опасными мельничными жерновами и в тине, в корягах, где все затаилось и незримы туда ходы. Стихи тоже не «ловятся» в дистиллированной воде, они требуют подспудных кипений, из которых рождаются бури, они требуют накаленной тишины, которая завершается обвалом.

В покое ли счастье? А может быть, покой приходит как раз для того, чтобы взорваться изнутри — вырываются чувства, о которых доселе человек и не подозревал? А может быть, душевная безмятежность как раз была в пути? Как ни жесток он был, а мятеж возник тогда и там, где, казалось, навсегда все стало прочно и уже ничто не угрожает?

Как часто мы узнаем свое счастье, оглянувшись назад, а нам все кажется, что оно впереди.

Как странно устроен человек!

Настоящие стихи покупаются дорогой ценой.

И когда я читаю цикл «Последняя любовь», одну из вершин русской лирики, я открываю для себя не только поэта Заболоцкого, потому что дело тут не в одном мастерстве. Еще и еще раз дело тут в человеке. В гордости его и благородстве. В высокой ответственности перед человеческим чувством, коль скоро он впрямую столкнулся с ним, увидел рядом. В безысходной своей печали, ибо, как сказал он сам, «я помочь не в силах ей, и встает стена чертополоха между мной и радостью моей». В лирическом пафосе и целомудренности его слов. Буквально во всем, что перекрещивается в сердце человека, когда оно терзается в своих кружениях. Он потом напишет:

Клялась ты — до гроба
Быть милой моей.
Опомнившись, оба
Мы стали умней.

Но прежнего в целости уже не вернуть никогда:

Опомнившись, оба
Мы поняли вдруг,
Что счастья до гроба
Не будет, мой друг.

Неужели разрушился мир в его доме, столь мужественно переборовший все невзгоды, все испытания? И пришло это, когда наступил наконец покой, пришло, казалось бы, абсолютное счастье. Словно вмешался сам черт, взбаламутивший невозможную для поэта «дистиллированную» воду... Здесь никто не подсуден, никто не виноват. Что-то неизбежное было для обоих в этом взрыве, происшедшем уже среди незамутненного неба и вопреки всему.

Чтобы это почувствовать до конца (и хоть краешком понять — как преодолели, как выстояли), надо процитировать все десять стихотворений этого цикла. Но я закончу лишь заключительными его строчками, итогом всех бурь, надежд, отчаяния и тоски:

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна...

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь все страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

Лишь в конце жизни Заболоцкий чуть приоткрыл себя людям, доверился им. И только человек очень большого нравственного начала мог быть автором такой поразительной лирики.

Всего одна книга стихотворений, если собрать их в один плотный том, осталась после него, но это поистине драгоценная книга, очищенная от малейшего сора, отжатая самим поэтом.

С конца сороковых годов я не был в Грузии. Не знаю, что там и как там. Не стало наших общих с Заболоцким друзей — Чиковани, Леонидзе, Наташи Вачнадзе, Коли Шенгелая. Иные, непохожие времена! Наверно, совсем иные! И по-прежнему ли шумит бурно-желтая Кура под свесившимся многобалконьем старого Тбилиси, где мы пировали, или всего лишь гудит под землею метро, не виданное мною, а над ним, говорят, высятся с клеточками окон дома-кубы, как во всемирных Черемушках? Разве что дохнет иногда в грузинских фильмах прежним Тбилиси, обожгут, мелькнув в титрах, знакомые имена — Шенгелая... Эль-

дар... Георгий... Да ведь это же Наташины и Колины сыновья, я знал их мальчишками! Какие стали? Как живут? Чем дышат?..

И как-то страшновато очутиться вдруг на проспекте Руставели — никем не узнанный, никому не нужный. Из окон донесутся звуки чужого застолья — то, а может, и не то, к какому привык? Но все равно, что бы ни произошло, как бы ни изменилось, продолжает светить мне издалека огонек Сагурамо, не гаснет в моем сердце, а с ним вместе и память о Николае Алексеевиче Заболоцком.

Храню ее.

1977



Н. Заболоцкий. Москва. 1950-е годы

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

ВСЕМ СВОИМ СУЩЕСТВОМ...

1

Судьба не одарила меня близким общением с Николаем Заболоцким. Не было частых встреч, продолжительных бесед, переписки.

Нас познакомил Михаил Зенкевич. Это произошло во время какого-то долгого переводческого диспута, когда объявили перерыв. Мы обменялись несколькими словами, общепринятыми при взаимном представлении. Кулуарная сутолока окружала нас. Прозвучал звонок, снова зовущий в зал. Заболоцкий вежливо откланялся и, соблюдая дисциплину, проследовал на свое место. Вот и все.

Но с тех пор, когда наши пути пересекались — в писательском клубе, в коридоре издательства или на Беговой,

где Николай Алексеевич жил, — мы неизменно здоровались. Я — почтительно. Он — со сдержанной благожелательностью.

Подойти к Заболоцкому, остановить его, заговорить без видимой причины я не решался. В отличие, скажем, от Антокольского или Светлова, всегда общительных, расположенных к встрече, окруженных разнообразнейшими собеседниками. Николай Алексеевич, весьма избирательный в знакомствах и уж конечно в дружбе, явно не стремился расширить круг полюбившихся ему людей.

Когда я впервые увидел Заболоцкого, меня поразила его внешность. Она явно не совпадала с теми представлениями об авторе, которые возникали при чтении его стихов. Знаю, что я далеко не первый, кто делится таким начальным впечатлением. Об этом пишут почти все авторы воспоминаний о Заболоцком. И каждый набрасывает свой вариант портрета.

Ничего не поделаешь. Николай Алексеевич и впрямь не походил на тех поэтов, чья внешняя стать выражала их внутреннюю суть, — на Багрицкого с его комиссарской кожанкой, на Луговского с его медальным профилем и громоподобным голосом, на Пастернака с его застенчивой безоглядностью и красноречивым косноязычием.

Передо мной снова и снова возникает спокойное румяное лицо Заболоцкого. Гладко причесанные волосы, холодноватый взгляд, очень внимательно изучающий вас. Тщательность и некоторая старомодность в одежде. Этот человек мог оказаться математиком, юристом, врачом. И меньше всего он походил на самого себя, создавшего дерзкие и печальные фантасмагории «Столбцов». Не очень его облик сочетался и с той целомудренной бездной стиха, которую открыла нам поздняя лирика поэта.

...Но ведь Федор Иванович Тютчев, судя по его портретам, тоже мог озадачить в первые минуты знакомства. Кто он, этот господин, с лицом суховатым, даже надменным, затянутый в официальный сюртук? Дипломат, философ, историк, наконец, сановник? Вполне возможно. А вот разглядеть в нем величайшего лирика не так-то просто. Обаяние Пушкина, мгновенно покоряющее, олимпийская величавость Гёте, красота Байрона — все это начисто отсутствует. И уж конечно ни кудрей, ни гусарского ментика с

меховой опушкой, ниромантического плаща внакидку. Овальные окуляры в тонкой оправе. Плотно сжатые губы.

А за всем этим признание: «Нет дня, чтобы душа не ныла...»

...Между тем при скупых и случайных встречах с Николаем Алексеевичем кое-что приоткрывалось.

Помню, как в Доме литераторов, в знаменитой восьмой комнате со старинным камином и деревянными резными панелями, где и сейчас иногда собираются поэты, чтобы послушать друг друга, — в этой мрачноватой и фешенебельной комнате Заболоцкий читал свои переводы. Читал негромким ровным голосом, без малейшего нажима. Когда дело дошло до строк, пронизанных юмором, Николай Алексеевич стал по ходу чтения улыбаться. Сейчас не скажу точно, что звучало в ту минуту — стихотворение Карло Каладзе «Гончары» или отрывки из «Веселой весны» Давида Гурамишвили. Но отчетливо помню, как Заболоцкий вдруг рассмеялся, да так безудержно, что ему пришлось даже сделать паузу. Зато слушателей тоже проняло — общий смех и рукоплескания возникли одновременно.

Другой человек сидел перед нами — молодой, открытый, не лишенный озорства.

Но Заболоцкий вынул из кармана платок, приложил его к губам, как бы стирая с них улыбку, и перешел к другим стихам. Он снова был подтянут, даже чуточку чопорен, словно спохватился.

Однажды на антресолях писательской лавки, что на Кузнецком, Владимир Германович Лидин, обладавший уникальным книжным собранием, увлеченно рассказывал двумтрем собеседникам о своих новых букинистических находках. Мы с интересом слушали. Был среди нас и Заболоцкий. Черная шляпа, которую он держал в руке, черное пальто в сочетании с белоснежным воротничком придавали ему на этот раз живое сходство с пастором. Он стоял рядом с Лидиным, но, казалось, отсутствовал. Лицо его было безучастно. И я подумал в ту минуту, что годы бездомных скитаний вряд ли способствовали пробуждению в нем библиофильских наклонностей. Я знал со слов общих знакомых, что его личная библиотека невелика, но отлично подобрана. Захаживая в лавку, он, скорее всего, искал не бесценные первоиздания, а приобретал самые необходимые книги, когда-то утрачен-

ные, стремясь воссоздать свое скромное собрание. И то, что сейчас он оставался равнодушным к предмету беседы, показалось мне абсолютно естественным.

Но вдруг, когда зашла речь о каком-то антикварном издании, его лицо оживилось, он заинтересованно вступил в разговор, проявил недюжинную эрудицию, сделал несколько тончайших замечаний. И опять осталось ощущение открытия.

Сколько внезапностей таилось за этим наружным бесстрастием!

Какое счастье, что поэта прежде всего знаешь по тем столбцам своеобычных строк, которые создают портрет его души, — и уж это знание никакие поверхностные приметы нарушить не могут.

Поэтому мои беглые наблюдения, перечень которых я мог бы продолжить, несравнимы с тем, что я постиг, читая и перечитывая Заболоцкого. Здесь он мой давний и неизменный собеседник, скажу больше — мой очень близкий друг, свиданий с которым было великое множество.

2

Я подружился с ним, когда был даже не юношей, а подростком, жадно читавшим без разбора множество стихотворных книг — от «Александрийских песен» Михаила Кузмина до «Трагедийной ночи» Александра Безыменского.

На бульваре Шевченко, неподалеку от школы, где я учился, находилась районная библиотека. Запись была свободная, независимо от возраста, — требовалась лишь справка из домоуправления. Я был завсегдатаем этой библиотеки. И однажды, роясь в стопке книг, только что сданных, обнаружил «Столбцы».

Имя автора я уже слышал, о Заболоцком велись разговоры среди начинающих киевских стихотворцев. Доходили до нас и отголоски критических разносов, обрушенных на этого поэта. В книжных магазинах «Столбцы» промелькнули, приобрести новинку я не успел.

И вдруг — бывали в те дни такие чудеса — оказалось, что сборник Заболоцкого (при тираже 1200 экземпляров!) достался скромному районному книгохранилищу. До сих пор не верится, что теперешний раритет спокойно дожидался меня в горке книг и журналов, лежавших на широкой деревянной стойке в поле зрения библиотекарши.

Я углубился в «Столбцы». Такого читать мне еще не приходилось. Достаточно было задержаться на строках о том, как, пропустив четыре гола, «их сосчитал и тряпкой вытер меланхолический голкипер», чтобы такая неожиданная материализация спортивного проигрыша разбудила воображение. А сколько очарования таилось в коне из стихотворения «Пир», в статном животном, которое «струится через воздух... и режет острыми ногами оглобель ровную тюрьму». Тогда еще был неведом киноэффект замедленной съемки, но в этом поэтическом кадре ощущалась величавая заторможенность. По соседству возникал другой конь — из миниатюры «Движение». Об этом скакуне было сказано, что он «то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкает в его блестящем животе». Здесь все казалось лишенным зримой логики. В то же время все было достоверно, динамично, броско.

Надо ли говорить о том, как радостно изумился я, обнаружив словесный натюрморт — «в бокале плавало окно». Ну и, разумеется, окончательно сразило меня двустрочие из беспощадного стихотворения «Свадьба», ныне хрестоматийного: «Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья».

Новые строки Заболоцкого появлялись и в периодике. Я наслаждался описанием цирка, где работают акробаты, «себя по воздуху развеся», или погружался в стихотворение «Начало осени», где старухи, сумерничая у ворот, хлебают «щи тумана». Я снова подолгу, словно в картинной галерее, изучал пародийную фигуру попа на свадьбе, который, «раскинув бороду забралом, сидит, как башня, перед балом с большой гитарой на плече». Или изображение инвалида, чей «костыль, как деревянная бутыль».

А еще были удивительные рифмы: «Стекла — стекал, вымылся — вымысла»...

В этом полном внезапностей мире возникали свои географические точки, заново нанесенные на поэтическую карту, — «Обводный канал», «Пекарня», «Народный дом», «Рыбная лавка», «Цирк». Здесь быт сплетался с фантастикой, гипербола — с точной подробностью, велеречивость — с раешником. Сквозь усмешку проступала боль, шутка оборачивалась гневом. Резкие краски, острые углы, перебои ритма, смещение линий — всего тут имелось в избытке. Было от чего прийти в смятение и восторг неискушенному мальчишке, который поднаторел в беспорядочном чтении, но все же мало знал и еще меньше умел.

В юности испытываешь особую тягу к необычайным словосочетаниям. Вспоминаю, как я долго носился с теми строками Николая Ушакова, где было сказано о весенней погоде, что «она топила печь с утра и жаворонков выпекала»; с пастернаковским описанием грозы: «Сто слепящих фотографий ночью снял на память гром»; с находкой Сельвинского, заметившего, что у тигра *жаркая* морда, «усатая, как солнце»; с утверждением Бажана, что колонна в гулком соборе напоминает *гобоя звук*.

В «Столбцах» представал вчерашний мирок, пытающийся приспособиться к сегодняшнему новорожденному миру, просуществовать в нем подольше и послаще. Арьергард уходящего забаррикадировался в захламленных квартирах, в «бутылочном раю» пивного зала, в душных лавчонках.

Этот мирок был загроможден комодами, граммофонами, кадками, телегами, пуховиками, фикусами, амбарными замками. Он был вооружен саблями сельдей, плетями колбас, ядрами апельсинов, пивными кружками, рыночными гирями.

В стихах действовали алчные маклаки, сонные извозчики, старорежимные салопницы, хмельные мужики, уличные девки. Всего тут было невпроворот. Грузные тела, тяжеловесные предметы, накопленные хапугами, чудовищная жратва. Люди, дома, растения располагались как-то неестественно, кривобоко, бестолково. Чему положено пребывать в неподвижности, то неуклюже летало. Круглое сплющивалось, прямое изгибалось. Тут ходили на голове, тут соловьи куковали, а деревья то становились гранеными, то оплывали, как сальные свечи.

Скопидомы, стяжатели, мещане, невежды обременяли мир, оскверняли окружающее, они противостояли разумному переустройству жизни, исконным устоям природы, торжеству земледелия.

...Прочитав «Столбцы» раз, другой, третий, я что-то с ходу запомнил, что-то переписал в тетрадку. Очень не хотелось расставаться с книгой. Но я все же отнес ее в библиотеку на бульвар Шевченко. А прочитанное осталось со мной.

Я щедро делился открытиями с теми из моих знакомых, которые тоже увлекались поэзией. Одни просто любили читать и слушать стихи, другие, как и я, пробовали писать.

Еще не состоя ни в каком литературном объединении, мы находили друг друга, хотя учились в разных школах или работали в разных местах. Общались в библиотеке, на вечерах, где выступали приезжие поэты, в местных редакциях, куда мы уже отваживались приносить свои незрелые сочинения.

Самые впечатляющие строки Заболоцкого я читал товарищам вслух. Кому-то давал на вечерок тетрадку с переписанными стихами.

Надо сказать, что не всем Заболоцкий пришелся по душе. Были такие, кто счел «Столбцы» абракадаброй. То ли заранее поверили тогдашним ругательным статьям, то ли это чтение оказалось для них и впрямь затруднительным.

Но вот что примечательно! Те из моих сверстников, которые услышали Заболоцкого, восприняли не только парадоксальную манеру письма. Они верно ощутили и смысловую направленность «Столбцов», поняли, за что и против чего ратует Заболоцкий.

Так же позднее в поэме «Торжество земледелия», при всей ее усложненности, никаких сомнений не оставляли завершающие строки: «И тяжелые, как домы, разорвав черту межи, вышли, трактором ведомы, колесницы первой ржи. А на холме у реки от рождения впервые ели черви гробовые деревянный труп сохи».

Конечно, не все в стихах и в поэме усваивалось так же легко и просто. К общедоступности Заболоцкий не стремился. Многозначные гиперболы поддавались расшифровке не сразу. А иные пассажи окончательно ставили в тупик.

Многократно перечитывая стихотворение «Футбол», увлекшее меня, я все никак не мог уяснить, что же произошло с бедным форвардом — то ли он смертельно травмирован во время матча, то ли его ночью мучают кошмары? «Открылся госпиталь. Увы! Здесь форвард спит без головы... Над ним два медные копья упрямый шар веревкой вяжут, с плиты загробная вода стекает в ямки вырезные, и сохнет в горле виноград. Спи, форвард, задом наперед!»

Обличительной поэзии свойственно сгущение красок. В «Обводном канале», в «Рыбной лавке» торгашество представлялось всесильным, почти несокрушимым: «Весы читают «Отче наш», две гирьки, мирно встав на блюдце,

отсчитывают жизни ход...» Это звучало как сигнал тревоги. Но могло быть воспринято и как чрезмерность.

Сатира, обнажающая порок, не нуждается в патетическом противовесе, во всяком случае не всегда нуждается. Заболоцкий, полагая, что бичующая живопись «Столбцов» достаточно красноречива, почти не подкреплял ее авторскими высказываниями. Позиция поэта угадывалась. Но этого не ощущали или не хотели ощутить ревнители прямолинейности. Дебют Заболоцкого мог стать предметом оживленной полемики. Тут было о чем поспорить, над чем поразмышлять. Но критики-экстремисты предпочли вдумчивому обсуждению безоговорочное осуждение.

При всей необычности своего письма Заболоцкий и в раннюю пору был, конечно, связан с традициями нашей литературы, и старыми и новыми. Стоило обратиться к его тогдашним страницам, и сразу возникали книжные сопоставления.

Презрение к алчности собственника было одной из главных черт поэзии того времени, пронизанной революционностью. Как в «Столбцах», так и в «Торжестве земледелия» своеобычно и зло высмеивался «частной собственности бог».

Говоря тогда о Заболоцком со своими сверстниками, я убеждался в том, что каждый вслушивался в него по-своему. Мы были не то чтобы начитаны, но порядочно нахватаны. Каждый исходил из того, какие страницы запечатлелись в его сознании прежде, что особенно поразило его до знакомства со «Столбцами».

Один ощущал в этой книге родство с драматургией Маяковского, где тоже сочетались гротеск и фантазия. Другой вспоминал знаменитое стихотворение Хлебникова «Эй, молодчики-купчики...» или строки из «Ладомира»: «...И будет некому продать мешок от золота тугой...»

Кому-то слышался зощенковский хохоток. Возникали в разговоре иронические строки Светлова, полемическая лирика Асеева, поэма Казина «Лисья шуба и любовь». Позднее к этим параллелям прибавились «Ворон и лавочник» Тихонова и «Человек предместья» Багрицкого.

Присутствовала в наших беседах и классика. Назывались Гоголь и Салтыков-Щедрин — они конечно же могли влиять на Заболоцкого.

Я, грешный, только еще начав узнавать Достоевского,

прочитав лишь «Бедных людей», уверял, что петербургский шарманщик, обрисованный в одном из писем Макара Девушкина, незримо действует в стихотворении Заболоцкого «Бродячие музыканты». К такой ассоциации располагал жестокий фон стихотворения. Окружение бездомного артиста напоминало о том, что оставалось от вчерашних дней или даже десятилетий:

Вокруг него система кошек,
Система ведер, окон, дров,
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.

Во всех наших тогдашних сравнениях и догадках, порой весьма произвольных, примечательно то, что поэт, ни на кого не похожий, все же не представлялся нам оторванным как от современников, так и от возможных предшественников. Какому-то книгочею даже почудилось, что на Заболоцкого оказал воздействие Гофман. Можно было назвать и Рабле. Никто не назвал. В том числе и я. Мне попросту еще не довелось познакомиться с жизнеописанием Гаргантюа и Пантагрюэля.

3

...И вот я читал: «Друзья мои, знаете ли вы, кто такой был Сократ? Сократ был знаменитый греческий мудрец. Говорят, что он был похож на силена».

Я держал в руках свежий номер ленинградского журнала «Еж», на одной из страниц которого обнаружил эти строки Рабле. Дело происходило несколько лет спустя, уже в Москве, куда я переехал в начале тридцатых, в литературном отделе «Пионерской правды», где я работал.

К тому времени я еще ни разу не был в Ленинграде. Но о создателях двух детских журналов «Еж» и «Чиж» был наслышан достаточно. Страницы этих родственных изданий раскрывал с удовольствием. Здесь текст и рисунки состязались в яркости, так что было чему поучиться.

Сейчас много написано о той комнате в ленинградском Доме книги, в которой работали сотрудники обеих редакций. Мемуаристы запечатлели до мельчайших подробностей все, что происходило в той комнате, ныне легендарной.

А тогда я обрывочно слышал обо всем этом из уст редактора «Пионерской правды» Андрея Гусева и молодого писателя Исая Рахтанова, руководившего литературным объеди-

нением при нашей редакции. Оба они в недавнем прошлом были ленинградцами. Что-то рассказывали и мои новообретенные столичные друзья, которым случалось во время командировок навещать Дом книги на Невском.

Постоянных авторов «Ежа» и «Чижа» я, конечно, знал поименно, хотя свои стихи и рассказы они часто печатали под озорными псевдонимами, так что понять кто есть кто, не всегда представлялось возможным.

Но с этими журналами у меня никак не связывалось имя Заболоцкого. Почему-то не прозвучало оно и в устных рассказах, услышанных мною тогда. Некоторые номера, где печатались его стихи и проза, я, конечно, мог пропустить. Да к тому же и Николай Алексеевич порой выступал здесь под вымышленным именем.

Во всяком случае, на страницах «Ежа» подпись Заболоцкого я впервые встретил, когда там начал печататься в его обработке для детей роман «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Я держал в руках этот номер, сидя за фанерной перегородкой в редакции «Пионерки» на Новой площади. Окна комнаты были обращены к Политехническому, куда я, новый москвич, ходил с трепетом на поэтические вечера. Еще была цела Китайгородская стена, обставленная развалами букинистов. Звенел, направляясь к Ильинским воротам, трамвай, а по соседству возвышался копер — строили метро.

Я читал: «Сократ был знаменитый греческий мудрец. Говорят, что он был похож на силена».

Так начинался пересказ Рабле, выполненный автором «Столбцов».

Силены — покровители виноградарства и виноделия, — сопровождавшие Вакха в его веселых странствиях, многократно изображались в виде толстых и неряшливых стариков с багровыми носами и заплывшими глазками. Земные боги-забулдыги, опустошая мехи с добрым напитком, сохраняли при этом присущую им житейскую мудрость и даже слыли прорицателями. Силены занимали воображение живописцев, графиков, ваятелей. Оплывшие торсы и хмельные ухмылки забавных стариков часто возникали на полотнах и офортах, на многофигурных барельефах. Появлялись в окружении мифических зверей на крышках старинных ларцов и шкатулок.

Такой коробок в старину даже называли силеном.

Заболоцкий, перелагая Рабле, продолжал:

«Снаружи этот ларец был украшен резными фигурками — рогатыми зайцами, оседланными утками, крылатыми козлами... И никому в голову не приходило, что в этом смешном ларце хранятся редкие драгоценные вещицы. А ведь в него прятали кольца, ожерелья, драгоценные камни и душистые снадобья, мяту, кардамон, мускус.

Вот таким же, говорят, был и Сократ. С виду это был смешной и неуклюжий старик. Нос у него был картошкой, глаза как у быка, одевался он кое-как, вечно зубоскалил, вечно посмеивался. Короче говоря — дурень дурнем, а уж известно, какой из дурня толк. На самом деле Сократ был самый мудрый из тогдашних мудрецов. Шутя и посмеиваясь, он высказывал такие глубокие мысли, какие в ту пору еще никому не приходили в голову».

Перечитывая эти строки, я думаю о том, что они пусть не впрямую, но все же имеют отношение к самому Заболоцкому. Карнавальный круговорот нелепых фигур, пестрых масок, хоровод людей и животных, ошеломлявший, а порой и вызывавший недоумение в его ранних творениях, напоминает поначалу такой же ларец, покрытый причудливыми изображениями.

А заглянуть внутрь строки, как внутрь ларца, было дано не каждому. Увы, многие критики тогда так и не дали себе труда приподнять крышку и обнаружить истинные ценности, хранящиеся под ней.

Пересказ «Гаргантюа и Пантагрюэля», публиковавшийся с продолжением в «Еже», потом вышел отдельной книгой и многократно переиздавался. Эту работу мы вправе отнести к жанру *вольного перевода*. И конечно же это — перевод, принадлежащий перу *поэта*.

То, что Заболоцкий взялся именно за «Гаргантюа и Пантагрюэля», могло быть обусловлено выбором редакции «Ежа» или книжного издательства. Но при этом, вероятно, учитывалось и желание Николая Алексеевича. Многие строки «Столбцов» и впрямь непреложно свидетельствуют о том, что Рабле ему был по душе.

Задача выпала, прямо скажем, не из легких. Предстояло создать новый русский вариант бессмертного романа, сохранив дух Рабле, однако избавив канонический текст от нату-

ралистических подробностей, поскольку этого требовал возраст будущих читателей. Как быть с выпивохами, обжорами, ерниками, сквернословами, с их грубоватыми оборотами речи, с их плотским юмором, с их лихими, но мудрыми иносказаниями, с достаточно раскованным языком самого автора — со всем тем, без чего немыслимо представить знаменитую книгу? Но именно раблезианские краски следовало умерить, смягчить, найти замену иным, очень уж откровенным словечкам и одновременно не впасть в ханжество, не обесцветить роман.

Работа рискованная, ювелирная, порой, вероятно, мучительная. Но и захватывающая. Заболоцкий вышел победителем. Неотвратимые потери, неизбежные обильные сокращения не помешали героям Рабле предстать перед подростками во всей своей полнокровности. Изменился объем романа, но сохранилось его звучание.

Сужу по себе. Сперва, как уже сказано, я прочитал «Гаргантюа и Пантагрюэля» в той версии, которую предложил Заболоцкий. Позднее обратился к более полному тексту, уж не помню, в чьем переводе, довольно старом. А в наши дни перечитал роман целиком в блистательном переложении Николая Любимова, насладившись вдоволь и щедротами Рабле, и талантом переводчика.

Однако давняя работа Заболоцкого не заслонилась, не померкла. Счастливое чувство, вызванное первым восприятием, обновилось в памяти.

Попутно я вспомнил и себя тогдашнего.

Вместе с повзрослением ко мне пришла начальная литературная искушенность. В Киеве я два года посещал студию стиха, которой руководил Ушаков. Познакомился со Светловым, приезжавшим в наш город. В Москве я успел застать и то время, когда литературное объединение, созданное «Пионерской правдой», опекал Багрицкий. У нас в редакции часто бывал Гайдар. Наконец, я все ближе узнавал пишущих сверстников, чему способствовало посещение лекций в только что открывшемся Вечернем рабочем литературном университете. Это был прямой предшественник нынешнего Литинститута имени Горького. И располагалось тогдашнее весьма скромное учебное заведение тоже в Доме Герцена на Тверском бульваре.

Но при всех своих юношеских обретениях я еще не был причастен к переводческому делу. Поэтому, захваченный

«Гаргантюа и Пантагрюэлем», я не задумался над тем, что могло означать переложение этого романа для Заболоцкого. Узнавая Рабле впервые, я естественно следил за перипетиями живописного повествования и не очень присматривался к тому, как сотворен пересказ, как сквозь тирады Рабле проступает личность художника, написавшего «Обводный канал», «Свадьбу», «Рыбную лавку», «Белую ночь»...

Конечно, я отдавал должное изяществу обработки, меткости выражений. Но ведь так и полагалось — ведь за дело взялся сам Заболоцкий. Мне тогда не дано было уяснить главное. Понять, что это — одно из новых начал поэта, что его Пегас отныне принимает на свои крылья двойную кладь, что славный конек и впредь, паря над ленинградскими каналами и парками, тяжело ступая по далеким дорогам, степным и таежным, припадая к горным ключам Грузии, взмывая в московское небо, пощипывая переделкинские и тарусские травы, будет с каждым годом увеличивать свою грузоподъемность, послушный воле мастера.

4

Стихотворение Заболоцкого «Искусство», опубликованное посмертно, было написано в тридцатом году. Оно все уже проникнуто ощущением тесной связи человека с окружающей природой, эти строки звучат как пролог ко всему, что будет написано позже. Образное размышление, исполненное ясности, в последней строфе вдруг переходит в нечто, напоминающее своевольную логику детской игры, разумную несуразицу ребячьей считалки:

Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали словно живые.

Это четверостишие могло быть написано для «Чижа» и, во всяком случае, ассоциируется с тем, что порой появлялось на страницах этого журнала.

Но такая концовка взрослого стихотворения могла родиться и при чтении Рабле, где много лукавых нелепиц, отдающих здравомыслием, и занятных народных присловий. А позднее, при обработке романа для детей, превратиться в такие, к примеру, прибаутки о занятиях подрастающего Пантагрюэля.

В пересказе Заболоцкого юный гигант —

> Точил зубы о деревянный башмак,
> Руки мыл похлебкой,
> Чесался стаканом...
> Решетом воду черпал,
> Ловил журавлей в небе,
> По одежке протягивал ножки,
> Из топора себе суп варил.

...Но, может быть, Заболоцкий, принимаясь за пересказ Рабле, и сам еще не представлял себе, во что выльется такая попытка? Не исключено ведь и то, что поводом для этой работы поначалу послужили обстоятельства чисто житейские, необходимость в дополнительном заработке. От материального благополучия Николай Алексеевич был тогда весьма далек.

Вообще переводческое искусство нередко бывает связано с издательскими предложениями. Пушкин заказывал переводы для своего журнала. Тютчевское творение «С временщиком фортуна в споре...» — это перевод шиллеровской, как тогда говорили, пиесы — «Das Glück und die Weisheit» — «Счастье и мудрость», выполненной по просьбе Гербеля, проще говоря, по заказу. Таких классических примеров предостаточно.

Работая над пересказом Рабле, Заболоцкий прикоснулся к творчеству другого художника, отдаленного столетиями, но весьма близкого по духу, потому что соприкасаться с чем-либо далеким автор «Столбцов» не умел, а если бы и умел, то не пожелал бы. При его человеческой и поэтической цельности это было просто немыслимо.

Как бы ни складывалась жизнь, он не отделял собственные стихотворения от прозаического пересказа, работу в детском журнале от создания философских поэм, поиск своего дальнейшего пути от поиска тех, давних или нынешних, родственных собратьев по перу, открытие которых для русского читателя становилось его кровным делом.

Все связывалось в единый узел. Еще не улеглись отголоски критической бури, вызванной «Столбцами», еще грохотал критический гром, порожденный поэмой «Торжество земледелия». А поэт писал новые лирические строки, не изменяя себе, но избавляясь от юношеской избыточности, совершенствовал свое искусство пересказа, обрабатывая для детей страницы Джонатана Свифта и Шарля де Костера, и

уже подходил к стихотворным переводам. Вслед за Тихоновым, Пастернаком, Антокольским он становился поэтическим открывателем Грузии, ее знатоком и любимцем. Николай Алексеевич воспроизводил строки классиков и современников, он уже дерзнул обратиться к Руставели — на рабочем столе мастера возникал первый вариант переложения великой поэмы.

Так складывались для поэта начало и середина тридцатых годов. Всего было вдоволь — огорчений и радостей, врагов и друзей, и, как всегда — работы. И на все его хватало. И тогда, и в дальнейшем от всех превратностей судьбы он спасался непрестанным творчеством.

Как тут снова и снова не вспомнить перевод «Слова о полку Игореве», созданный поэтом, как известно, в пору, когда на его долю выпали крайние невзгоды и лишения. Это поистине высокий пример плодотворной и спасительной самоотдачи, когда чувство художнического и гражданского долга оказывается выше личных страданий.

«Поэт работает всем своим существом» — эти слова из лаконичной, но необыкновенно емкой статьи Заболоцкого «Мысль — Образ — Музыка», написанной много лет спустя, звучат как его девиз.

5

Когда после войны Заболоцкий появился в Москве, его переложение «Слова о полку» было напечатано в журнале «Октябрь».

Вспоминаю, как я тогда, в сорок шестом, набросился на эту публикацию. Изучал каждую строку с особым радостным пристрастием. Дело было не только в моем давнем увлечении Заболоцким. Здесь имелась и другая причина, тоже очень существенная.

Для меня «Слово о полку Игореве» было тесно связано с годами киевского детства. В нашей школе преподавательница литературы, Наталья Семеновна Манджос, создала кружок любителей внеклассного чтения. Строки, не входившие в тогдашнюю школьную программу, звучали в неурочные часы, которые выкраивала для нас Наталья Семеновна. Там впервые я услышал и отрывки «Слова» в переводе Майкова. Четкость белого стиха, плавность пятистопного ямба, женские окончания, как бы расширявшие каждую строку, все это рождало ощущение величавой певучести.

Майковское переложение и впрямь одно из лучших среди существующих. Как все, что узнается в детские годы, оно запечатлелось в сознании. Запечатлелось еще и потому, что многое в древней поэме было нам близко и понятно — ведь эти строки воскрешали прошлое наших родных мест. Мы читали: «Ты ли, Днепр мой, ты ли, мой Славутич...», «За Сулой-рекою да ржут кони, звон звенит во Киеве во стольном...», «Ярополк увез и отче тело ко святой Софии...», «Тужит град Чернигов...»

Наталья Семеновна говорила нам, что «Слово», призывавшее к единению русских земель, возможно, было создано именно в нашем городе. Как и «Повесть временных лет».

Стольный Киев, святая София, приднепровские кручи — в этом заповедном окружении мы росли. Страницам истории вторили названия городских улиц — Игоревская, Владимирская, Софийская, Ольгинская, Рогнединская, Нестеровская, Вышгородская, Ярославов вал, Нижний вал. А еще были — Святославский яр, Батыева гора.

Возвращение Игоря из половецкого плена, его проезд по Киеву мы представляли совершенно зримо. «Игорь едет, на Боричев держит, ко святой иконе Пирогощей». Крутой Боричев взвоз, соединявший верхнюю часть города с Подолом, проходил примерно там, где сейчас ниспадает к прибрежью Андреевский спуск. Мы не раз одолевали эту крутизну. Церковь Богородицы Пирогощей, объяснила нам учительница, находилась на подольском торговище, где киевляне собирались на вече. Да и Чернигов, и тихая речка Сула, которую я видел, когда ездил со старшим братом к родичам в Лубны, — все это было тоже не за горами.

Оставалось лишь дать волю воображению, чтобы увидеть багряные щиты, золоченые шлемы, грозные копья, чтобы услышать звон мечей харалужных и посвист бесчисленных стрел.

Всеобщий интерес, вызванный новым воспроизведением «Слова», объяснялся прежде всего тем, что перевод был превосходен. Но он и пришелся ко времени. В тот первый послевоенный год пережитое было свежо в нашей общей памяти. А в дни боев ратные страницы нашей классики — от былин и «Слова» до «Бородина» и «Войны и мира» — зазвучали с новой силой. То, что в старину выпало на долю русских витязей, а в более близкие времена на долю солдат

Кутузова, волновало защитников Москвы и Ленинграда. Образ Ярославны, давно привлекавший поэтов, теперь возник во фронтовых стихах, обретя современные черты. Из того самого Путивля, откуда сквозь века долетал до бранных полей тоскующий женский голос, вышли в путь партизанские дружины Ковпака. Бои на Днепре и на Дону, сперва горестные для нас, а потом победные, воскрешали ратную географию «Слова». Сражение на Курской дуге опять вызвало к жизни строки о курянах, которые «повзросли под шлемом и кольчугой» и вскормлены «со конца копья». К этой метафоре не раз обращались тогда армейские газеты. Так же остро коснулось нашего слуха в освобожденном, разрушенном врагами Минске заповедное имя Немига, трагично прозвучавшее в «Слове». («Не снопы то стелют на Немиге, человечьи головы кидают! Не цепами молотят — мечами!») Немига — здешняя река, ныне, подобно московской Неглинке, в пределах Минска протекает под землей. Но это незримое течение бессмертно — его оберегает сама поэзия. Есть в Минске и старинная улица Немига, располагавшаяся когда-то на берегах суровой реки.

Обо всем этом размышлял и я, недавно снявший армейскую форму, когда впервые открыл номер журнала с переводом Заболоцкого. Фронтовые отблески соединились в сознании с картинами киевского детства, с глубинами истории. Новое переложение сразу увлекло меня, сперва приглушив, а потом полновластно заменив предыдущие пересказы.

Этот перевод стал еще одной певучей нитью, прочно связующей времена и события, мелодику древней речи и нынешний поэтический язык.

6

Вспоминается одна из случайных встреч с Николаем Алексеевичем, вдруг вылившаяся в беседу. Не так уж долго эта беседа продолжалась. Но ведь все относительно. Более долгого диалога с ним на мою долю не выпало. Скорее, это был короткий монолог Заболоцкого. Может быть, поэтому сказанное тогда запомнилось.

Это было в конце пятидесятых. Возле своего дома на улице Черняховского я увидел Николая Алексеевича, который вышел из писательской поликлиники и явно был в хорошем расположении духа. Поздоровались. Он первым начал разговор, спросив:

— Тоже ходили к эскулапам?

— Нет, я здесь живу. Надеюсь, вы посещали врача по незначительному поводу?

Заболоцкий улыбнулся:

— Повод значительный, но не огорчительный. Возможно, состоится одна поездка. Требуется разрешение медиков. Я боялся, что не дадут. Представьте себе, дали!

Уточнять, какая поездка предстоит, Заболоцкий не стал, но я понял, что она для него важна и желанна.

Мы пересекли Ленинградский проспект и направились к трамвайной остановке. Подоспевший вагон по дневному времени оказался полупустым. Мы сели друг против друга. Трамвай шел от метро «Аэропорт» к Беговой неторопливо, делал частые остановки, позвякивал.

— Люблю, знаете ли, пользоваться трамваем, — продолжил разговор Заболоцкий. — Что-то в этом способе передвижения есть приятное, старомодное, даже уютное. Особенно когда народу мало, как сейчас. А вы, должно быть, направляетесь в наши края?

— Да. Еду к Марии Петровых.

В ту пору Мария Сергеевна составляла и редактировала поэтический сборник, в котором я участвовал как переводчик. Вот мы с ней и условились о деловой встрече.

Заболоцкий сказал о Петровых добрые слова. Выяснилось, что он знаком не только с ее переложениями, достаточно известными, но и с оригинальными стихами, которые она, по причине крайней взыскательности и скромности, почти не печатала.

Зашла речь и о Вере Звягинцевой, чья дружба с Петровых была скреплена их общей верностью армянской поэзии.

— Да, они обе переводят главным образом армян, — кивнул головой Заболоцкий. — А вы отдаете предпочтение белорусам?

Я сказал, что в этом смысле учусь у мастеров-однолюбов, которые, хотя порой и переводят с разных языков, все же постоянно связаны с одной республикой и ее поэзией. Белоруссию, где мне пришлось воевать, я давно и нежно люблю. А неизменную преданность самого Заболоцкого грузинским классикам и современникам считаю для себя высоким примером.

Николай Алексеевич заметил, что все зависит от того, как складывается судьба переводчика и каков он сам. Можно переводить с одного языка и быть *разнолюбом*. Можно перелагать разноязычных поэтов и оставаться самим

собой. Искусству перевоплощения должно сопутствовать искусство внутреннего отбора.

Произнося это, Заболоцкий выделял слова, которые считал особо важными. Пожалуй, ни согласия, ни возражений собеседника ему не требовалось. Сказал — как отрезал. И стал глядеть в окно.

Пока мы говорили о вещах житейских, о трамвае, о врачах, о наших общих знакомых, он был открыт, сердечен, почти весел. Как только мы коснулись дела, он стал серьезней, жестче, как бы отдаленней.

Вдруг Николай Алексеевич повернулся ко мне и снова заговорил. Переводить, сказал он, вообще надо в меру. Работа над переложениями совершенствует уровень версификации, оттачивает стихотворную технику. Но постоянный пересказ чужих мыслей и метафор может приучить к лености собственный ум, собственную фантазию.

Скажи это кто-нибудь другой, я бы не удивился. Тогда все могло бы прозвучать как предостережение, продиктованное горьким опытом человека, чьи начинания в оригинальном творчестве погасила переводческая работа. Но это заявил Заболоцкий, сумевший перевести тысячи иноязычных строк и при этом сохранивший свежесть и своеобразие своего таланта, обаяние интеллекта, достигший новых глубин в своей поздней лирике. Заболоцкий, который вынашивал обширные переводческие замыслы, по слухам, собирался воспроизвести «Кольцо Нибелунгов» и уже приступил к созданию свода русских былин.

Все это я хотел ему высказать, но почувствовал, что он снова отключился и к дальнейшим рассуждениям не расположен.

Мы сошли в конце Беговой и направились к однотипным коттеджам, в которых обитали писатели. Здесь Николай Алексеевич внезапно оттаял. И сказал почти извиняющимся тоном:

— Надеюсь, вы поняли, что негативная часть сказанного мной лично к вам никакого, даже малейшего отношения не имеет. Ваша привязанность в белорусам понятна, она оправдана всем, что вы делаете. Так же, как, полагаю, и мое давнее влечение к поэтам Грузии, без которых жизнь моя была бы неполна.

Оказывается, он предположил, что я, не дай бог, заподозрил какой-либо намек в его размышлениях. Спохватился, поспешил объясниться и снять ощущение дистанции, которое могло невольно возникнуть у меня, ког-

да он с холодноватой четкостью излагал свое отношение к делу.

Николай Алексеевич улыбнулся одними глазами, и мне показалось вдруг, что стекла его очков, до этого как бы затянутые туманцем, лукаво сверкнули. Уже прощаясь, он произнес доверительно, почти шепотом:

— А переводы, как правило, вредят только тому, кто и без них страдает вялостью разума и воображения.

О как сочетались в этом человеке твердость и чуткость, цельность и неожиданность!

7

Когда перечитываешь созданное Заболоцким за три с лишним десятилетия работы в поэзии, поражаешься тому, как необыкновенно плодотворна его поздняя пора. С того дня, когда после войны Николай Алексеевич приехал в Москву с переводом «Слова», и до последних часов своей жизни он работал неутомимо и вдохновенно, как бы наверстывая упущенное и в то же время ощущая, что жизненный срок, отпущенный ему, не столь уж велик.

За десять — двенадцать послевоенных лет он создал значительнейшую часть своих оригинальных творений. А если говорить о своде его переложений, не только лучшая, но и большая часть переводческого наследия Заболоцкого приходится на эти последние годы.

В молодую пору Заболоцкий иногда предпочитал прямой авторской речи построение причудливого сюжета, где по ходу событий возникали диалоги. Участники действия обменивались парадоксами, философскими тирадами, лихими присловьями, а то и газетными лозунгами. Свои мысли, свою фантазию, даже споры с самим собой поэт вкладывал в уста условных персонажей.

Эти говорящие символы почти не обладали зримыми приметами. Характеристики были минимальны. Иногда назывались только имена. Или обозначалась профессия. Лодейников. Соколов. Бомбеев. Лесничий. Тракторист. Солдат. В сложных мистериях сталкивались персонифицированные идеи, одушевленные категории, карнавальные маски. Рассуждали не только люди, но и растения, звери, вещи.

В лирике последних лет Заболоцкий чаще всего говорит

от своего имени. А если прибегает к посредничеству, вместо пунктирных фигур в стихах возникают живые характеры, подтвержденные поступками. Некрасивую девочку мы узнаем и успеваем полюбить с первых же строк. Мы видим лицо дурнушки, видим ее жалкую одежонку и богатую бескорыстную душу. Девочка не произносит ни слова, нам неведомо ее имя, но огонь, мерцающий в ее душе, не угасает и в нашей памяти.

В стихотворении «Последняя любовь» все приглушено — молчит шофер, сочувствующий немолодым влюбленным, понимающий, что «их песенка спета». Даже мотор автомашины тяжело трепещет (где еще найдешь такой глагол, когда речь идет о двигателе!). А все стихотворение не что иное, как затаенный крик души.

Перечитайте другие стихи-портреты, созданные поздним Заболоцким. «Прохожий», «Жена», «Старая актриса», «В кино», «Это было давно», «Железная старуха», «После работы», «Поэт». В этой галерее не все равноценно. Но как убедительны и разнообразны судьбы! Как достоверны наблюдения!

В цикле статей Льва Озерова «Письма о поэзии» есть одна, озаглавленная торжественно — «Ода эпитету». В ней воздается должное все возрастающей силе прилагательного в русской стихотворной речи. Эпитету справедливо отведена существеннейшая роль в поэтическом искусстве. «Скажи мне, какой у тебя эпитет, и я скажу, кто ты», — гласят завершающие строки статьи. Признаюсь, концовка показалась мне убедительной.

Перед этим Озеров пишет:

«Освященный народом образ — «нива золотая» — Лермонтов, по всему видно, не захотел дублировать и написал: «Когда волнуется желтеющая нива». «Желтеющая» — это новая по тому времени краска, свежий — и не только по тому времени — эпитет.

...«Золотой» или «золотистый» — эти эпитеты и в наше время поэты, наделенные вкусом, стараются не употреблять».

С этим я тоже согласился. Да и как не согласиться, если еще в 1821 году известный журналист, создатель «Сына отечества» — Воейков упрекал в своем журнале Раича в том, что он злоупотребляет эпитетом золотой. Об этом я прочитал у Юрия Тынянова в его работе «Вопрос о Тютчеве»,

впервые опубликованной тоже достаточно давно — в 1923 году.

Стоит напомнить, что Семен Егорович Раич — поэт, критик, переводчик — был первым литературным наставником Лермонтова и Тютчева. Лермонтов еще только подрастал, когда прилагательное «золотой» уже не котировалось у тогдашних критиков.

...Все же меня что-то беспокоило. Я взял с полки том Заболоцкого, углубился в его стихи. И тут же нашел «*золотого* зарева пятно»... И рядом «вина *золотая* струя».

А дальше — боже мой! — чего только не позволял себе Николай свет Алексеевич! Снега у него *седые*, дева — *светлоокая*, чаща *темная*, небо — *синее*, друзья — *верные*, слезы — *светлые*, красота — *нетленная*, царство — *волшебное*, лось — *гордый*.

И все это — почти подряд, все это не из каких-либо проходных стихотворений, не включавшихся в книгу, а из самых наших любимых, широко известных, которые у каждого на слуху.

И не только из тех, что написаны в позднюю пору. Стихи двадцатых и начала тридцатых тоже не всегда полны неожиданностей. Там порой тоже возникают *привычнейшие* обозначения. Листы — *сонные*, тело у футболиста — *стремительное*, стены — *каменные*. О Седове сказано, что он — *отважный сын земли*. И опять: виденья *чудесные*, дула *стальные*...

Значит, обаяние Заболоцкого таково, что сознательной «вторичности» мы просто не замечаем. Как не замечаем у великих поэтов глагольную рифму. Интонация стиха, напряжение мысли таковы, что эпитеты, казалось бы давно и безнадежно *отслужившие* свой срок, кажутся нам прекрасными, сегодняшними, только что найденными. Наваждение, волшебство! Но может быть, в этом и заключена суть поэтического искусства?

Нет, речь вовсе не идет о том, что автор «Столбцов» в свою зрелую пору отказался от поиска. И в ранних и поздних стихах он весьма неоднозначен. Кто он — архаист или новатор? Смолоду тяжеловесная велеречивость сочетается у него с броскостью, с экспрессией, Державин уживается с Хлебниковым. А в последние годы, достигнув классической ясности, Заболоцкий по-прежнему готовит нам открытия. И рядом с простейшими определениями, обретающими свежее звучание, он дарит нам сочетания слов,

только ему присущие, метафоры, рожденные все той же неувядающей фантазией.

Листаем Заболоцкого. «Целомудренная бездна стиха» — как незаменимы и неразрывны эти слова, создающие образ монолитный и трепетный. Обратим внимание на то, как полюбившийся поэту эпитет, варьируясь на разных страницах, воздействует на нас по-разному. О лесном озере сказано — «целомудренной влаги кусок». Так и представляешь себе этот светящийся среди стволов прозрачный и цельный круг или овал. В автобиографическом очерке «Ранние годы» находим фразу «целомудренная прелесть растительного мира». Еще одна грань слова, сверкнувшая в прозе поэта.

В «Творцах дорог» появляется купол звенящих насекомых, и мы сразу видим тайгу и небо над ней.

«Два крыла, как два огромных горя», — на воду тяжело садится подстреленный журавль. «Ее глаза — как два тумана, полуулыбка, полуплач, ее глаза — как два обмана, покрытых мглою неудач» — это о женщине, изображенной на портрете кисти Рокотова. «Плывет белоснежное диво, животное, полное грез» — это лебедь. О прекрасной птице сказано «животное». Рядом с приземленным определением современно звучат старинные слова — «диво» и «грезы».

Можно при этом вспомнить строку из раннего Заболоцкого — «спит животное Паук». Поэт не побоялся повторить себя самого на более позднем витке.

Любопытно, что в яснополянских дневниках Л. Н. Толстого есть такая запись, запечатлевшая весну: «Какие-то животные, как угорелые, из куста в куст летают и зачем-то свистят изо всех сил и как отлично!»

Это занесено в дневник в мае 1858 года.

Стихотворение «Лебедь в зоопарке» написано Заболоцким девяносто лет спустя — в 1948 году.

Разное время. Разные художники. Сопоставления тут излишни. Просто отметим про себя, что тот, кто ближе к нам по времени, сумел найти свои слова, соединил их по-своему.

Поздний Заболоцкий реже прибегает к парадоксальным эпитетам, реже сталкивает разнозначные понятия. Метафоры вспыхивают нечасто, но уже вспыхнув, поэтическая находка озаряет все стихотворение, меняет его среду, застав-

ляет все слова, в том числе и устаревшие, светиться по-новому.

В стихах становится больше воздуха. Заболоцкий дает своему зрению, а заодно и нашему, отдохнуть, он делает поблажки и слуху. Зато увеличивается нагрузка души.

8

«Давно уничтожена граница между растениями и животными, — читаем у Циолковского. — Нет ни одного свойства живого, которого бы не было и у мертвого камня»...

Не будем вдаваться в суть этих утверждений. Удостоверимся лишний раз в том, что Циолковский был не только автором дерзновенных изобретений и гипотез, но и обладал душой художника. Это соединение знаний с безудержной фантазией и позволило ему стать гениальным прозорливцем.

«И встретил камень я. Был камень неподвижен, но проступал в нем лик Сковороды...»

Как сходно воспринимали мир поэт и ученый! Переписка с Циолковским, изучение его трудов были для Заболоцкого внутренней потребностью. Это заочное общение плодотворно сказалось на его лирике, на его отношении к природе.

Для Заболоцкого в этом мире нет ничего неодушевленного. Обратимся к стихотворению «Гроза»: «Травы падают в обмороки направо бегут и налево». В «Засухе»: «В смертельном обмороке бедная река чуть шевелит засохшими устами». В «Прогулке»: «Речка девочкой невзрачной притаилась между трав, то смеется, то рыдает, ноги в землю закопав». В поэме «Деревья»: «Цветут растений маленькие лица».

В «Лодейникове» сказано: «Природа пела. Лес, подняв лицо, пел вместе с лугом. Речка чистым телом звенела вся, как звонкое кольцо»...

А вот как изображает поэт наших братьев меньших: «Бык, беседуя с природой, удаляется в луга...», «Там на ином невнятном языке поет синклит беззвучных насекомых, там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых». «Сидит извозчик, как на троне, а бедный конь руками машет». «Вокруг меня кричат собаки»...

Высокой духовности исполнено лицо коня в одноименном стихотворении Заболоцкого.

Кстати, вспомним тихоновский «Ночной праздник в Алла-Верды»: «Чихиртмой, очажным дымом пахли жаркие харчевни над стенаньями баранов с перепуганным лицом». У обреченного животного в миг заклания поэт увидел конечно же лицо, выражающее смертный страх, тоску, укор.

О том же празднике написал и Тициан Табидзе. Вот строфа из его стихотворения, переведенного Заболоцким: «Костры с шашлыками горят над рекой, слезятся от дыма веселые лица. Олень угощает оленя травой, вином кахетинец поит кахетинца».

Олень угощает оленя травой. Как близки переводчику эти строки!

В стихотворении «Горы спят» Важа Пшавела прислушивается к плеску воды, напоминающему плач. Заболоцкий бережно доносит до нас печальную строфу о роднике в полночном ущелье:

Вот всхлипнул он, тяжко дыша,
Откликнулся эхом несмелым
И смолк... И как будто душа
Рассталась с измученным телом.

Перелагая стихотворение Симона Чиковани «Вардзийский зодчий», воспроизводя зримый образ древнего города, высеченного в скальной породе, на крутом склоне горы, мысленно созерцая бесчисленные узкие амбразуры, крутые галереи Вардзии, поэт нашел достойные подлинника слова: «Сотни глаз отворив молчаливо, надо мною зияла скала».

Это увидено Чиковани, но здесь мы ощущаем и взгляд Заболоцкого.

Природа обретает черты, присущие человеку. Но полнота гармонии заключается в том, что и человек воплощает в себе лучшие свойства природы.

О безвестном зодчем, сотворившем несокрушимое чудо, у Чиковани сказано: «Мертвый камень трудами своими оживил ты в великой борьбе. И коль ты потерял свое имя, будет Вардзия имя тебе».

Строитель, растворившийся в своем создании, слившийся с одушевленным камнем, ставший частью природы, — это все бесконечно близко и переводчику.

Здесь тоже сказалось искусство отбора строк для перевода, о котором говорил мне когда-то Николай Алексеевич в трясущемся и звенящем трамвайном вагоне.

Вот что примечательно: люди, дружившие с Николаем Алексеевичем, соседствовавшие с ним в Москве и в Переделкине, вспоминают, что он не совершал долгих прогулок. Больше времени проводил дома или поблизости. Дышал воздухом, сидя у окна. Он в ту пору был уже болен. Но, кажется, он и прежде не имел пристрастия к углубленному хождению в лес, к восторженному созерцанию звездного неба, полевой или речной шири. Избегая внешних проявлений любви к природе, он ощущал ее всем своим существом.

Даже короткого выхода на «пленэр» ему доставало для того, чтобы сказать свое слово о прелести окружающего мира так, как не в силах сказать иные грибники, рыболовы, охотники, подолгу пропадающие в чащах и на прибрежьях, похваляющиеся этим, хотя в их любви есть и своя, пускай естественная, но все же корыстная цель — некая добыча, некая дань, которую они берут с природы.

Заболоцкий был в этом отношении абсолютно бескорыстен. В то же время его не назовешь созерцателем. Работая на Севере, он прошел суровую школу активного общения с природой. После войны, живя в Переделкине, на чужой, пустующей даче, копался в огороде, выращивая картошку, добывая дополнительное пропитание для семьи. Это занятие, как и рубка дров, было для него привычно. И на Беговой, под окнами своей московской квартиры, Николай Алексеевич разбил скромный цветник, посадил два дубка.

Пусть большие пешие броски были ему не по нраву да и не под силу. Но, выйдя в свой городской палисадничек, он мог услышать органные трубы ночного сада. А сидя под яблоней у крыльца в Тарусе, мог приметить любую малость, близко принимал к сердцу каждое движение листа, перемещение облака, слышал трубный плач журавля, песенку иволги, голос жука. Наблюдение превращалось в метафору, в одухотворенную мысль.

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно увидеть у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Живя в Тарусе, Заболоцкий дружески общался с Паустовским. Константин Георгиевич давно облюбовал эти места. Отдав когда-то, в раннюю пору, изрядную дань ярким

краскам и экзотическим землям, он с возрастом почувствовал неодолимую тягу к лесам, рекам, оврагам средней полосы.

В конце сороковых, в стихотворении «Я трогал листы эвкалипта...» Заболоцкий поделился с читателями сходным ощущением:

Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рощи.
Где синее небо бледнее,
Растенья скромнее и проще.
Где нежная иволга стонет
Над светлым видением луга.
Где взоры печальные клонит
Моя дорогая подруга.

Пожалуй, именно в Тарусе Николай Алексеевич написал самые проникновенные пейзажи, навеянные окружающей природой. «В своих стихах Заболоцкий часто становится в уровень с Лермонтовым, с Тютчевым — по ясности мысли, по удивительной их свободе и зрелости, по их могучему очарованию». Это строки из очерка Паустовского «Наедине с осенью». Написанные с присущей Константину Георгиевичу возвышенностью, они сегодня могут кому-то показаться преувеличением. Но кто знает, может быть, быстротекущее время признает справедливость этой взволнованной оценки?

В «Столбцах» да и в «Торжестве земледелия» пропорции окружающего мира были сознательно нарушены. «Тут природа вся валялась в страшно диком беспорядке»... Вспомним и более позднее — «Я не ищу гармонии в природе»...

«На закате» — одно из последних стихотворений поэта, опубликовано уже посмертно. Предчувствие конца — и в самом заглавии, и в строках стихотворения.

На гладкой шелковой площадке,
Чей тон был зелен и лилов,
Стояли в стройном беспорядке
Ряды серебряных стволов.

Сколько надо было пережить, перечувствовать, чтобы постигнуть с т р о й н ы й беспорядок природы, е с т е с т в е н н о с т ь этого своевольного расположения деревьев.

9

Принято говорить о некоторой холодноватости лирики Заболоцкого. В этом тоже надо разобраться.

Светлов утверждал, что обильные слезы это еще не лирика. Истинная лирика — это сдерживаемые слезы.

А вот как перекликался с ним Заболоцкий: «Если человек не дикарь и не глупец, его лицо всегда более или менее спокойно. Так же спокойно должно быть и л и ц о стихотворения. Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично увидит все игралище ума и сердца».

Эту собственную заповедь зрелый Заболоцкий нарушал редко. Но если уж нарушение допускалось, оно было оправдано. Тогда сквозь олимпийское спокойствие прорывался патетический звук, сдержанность оборачивалась дерзкой метафорой, внезапной исповедальностью. Тогда перед нами во всю ширь открывалось и г р а л и щ е ума и сердца.

Березы, вы школьницы! Полно калякать,
Довольно скакать, задирая подолы.
Вы слышите, как через бурю и слякоть
Ревут водопады, спрягая глаголы?
Вы слышите, как перед зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами ели,
Как маленький Гамлет рыдает кузнечик,
Не в силах от вашей уйти канители?
Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?
В который мне раз ты твердишь, потаскуха,
Что здесь на пороге всеобщего тленья
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело.
Мы, люди, — хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поет Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края до края
Мы учим и пестуем младшего брата,
И бабочка, в солнечном свете играя,
Садится на лысое темя Сократа.

Это стихотворение очень любил Антокольский.

К Заболоцкому он относился с особым пристрастием со времени давней их встречи в Ленинграде, и об этом он сам

написал. Многие строки своего собрата и его оригинальные стихи и переложения Павел Григорьевич знал на память. Он любил угощать ими друзей. Когда вышло посмертное издание Заболоцкого, где впервые появилось стихотворение «Читайте, деревья, стихи Гезиода», Антокольский делился со всеми своей радостью. И тут же начинал цитировать, восторженно вздымая руку с крепко стиснутым кулаком: «Как маленький Гамлет рыдает кузнечик...», «В который ты раз мне твердишь, потаскуха...», «Вот так я тебе и поверил. Покуда не вытряхнут душу из грешного тела...»

Очень уж эти строки были сродни его темпераменту. Он читал и говорил мне:

— Ты даже не представляешь себе, какое будущее ждет Заболоцкого!

10

Последний раз я увидел Николая Алексеевича осенью пятьдесят восьмого года в Доме литераторов. В те дни, после поездки в Италию группы советских поэтов, итальянские коллеги прибыли в Москву с ответным визитом. В Дубовом зале открылась дискуссия. Участники ее расположились за продолговатым столом, покрытым зеленым сукном. Однако встреча именовалась круглым столом — тогда это понятие начало входить в силу.

Естественно, что кроме прямых участников собеседования в зале было много слушателей. Они сидели вдоль стен и на хорах.

Я опоздал к открытию, нашел свободный стул у двери. Выступал поэт Иньяцио Буттита, представлявший Сицилию.

Оглядевшись, я увидел Заболоцкого. К моему удивлению, он сидел неподалеку, у стены, а не за столом. А ведь ему полагалось быть в гуще дискуссии. Он принадлежал к числу участников итальянской поездки. Именно об этом путешествии, как выяснилось, шла речь в тот день, когда я встретил Николая Алексеевича на улице Черняховского, когда он радовался снисходительности врачей к нему, перенесшему инфаркт.

Сейчас Николай Алексеевич выглядел усталым. Возможно, он чувствовал себя не очень хорошо и поэтому на всякий случай сел поближе к двери.

В это время председательствующий объявил, что, ко все-

общему сожалению, Сальваторе Квазимодо — выдающийся поэт Италии, тоже прибывший в Москву, захворал, у него сердечное недомогание, и врачи уложили его в постель. Предлагается послать в гостиницу маленькую делегацию, передать больному добрые чувства московских друзей и пожелания скорейшего выздоровления. Среди тех, кому было поручено это сделать, назвали Заболоцкого.

Николай Алексеевич встал и слегка поклонился, давая понять, что считает для себя честью эту миссию. Между тем он явно побледнел. Очевидно, самочувствие Заболоцкого было таково, что направлять его к больному, да еще сердечнику, не стоило.

Сидевшие с ним рядом стали ему шепотом что-то говорить — очевидно убеждали, что ему самому сегодня лучше поберечься.

Но Заболоцкий поехал к захворавшему гостю. Чувству самосохранения он предпочел чувство долга и человеческое участие.

Уже в гостинице выяснилось, что Квазимодо увезли в Боткинскую, что у него установлен инфаркт, что общение с ним исключено.

...Я запомнил, как Заболоцкий стоял тогда в Дубовом зале, осунувшийся, но непреклонный в своем решении.

Больше мне не пришлось увидеть его живым. Вскоре в том же зале, в числе почитателей поэта, я получил горькое право несколько минут нести караул у его гроба.

Приступая к этим страницам, я вспомнил о том, как запечатлены современниками внешние черты Заболоцкого, как при первой встрече поражало несовпадение этих черт с внутренним обликом поэта. Каждый при знакомстве всматривался в лицо, казавшееся непроницаемым, подыскивая сравнения и эпитеты, стремясь к разгадке, ища свой ответ.

Ничего неожиданного нет в том, что самый естественный ответ найден был самым близким другом поэта — его женой. Продиктованный долгими годами совместно прожитой, очень непростой жизни, этот ответ был краток и прост, как любая истина.

«...Когда я спросил Е. В. Заболоцкую, что же все-таки больше всего было характерно для выражения лица Заболоцкого, она ответила: «Просветленность».

Вопрос Екатерине Васильевне задал Адриан Македонов — биограф поэта и вдумчивый исследователь его творчества. Скажем прямо, вопрос был адресован безошибочно, и награда воспоследовала незамедлительно.

Просветленность.

Время, с каждым годом отдаляющее нас от ушедшего, просветляет и наследие поэта. Мы все глубже постигаем то, что оставил нам Заболоцкий, с новой мерой подходим к его свершениям. Даже ранние его страницы, которые когда-то казались темными, сейчас во многом обретают ясность, находят более широкое понимание.

Воссоединяется то, что представлялось разрозненным. Менее резким становится деление этой литературной судьбы на обособленные периоды. Эволюция таланта теснее связывается с изменениями, происходившими в самой жизни, с ходом времени.

Когда мы говорим о неделимости того, что создано Заболоцким, мы, конечно, подразумеваем и его переводческие творения.

В последней поэме «Рубрук в Монголии» поэт с изрядной долей иронии описал толмача, который сопровождал монаха, посланного французским королем в страну древних монголов. Беспечный спутник Рубрука плохо знал свое дело и, переводя, «плел то, что под руку пришлось». Но, даже владей он своей профессией отлично, ему был недоступен особый язык обычаев, житейского опыта, нравственных устоев, укоренившихся в далекой восточной стране, противостоявший всем европейским канонам.

Здесь пели две клавиатуры
На двух различных языках.

Заболоцкий владел искусством проникновения не только в иноязычные стихи, но и в иноязычную жизнь. Он в равной мере постигал поэтов наших дней и певцов иных времен. В его творчестве две клавиатуры пели на одном языке — на языке поэзии.

Собрание произведений Заболоцкого завершается двумя лирическими шедеврами, звучащими как завещание. Это — прославленное стихотворение «Не позволяй душе

лениться» и предшествующее ему, уже упоминавшееся — «На закате». Вслушаемся в одно из прощальных четверостиший, вслушаемся напоследок и запомним впрок:

Два мира есть у человека;
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Просветленное лицо поэта открыто современникам и потомкам. Мир, созданный его стихами и переводами, теперь принадлежит к тому изначальному миру, который творит нас. Поэт остается с нами и продолжает работать в с е м с в о и м с у щ е с т в о м.

1980



Н. Заболоцкий на прогулке в березовой роще близ Тарусы. 1957 г.

Л. ЛИБЕДИНСКАЯ

ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛ...

Сразу после войны на западной окраине Москвы, где испокон веков были огромные пустыри и свалки, возник странный архитектурный ансамбль. Город не город, деревня не деревня. С грохотом проносились тяжелые грузовики по узкому тогда Хорошевскому шоссе, пронзительно кричали паровозы на Окружной железной дороге, звенела трамваями суетливая Беговая улица. И вдруг среди напряженной, стремительной жизни двадцатого века стали один за другим подниматься добротные каменные двухэтажные особняки — желтые, зеленые, голубые. Белые колонны, лепные украшения на фасадах, массивные двери, — девятнадцатый век, да и только! Не хватало разве приходской церкви... Домиков было многое множество, но все они носили единый краткий почтовый адрес: «Беговая 1-а».

Здесь поселились люди самых разных профессий — рабочие и ученые, артисты, музыканты, художники, военные, служащие, архитекторы. Несколько квартир Моссовет предоставил Союзу писателей.

В памяти всех еще живы были трудные военные годы, и люди особенно остро ощущали радость мирных будней. Жили на Беговой, несмотря на все различия, дружной и слаженной жизнью. Принимали близко к сердцу все события в жизни соседей, радовались удачам, старались облегчить невзгоды. Здесь всех детей знали по именам. А по вечерам, когда позади оставался день, исполненный трудов, забот, заседаний, ходили друг к другу в гости. Короче говоря, жители этого поселка хорошо знали друг друга. Но вот однажды я увидела в окно незнакомого человека. Он шел по гладкой асфальтированной дорожке размеренной, степенной походкой, держа в руках тяжелую палку. Вот он встретил кого-то, вежливо, с достоинством поклонился, задержался на несколько мгновений и снова, так же спокойно, продолжал свой путь. Одет он был тщательно и даже подчеркнуто аккуратно, но без особой элегантности. Темное летнее пальто застегнуто на все пуговицы до самого подбородка, добротная фетровая шляпа жила на голове сама по себе, сохраняя магазинную первозданность.

А через несколько дней, придя вечером к профессору Н. Л. Степанову, я увидела за столом этого человека.

— Заболоцкий.

Заболоцкий?! Так это он написал прелестные, озорные, необычные стихи, напоминавшие талантливые детские рисунки, которые, раз услышав или прочитав, невозможно было не запомнить на всю жизнь:

Тут природа вся валялась
В страшно диком беспорядке;
Кой-где дерево шаталось,
Там реки струилась прядка...
Тут стояли две-три хаты
Над безумным ручейком,
Идет медведь продолговатый
Как-то поздно вечерком...

Все слова немного сдвинуты, стремительны и так точны!

В прекрасной библиотеке русской поэзии XX века, собранной моей матерью, писательницей Т. В. Толстой, была книжка Заболоцкого «Столбцы», в которую были вложены вырезки из журналов с теми стихами, которые не вошли в книжку, и я с детства знала многие из них наизусть.

Такие стихи, как «Цирк», «Форвард», «Меркнут знаки Зодиака», отрывки из поэмы «Торжество земледелия» и другие, были одними из любимых стихов моего детства, да и остались такими на всю жизнь. А какой радостью наполнялся день, когда почтальон торжественно вручал мне выписанные для меня родителями номера журналов «Еж» и «Чиж», где можно было прочитать новые стихи Заболоцкого, Хармса, Введенского, Олейникова... От матери услышала я впервые рассказ об обериутах, который потом продолжил Ю. Н. Либединский, проживший несколько лет в Ленинграде и знавший их лично. Но конечно же я и мечтать не смела о том, чтобы когда-нибудь с кем-нибудь из них познакомиться. И вдруг... Заболоцкий! Я смотрела на него с робким благоговением и вместе с тем не могла скрыть своего любопытства и откровенно разглядывала его. В его наружности и одежде не было и следа той артистической небрежности и свободы, которая подчас отличает людей искусства. Он был чисто выбрит, светлые волосы аккуратно расчесаны на косой пробор. Движения точные и немного скованные. Он никогда не жестикулировал и не повышал голоса. Взгляд больших серо-голубых глаз из-под очков с толстыми стеклами казался строгим и неподпускающим. Но вот в разговоре Заболоцкий неожиданно снял очки — и сразу все изменилось: на меня взглянули ласково-заинтересованные и усталые глаза человека, много и незаслуженно перестрадавшего, но не потерявшего доброго отношения к миру. Эта непроходящая, годами накопленная усталость во взгляде плохо сочеталась с его округлым, ровно румяным, без единой морщинки лицом.

В тот вечер Заболоцкий был весел и оживлен. Ему выдали ордер на получение квартиры в одном из вновь отстроенных особнячков. Как он радовался, что после стольких лет лишений получил наконец возможность спокойно жить и трудиться...

Провозгласили очередной тост, и Заболоцкий, посмеиваясь, обратился к своей соседке:

— Лидия Николавна, что есть на свете главно?

— На свете главно есть вино...

— Итак, да здравствует оно! — к общей радости собравшихся заключает Заболоцкий.

Заболоцкий много и благодарно рассказывал в тот вечер о Грузии, где недавно жил вместе с семьей довольно длительное время, о той заботе, которой окружили его грузинские поэты, несколько раз скупо, с присущей ему скром-

ностью, упомянул о своей работе над переводами грузинской классической поэзии. По этим скупым его репликам тогда невозможно было догадаться о том, какой титанический труд взял он на себя и что в скором времени достоянием русского читателя станут в непревзойденных переводах Заболоцкого грузинские классики Шота Руставели, Давид Гурамишвили, Илья Чавчавадзе, Григол Орбелиани, Важа Пшавела и такие прекрасные советские поэты, как Тициан Табидзе, Симон Чиковани и многие другие.

Вскоре дом Заболоцких стал одним из притягательных центров нашего поселка. По вечерам за гостеприимным столом собирались друзья. И, благо не надо было торопиться на городской транспорт, засиживались далеко за полночь, слушая рассказы Ираклия Андроникова, острые шутки Эммануила Казакевича, фронтовые истории Виктора Гольцева, нередко звучали здесь голоса грузинских поэтов. Долго не гас свет в маленьких комнатах Заболоцкого, и робкая зелень тоненьких как прутики, только высаженных деревьев казалась неестественно яркой в электрическом освещении.

— Хорошо тут жить, правда? — спросила я однажды Николая Алексеевича.

— Так хорошо, — серьезно ответил он, — что мне хотелось бы одного: прожить тут до самой смерти!

Весна 1953 года была тревожная. Множество вопросов поднималось в душе, вопросов о прошлом, о будущем. В середине марта мы с Юрием Николаевичем Либединским уехали в Мисхор и поселились в санатории «Сосновая роща». Вскоре туда же приехали Николай Алексеевич и Екатерина Васильевна Заболоцкие.

Ярко светило солнце, деревья одевались в белые и розовые пенистые одежды, билось о берега по-весеннему синее море. Природа невольно вовлекала нас в свой каждодневный праздник. Мы много ездили по Крыму на машине, поднимались на Ай-Петри, гуляли по узким улочкам Гурзуфа и Алупки, бродили по тенистым аллеям Никитского сада. Заболоцкий охотно принимал участие в прогулках и поездках. Но вдруг среди самого оживленного и веселого разговора становился серьезен и взволнованно говорил о том, что тогда волновало всех, о том, что началась новая страница истории России, а следовательно, и советской литературы.

— Я уверен, — сказал он однажды, — что у каждого настоящего поэта лежат в столе стихи, написанные за много

лет. Теперь их можно будет опубликовать, и тогда станет ясно, что наша поэзия всегда была богата и разнообразна!

В ялтинском домике Чехова к нашей группе присоединился щеголеватый молодой человек. Он разочарованно оглядывал скромные чеховские комнаты и обиженно твердил:

— Бедно жил классик, бедно! Красного дерева совсем нету... Не ценят в России таланты.

Кто-то из нас заинтересовался, какова профессия молодого человека.

— Энергетик! — охотно вступая в разговор, ответил незнакомец. — Но в тайне души — писатель. Только условий подходящих нет. И материальная база не та. Пришлось отложить занятия литературой до лучших времен.

Заболоцкий слушал его молча. И, только лишь когда мы вернулись в санаторий, сказал сердито:

— Условий у него, видите ли, подходящих нету! Да настоящего писателя за ноги к потолку подвесь — он все равно не перестанет писать. И слава богу, что нет у него подходящих условий!

Однажды утром, встретившись за завтраком, мы заметили, что Николай Алексеевич мрачен, раздражен, короче — совсем не похож на того доброго и жизнерадостного человека, которого мы привыкли видеть все эти дни. Так прошел день, другой, третий. Мы забеспокоились: не заболел ли, не стряслась ли какая неприятность? Я спросила у жены Заболоцкого, Екатерины Васильевны: что случилось? Она ответила спокойно и серьезно:

— Ему хочется писать стихи, а он себе не позволяет.

Прошло еще несколько дней. Николай Алексеевич повеселел, стал шутить, словно туча пронеслась. Улучив момент, когда он был благодушно настроен, я, набравшись храбрости, спросила:

— Николай Алексеевич, это правда, что вы не разрешали себе писать стихи?

Заболоцкий ответил сдержанно, — я вторглась в область, в которую посторонним людям вторгаться не полагалось.

— Лидия Борисовна, — сказал он вежливо (даже слишком вежливо!) и немного назидательно, — стихи надо писать, когда не можешь их не написать. Тогда читатель не сможет их не прочитать. А если писать обо всем, что попадется тебе на глаза, то есть укладывать в ритмы и рифмы

каждую мысль, что забрезжит в голове, то получатся стихи вроде тех, что я на ходу сочиняю во время наших поездок. Помните, мы ехали мимо Никитского сада и я сказал:

В селеньи Никита
Жил мальчик Никита,
Работал Никита в
Никитском саду...

Или есть у меня этакий шуточный цикл «Записки аптекаря». Послушайте несколько его записей:

Как странно... У Ильи-гомеопата,
Как и у нас, по рупь пятнадцать вата!

Бессмертны мы! — вскричал мудрец Агриппа.
Но обмишулился и умер он от гриппа.

Я засмеялась.

— Нравится? — спросил Заболоцкий. — Рад, что доставил вам удовольствие. Но к поэзии это не имеет никакого отношения.

Я пыталась возразить: под этими строчками не отказался бы подписаться Козьма Прутков.

— Нет, нет... — Николай Алексеевич поморщился и досадливо отмахнулся. — Стихи писать легко, поэтом быть трудно.

— Так что же, — не сдавалась я, — «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво»?

— Вот именно, — спокойно согласился он, явно не желая замечать моей иронии. — И заметьте: именно в е л и ч а в о, а не величественно. Эти стихи об уважении к искусству. Уважении, которого так часто не хватает самим художникам...

Заболоцкий пронес благоговейное уважение к искусству через всю свою сложную и во многом несправедливо сложившуюся жизнь, ни разу не изменив ему. Этим уважением пронизано все его творчество.

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не смогла?

Нет, поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна...

Мы шли по аллейке вдоль берега моря. На серой скале, изогнувшись, отведя руки назад и приготовившись к прыжку, стояла белая гипсовая девушка.

— Очень хочется помочь ей спрыгнуть! — неожиданно весело сказал Заболоцкий. И сделал движенье рукой, словно подталкивая статую. — Насколько лучше здесь стало бы без нее.

С моря дул ветер, соленый и влажный.

Уже по возвращении в Москву Николай Алексеевич во время одной из встреч прочитал нам короткий цикл «Весна в Мисхоре», где были такие замечательные строки:

Посмотри, как весною в Мисхоре,
Где серебряный пенится вал,
Непрерывно работает море,
Разрушая окраины скал.
Час настанет, и в сердце поэта,
Разрушая последние сны,
Вместо жизни останется эта
Роковая работа волны.

И он пытался не позволить себе их написать!

...В мае 1953 года в Доме литераторов, в небольшой комнате на втором этаже, состоялся творческий вечер Николая Алексеевича Заболоцкого в связи с пятидесятилетием со дня его рождения. Народу было мало. Но зато среди собравшихся — ни одного человека, который пришел бы сюда из каких-либо иных побуждений, кроме как из любви и уважения к юбиляру и его удивительному таланту. Вступительное слово сделал Н. Л. Степанов. Грузинские поэты прислали на самолете из Тбилиси огромный букет свежих роз. В заключение вечера Николай Алексеевич поблагодарил всех, кто пришел поздравить его, но в словах его чувствовалась обида. Приехав спустя несколько дней в Переделкино, он сказал с горечью:

— Почти никто из поэтов не пришел на мой вечер...

Может быть, потому, что литературная судьба Заболоцкого сложилась так сложно и трудно, он был особенно чуток ко всякому проявлению признания и внимания.

За полгода до его смерти встретились мы с ним в магазине. Это был день рождения нашего общего друга, и, встретившись, мы сразу поняли, что в магазин нас привела одна цель — поиски подарка.

— Нашли? — спросил он, не поздоровавшись.

— Пока нет. А вы?

— Нет. Но не теряю надежды.

Он засмеялся, ему нравился этот разговор, в котором главный предмет не назывался. Вдруг Заболоцкий посерьезнел, взял меня за рукав и с видом заговорщика отвел в сторону.

— Это еще не точно, — понизив голос, сказал он. — Потому никому не говорите. У меня большая радость: Союз писателей Грузии представил меня к ордену Трудового Красного Знамени. И говорят, уже подписано! — Он приложил палец к губам. — Не сглазить бы! — Рот его морщила с трудом удерживаемая улыбка.

Я так обрадовалась, что тут же в переполненном людьми магазине обняла и поцеловала его.

— У меня глаз добрый. Поздравляю.

— Благодарить, кажется, не полагается? — ласково ответил Николай Алексеевич.

А спустя короткое время мы увидели на экране телевизора, с каким гордым достоинством получал Николай Алексеевич Заболоцкий эту заслуженную высокую награду.

...Знойный июльский день 1958 года. Небо безмятежно голубое, но где-то на далеком горизонте грудились, угрожая дождем, грузные кучевые облака. По горбатым и пыльным, поросшим кое-где травой улицам Тарусы подъехали мы к небольшому домику за дощатым забором. Бородатая собачка визгливым лаем встретила нас. По крепким деревянным ступеням мы поднялись на узкий и длинный балкон, на перилах которого теснилось множество горшков с крупными лиловыми фиалками.

Мы не предупредили Николая Алексеевича о своем приезде, и он поначалу встретил нас немного растерянно, — видно, оторвали от работы. Долго вглядывался сквозь толстые стекла очков своими близорукими глазами, но вот узнал, улыбнулся, обрадовался, протянул руку.

— Просто так — взяли и приехали? — с веселым недоверием спросил он. — Вот молодцы!

Он быстро набросил поверх белоснежной, с распахнутым воротом рубашки куртку от полосатой коричневой пижамы и, как мы ни уговаривали его, что на дворе жарко, педантично застегнул ее на все пуговицы.

— Я сегодня один, все мои в Москву уехали, — сказал он смущенно. — Может, чаю напьемся?

Но мы отказались от угощения.

— Собирайтесь, Николай Алексеевич, поедемте с нами в Поленово... — сказала я.

Заболоцкий как был, в пижаме и тапочках на босу ногу, сел в машину. Мы спустились к реке, перебрались на пароме через Оку. Потом осматривали поленовский музей, подолгу стояли возле окон, откуда открывался вид, один прекраснее другого: синие дали, зубчатая кромка леса, скрепляющая небо и землю, изгибы реки.

В пустой и оттого гулкой мастерской художника — огромное, во всю стену, полотно «Христос и грешница». Мы долго молча разглядывали ее.

— Фарисеи, — нарушая тишину, раздался задумчивый голос Заболоцкого. Он указал в угол картины. — «Спасибо тебе, Господи, что ты не создал меня таким мытарем, как он...» Кажется, такими словами начинали эти евангельские чистоплюи свой день? — И грустно добавил: — Ханжество и мещанство — едва ли не самые страшные людские пороки! Избавится ли когда-нибудь от них человечество?..

Слушая его, я снова с невольным уважением подумала о том, как верен он своим убеждениям. В ранней молодости, раз вступив в войну с фарисейством и мещанством, пронес поэт эту ненависть через всю жизнь.

Побродив по парку, мы вышли из усадьбы. Небо заволокло, стало жарко и влажно, вот-вот начнет накрапывать дождик. Мы завтракали в душном предгрозовом лесу, разложив еду прямо на траве.

— Помните собачку, что встретила вас у ворот? — вдруг неожиданно спросил Николай Алексеевич. — Маленькая такая, с бородкой... — И он прочел с грустной усмешкой:

На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой.
Целый день она таращит
Умные глазенки,
Если дома кто заплачет —
Заскулит в сторонке...

Он замолчал, задумавшись. Мы, смеясь, похвалили стихи, думая, что это одно из тех шуточных стихотворений, о которых Заболоцкий говорил, что они не имеют отношения к поэзии.

Только после смерти Николая Алексеевича прочла я грустные стихи «Городок» — про девочку Марусю, про собачку с маленькой бородкой и прачку, у которой пьяница муж:

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе,
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!

В тот день плохо было в Тарусе не только девочке Марусе. Плохо было и самому Николаю Алексеевичу. Он шутил и смеялся, пил свое любимое вино «Телиани», декламировал строки Мандельштама:

В каждом маленьком духане
Ты товарища найдешь,
Только спросишь Телиани —
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в тумане поплывешь...

Но из глаз его не уходила напряженная тоска. Время от времени он принимал валидол и жаловался на боли в сердце. Потом вдруг забывался (или старался заглушить внутреннюю непроходящую боль?) и начинал с увлечением рассказывать о новой своей работе — переводе на русский язык «Нибелунгов».

Пожалуй, я впервые слышала, чтобы Заболоцкий так подробно и много говорил о своей работе. Обычно если он и рассказывал — о переводе ли «Слова о полку Игореве», или сербского эпоса, — то говорил об этом как бы вскользь, словно боялся утомить собеседника, боялся, что это неинтересно. Но, видно, мысль воплотить на русском языке гениальный текст «Нибелунгов» целиком завладела им, и он готов был все подчинить этой новой огромной работе.

— Думаю прожить в Тарусе зиму, — медленно, словно размышляя вслух, говорил Николай Алексеевич. — Здесь хорошо работается. А что остается людям в моем возрасте, кроме работы? Когда-то я терпеть не мог загородного житья. Смеялся над домашними, когда весной начинались поиски дачи. Зачем дача? Выключим свет, телефон, газ, воду. Будем готовить на керосинках, купим свечи, умываться станем во дворе, поливая друг другу на руки из кувшина. А по телефону можно звонить из ближайшего автомата. Чем не дачное житье? — Он засмеялся, но невеселый это был смех. — А теперь вот к земле тянет. Старость, что ли? — и снова застенчивая улыбка мелькнула в углах его губ.

Мы вернулись в дом, где он жил, долго пили чай на длинном балконе, собачка с маленькой бородкой вертелась

возле наших ног. Но как ни бесконечны дни подмосковного лета, и они подходят к концу. Небо побледнело, на западе обозначилась золотая полоска, тучи ушли, так и не пролившись дождем.

Николай Алексеевич вдруг стал нас настойчиво уговаривать заночевать в Тарусе — видно, не хотелось оставаться одному. Но нам пришлось уехать. Он вышел за калитку проводить нас. Мы обнялись.

Оборачиваясь, я еще долго видела, как он стоит в полосатой своей пижаме, застегнутой на все пуговицы, в тапочках, задумчиво глядя вслед удаляющейся машине.

Был тот усталый час заката.
Час умирания, когда
Всего печальней нам утрата
Незавершенного труда...

Больше я его никогда не видела. 14 октября 1958 года в Ялту, где мы тогда жили, пришла телеграмма с известием о скоропостижной кончине Заболоцкого. Мы получили ее под вечер, вернувшись с далекой прогулки, и до поздней ночи, оглушенные, молча сидели на балконе. Мысль о том, что истинные поэты не умирают, — не утешала...

1965



Н. Заболоцкий за работой. Москва. Сентябрь 1953 г.

Б. ПЕТРУШЕВСКИЙ

НАШ СОСЕД ЗАБОЛОЦКИЙ

В срезе угла между Беговой улицей и Хорошевским шоссе смотрят на Ваганьковский мост три коттеджа с белыми колоннами, похожими на ампирные. Благодаря этим колоннам домики часто принимают за постройки времен александровской эпохи. В действительности же строили их в конце войны пленные гитлеровские солдаты. Тогда было решено создать на пустыре между Беговой и Хорошевским шоссе поселок для интеллигенции. Планировку задумали интересно и своеобразно — в городе с его современными жилищными удобствами хотели создать подобие загородной обстановки: выстроили несколько десятков двухэтажных коттеджей, четырех- и восьмиквартирных (уже без колонн),

разбросав их по обширной площади и окружив зелеными насаждениями.

В конце сороковых годов среди первых жителей этого поселка было немало видных представителей советской интеллигенции. Писатели В. С. Гроссман, Э. Г. Казакевич, Ю. Н. Либединский, А. Н. Степанов, В. И. Костылев, поэты Н. А. Заболоцкий, Л. И. Ошанин, М. С. Петровых, литературоведы В. В. Гольцев, Н. Л. Степанов, Е. Ф. Книпович, музыканты М. В. Юдина, Н. И. Пейко, искусствоведы И. К. Станиславский, А. А. Сидоров и многие другие.

В июне 1950 года мой отец, старый литературный критик Абрам Борисович Дерман, получил квартиру в этом поселке, — выехал Казакевич, и в его квартиру въехала наша семья. На той же площадке первого этажа, дверь в дверь против нас, была квартира Заболоцких. Такова предыстория нашей встречи.

Должен признаться, что тогда имя Заболоцкого говорило мне не слишком много. С молодых лет пристрастился я к художественной прозе, поэзия же обычно оставляла меня спокойным. Правда, я любил Пушкина, Лермонтова, Блока, Бунина, Есенина, с подсказкой отца познакомился с некоторыми современными поэтами, но самостоятельный живой интерес современная поэзия пробуждала редко.

К этому надо добавить два важных обстоятельства. Я рос в доме, где имена литераторов отнюдь не были окружены сиянием. На полках отцовских шкафов стояли книги с автографами Короленко, Бунина, Вересаева, Горнфельда, Шмелева, Сергеева-Ценского, с длинными прочувствованными дарственными надписями Тренева. От писателей к отцу постоянно приходили письма, толстые журналы из месяца в месяц присылали очередные номера со штампом «на отзыв, без возвращения». Писатель в нашем доме выглядел обыкновенным человеком. Таким он и остался для меня навсегда.

А когда я вырос и сделался геологом, жизнь сложилась так, что не создалось ложного пиетета и вокруг имен ученых.

Я говорю обо всем этом, чтобы было ясно, как начались наши отношения с Николаем Алексеевичем. Они возникли буквально на чистом месте, без всякого влияния «имени». Не знаю, может быть, именно поэтому они в короткий срок превратились в достаточно тесные.

* * *

Я не помню точной даты знакомства с Заболоцкими. Первые два года мы с женой не жили на Беговой — не хотелось стеснять родителей в небольшой двухкомнатной квартире, и мы бывали здесь только в гостях. В начале августа 1952 года отец скоропостижно скончался. Я был в геофизической экспедиции в Туркмении и как раз в день его смерти вышел на нашу базу после месячного маршрута по горам и равнинам. Получив горестную телеграмму, я полетел в Москву, но это было уже на другой день после похорон.

Мне тут же пришлось снова ехать в Туркмению, кончать работу. Когда же, через несколько недель, я совсем вернулся домой, то впервые услышал о Заболоцких в их прямом отношении к нашей семье. Говоря о труднейших для нее днях сразу вслед за смертью отца, мама, человек очень сдержанный к мало-мальски «не своим» людям, сказала:

— Как же мне тут помогла дорогая Екатерина Васильевна. Как дочь...

Вот с этого дня конца августа или начала сентября 1952 года я и числю свое знакомство с Заболоцкими.

С 1953-го по 1956 год включительно я не ездил в экспедиции и проводил в Москве значительную часть лета. Не уезжал обычно в эти годы надолго и Николай Алексеевич, и началось сближение двух немолодых мужчин (Заболоцкий был старше меня на пять лет), остававшихся летом бобылями. Впрочем, у Заболоцких была хозяйственная домоправительница тетя Поля, а у нас такая же домоправительница, старушка Варвара Адриановна.

В своем рассказе я не буду придерживаться хронологического порядка. С помощью отдельных набросков, порой отрывочных, преимущественно не связанных непосредственно друг с другом, я хочу попытаться нарисовать образ Николая Алексеевича, каким он мне запомнился.

* * *

Прежде всего о внешности. Николай Алексеевич не был красивым человеком, но трудно было не заметить его даже в многолюдной толпе. Крупные черты лица, высокий крутой лоб, умные, внимательно-испытующие глаза за круглыми стеклами очков — все это удивительно гармонировало с его статной фигурой, на которой отлично сидел прекрасно сшитый костюм, а в холодное время года не менее прекрасно

сшитое пальто. Костюмы и пальто шились на заказ, у портного, но и купленная в магазине фетровая шляпа приобретала на голове Заболоцкого оттенок щегольства. Тщетно примерял я перед зеркалом свои шляпы, никогда у меня ничего не получалось à la Заболоцкий...

Пусть не покажется, что я придаю костюмам Николая Алексеевича значение большее, чем они того заслуживают. Вовсе нет! Обычно я видел его в пижамной паре — и когда забегал к ним, и когда он заходил к нам, и когда (чаще всего) мы встречались в наших садиках и подолгу сиживали то на их, то на нашей скамейке, выкуривая без счета папиросы (Заболоцкий) и сигареты (я). Так вот, в обыкновеннейшей, вульгарно-полосатой по тогдашней моде пижаме внешность Заболоцкого была не менее запоминающейся, чем в лучшем костюме. Думаю, что главное здесь были его глаза, лоб и необыкновенная внутренняя гармония всех черт лица.

Владелец этой видной внешности и вел себя под стать ей. Речь его обычно бывала спокойна, звучный баритональный голос повышался редко, жесты были неторопливы и уверенны, обращение к людям вежливо и уважительно. Мне случалось видеть Николая Алексеевича и разволновавшимся, и возбужденным, но и тогда он не терял чувства такта и выдержки. Кажется, лишь однажды он вышел при мне из себя. На площадке перед нашим домом весьма великовозрастные школьники играли в футбол, адресуя мяч больше в наши садики, чем друг другу. Просьбы перестать не имели, конечно, успеха. И вот Заболоцкий выскочил из подъезда, почти побежал к играющим и начал кричать и грозить.

Даже при самой кратковременной встрече Николай Алексеевич импонировал своим собеседникам. Много раз наблюдал я из окна нашей комнаты, как подкатывал он на такси к дому, неторопливо расплачивался, что-то говорил, степенно выходил из машины. И как же потрясающе вежливы и предупредительны были привозившие его шоферы! Этого не добьешься никакими чаевыми.

* * *

Мы подходим здесь к одной из интереснейших особенностей характера Николая Алексеевича. Спокойствие, выдержка, хладнокровие не оставляли его во время самых острых обсуждений, на любые темы, в любой обстановке, даже

когда разговор шел с глазу на глаз и можно было не опасаться, что кто-то что-то не так поймет. Но от спора Заболоцкий обычно уклонялся.

Я же был воспитан в почтении к необходимости спора, если ты несогласен с собеседником по важному вопросу. У меня было много примеров в этом отношении. Мой отец, прирожденный критик, с его склонностью абстрагировать рассматриваемое явление, видя в этом укрепление своей позиции; Аркадий Георгиевич Горнфельд, не только острейший и умнейший критик, но и знаток-универсал всего, что касалось литературы, черпавший отсюда неожиданные доводы в споре; страстный до резкости в дискуссиях Гроссман. Еще больше аналогичных примеров видел я среди ученых-геологов, для которых спор — неотъемлемая часть научного творчества. Эти начала вошли в мою плоть и кровь, я не мыслил истинно близких отношений с людьми без дискуссии, без спора.

Николай же Алексеевич не спорил. Во всяком случае, со мной на протяжении всех тех лет, что мы были знакомы. В ответ на какие-то мои слова или соображения он мог высказать диаметрально противоположное мнение, но не вступал в спор. Я лез на стену, размахивал руками. Заболоцкий сдержанно улыбался, говорил:

— Может быть, все может быть... Выпейте-ка лучше еще «Телиани», — и наливал в бокал чудесное густо-красное вино.

Так же он вел себя, когда его слова, не являвшиеся ответом на мои высказывания, вызывали мой протест. Спокойно, достойно, хладнокровно, с беззлобной шуткой уходил он от спора, и делалось это так обдуманно, что я при всей моей любви к словесным застольным баталиям почти не пытался их устраивать.

Но ведь все это только одна сторона, продолжение линии респектабельности, выдержки, сдержанности. А есть и другая сторона — и она гораздо более весома — это творчество Заболоцкого. Здесь он выступает в совершенно иной роли — поэта, смело ищущего и находящего в поэзии свои особые пути. У него свое видение мира, людей, событий, отличное от видения и его предшественников и его современников, у него свой поэтический язык с поразительной выпуклостью и силой образов, его философские раздумья в стихах — это его собственные мысли, а не перепевы чего-то чужого. Как известно, резко выраженная индивидуальность творчества в литературе — это почти всегда линия идущего

против течения и утверждающего то, чего не говорили до него. Это линия большого спора, длительной — на всю жизнь — дискуссии о предметах и явлениях, важных миллионам людей, дискуссии, безбоязненно выносимой на суд этих миллионов.

Несомненно, что именно здесь главная линия в жизни поэта Заболоцкого. Как совместить эту главную линию, к которой больше всего подходит название бунтарской, с линией повседневной хладнокровности и сдержанности, я могу только предполагать и немного скажу об этом дальше. Никогда ничего я не спрашивал на этот счет у Николая Алексеевича.

Это не единственное бросающееся в глаза противоречие между творчеством и текущей жизнью Заболоцкого. Проникновенно, тонко описывал он природу — поля, реки, цветы, звезды. И в то же время, как раз в период наибольших своих успехов, из лета в лето сидел в Москве, довольствуясь вместо природы микроскопическим садиком под окнами их квартиры. Раза два-три я спрашивал (возможно, довольно бесцеремонно), как совместить эти несовместимые вещи: писание великолепных стихов о природе и почти безвыездную жизнь на Беговой улице. Николай Алексеевич усмехался и говорил:

— Борис Абрамович, я природу так хорошо себе представляю и так люблю, что все отлично помню — и цветы, и грибы, и птиц. А жить здесь — удобнее.

* * *

Стремясь не вступать в полемику, Заболоцкий, однако, вовсе не избегал острых формулировок и высказывал их порой чрезвычайно откровенно. Однажды зашел у нас разговор о Лермонтове. В ответ на мое замечание, что вот послала судьба на смену убитому Пушкину второго гиганта, но и его почти сразу же убили, Николай Алексеевич решительно сказал:

— Нет, это фигура другого масштаба. Ну, десятка два первоклассных стихотворений у него найдется, но разве же это Пушкин?

Возмущенный, я чуть не свалился со стула.

— Как два десятка?! Что вы такое говорите?!

— А вот так! Если брать действительно безупречные вещи, то двадцать. Ну, может быть, двадцать пять — тридцать.

Более строгой и необычной оценки творчества Лермонтова я не встречал.

В бумагах отца хранилось несколько стихотворных автографов Бунина (периода с 1914-го по 1919 год) с его дарственными надписями отцу и пометками: «Не для печати» (в большинстве они были опубликованы Буниным после 1920 года, когда он жил во Франции). Среди этих бумаг находилась и рукопись довольно длинного стихотворения неизвестного автора, которое мне нравилось по духу и по стилю казалось также бунинским.

Как-то я показал все эти бумаги Николаю Алексеевичу и спросил о безымянном стихотворении — может ли оно принадлежать Бунину.

— Не знаю. Возможно, этого и нельзя исключать, — уклончиво ответил Заболоцкий.

— Но вам оно понравилось? Правда, сильная вещь?

Явно далеко не в восторге от стихотворения, но, очевидно не желая поливать меня холодной водой, Николай Алексеевич на несколько секунд замялся. Потом с довольным смешком — ответ был им найден, — сочно проговорил:

— Ну что ж, коготь льва чувствуется. Но только коготь, не больше![1]

Заболоцкий вообще был склонен к юмору, любил шутку, легкую насмешку, иронию. А вот жалящих острот, злых сарказмов я от него не слышал.

* * *

Я ничего не знаю о технике процесса творчества Заболоцкого, не видел черновиков его стихов, не спрашивал об этом. Однако мог убедиться в твердости, с которой он утверждал свое право употреблять именно данное слово, хотя бы некоторые читатели находили его неудачным. Дал мне Заболоцкий рукопись стихотворения «Снежный человек» и попросил указать, нет ли фактических ошибок или неточностей (в части описания быта, природы). Я сделал два-три мелких замечания. Что-то из них автор принял, но с замечанием, что «горные катакомбы» в отношении Гималаев звучат неудачно, не согласился. Без объяснения.

---

[1] Я показывал потом это стихотворение другим людям, понимающим в поэзии. Они еще больше Заболоцкого сомневались в авторстве Бунина.

— Нет, — сказал он, подумав, — пусть остаются катакомбы. Не буду менять.

Еще разительнее кажется мне случай с «Лебедем в зоопарке». Сидели мы с женой у Заболоцких, разговор зашел о его стихах, жена набралась смелости и сказала, что никак внутренне не может принять наименования лебеди «животным», да еще «полным грез», и особенно в контексте с таким прекрасным набором предшествующих определений, как «красавица», «дева», «дикарка», «высокая лебедь». Я поддержал жену. Николай Алексеевич, не пускаясь в объяснения, вежливо, но твердо ответил:

— А мне нравится. По-моему, даже хорошо.

* * *

Работал Заболоцкий всегда много. Зимой и летом, в будни и в праздники первую половину дня отдавал он работе. Мы это знали и старались до обеда не заходить к ним. Летом нередко уже в девять — начале десятого утра в открытые окна большой комнаты, в которой жили Николай Алексеевич и Екатерина Васильевна, где он работал и где семья обедала, слышался стрекот пишущей машинки — это автор перепечатывал свои вещи. Он гордился, что научился бойко печатать, и даже немного хвастался этим, как и качеством своей машинки марки «Континенталь», почти никогда не забывая при этом пожурить нас с женой за плохое обращение с нашей «Эрикой».

Как и большинство пишущих людей, Николай Алексеевич редко говорил о своей текущей работе, причем о переводах чаще, чем о собственных стихах. Когда заканчивался крупный этап работы — перевод главы, большое стихотворение, целый их цикл, — он говорил об этом охотнее, но в общем также кратко. Он никогда не предлагал прочитать вслух им написанное (а мы не просили), но иногда давал познакомиться с рукописями некоторых стихов. Свои публикации он дарил неизменно, с простой и сердечной надписью.

* * *

Встречи наши происходили преимущественно на квартире Заболоцких. Может быть, они несколько участились, когда выяснилось, что оба мы любители сухого красного вина. Пил его Заболоцкий красиво, как пьют южане, —

неторопливыми глотками, словно бы благодаря лозу, подарившую людям такой замечательный напиток. Предпочтение дружно отдавалось грузинскому вину «Телиани».

Чаще всего мы виделись, когда Николай Алексеевич довольно долго жил о д и н , — в 1957—1958 годах. Никита, его сын, в это время уже женился и жил отдельно; Наташи, дочери, часто не бывало дома. Горела настольная лампа, в неярком свете которой женский портрет школы Рокотова на стене над диваном казался еще волшебнее, чем днем. Неслышно входила и выходила с хозяйственными делами тетя Поля. А мы сидели вдвоем и разговаривали. Тем для бесед было много, хотя и с ограничениями, установившимися как-то само собой. Так, за редчайшими исключениями Николай Алексеевич не касался своих странствований по Азии в конце тридцатых — начале сороковых годов. За все время знакомства не больше двух-трех раз обмолвился он о них очень протокольно-сухо. Но почему-то не затрагивались и некоторые, казалось бы, совершенно нейтральные темы.

Например, не затрагивались детство, отрочество, юность. Уже после смерти Заболоцкого выяснилось, что в 1918—1919 годах в Уржуме он постоянно встречался с Е. С. Левицкой, тетушкой моей жены, и Н. А. Руфиной. Руфина была преподавательницей литературы в реальном училище, где обучался Заболоцкий, а Левицкая преподавала естествознание в другой школе. Обе учительницы приняли юного Заболоцкого под свое покровительство, слушали, поощряли и критиковали его первые стихотворные опыты, помогли Николаю Алексеевичу устроиться в Москве, когда он переехал туда в 1920 году, вместе встречали новый, 1921 год. На всю жизнь сохранил Николай Алексеевич признательность к Екатерине Сергеевне. И, несомненно, не знал о ее родстве со своей ближайшей соседкой, моей женой, Варварой Александровной Левицкой. А Екатерина Сергеевна поэта Заболоцкого посейчас зовет Колей Заболоцким.

Как ни удивительно, сравнительно редко говорили мы на политические темы.

Таким образом, тематика наших разговоров была далеко не безгранична. Чаще всего и больше всего говорилось о литературе, и здесь первое слово принадлежало Николаю Алексеевичу. Я услышал от него много интересного: и сравнительный анализ целых эпох и полос в развитии русской и

советской литературы, прежде всего — поэзии; и характеристику новых поэтических направлений и течений и их видных представителей с критическими, но обычно довольно мягкими оценками; и слова уважения и восхищения по адресу крупнейших мастеров Востока и Запада, прошлого и современности, переводу сочинений которых Заболоцкий отдал так много самого себя.

У меня к этому времени был длительный опыт экспедиционных работ, были проведены маршруты в многие тысячи километров по степному Казахстану, горам Тянь-Шаня и Копет-Дага, пескам Каракумов. Николай Алексеевич любил слушать рассказы об этих местах, о живущих здесь людях, о мелких приключениях, непременно случающихся в геологических экспедициях. Его интересовали и подробности, — например, как происходят землетрясения и как их изучают. Последствия ашхабадского землетрясения 1948 года были еще свежи в памяти, а я в это время как раз занимался геологической подоплекой сейсмичности.

Видимо, дальние края привлекали Заболоцкого, хотя во время нашего соседства путешествовал он не много, в основном по Кавказу. Помню, каким событием явилась для него поездка в 1957 году в Италию в составе группы советских литераторов. Он неприкрыто волновался, состоится ли она. Вернулся Н. А. из Италии оживленный, веселый, переполненный самыми разными впечатлениями. Как геолог, часто вынуждаемый своей профессией быстро, с лету, схватывать главное среди окружающей природы, я весьма оценил и широту наблюдений Николая Алексеевича и их точность. Запомнился переданный в лицах забавный рассказ о беседе в отеле с горничной, понимавшей и говорившей только по-итальянски, то есть на языке, на котором ее собеседник ничегошеньки не знал. Вопрос не терпел отлагательства (речь шла, если не ошибаюсь, о срочном глажении белой рубашки), переводчика не оказалось, создался тупик. Но Николай Алексеевич быстро нашел в памяти слова, звучащие одинаково или сходно на многих языках.

— Проблема, *синьора*, — важно сказал поэт Заболоцкий горничной.

— Проблема, проблема, синьор! — затараторила обрадованная горничная, вдруг увидевшая возможность объясниться с этим респектабельным русским гостем.

И через несколько минут, к удовольствию обеих сторон,

проблема глажения рубашки была решена успешно и так же однословно, как и начал решать ее Заболоцкий. Он был доволен, что нашел выход из затруднительного положения.

Охотно говорил Николай Алексеевич о живописи. Приобретение женского портрета, приписываемого Рокотову (или, во всяком случае, написанному с его участием), было событием — Николай Алексеевич несколько раз специально звал полюбоваться картиной, допытывался, удачно ли она повешена, не надо ли ее перевесить.

Музыку он предпочитал слушать, а не говорить о ней. В те годы, когда Н. А. жил один, он пристрастился к Бетховену. Запускался проигрыватель, ставились подряд пластинки нескольких крупных вещей — двух-трех симфоний или двух-трех концертов. Все здесь было — и сила, и ликование, и торжество, и сомнения, и одиночество, и печаль. Тогда мне казалось, что острее всего выступала печаль. Человек с умным лбом и умными голубыми глазами, большой поэт, сидел один в пустой квартире и часами слушал Бетховена. Я старался быстрее пройти мимо открытых окон его комнаты.

* * *

В ежедневной повторяемости встреч с людьми порой теряется ощущение главного — каковы же характерные черты твоего собеседника. Но с Заболоцким это было иначе. Прошло больше пятнадцати лет со дня его смерти — срок достаточный для раздумий, для переоценки событий и поступков, и собственных, и других людей. Однако, вспоминая эти годы, я уверенно могу сказать, что те особенности характера поэта Заболоцкого, которые кажутся мне главными сейчас, казались такими и при его жизни. Если бы было иначе, я, вероятно, не взялся бы за попытку написать воспоминания о нем.

Их несколько, этих главных особенностей.

Прежде всего — сдержанность, о чем я уже говорил. В текущей жизни она проявлялась и в мелочах, и в крупном, от ровности тона голоса до отношения к людям, их поступкам и высказываниям. Исключение делалось лишь для одного, и оно было чрезвычайно характерно: в своем творчестве Заболоцкий почти начисто отбрасывал сдержанность. Однако показательно, что когда дело касалось сугубо личных вопросов, то он оставался сдержанным и в стихах.

Примером может служить цикл «Последняя любовь», написанный в трудный для автора период. Нередко отказывался Н. А. от сдержанности в суждениях о литературе, хотя дух подлинного литературного критика был ему явно не свойственен.

Таким образом, по моему убеждению, сдержанность Николая Алексеевича отнюдь не была нерешительностью или неопределенностью, когда у человека нет ясного мнения о чем-то, почему он предпочитает говорить уклончиво. Отсутствие сдержанности в том, что составляло для Заболоцкого главное — поэтическом творчестве, — свидетельствует, что его сдержанное поведение в быту было всесторонне и глубоко продуманным.

Со сдержанностью тесно связана другая особенность характера Николая Алексеевича — его деликатность по отношению к людям, причем не только в глаза, но и за глаза. Разумеется, приходилось слышать от него достаточно нелестные отзывы о разных людях, преимущественно из писательской или так называемой «окололитературной» среды. Однако по сравнению с другими Заболоцкий высказывал подобные отзывы и реже и мягче.

Неоднократно я убеждался еще в одной особенности характера Николая Алексеевича — его величайшей терпимости к людям в трудных личных ситуациях. Это производило очень сильное впечатление. На фоне его сдержанности, деликатности, благородства эта терпимость казалась завершением достоинств мужчины, которыми природа одаряет немногих. И от этого мое уважение к Николаю Алексеевичу не только возросло — я его попросту полюбил.

Еще об одной черте характера Заболоцкого мне непременно хочется сказать. С ним всегда было интересно и как-то внутренне наполненно, о чем бы ни шел разговор. В чужой компании, в не подходящей для беседы обстановке он быстро овладевал общим вниманием, как будто бы не делая к тому никаких усилий. Что это, как не проявление врожденного таланта?

Ну, и, наконец, самая главная особенность Николая Алексеевича — поэтическому творчеству было подчинено все остальное. Вне работы, вне писания стихов, своих ли, переводных (а разве во вторые меньше вкладывается самого себя?), не было у Заболоцкого жизни, во всяком случае, в годы нашего знакомства. Лучшим, наиболее убедительным свидетельством служит здесь то, что в период, когда вече-

рами он в одиночестве слушал Бетховена, днем его машинка продолжала стучать так же настойчиво и долго, как и раньше. Заболоцкий работал, и ничто не могло остановить его!

В нарисованной мной картине не оказалось ни одного темного пятна. Получилось это не потому, что Николай Алексеевич представляется мне состоящим из одних достоинств; некоторые его недостатки я всегда видел достаточно отчетливо, — например, для своих родных он был вовсе не легким человеком в быту. Покопавшись, можно найти и другие недостатки. Но ведь все они ни в какой мере не определяют общий его облик. Общее — это то, что Заболоцкий был не просто настоящим поэтом, не побоявшимся всю жизнь идти своим путем. Не менее важно, что этот большой поэт был человеком высокой души, умным, деликатным и терпимым к чужим мнениям и поступкам. Даже если проявлять деликатность и терпимость можно было, только делая больно самому себе. Таким запомнил я Николая Алексеевича, и поэтому и получился он у меня без темных пятен.

* * *

Утром 14 октября 1958 года мы с женой были первыми знакомыми Заболоцких, вошедшими в их квартиру после смерти Николая Алексеевича. Торопясь в город, мы услышали в открытые окна комнаты Заболоцких отчаянные восклицания Екатерины Васильевны, вернулись, позвонили. Открыла женщина-врач «неотложной помощи», коротко сказала, что он умер, и уехала.

Смерть настигла Николая Алексеевича, когда он шел из ванной после бритья. В пижамных штанах и белой нижней сорочке лежал он навзничь, с закрытыми глазами, еще совершенно теплый, почти не побледневший, чисто выбритый, с чудесной, мягкой, чуточку лукавой полуулыбкой. Вот еще секунда, и раздастся его низкий, грудной рассудительный голос, и мы услышим насмешку над самим собой по поводу наделанного переполоха....

Когда мы пришли днем, Николай Алексеевич лежал строгий, в темном костюме. Улыбка ушла с его губ. Он уже не казался спящим.

Я плохо помню траурное собрание в Клубе писателей, а через день я уехал в командировку в Китай и на похоронах Николая Алексеевича не был.

* * *

Другие люди живут в квартире Заболоцких. Запущен садик, в котором так много работала Екатерина Васильевна и который поливал обычно Николай Алексеевич из тоненького резинового шланга, надевавшегося на кран в кухне. Но кое-что от старого осталось. Разрослись и распространились на соседние участки выращенные Екатериной Васильевной ландыши и великолепные разноцветные аквилегии с длинными шпорами. Два дубочка, посаженных при Николае Алексеевиче, превратились в стройные дубки, вытянувшиеся уже выше окон второго этажа.

1973



Н. Заболоцкий в составе делегации советских писателей в Италии. Возложение венка на могилу Данте. Равенна. Октябрь 1957 г.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ

О ЗАБОЛОЦКОМ

В начале 1956 года четверо молодых, подающих надежды послали Заболоцкому свои стихи. Адрес мы получили в Мосгорсправке, телефон узнали по «09», но ввалиться к Заболоцкому с улицы, как к другим поэтам, или хотя бы даже позвонить по телефону как-то робели. Письма со стихами мы послали не все сразу, а по очереди, договорившись, кто следует за кем.

Мы были очень юны, но достаточно начитанны в русской поэзии и не случайно хотели знать мнение о себе именно Заболоцкого. При всем восхищении Пастернаком или Ман-

дельштамом мы все же чувствовали, что они — замкнутые миры и учиться у них можно духовному опыту, а не собственно писанию стихов, так как и Пастернак, и Мандельштам настолько освоили и исчерпали свой материал, что всякая попытка следовать им обернулась бы пустым подражательством. Хлебников — что-то вроде поэтического словаря Даля, но Хлебников был в другой эпохе. Мы нуждались в современнике, и из современников именно в Заболоцком видели наибольшие для себя возможности.

Я не случайно говорю о возможностях, ибо сам Заболоцкий в своем развитии разработал лишь некоторые стороны ошеломляющих открытий гомерически образных, гомерически эпичных «Столбцов», так что другие поэты могут следовать намеченными, но не пройденными им путями. Разумеется, не все мы думали точно так и такими словами, и я невольно переношу часть моих собственных соображений на моих товарищей.

Сам я впервые прочел Заболоцкого в одной из куцых послевоенных антологий. Автор «Творцов дорог» не был похож ни на кого напряженной пристальностью и особым углом зрения. Потом попались «Стихотворения» 1948 года, а чуть позже мы все достали по экземпляру «Второй книги». В это время, то есть примерно до конца пятьдесят восьмого года в букинистических магазинах грудами лежали старые стихи. Купить можно было что угодно и невероятно дешево. «Столбцы» же не попадались. Очевидно, это была книга особая. Один из нас, завсегдатай Ленинской библиотеки, переписал «Столбцы», а я старательно перепечатал их на полулистах машинописного формата и переплел в зеленую бумажную клеенку. То же мы проделали и с «Торжеством земледелия» из журнала.

Я учился в инязе. Русский язык там вела Вера Николаевна Клюева, сама поэтесса — в Казани у нее в 1922 году вышла книга стихов «Акварели». У Веры Николаевны обнаружился пожелтевший ветхий альбомчик стихов — из него я списал и сообщил друзьям неопубликованные стихотворения Олейникова и Заболоцкого — и варианты глав «Торжества».

К разговору с Заболоцким мы подготовились хорошо.

Дня через три после посылки стихов первый из нас получил ответ — короткий и обстоятельный, написанный аккуратным мелким почерком почти без заглавных букв. Так же незамедлительно, добросовестно и откровенно Заболоцкий ответил всем. Здесь не место судить, во всем ли был

прав Заболоцкий. В одном из писем он написал: «Советую Вам сравнить старые стихи Пастернака с его военными стихами и послевоенными: «На ранних поездах», «Земной простор». Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал; пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался — подумайте об этом, это пример поучительный...»

Разговоры о нарочитости Пастернака в те годы были общим местом многих литературных кругов. Мы успели этих разговоров наслушаться, много об этом думали, спорили и пришли к выводу, что нарочитости у Пастернака не больше, чем у любого другого поэта. И уж никак мы не могли согласиться с тем, что поздние стихи Пастернака «лучшее из всего, что он написал».

Таким образом, Заболоцкий в открытую высказал свои убеждения, и мы сочли себя вправе поразмыслить и согласиться — или не согласиться.

Была и другая сторона дела. Конечно же нам хотелось, чтобы нас похвалили. Волею судеб самый ободряющий ответ получил я. Ошалев от радости, я бросился к телефону. Заболоцкий терпеливо выслушал мои сбивчивые изъявления и коротко сказал: «Приезжайте».

Дверь мне открыл он сам, невысокий, одутловатый, домашний, в байковой пижаме и шлепанцах. С изумлением, почти недоверием рассмотрел меня сквозь очки и, пока я путался с пальто, сказал, чтобы я проходил в комнату, и ушел.

Комната показалась мне стеклянной, прозрачной, почти аквариумом. Я не заметил, какая в ней мебель и что висит на стенах. Впервые войдя к Заболоцкому, я увидел только свет и чистоту. Такие же светлые и чистые были хозяева, поэт и его жена. Они стояли перед окном и кормили кашей залетевшую в форточку птицу.

Я бывал у Заболоцкого нечасто, но регулярно и каждый раз на лице его видел изумление, а в комнате ту же прозрачную чистоту и невероятный порядок. Такого порядка, должно быть, нельзя поддерживать в доме, где часто бывают гости.

Трудно рассказать, как мы общались. Не могу представить себе, чтобы Заболоцкий спросил: «Как поживаете?» Или пожаловался на нездоровье, на неприятности. Или осведомился о новостях, писательских и всяких других. Или поинтересовался, что люди говорят по тому или иному поводу. Он сразу приступал к делу. При этом бесед мы не ве-

ли, монологов не произносили. Была не то работа, не то ученье. Николай Алексеевич держал себя просто, но степенность и важность тона создавали между нами старинную дистанцию учителя и ученика. Легко и непринужденно я себя не чувствовал, нет, я чувствовал себя хорошо.

Мы располагались за обеденным столом в середине комнаты. Я доставал свои новые стихи и переводы. Николай Алексеевич их выслушивал или читал сам, хмыкал, что-то замечал по поводу неудачных строк или строф или произносил фразу-две о неплодотворных, с его точки зрения, поэтических увлечениях. Не понравились ему мои переводы из Рильке — не столько сами переводы, сколько чуждая Заболоцкому поэтика декаданса, в которой он, как можно было понять, усматривал немалую толику шарлатанства. На мой перевод полной словотворчества баллады Джойса он неожиданно сказал, что недавно пытался перечитывать Хлебникова и не испытал того восторга, что в былые годы. Вернувшись из Италии, Заболоцкий категорично осудил всех современных итальянских поэтов, кроме Умберто Сабы, который пишет традиционными размерами и в рифму. (Замечу в скобках, что «Три улицы» Сабы представляются мне лучшим переводом Заболоцкого.)

Рифме он придавал огромное значение. От себя и от других требовал точной рифмовки. Распространенные в двадцатых—тридцатых годах рифмы типа «глаза — сказал», «мечта — читать» называл неряшливыми.

Разобравшись с моими новинками, Николай Алексеевич сразу переходил к своим стихам — читал новые, лежавшие на письменном столе, или старые из солидно переплетенного тома, который стоял в шкафу среди печатных книг. С его голоса я впервые услышал стихотворение «Цирк» — и громко хохотал, автор же не скрывал своей радости. Он прочитал мне «Движение»:

Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.

Заболоцкий уверял, что, написав это стихотворение, долго считал, что оба четверостишия — рифмованные.

Иногда, как бы поясняя написанное в молодости, Николай Алексеевич коротко и слитно вспоминал о друзьях «в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадями своих стихотворений».

Обериу он расшифровывал так:

— «Объединение единственно реалистического искусства», а «у» — это украшательство, которое мы себе позволяли.

Как-то я принес ему несколько его ранних стихотворений, о существовании которых он давно забыл.

— Это надо выбросить, это левой ногой н а п и с а н о, — заявил он и, забрав листки, аккуратно положил их в ящик письменного стола.

Когда я продемонстрировал ему мои рукопечатные «Столбцы», он растрогался и понес показывать самодельную книжку дочери, а потом расписался на титуле.

Что бы Заболоцкий ни говорил о своих ранних стихотворениях, несомненно, он относился к ним всерьез и от своей молодости не отрекался. Он хотел только, чтобы его молодость соответствовала его зрелости и поэтому, в сущности, переписал «Столбцы» заново. Получился цельный однотомник поэта Заболоцкого, в который не вошла целая самостоятельная книга — первая редакция «Столбцов». И какая книга!

Кстати, вспоминая о печатании своей первой книги, Николай Алексеевич рассказал, что познакомился в Издательстве писателей с Кузминым — тот тогда печатал свою последнюю книгу — и оба друг другу очень понравились. Трудно представить себе более непохожих людей, чем молодой Заболоцкий и немолодой Кузмин, а вот в «Столбцах» и «Форели» немало общего.

Суммируя разговоры, могу сказать, что из современных поэтов Заболоцкий ценил некоторые стихи Мартынова и даже читал их вслух. Хорошо отзывался он и о Слуцком. Зато Ахматову отрицал: «Курица не птица, баба не поэт». Ахматова знала об этом и платила Заболоцкому ответным непризнанием. О стихах Пастернака сороковых — пятидесятых годов Заболоцкий говорил не то с восхищением, не то с уважением. Из личного общения у них вряд ли что могло получиться. Помню слова Николая Алексеевича:

— Шкловский и Пастернак всегда говорят так сумбурно, что хочется попросить их повторить сказанное.

Сам Николай Алексеевич говорил как по писаному.

Безоговорочно Заболоцкий восхищался «Европейской ночью».

О Фете замечал, что у него на пятьдесят плохих стихотворений — одно хорошее, и усмехался:

— Есть такой закон: за одно хорошее читатель готов простить пятьдесят плохих.

Самые высокие слова от Николая Алексеевича я слышал о Баратынском.

Он не раз рассуждал вслух, что в пушкинские времена поэты в восемнадцать лет могли писать гениальные стихи, а сейчас во всем мире подолгу ходят в молодых и начинают писать всерьез лет в сорок. Объяснял он это тем, что в пушкинскую пору был единый эстетический идеал, а теперь при множественности идеалов много лет уходит, пока поэт сам разберется, что к чему и что ему нужно.

Была середина пятидесятых годов, бурное время в американской поэзии. Заболоцкий заинтересованно спрашивал меня о современных американских поэтах. Услышав, что многим из тамошних молодых — под сорок, он утвердительно кивнул головой.

К литературоведению при мне Заболоцкий интереса не выказывал, о критиках как-то сказал с иронией:

— Если бы собрать все, написанное обо мне, получилась бы интересная книга...

К переводам Заболоцкий, по-моему, относился двойственно. При его таланте и добросовестности он просто не смог бы переводить плохо. Да и вообще переводить хорошие стихи увлекательно, и при этом, кажется, бывает что-то вроде вдохновения. Но вот советовал же он мне не слишком увлекаться переводами, советовал не однажды, и чувствовалось, что этот совет относится не только ко мне. Более того, слова «инфаркт» и «перевод» в разговоре его сближались. Я думал: а если бы он не переводил — вдруг бы у нас было хотя одним оригинальным стихотворением Заболоцкого больше!

Сам я пытался совместить сочинение стихов с переводами и увлекался современной англоязычной поэзией. Однажды я рассказал Николаю Алексеевичу, что нахожу у его Лодейникова черты сходства с элиотовским Пруфроком. Николай Алексеевич заинтересовался и попросил принести ему перевод «Пруфрока»: предвоенной антологии новой английской поэзии у него не было. Я обещал, но выполнить обещания не успел.

На похоронах его народу было немного. По дороге в крематорий рядом со мной в автобусе оказался его сотоварищ по Дальнему Востоку. Он спросил, тот ли это Заболоцкий, а потом объяснил, что в тех краях про Заболоцкого никто ничего не знал.

Заболоцкого при жизни мало знали не только на Дальнем Востоке. В наши дни его объявили классиком. И все же, кажется, что его стихи, по сути дела, еще не прочитаны. Слишком многое в русской поэзии открыли Заболоцкий и друзья его молодости.

1973



Н. Заболоцкий. Таруса. 1958 г.

Д. САМОЙЛОВ

ДЕНЬ С ЗАБОЛОЦКИМ

По Дубовому залу старого Дома литераторов шел человек степенный и респектабельный, с большим портфелем. Шел Павел Иванович Чичиков с аккуратным пробором, с редкими волосами, зачесанными набок до блеска. Мне сказали, что это Заболоцкий.

Первое впечатление от него было неожиданно — такой он был степенный, респектабельный и аккуратный. Какой-нибудь главбух солидного учреждения, неизвестно почему затесавшийся в ресторан Дома литераторов. Но все же это был Заболоцкий, и к нему хотелось присмотреться, хотелось отделить от него Павла Ивановича и главбуха, потому что были стихи не главбуха, не Павла Ивановича, и, значит, внешность была загадкой, или причудой, или хитростью.

Заболоцкий сидел, поставив на пол рядом с собой громадный портфель, и слушал кого-то из секции переводчиков. И вдруг понималось: ничего сладостного и умилительного в лице. Черты его правильны и строги. Поздний римлянин сидел перед нами и был отрешен, отчужден от всего, что происходит вокруг. Нет, тут не было позы, ничего задуманного, ничего для внешнего эффекта.

Одиночество не показное, гордость скромная. И портфель — талисман, бутафория, соломинка, броня. Он стоял рядом на полу, такой же отчужденный от всего, как и его владелец. Он лежал на полу, как сторожевая собака, готовый в любую секунду очутиться в руке. Нет, не в руке Павла Ивановича, может быть, в руке Каренина, — когда отбрасывался главбух, проступал Каренин, и это было ближе и точнее, но опять-таки не точно и не близко.

Точна посмертная маска: классик, мастер, мыслитель.

Заболоцкий — характер баховский. Конечно, баховский, с поправкой на XX век. Уже с простодушием изверившимся, гармонией сломанной. Где «баховское», пантеистическое — лишь форма, лишь противодействие ложному «бетховианству» и насмешка над дурашливым Моцартом. И — разрыв между «важной», спокойной, старомодной манерой и пытливой, современной, острой мыслью. И отсюда — гротеск.

В раннем Заболоцком — явный, подчеркнутый. А потом — с кристаллизацией «баховской» формы — гротеск, ушедший в глубь стиха.

Я встречал Николая Алексеевича на разных обсуждениях и заседаниях.

А однажды провел с ним целый день. Это было в Тарусе в середине июля 1958 года. Я приехал к Гидашам. Ночевал у них. А утром пришел он.

Был он в сером полотняном костюме, в летней соломенной шляпе. Опрятный, сдержанный, как всегда. Уже не главбух, а милый чеховский, очень российский интеллигент. Добрый, шутливый.

Они играли с Гидашем в какую-то поэтическую игру и именовали друг друга «герцог», «барон». Игра была обоим приятна и забавна.

Мы спустились по крутой улочке к Оке — он, Гидаш, Агнесса и его дочь, тоненькая большеглазая девочка.

Гидаш и девочка пошли кататься на лодке. А мы сели в районном парке на скамейку, сидели долго и переговаривались неторопливо.

— Про меня пишут — вторая молодость, — говорил Заболоцкий. — Какая там молодость! Стихи, которые я печатаю, писаны тому назад лет двадцать... Когда поэта не печатают, в этом тоже есть польза. Вылеживается, а лишнее уходит...

Он медленно закуривал длинные папиросы и глядел на Оку, где в лодке, казавшейся уже очень маленькой, плыли Гидаш и его дочь.

Потом поглядел на меня и сказал:

— Отчего у вас лицо такое... впечатлительное? Сразу видно, что кукситесь. А вам работать надо. Работать, и все.

Он, наверное, и о себе так думал всю жизнь: работать — и все. И работой называл это вечное отчуждение от себя мыслей, чувств и тревог. Как работой называют рубку деревьев, то есть отчуждение деревьев от леса и превращение его в дома или дрова. И если бы лес умел сам себя уничтожать и еще думать об этом, то он так же просто назвал бы это работой. Настоящий поэт всегда вырубает больше, чем может вырасти. И он вырубал себя и запросто называл это работой, потому что не умел назвать это «горением», «творчеством», «самоотдачей» или еще каким-нибудь красивым словом, как это любят делать большинство поэтов, говоря о себе и называя работу таинством — правы они или не правы.

А потом он еще раз глянул на меня и добродушно произнес:

— Вы — чудак. — Помолчал и добавил: — А я — нет.

Он, видимо, гордился тем, что не чудак, и думал, что это отличает его от других поэтов.

Одна литературная дама там же, в Тарусе, сказала мне с раздражением и с некоторым недоумением:

— Какой-то он странный. Говорит одни банальности, вроде того, что ему нравится Пушкин.

Бедная дама привыкла к тому, что поэты стараются говорить не то, что другие, и вести себя как-то особенно.

А ему самоутверждаться не нужно было. Он был гордый, и если и суетный, то не в этом, не в том, что он называл — работа.

Я, может быть, поэтому и мало запомнил, о чем мы говорили. Наверное, он мало высказывал оригинальных и необычных мыслей. Их бы я запомнил. И вместе с тем впечатление от него было огромное. И тогда же я торопливо и

кратко записал в тетрадке, что он мудр, добр, собран, несуетен и прекрасен. Это шло не от умозрения, а от другого — от зрения сердцем. И помню тогдашнее ощущение тайного восторга, когда мы сидели с ним на лавочке над Окой несколько часов и переговаривались неторопливо.

Почему-то весь день этот мы не расставались. Не читали друг другу стихов, не вели очень умных разговоров. Но время текло быстро и важно, если так можно сказать о течении времени.

Жил он в маленьком домике с высокой терраской. Почему-то теперь мне кажется, что домик был пестро раскрашен. От улицы отделен он был высоким забором с тесовыми воротами.

С терраски, поверх забора, видна была Ока. Мы сидели и пили «Телиани», любимое его вино. Пить ему было нельзя и курить тоже.

Помню, тогда он читал стихи Мандельштама об Армении. И рассказывал о том, как переводит грузин.

Потом он говорил, что поэтов нынешнего века губит отсутствие культуры, даже первостепенно талантливых, вроде Есенина. Он назвал именно Есенина.

— Вы знаете, что я читаю? — спросил он.

И я думал, что после разговора о культуре он покажет мне какого-нибудь грека или римлянина или редкую историческую книгу, но он вынес растрепанный комплект журнала «Огонек», не нашего «Огонька», а того, что издавался до революции, в десятые годы.

Лишь много позже я подумал, что «Огонек» десятых годов был его способом снятия противоречий, противоречий между убогим реквизитом и высокими словами пьесы.

Тогда я вспомнил, что внутри раскрашенного домика висели мещанские картинки, и хозяйка была старая карга, и в ухоженном саду под яблоней дымился самовар. И, конечно, здесь был уместен «Огонек», а не Гораций или Гесиод. И «Огонек» был тем же портфелем — бутафория, соломинка, броня.

Пришел писатель N и что-то рассказывал, улыбаясь большим ртом. Но скоро почувствовал, что не нужен, и ушел. И мы снова сидели вместе, и чем больше пили вина, тем становилось мне грустнее. И тут я понял отчего: я понял, что он умирает. И понял, что он сам знает об этом.

Наверное, это самое удивительное свойство поэтов —

они знают, что умирают. И им самим кажется, что это вовремя.

Заболоцкий знал и готовился заранее. Готовился так, как все люди, которые свой способ жить называют: работа.

Один старый плотник, настоящий мастер, сказал мне: «Вот дострою этот дом и помру». И Заболоцкий достраивал свой дом. Собрал все стихи в большой том и все, что ему было не нужно, все, что казалось ему лишним, отбросил. Достраивал дом и готов был умереть.

Я думаю, что живые в этом вопросе не должны полностью считаться с поэтом. Когда он умер, нужно издавать все, что осталось. Насколько меньше было бы Пушкина, если бы пропали для нас его заметки, строки, неоконченные стихи — все, что осталось помимо «достроенного дома».

Но достоинство поэта в том и заключается, что он желает оставить дом достроенным, таким, как он его задумал сам. А потомки из оставшегося материала пусть построят еще один дом или пристройку. И поэт в целом есть эти два дома. А вот Блок построил один дом. И на этот дом ушло все. И ни на что больше не осталось. Это редкий поэт — Блок, поэт, который о себе знал все.

Заболоцкий умер той же осенью. Мне позвонила Агнесса и сказала, что Заболоцкий умер. Мы тут же поехали к нему.

Он лежал еще без гроба, на столе. И лицо было важное, белое и спокойное. Опять — римлянин. И потому, что прикрыт он был простыней, как тогой, уже вовсе не осталось Павла Ивановича и Каренина. Было важное, серьезное, скульптурное.

И маленькая женщина, большеглазая и не плачущая, — вот на кого была похожа дочь, — маленькая женщина, его жена, сидела в уголочке и не знала, куда деть руки.

Так мне это запомнилось, что главное для нее — незнание, куда деть руки. Рассказывала, что он пошел в ванну побриться. И упал. И умер через десять минут.

Пришел Слуцкий и привел трех скульпторов. Они сразу заполнили комнату делом — готовились снять маску.

На похоронах было много народу. Не так много, как на «знатных» похоронах. Но много. И все было как следует — большой зал, и музыка, и речи, и почетный караул. Я в почетный караул не встал. Потому что казалось, что он попал в какие-то чужие руки и не может встать

и, забрав портфель, уйти. А должен лежать и слушать речи.

Впрочем, один человек говорил хорошо. Это был Вадим Шефнер. А потом попросили, чтобы все посторонние вышли из зала и остались одни близкие.

Я подождал, пока вынесли тело и погрузились в машины, на кладбище не поехал. Мне казалось, что это уже ему не нужно, вернее, не нужно было раньше, когда он умирал и когда думал об этом. И поэтому долг мой исполнен.

1973

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ

БЕССМЕРТИЕ

Памяти Заболоцкого

Небо легло на Москву тяжело,
Улицы колкой крупой занесло.

В гору брели мы по скользкому снегу,
Лица январь обжигал нам с разбегу.

Дверь отворилась, и люди толпой
Хлынули, будто их вскинул прибой,

И обозначилась очередь в давке:
Книга твоя их ждала на прилавке.

Разве не так получали они
Хлеб свой насущный в военные дни?

Со стороны наблюдал я за ними,
Тихо шепча драгоценное имя:

— Верил ты в это с начала пути.
Стоило бремя страданий нести,

Чтоб поделиться бессмертьем со всеми.
Жаль, не застало тебя это время.

1966

Перевод А. Тарковского

ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ

14 ОКТЯБРЯ 1958

Памяти Н. Заболоцкого

Было очень немного народа,
голосов чуть приглушенный гул,
и стояла у гроба природа
и почетный несла караул.

А усталое тело лежало,
словно он на минуту прилег,
и струилось цветов покрывало
от шафранного лба и до ног.

Всё. Ни дерзких С т о л б ц о в , ни рецензий,
ни дорог, ни волшебных поэм, —
только скорбные грозди гортензий
и нетающий снег хризантем.

Словно самые дальние дали —
мир печальных полей и садов —
в зал, на траурный митинг, послали
молчаливых и мудрых послов.

И стоят они — не утешая,
а склоняясь в последнем пути,
словно молча его приглашая
с ними вместе весной прорасти...

АЛЕКСАНДР ГИТОВИЧ

I

Н. А. З.

Давным-давно, не знаю почему,
Я потерял товарища. И эти
Мгновенья камнем канули во тьму:
Я многое с тех пор забыл на свете,

Я только помню, что не пил вино,
Не думал о судьбе, о смертном ложе,
И было это все давным-давно:
На целый год я был тогда моложе.

1939

II

Он, может, более всего
Любил своих гостей, —
Не то чтоб жаждал ум его
Особый новостей,

Но мил ему смущенный взгляд
Тех, кто ночной порой
Хоть пьют, а помнят: он — солдат,
Ему наутро в бой.

1961

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

НИКОЛАЮ ЗАБОЛОЦКОМУ

В исчезновение не веря,
Ты думал после смерти стать
Цветком, травой, по меньшей мере
Росою на траве блистать.

Со смертью мог ты примириться,
Когда б кипучая душа
Травинкой стала или птицей,
Природой заново дыша.

Я помню: летом на рассвете
Мы вышли впятером к шоссе.
Тебе хотелось солнце встретить
В его языческой красе.

Но сели четверо в машину,
Смеясь, уехали домой.
А ты стоял спокойно, чинно,
Особо строгий и прямой.

Светлели постепенно камни,
Погасли огоньки в домах.
Была твоя душа близка мне
Иль мысли дерзостной размах?

Безмолвно стоя на дороге,
Не предугадывал ли ты,
Что ты почти что на пороге
Другой, последней немоты?!

Потом мы видели поэта
Среди осенних астр в гробу,
Казалось, блик того рассвета
Скользнул по восковому лбу.

Я знаю, смерть — исчезновенье,
Но в этот вечер под Москвой
Хочу поверить на мгновенье,
Что шелест листьев — голос твой.

ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

НИКОЛАЮ ЗАБОЛОЦКОМУ

Живой цветок и минерал,
Лесное озеро и вечер,
Ты все в душе своей собрал
И все для нас очеловечил.

На нартах коченел Седов,
А где-то коршуны кружили,
И пел ковыль из тьмы годов,
И плакал Игорь по дружине...

Не странно ль вспоминать о них
Здесь, на Гомборском перевале,
Где русский и грузинский стих
Всю ночь, как братья, пировали?

И слышал ты, как лес гудел,
Как речка лепетала звонко,
И на Вселенную глядел
Глазами мудрого ребенка.

1962

Д. САМОЙЛОВ

ЗАБОЛОЦКИЙ В ТАРУСЕ

Мы оба сидим над Окою,
Мы оба глядим на зарю.
Напрасно его беспокою,
Напрасно я с ним говорю!

Я знаю, что он умирает,
И он это чувствует сам,
И память свою умеряет,
Прислушиваясь к голосам,

Присматриваясь, как к находке,
К тому, что шумит и живет...
А девочка-дочка на лодке
Далёко-далёко плывет.

Он смотрит умно и степенно
На мерные взмахи весла...
Но вдруг, словно сталь из мартена,
По руслу заря потекла.

Он вздрогнул... А может, не вздрогнул,
А просто на миг прервалась
И вдруг превратилась в тревогу
Меж нами возникшая связь.

Я понял, что тайная повесть,
Навеки сокрытая в нем,
Питалась за страх и за совесть,
Питалась водой и огнем.

Что все это скрыто от близких
И редко открыто стихам...
На соснах, как на обелисках,
Последний закат полыхал.

Так вот они — наши удачи,
Поэзии польза и прок!..
— А я не сторонник чудачеств, —
Сказал он и спичку зажег.

1958—1960

ПЕТР СЕМЫНИН

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Листва кипит под солнцем на ветру;
И этот шум березы над рекою,
И старая скамейка на юру —
Мне памятны особою тоскою.
Здесь мы сидели на виду Оки
С больным, отяжелевшим Заболоцким, —
Он вглядывался в даль из-под руки,
Где облако росло над лугом плоским.
— Вот дом решил в Тарусе покупать,
И буду жить в нем и зимой и летом,
Да «Нибелунгов» по утрам кропать, —
С Гослитом сговорился уж об этом. —
Он грустно улыбается. Паром,
Нагруженный с лихвой людьми, возами,
Не то идет, не то застрял дуром
Среди реки, как между небесами.
— Так просто съездить в прошлые века.
Я обожаю русские паромы.
Вот напишите-ка про старика,
Взяв под уздцы эпические громы. —
Над нами август, как атлет литой,
Стоял, накинув весело на плечи
Синь-полотенце свежести речной,
И был в здоровье утреннем беспечен.
— Я жизнелюб, но смерти не боюсь;
Вот «Нибелунгов» расскажу по-русски,
Над вымыслом слезами обольюсь
И в штопоре умру от перегрузки...

Над гробом Заболоцкого кружил
Сырой октябрь, скользя листвой по стеклам
Писательского клуба, — кто-то чтил
Заслуги умершего слогом блеклым.

А я у гроба слышал шум листвы
Густой березы над Окой паромной
И видел в знойном блеске синевы
Недавний август и простор огромный.
Поэт в ладье последней уплывал,
Оплаканный Брунгильдою прекрасной,
Которую он научить мечтал
Высокой речи русской в полдень ясный.

1978

БОРИС СЛУЦКИЙ

ЗАБОЛОЦКИЙ СПИТ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ГОСТИНИЦЕ

У пригласивших было мало денег,
и комнату нам сняли на двоих.
Умаявшись в банкетах и хожденьях,
мы засыпали тотчас, в один миг.
Потом неврастения, ностальгия,
луна или какие-то другие
последствия пережитого дня
будили неминуемо меня.
Но Заболоцкий спал. Его черты
темнила ночь Италии. Белила
луна Италии, что с высоты
лучами нашу комнату делила.
Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звезд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шепоты гостиничного зданья,
и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это — не в ответе!
Оставьте же меня в концов конце!
И ночью, и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днем
стесняли и заковывали в латы,
освобождалось, проступало в нем
раскованно, безудержно, крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щеку, розовую, как у дитяти,

под толстую и детскую. Она
покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледыни.
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то пел
в неслыханной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит — поет.
И упирался сильными ногами
в гостиничной кровати переплет.

1973

НА СМЕРТЬ ЗАБОЛОЦКОГО

Умирают мои старики,
Мои боги,
Мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок,
Угроз
И прикрас, —
Неужели дешевая хворость
Одолела,
Осилила вас?

Умирают мои старики.
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше,
Чем нужно по долгу,

По закону
Строфы и строки.

Угасают большие огни
И светить
За себя
Поручают.
Не дождались медалей они:
Сразу памятники получают.

1961

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н. А. Заболоцкого

1

За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.

Листва, трава — все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.

Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,

И в сумерках, нависших как в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.

2

Венков еловых птичьи лапки
В снегу остались от живых.
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них,
Туда, к распахнутым воротам,

Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.

Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.

Заката огненное веко
Не может в небе догореть.

1962



Выступление Н. Заболоцкого в Колонном зале Дома Союзов во время декады грузинского искусства и литературы в Москве 22 марта 1958 г. Кадр из киноочерка «Праздник дружбы в Москве»

А. МАКЕДОНОВ

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ...

(Вместо воспоминаний, вместо комментария, вместо послесловия)

Я его никогда не знал, ни разу с ним не встречался, ни разу его не видел. Но познакомился с ним очень давно. Впервые — где-то в 1929 году. Кажется, перед выходом «Столбцов». Познакомил меня с ним А. И. Гитович. Он приехал в Смоленск, где я тогда жил, из Ленинграда, куда незадолго до этого перебрался, и как первое и главное впечатление от своей новой ленинградской жизни сообщил мне о появлении нового замечательного поэта — Николая

Заболоцкого. И читал мне наизусть его стихи, те стихи, которые вошли в «Столбцы». Читал, восхищался и вновь читал. Помню впечатление, почти ошеломляющее, которое произвели эти стихи.

Яркость, новизна, напряженная ассоциативность, смелая метафоричность, эксцентризм, своеобразное карнавальное начало, динамический напор предметных образов, многосоставные слитные и «смещенные» интонации, повелительная энергия ритма — все это будоражило, захватывало, покоряло. Позже я был так поглощен другими интересами и делами, что сильное впечатление от «Столбцов» как-то сгладилось. Но — точнее — ушло вглубь. И многие стихи врезались навсегда — в память, в душу.

И когда уже много лет спустя, в 1957—1958 годах, мне нужно было писать статью о Заболоцком, об его пути, а под рукой «Столбцов» не было, — вдруг победоносно поднялись со дна памяти начальные строчки «Красной Баварии», те самые, с которых началось через А. Гитовича мое знакомство с Заболоцким. Я смог процитировать их по памяти. Помню также, как победоносно проникали «Столбцы» в память других людей, даже тех, которые их поносили в своих статьях и тем не менее почти целиком цитировали наизусть.

Второй раз я вновь встретился с Заболоцким через 18 лет, в 1947 году, в Заполярье, где я работал тогда в геологическом учреждении. Инициатором этой встречи был мой учитель по геологии, выдающийся советский геолог, один из основоположников геологического освоения огромного Печорского бассейна и Полярного Урала, Константин Генрихович Войновский, человек сложной, трудной, богатой судьбы. Именно он обратил мое внимание на «Творцов дорог» Заболоцкого, которые раньше меня прочитал в номере первом «Нового мира» за 1947 год.

Константин Генрихович сразу же переписал это большое стихотворение в ту заветную тетрадку, куда он многие годы переписывал особо полюбившиеся ему стихи, тетрадку, которая была и участником его бесед с самим собой, и участником семейных чтений, и подчас даже спутником в трудных экспедициях по бурным приуральским речкам, по горным и тундровым маршрутам, где прокладывал он новые геологические пути для новых творцов новых дорог. Как бы символичное совпадение: в том же году воспел Заболоцкий и Урал, даже чуть-чуть взглянул на него глазами геолога, попытался рассказать стихами его геологическую исто-

рию — как «материки столкнулись», как «пустоты скал наполнились огнями / Чудесных самоцветов. Все дары / Блистательной таблицы элементов / Здесь улеглись для наших инструментов / И затвердели. Так возник Урал». Из большого потока публиковавшихся тогда стихов, кажется, только стихи Заболоцкого попали в заветную тетрадку.

Критика в те годы молчала о «Творцах дорог» или даже ругала, а один докладчик на ответственном литературном совещании заявил, что «нам» такие стихи не нужны. Но они оказались нужны прежде всего реальным творцам дорог. Константину Генриховичу Войновскому, в прошлом — участнику гражданской войны на Дальнем Востоке, соратнику знаменитого Лазо, нужны были вдвойне. Строители дорог Дальнего Востока перекликнулись через это стихотворение, через его читателя с теми, кто освобождал наш Дальний Восток от интервентов. А теперь уже миллионы читателей — истинные «мы» нашего народа — знают и любят это стихотворение, им оно нужно.

Эта вторая встреча с Заболоцким — другим, но тем же Заболоцким — продолжалась уже с меньшими перерывами. Все чаще доходили и к нам, работникам Заполярья, новые его стихи. И к концу пятидесятых годов уже не раз звучали на местных вечерах самодеятельности и стихи о скворце и весне, и стихи о прекрасной некрасивой девочке, для которой чужая радость сливалась со своей, и стихи о любящей и самоотверженной жене, и стихи о красоте человеческих лиц, и стихи о Ленине и народных ходоках, и другие, и другие. Жадно слушали их самые разные рабочие люди, геологи, буровики, механики, «матросы тундры», как выразился местный поэт. Люди — творцы дорог. И вновь врезались стихи Заболоцкого в память, души, переписывались в заветные тетрадки.

Так непосредственно я ощутил, что Заболоцкий был не поэтом какой-то элиты, узкого круга людей, а поэтом народным. Стали появляться и первые благожелательные отклики в нашей печати. Много раз подмывало меня написать самому хотя бы личное письмо Заболоцкому, но как-то не решался. Решился лишь в 1958 году написать о нем статью в газете «Литература и жизнь»; помог опубликовать эту статью — опять пересечение судеб — один из поэтов «смоленской школы» — Николай Иванович Рыленков. Его поэзия, путь весьма отличались от поэзии, пути Заболоцкого. Несмотря на это, Николай Иванович был одним из

первых, кто сумел оценить всю мощь, значение его творчества. Статья получилась у меня хотя и вполне «за Заболоцкого», но плохонькая, и к тому же какая-то редакционная работница, горя желанием поправить и улучшить, уже после согласования с ней текста вставила строчку о некоем вредном влиянии на молодого Заболоцкого формалистической группы обериутов. Автор статьи не слышал тогда об их существовании и об их «формализме». Но так или иначе произошло углубление знакомства.

И там же, в Заполярье, я написал следующую, большую статью о нем, которая вошла в книгу, изданную в 1960 году. Упоминаю об этом потому, что эту статью первоначально хотел напечатать в «Новом мире» Твардовский.

К этому времени Твардовский уже существенно изменил то мнение о поэзии Заболоцкого, о котором упоминалось и в некоторых воспоминаниях, — то отрицательное мнение, которое он высказал когда-то и в беседе со мной в 1948 году, но которое нигде не публиковал. К сожалению, сам Заболоцкий уже не мог узнать об этой перемене. Но не случайно именно Твардовским в номере двенадцатом «Нового мира» за 1960 год были опубликованы два последних стихотворения Заболоцкого, в том числе его стихотворное завещание — «Не позволяй душе лениться». В 60-е годы эта эволюция отношения Твардовского к Заболоцкому продолжалась, и когда в 1968 году вышла моя книга о Заболоцком, Твардовский целиком — уже без оговорок — согласился с ней и в беседах, и в письмах. Хочу здесь подчеркнуть этот факт, так как он вносит существенное дополнение и коррективы к многочисленным — и, бесспорно, достоверным — свидетельствам современников о взаимном расхождении этих поэтов, их взаимной недооценке, несмотря на то что, как мне уже приходилось писать, в их творчестве, при всем действительном различии, были если и не переклички, то конвергенции. Как известно, это далеко не первый случай в истории литературы, когда большие поэты, по сути своего творчества не враждебные, а скорее взаимодополняющие друг друга и даже чем-то перекликающиеся, друг друга не понимали или даже не принимали.

Особенно наиболее крупные художники с очень избирательными вкусами, какими были и Заболоцкий и Твардовский.

А нам теперь, их современникам и их потомкам, нужно с полной объективностью и любовью разобраться в сложности этих отношений, взаимодействии, взаимоотталкивании,

и особенно отмечать ниточки взаимопонимания и переклички, если они в конце концов все же намечались.

Отмечу в этой связи, что единственный раз, когда я говорил о Заболоцком с М. В. Исаковским, тот отозвался о нем с большим уважением. Особенно о поздних стихах, не отвергая и «Столбцы». А для Рыленкова Заболоцкий неизменно был одним из классиков нашей поэзии, и об этом Рыленков много раз высказывался — и в печатных статьях, и в беседах, и в письмах ко мне, и в неопубликованном «внутреннем» отзыве на мою монографию о Заболоцком.

Я остановился здесь на этих воспоминаниях об отношении к Заболоцкому трех крупных поэтов-современников потому, что характер этих отношений, их эволюция связаны с общей эволюцией роли и места самого Заболоцкого в советской поэзии, с конкретной сложностью взаимоотношений и взаимных оценок наших хороших и разных поэтов.

Второе мое знакомство с Заболоцким уже без перерыва перешло в третье. Оно началось для меня в 1961 году, в Ленинграде, и ему опять помогла новая встреча с А. И. Гитовичем. Его рассказы о Заболоцком познакомили меня с тем, что я не знал о его творчестве и судьбе, об его окружении, связях; дали через отражение в любившем, почитавшем и понимавшем его человеке почти непосредственное ощущение личности поэта. Александр Ильич пытался одно время и проводить, осуществлять его творческие принципы, как он их понимал, в Объединении молодых ленинградских поэтов, которое Александр Ильич в 30-е годы организовал и возглавил. В это объединение входил и В. Шефнер, который во многом является продолжателем Заболоцкого. А. И. Гитович сохранил верность Заболоцкому и в годы его тяжелых бедствий. И в 60-е годы, до конца своей жизни Гитович продолжал себя чувствовать его верным младшим другом.

В беседах со мной не раз подчеркивал, что Заболоцкий был для него не только примером большого поэта, но и примером большого человека. Главными в его личности были, по рассказам Гитовича, высокое чувство ответственности поэта, предельная требовательность к себе, не позволяющая душе лениться, предельная внутренняя правдивость, несовместимость со всякой фальшью. Николай Заболоцкий ничему его не поучал, ничего не навязывал. Но вся личность его убеждала, Личность поэта Высокого Долга, как сказано и в публикующихся здесь воспоминаниях Н. Л. Степанова. И этот пример, говорил Александр Ильич, помогал

ему самому очищаться от всего суетного, тщеславного, найти стезю Высокого Долга поэта. А. И. Гитович не успел записать свои воспоминания о Заболоцком; публикуемое нами его письмо-воспоминание — только маленький фрагмент того, что он рассказывал. Не берусь здесь излагать все, что сохранилось в моей памяти из этих рассказов. Не берусь судить также и насколько во всех деталях точен этот фрагмент. Но врезалось в память главное, общее впечатление — и от личности самого Заболоцкого в передаче его младшего друга, поэта и поклонника, и от силы воздействия этой личности, силы памяти о ней.

Вскоре после встречи с А. И. Гитовичем удалось познакомиться и с другими людьми, знавшими Заболоцкого, начиная с самых ему близких; удалось больше ознакомиться и с творческим наследием поэта, с историей его жизни. Так продолжаются мои встречи, мое знакомство с ним. Так этот образ стал уже темой, предметом моих воспоминаний о личности поэта, которого не знал лично. Воспоминания эти один из примеров воздействия Заболоцкого, как поэта и человека, на его современников, читателей, почитателей. Поэтому я позволил себе начать этими почти воспоминаниями необходимое небольшое послесловие, комментарий к сборнику воспоминаний о Заболоцком.

* * *

Собранное в предлагаемом сборнике далеко не охватывает ни весь запас воспоминаний о Заболоцком, сохранившихся в памяти знавших его людей, ни тех авторов, которые могли бы их написать [1]. Все же и в предлагаемом составе сборник содержит много существенно новых сведений, охватывающих главные этапы жизни и творчества поэта, хотя степень освещения этих этапов очень неравномерна и неравноценна, а некоторые остались еще почти неосвещенными.

Составители старались расположить воспоминания по возможности в порядке, соответствующем этапности жизни и творчества Заболоцкого. Воспоминания, которые охваты-

[1] Мы не включили и некоторые уже опубликованные воспоминания, если они имели очень фрагментарный или чем-то сомнительный характер, или если они уже широко известны читателю, например, мы не воспроизводим здесь несколько превосходных абзацев, посвященных Заболоцкому и его жизни в Тарусе, из очерка-воспоминания К. Паустовского «Наедине с осенью» (1963), так как они многократно были опубликованы.

вают несколько этапов (Каверина, Степанова, Антокольского), расположены соответственно хронологии их начальной фазы.

Воспоминания принадлежат людям разных профессий, разной степени близости к поэту, написаны в разных манерах. Многие совмещают в себе те или иные личные впечатления с анализом творчества Заболоцкого. И все окрашены тем или иным личным переживанием, отношением.

Мы включили в сборник и некоторые из многочисленных стихотворений о Заболоцком, поскольку они дают его характеристику, содержат и элементы непосредственных воспоминаний (например, стихотворение Д. Самойлова). И предлагаемая подборка стихотворений также создает образ поэта — и образ воздействия его поэзии. В некоторые воспоминания включены новые публикации наследия Заболоцкого — его стихов, писем.

Во всяких воспоминаниях неизбежны различия не только в мнениях, оценках, но и в самих подборках фактов, и в степени точности их воспроизведения. Составители не стремились унифицировать мнения и тем более не позволяли себе навязывать мемуаристам собственное мнение. Но составители все же старались устранить где можно явные фактические ошибки. В других случаях мы имеем противоречивые свидетельства, основанные, однако, не на ошибке или недоразумении, а на том, что они отражают факты, относящиеся к разным этапам жизни Заболоцкого или колебания его тех или иных взглядов в течение одного и того же отрезка времени. Например, письма молодого Заболоцкого Касьянову (опубликованные во втором томе сочинений. М., 1972, с. 228, 230), показывают, что в 1921 году он очень высоко ценил творчество Мандельштама тех лет, даже чувствовал к нему «непреодолимое влечение». В воспоминаниях Л. Я. Гинзбург, основанных на непосредственных записях разговоров, мы узнаем, что в начале 30-х годов отношение Заболоцкого к Мандельштаму было уже совершенно другим. Однако, по воспоминаниям Синельникова, Заболоцкий сохранил уважение к Мандельштаму и к началу 30-х годов. А из воспоминаний о последних годах жизни Заболоцкого мы узнаем, что он высоко ценил творчество Мандельштама.

Если же обратиться к самому творчеству Заболоцкого, то в нем вскрывается несомненно некоторая связь, преемственность с поисками Мандельштама первых лет революции, и вместе с тем существенные отличия в мировоззрении и

поэтике. Непродолжительная фаза отрицательного или полуотрицательного отношения к Мандельштаму в середине 30-х годов, о которой сообщает Л. Я. Гинзбург, связана с тенденциями развития Заболоцкого в этот период.

Другой случай — эволюция отношения Заболоцкого к Пастернаку. По сообщению И. В. Бахтерева в 1926—1927 годах, Заболоцкий, как и его ближайшее поэтическое окружение, любил ранние стихи Пастернака и, в частности, любил цитировать «Метель» («В посаде, куда ни одна нога...»), но прохладно относился к более позднему творчеству. По воспоминаниям Синельникова, относящимся к чуть более позднему (1928—1930) периоду, он, однако, отложил чтение «Сестры моей жизни» и «Тем и вариаций», опасаясь подпасть под влияние Пастернака. Это свидетельство согласуется и с воспоминаниями Гитовича, хотя, вероятно, многие стихи из этих сборников Заболоцкий знал раньше, и особенно ценил «Высокую болезнь». По воспоминаниям Д. Е. Максимова, относящимся к этому же периоду, Заболоцкий говорил о Пастернаке, «что с таким поэтом как Пастернак, как бы Пастернак ни был талантлив, ему не по пути, он не близок ему». В своих опубликованных высказываниях середины 30-х годов Заболоцкий дал довольно отрицательную оценку всего творчества раннего Пастернака, и это отражало его собственную метаморфозу, поиски им новой, углубленной народности стиха, большей ясности, простоты. А поздний Заболоцкий, по свидетельству ряда лиц, высоко ценил творчество позднего Пастернака и дал его поэтический портрет в прекрасном стихотворении «Поэт» (1953). Эта эволюция мнений Заболоцкого отражала и эволюцию его творчества, и эволюцию Пастернака.

Наконец, некоторые высказывания Заболоцкого — особенно в молодости — содержали элементы нарочитого заострения, так сказать, гротеска своей собственной позиции, — отсюда максималистские оценки всей истории поэзии между Пушкиным и Хлебниковым, приведенные в воспоминаниях Липавской, хотя они явно не согласуются с другими свидетельствами современников и высказываниями самого поэта. Отсюда же и преувеличенные декларации 30-х годов о нежелании читать Пастернака, не раз читанного и перечитанного, и т. д. Самая преувеличенность этих высказываний имеет интерес для понимания личности поэта, но их не следует понимать слишком буквально.

При чтении воспоминаний нужно также учитывать особенность личных отношений Заболоцкого. Как сообщает

Е. В. Заболоцкая — и как это отмечено и в некоторых воспоминаниях (например, В. Каверина, С. Чиковани), — Заболоцкий был со всеми людьми прямым, доступным, искренним, но вместе с тем всегда сдержанным, не склонным к исповедальности, и раскрывался разным людям очень по-разному. Понятие «друзей Заболоцкого» имеет много градаций. Поэтому особую ценность имеют высказывания тех немногих людей, которые были связаны с ним действительно очень близкими и многолетними отношениями, — Н. Л. Степанова, С. Чиковани, В. Каверина. Но и тут нужно не забывать, что оценки самых близких Заболоцкому людей не всегда и не во всем совпадали с мнениями самого Заболоцкого. Например, отношение молодого Заболоцкого к его товарищам обериутам было (судя по воспоминаниям Бахтерева, Синельникова, Липавской, Каверина, отчасти и Д. Максимова, публикациям А. Александрова) более сложным и более близким, чем оно обрисовано в воспоминаниях Н. Л. Степанова. И сравнение всех воспоминаний — вместе со сравнительным анализом самого творчества Заболоцкого в «обериутский» период и других обериутов — позволяет подойти к действительному познанию этого интересного эпизода творческой биографии поэта и его позиции.

И вот что особенно интересно, поучительно. Сквозь все вариации, иной раз самопротиворечия в оценке отдельных поэтов и литературных явлений, через всю жизнь поэта проходят (засвидетельствованные многими мемуаристами, без всяких противоречий) несколько устойчивых, главных, господствующих оценок, приверженностей. Неизменное, безоговорочное преклонение перед Пушкиным, Гёте. Неизменная любовь к Баратынскому, Тютчеву, а из поэтов XX века — Хлебникову (хотя и не без оговорок). Неизменное уважение, внимание к некоторым классикам русского XVIII века — прежде всего Державину. Неизменное внимание, интерес к русскому фольклору в разнообразных его жанрах, от былин до лубочных комедий, всей народной «карнавальной» традиции, столь ясно проявившейся уже в «Столбцах». Особый интерес к «Слову о полку Игореве», значение которого для Заболоцкого правильно подчеркнул Л. Озеров. Интерес и к большой «раблезианской» струе мировой реалистической прозы, и к другим образцам реалистического гротеска, соединению сказочного и конкретно-бытового. Это проявилось, в частности, и в высказываниях о Рабле, приведенных в воспоминаниях Д. Е. Максимова, и в

большом количестве переводов и переложений Заболоцкого. И наконец, к разнообразным тенденциям и жанрам поэзии других народов, в частности грузинской, что проявилось и в переводческой деятельности, причем особенно можно выделить интерес к Руставели и Важа Пшавела. Бросается в глаза преобладающее сознание своей устойчивой связи с широкой классической, народной реалистической традицией. На всех этапах, начиная с периода «Столбцов». А с другой стороны, с какой-то в широком смысле хлебниковской традицией, и это вплоть до самых последних лет, когда на первый взгляд ничего общего в его собственных стихах с этой традицией нет.

Конечно, прямые высказывания поэта о поэтах, собранные в предлагаемых читателю воспоминаниях о нем, — только часть того, что характеризует его литературные эстетические взгляды. И все же совокупность этих высказываний вместе с другими данными о литературных интересах и связях поэта позволяет легче понять глубинные черты творческой личности Заболоцкого и ее места в истории поэзии. Тем более учитывая стремление Заболоцкого к ясному поэтическому самосознанию, даже к известной программности своего творчества. Устойчивое сочетание, несколько на первый взгляд парадоксальное, самых классических эстетических вкусов, даже с оттенком архаизма, и самых крайне новейших и новаторских (в поэзии и живописи) было у Заболоцкого не проявлением эклектизма, а проявлением поиска новой целостности и цельности. Целостности очень устойчивой в течение всей его жизни, всех его метаморфоз — от «Столбцов» до самых последних лет. Это была цельность именно нового синтеза достижений и продолжения традиций классического поэтического реализма и новых возможностей поэзии XX века, ее самых смелых поисков путей в будущее.

В классическом наследии Заболоцкого привлекает прежде всего реализм в широком смысле слова. Этот реализм включает в себя и богатство форм и методов жизнеподобия, вплоть до того, что Пушкин называл «фламандской школы пестрым сором», и богатство форм гротескного, гиперболического, сказочного, условного, символического воспроизведения действительности, и главное во всех этих формах — стремление к наиболее глубокому и обобщающему, многозначному в нее проникновению, во всей полноте, многообразии духовных и чувственных форм бытия. А достижения и поиски поэзии XX века, ассоциировавшиеся с

Хлебниковым, в творческой практике Заболоцкого очень сильно трансформировались на более рациональной и по-новому классической основе, включая в себя не только хлебниковский, но и более широкий опыт поэзии XX века. В этом опыте Заболоцкого привлекали не те или иные субъективистские выверты и формалистские эксперименты (от которых он решительно отмежевался уже в самую раннюю и экспериментальную фазу своего развития, как это хорошо видно и в данном сборнике из воспоминаний Бахтерева, Синельникова, отчасти и Д. Максимова и др.) [1], а реальные поиски, расширения реальной поэтической свободы, основанной на постижении, воспроизведении новой действительности «голыми глазами». Освоение поэзией новых пластов действительности, небывалое чувство конфликтности, остроты противоречий, динамизма истории, человеческой личности, всего бытия; переходов, совмещений, взаимопроникновений контрастов, противоположностей, сближений самого отдаленного и самого близкого, богатства и неожиданностей всяческих метаморфоз; более сложное понимание человеческой личности, многосоставности, текучести, взаимопревращений вещей, людей, событий — все это отразило специфику истории XX века, эпохи величайших войн и самой грандиозной революции, величайших конфликтов, метаморфоз, даже своеобразных «карнавалов» истории, смещений, сдвигов, сочетаний старого и нового; эпохи грандиозной и научной, и научно-технической революции, и первого опыта создания нового общества, его строек и перестроек, самой смелой мечты и самой трезвой, ощутимой, подчас суровой реальности преобразования и природы, и человека; борьбы с косным, темным, злобным на этом пути. Отсюда и новые пути, новые возможности искусства — и новые трудности, даже болезни, порожденные «муками родов» нового общества. А в творчестве Заболоц-

---

[1] Сложнее вопрос об отношении к обериутам. Связь с ними и роль в этой группе самого Заболоцкого была не случайным, хотя и кратковременным эпизодом. Воспоминания Бахтерева, Синельникова, Максимова дают в этом отношении новые интересные сведения. Они требуют специального анализа. Отмечу только, что, по сообщению Бахтерева Заболоцкий познакомился с обериутами уже после создания «Белой ночи». И, следовательно, к поэтике «Столбцов» пришел совершенно независимо и до оформления Обериу, как литературной группы. По воспоминаниям Максимова, и в период своего участия в этой группе Заболоцкий общался с молодыми поэтами совершенно другой ориентации: относился внимательно и доброжелательно даже к чужим для него стихам начинающего поэта.

кого отразились особые стадия и формы этого процесса в 30—50-х годах нашего века, истории нашего народа.

Именно на этой стадии возникла необходимость и стал возможным путь к синтезу классического и современного, возрожденных исконных ценностей и мечты о самом отдаленном будущем. Возникли и новые трудности, противоречия, опасности, в том числе опасности превращения ценностей в фальшивую монету, в свою противоположность.

Поэзия Заболоцкого, весь его путь выразил самые глубинные черты народного сознания и самосознания в эту эпоху, — потребность народа, проделавшего грандиозный исторический опыт, осмыслить всю связь времен и новую связь человека и природы; найти лирико-философский и вместе с тем пластически конкретный, точный синтез времени, охватывающий и самое отдаленное и непосредственно предстоящее; самое непосредственно чувственное, предметное, и самое высшее духовное. Потребность постигнуть, выразить новое открытие мира очаровательных тайн, «чудо земли» и чудо самого человека, красоту «совершенного творения» и побороть упорное наследие, в новых формах подчас, «вековой давильни». Выразить своеобразное томление, муки и радости поиска ключа к этим тайнам, поиска высшей разумности, высшей сердечности, высшей творческой силы творцов новых дорог.

Размах мечты, перекликающейся с произведениями типа «Ладомира» Хлебникова, и трезвость точного, почти очеркового, почти научного изображения существующей реальности предметного мира, начиная от какой-нибудь рыбной лавки и кончая противостоянием Марса и музыкой космических сфер, и в самой этой предметности — напряжение самых разнородных метаморфоз, чудесности и низменной прозаичности, «сказки земли» и кошмаров вздыбленной мещанской стихии.

Поэтическая аналогия мира современной науки, с ее парадоксами и «безумием», строгостью и неожиданностью, даже чудесностью ее логики, с ее реальными полетами человека в космос, как бы предвосхищенными некоторыми стихами Заболоцкого и удивительными фантазиями Циолковского. И поэзия метаморфоз современной истории, ее небывалого динамизма, суровости ее «жерновов» и размаха ее «исполинского танца». Синтез ее великого и малого. Синтез, который объединяет в этих метаморфозах маленькую девочку Марусю в городке Тарусе и «звездное дыхание». В этом синтезе «петухи» поют на самых повседневных «сара-

ях... банях... гумнах...» «на границах истории» «песню надзвездную». И спадает «обыденности завеса», и открываются ворота облачных высот, и сверкает оттуда «зеленый луч» — во всем, начиная с сердца той чудесной некрасивой девочки. И происходит перекличка через космос с другим поэтом «в другом углу вселенной».

И через всю природу и всю поэзию перекликаются голос Пушкина над листвою и птиц Хлебникова у воды, и в неподвижном камне проступает лик народного мыслителя, и все существованья, все народы сливаются в оркестровом и карнавальном богатстве метаморфоз лаконичного и строгого поэтического мастерства, в котором размах смелости фантазии небывало совмещается со строгостью поэтической дисциплины, и бьющая фонтаном поэтическая свобода осуществляется в почти железной, иной раз даже слишком жесткой организованности стиха, и мир очаровательных — и других — тайн раскрывается как поэзия движения напряженной философско-поэтической мысли. Так достигается небывалый синтез сказочности и почти научной точности, конкретности, своеобразная исследовательская «реалфантастика», пользуясь выражением А. В. Луначарского. Поэзия человека новой науки и нового размаха мечты, соединяющая ум и «безумие», разум и сердце, взгляд открытых детских глаз и острое зрение искушенного жизнью и мыслью человека, прошедшего испытания и беды катаклизмов XX века; человека, владеющего волшебным прибором Левенгука и телескопами звездочетов истории. Да, именно в этом синтезе видимо своеобразие места Заболоцкого в истории советской и мировой поэзии, неповторимость его творческой личности.

На пути этого синтеза у него были удачи и неудачи, но всегда сохранялся пафос метаморфоз и единство пути, многоликость и целостность поэтического «я». «Как мир меняется! И как я сам меняюсь! / Лишь именем одним я называюсь, — / На самом деле то, что именуют мной / Не я один. Нас много...» — писал он в одном из самых программных своих стихотворений («Метаморфозы», 1937). Но именно в этом изменении и многоликости осуществлялось постоянство, более того — «вдруг и увидишь то, что должно называть — бессмертием». И «нас много» оказывается единой личностью и ее бессмертием в преемственности метаморфоз[1].

---

[1] Проблема бессмертия, в том числе своеобразного личного бессмертия, занимала большое место в поэтическом сознании Заболоцко-

* * *

В более узком смысле этот синтез включает в себя слияние чувственной конкретности, пластичности стиха, выпуклой, точной изобразительности, продолжающей опыт классического реализма поэзии и прозы, и живописи, «фламандской школы», так же как классической ритмической и композиционной четкости и «баховской» оркестровки музыки бытия и слова — с новым динамическим метафоризмом нового мира «всех метаморфоз», бытия и поэзии XX века. В частности — с особым динамизмом самой предметности, пластической конкретности и с новой системой многоголосой, многоликой речи, интонации, иной раз остраненных, как бы несовместимых сочетаний голосов, которые отражали, выражали все богатство смешения и карнавала людей, вещей, событий, их взаимоотражений, перекличек, даже взаимопревращений, созданных сложной многоголосой целостностью революционной действительности. Мне уже приходилось не раз писать об этом своеобразии поэтики Заболоцкого. Здесь приведу лишь два примера. Сначала — две строчки из стихотворения «Свадьба» в «Столбцах»:

Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья.

Сравнение по меньшей мере странное, даже «безумное». Попробуйте сидеть, как выстрел! Но тем не менее — именно потому — удивительно точное. Оно ассоциативно передает и зрительный, предметный образ этих «мужей», напряженно застывших, торчащих, как дуло ружья перед выстрелом или как патроны в этом дуле. Но сравнение имеет и другой слой, другой ассоциативный ряд. Оно создает иронический контраст с низменной пошлостью этих

го. Этот вопрос специально освещен в литературе о нем (см., например: Македонов А. Николай Заболоцкий. Л., 1968, с. 124, 203, 214, 266, 272—273, 337). Как подчеркнуто в воспоминаниях сына поэта, «не следует думать, что философская концепция Н. А. Заболоцкого являлась для него лишь защитой от неизбежности смерти», и она «не ограничивалась одной идеей бессмертия на основе единства и взаимопревращения живой и мертвой материи». Она была стремлением развить представления Гёте, Энгельса, Циолковского в духе широкого понимания материалистической диалектики, исходя из особой роли и возможностей человека в развитии природы и всей объективной реальности.

персонажей мещанской, нэповской свадьбы, которые сидят «едва вытягивая шеи / сквозь мяса жирные траншеи». И вместе с тем (это — третий слой сравнения) передает их квазипсихологическое состояние, внутреннюю напряженность, неустойчивость и напряженность всей этой свадьбы в ее ироническом и зловещем контрасте и уподоблении некой битве. Передает и напряженность общей атмосферы этого мирка, неизбежность «выстрела», которым это напряжение должно разрядиться. И в конце стихотворения мы видим, как вся эта «свадьба», с ее лысыми прямыми мужьями, мясистыми бабами, «багровыми харями», с ее «яичницы кокетством» и «проклинающим детство» «цыпленком, синим от мытья», весь этот мирок превращается в «огромный дом» — символ всего мещанского, злобно напряженного, кошмарного, — и летит этот дом «по засадам», «виляя задом», «в пространстве бытия», но ему противостоят «седые полчища заводов / и над становьями народов, / труда и творчества закон». Сравнение, касающееся одной детали этой кошмарной и гротескной «свадьбы», раскрывается в своем ассоциативном многослойном смысле всем контекстом стихотворения, всей напряженной, как выстрел, стремительной и разящей динамикой, и подготавливает в этой динамике его заключительный, почти апокалиптический образ — вывод — символ, и само становится предметным, динамическим и целостным, в своей крайней противоречивости, символом. В двух строчках совмещено несовместимое; соединено то, что есть, и то, что может быть, должно наступить; соединены статичность и движение; точность и парадоксальный алогизм, выражающий внутреннюю логику всей этой напряженной сатирической картины. Такова эта динамическая предметность, метафоричность и многозначность.

Другой пример динамической предметности Заболоцкого — стихотворение «Футбол». Динамизм здесь создается и овеществлением невещественного движения — «как плащ, летит его душа», — которое, в свою очередь, создает обратную связь, усиливает впечатление быстроты самого физического, вещественного движения. Создается и набором чередующихся деталей бега, каждая из которых также соединяет два разделенных момента пространства или времени и переводит в движение то, что само по себе в обычном, «рациональном» является неподвижным — «ключица стукается звонко / о перехват его плаща», «танцует в ухе перепонка» и т. д. Здесь в точное предметное описание включается элемент как бы несколько фантастической, сказочной одушев-

ленности, нарушающей обычную логику, но опять-таки передающей всю интенсивность, силу поэтической логики изображения быстроты, напряженности движения.

Поздний Заболоцкий, вопреки встречающимся в литературе утверждениям, отнюдь не потерял эту динамичную метафоричность. И некоторые авторы публикуемых воспоминаний правильно это отмечают, отмечалось это и в литературе о Заболоцком. Здесь подчеркну, что динамическая предметность и многослойный метафоризм у позднего Заболоцкого становится даже более широким, многосторонним, обогащенным, так как сливается с углубленной психологической и философско-поэтической характеристикой чуда земли и чуда человечности и сочетается с прямым изображением конкретного человека, его судеб, труда души, с более многосторонней духовной характеристикой. Внутренняя динамичность предметных и психологических метафор в результате даже увеличивается, хотя и нет такого напора чувственно-предметной стихии образов, как в «Столбцах».

Из многочисленных примеров напомню насыщенные динамичной метафоричностью и конкретной изобразительностью пейзажи-переживания в таких стихотворениях, как «Гроза» или «Уступи мне, скворец, уголок». Вспомним, как скворец, с «головкой розовой» поет, «разрывая сияние струн / в самом горле у рощи березовой». «Роща» здесь выступает одновременно и как струнный оркестр (струны — стволы берез, и ассоциация подкреплена в другой строчке еще более широкой метафорой весенней «березовой консерватории»), и как своеобразное, единое, одушевленное поющее существо — с одним собирательным «горлом». А скворец поет не просто, а «разрывая» сияние струн этого оркестрового и поющего в то же время весеннего живого существа. В метафоре соединены многие логически несовместимые уподобления, ассоциации, но именно это совмещение создает богатство, целостность и своеобразную предметную и психологическую динамику образов. А в еще более поздних стихотворениях! В «Сентябре» живет, движется целая система сказочных превращений орешины в девушку-царевну и наоборот, и совмещено их движение в душе одновременно и «живописца» и поэта. В поразительном цикле «Последняя любовь» увиденный во сне «можжевеловый куст» превращается в еще более многосложный и динамичный символ-метафору сложнейших и целостных человеческих отношений, их прошлого, настоящего, пред-

чувствия их будущего. Такую же нагрузку несет в себе образ «букета чертополоха», и недаром он сравнивается с целым организмом, целым миром переживаний и поступков.

Сохранил, обогатил, трансформировал поздний Заболоцкий и многоголосие интонаций, речевых пластов. В одном из поздних стихотворений «Петухи поют» (1958) прозаизмы и поэтизмы совмещаются в едином высказывании. А малая деталь быта — петушиные крики на сараях, на банях, на гумнах переходят в сложную систему многозначных метафор — символов движения времени и человеческой личности.

В тех стихотворениях позднего Заболоцкого, где на первом плане точный рассказ, описание или прямое изложение мыслей, чувств, так же явно или скрыто работают многоголосые интонации и многосмысловые метафоры, и любая деталь дана в явном или потенциальном движении — одновременно духовном и предметном. Это создает еще более сложную и опять-таки целостную структуру, синтезирующую разные пласты времени, переживаний, взаимоотношения, часто взаимопревращений. Вспомним хотя бы заключительное стихотворение цикла «Последняя любовь». Непринужденная бытовая и психологическая зарисовка жизни двух стариков «простых, тихих, седых», но в ней описано будущее, как настоящее и даже как прошлое, и незримо присутствует все, ими ранее пережитое и ранее описанное. Но мало того. В ткань этой почти очерковой стихотворной сценки неожиданно и в то же время как бы незаметно включено своеобразное лирическое отступление — размышление в форме развернутой системы метафор, с ее самостоятельным движением, и завершается это движение метафорой судеб человеческого счастья — «дитя зари на светлых конях / оно умчится в дальний край». Таким образом «очерковая», квазибытовая сценка не только содержит в себе парадоксальное воспоминание о будущем, но и сопряжена с целым метафорическим рядом, создающим еще один смысл и значение всей сцены. Характерна и завершающая стихотворение неожиданная, точная и яркая метафора: «И только души их, как свечи, / Струят последнее тепло».

А как пример интонационного многоголосья, включающего в себя и торжественные, приподнятые интонации, и остраненные или иронические, напомню стихотворение-очерк «Гурзуф ночью» (1956). И наконец, напомню, что в самых последних стихах Заболоцкого, таких, как «Зеленый

луч», «На закате», «Не позволяй душе лениться», — везде присутствуют и даже господствуют сложные динамические метафорические ряды, их переплетение, выражающие глубинную многозначность переживаний — размышлений поэта.

Заболоцкий не стоял на месте, он был поэтом великих метаморфоз и сам переживал разнообразные метаморфозы. Но на всех этапах он сохранял единство пути, на поворотах сохранял и умножал добытые ценности, развивал и осуществлял свою юношескую мечту о создании нового реального искусства, достойно воспроизводящего богатство, противоречивость и целостность новой действительности. Постигающего чудо земли и чудо человеческой личности, души во всей глубине и динамизме, в их сказочной и точной реальности. Отражающего путь от «животному подобного человека» к действительному «царю свободы», «разумному орудию», «разумному хозяину» и другу земли и всего космоса, — путь через «необозримый мир» «туманных» и нетуманных превращений к лучшим возможностям самой человеческой личности, ее разумности и сердечности; к новому высшему труду души, творчеству; к непостижимому и постижимому «миру очаровательных тайн» бытия и его темных «пучин», к «зеленому лучу» будущего. Путь к синтезу современности и самого отдаленного будущего, действительности и мечты, реальности и сказочности самой этой реальности, разума и сердца, ума и «безумия» — как высшего ума, высшей его свободы, многоликости и цельности, оркестра космоса и оркестра «чертополоха» — и оркестра любой человеческой души. Путь своеобразной поэтической исследовательской «реалфантастики», неутомимости поиска, труда души. Тут, кажется, — путеводная нить и единая суть творческой личности Заболоцкого.

* * *

Вернемся теперь к самим воспоминаниям. Они показывают наглядно, как проявлялись эта целостность и эта многосторонность личности и творческого пути Заболоцкого во всем его облике, начиная даже с наружности, манеры общения, и восприятия этого облика другими людьми.

Воспоминания Д. Самойлова начинаются с того, как он увидал в Доме литераторов человека, очень похожего на... Чичикова. Но это был... Заболоцкий. Почти рядом про того же человека говорится, что по характеру степенной, респек-

табельной и совсем как будто не поэтической внешности «это был какой-нибудь главбух солидного учреждения, неизвестно почему затесавшийся в ресторан Дома литераторов». И на той же странице его внешность ассоциируется с внешностью... толстовского Каренина. И подчеркнут всеми этими уподоблениями контраст между внешностью поэта и его творчеством. В какой-то мере такой контраст отмечается почти всеми, кто знал поэта, хотя, правда, сравнение с Чичиковым или Карениным другим мемуаристам не приходило в голову. И не подтверждается оно и сохранившимися фотографиями поэта. Но в воспоминаниях Самойлова рядом запечатлен и еще один облик: «уже не главбух, а милый человек, очень российский интеллигент. Добрый, шутливый». И тут же оговорка, что это «все не точно». А что же точно? «Точна посмертная маска: классик, мастер, мыслитель». Но исчерпывает ли и это? Так или иначе сумма впечатлений, поразительно разнородных, даже резко противоречивых: Чичиков, Каренин, главбух; добрый, шутливый, милый российский интеллигент; классик, мастер, мыслитель. И рядом попытка определить сам характер того, кто во всех этих внешностях был самим собой. Опять противоречивая — «характер баховский», но с оговоркой, и очень важной — «конечно, баховский с поправкой на XX век. Уже с простодушием изверившимся, гармонией сломанной... И отсюда гротеск». В раннем Заболоцком — гротеск явный, даже подчеркнутый, в позднем — ушедший вглубь. Затем воспоминания Самойлова (написанные, кстати сказать, очень хорошо, с любовью и проникновением) дают еще ряд интересных штрихов, деталей поведения. А главное, сконцентрировано в одной фразе: «мудр, добр, не суетен и прекрасен». И еще в самом этом главном подчеркнуто главное — предельная самоотдача своему поэтическому труду, призванию, полнота, безусловность самоотдачи, чувство ответственности поэта. Все эти характеристики, впечатления принадлежат одному и тому же мемуаристу, касаются одного и того же короткого периода жизни одного и того же человека, поэта, сконцентрированы на нескольких машинописных страничках, объединенных единым дыханием, впечатлением, переживанием... Вспомним теперь те же слова из «Метаморфоз» — «нас много». В одном Заболоцком были многие, и вместе с тем это был один, и очень целостный, очень целеустремленный человек. И был он мудр, добр, не суетен и прекрасен и безгранично предан своему поэтическому делу.

Перелистаем страницы всех других воспоминаний. И то

же разнообразие деталей, иной раз очень противоречивых, и единство общей характеристики. С Чичиковым никто не сравнивает. Но почти все отмечают нечто, если не от главбуха, то от, как пишет Н. Л. Степанов, ученого. Л. Гинзбург рассказывает, как веселая девушка, недавно приехавшая из деревни, приняла Заболоцкого за солдата; помимо шинели, которую носил Заболоцкий после демобилизации, «что-то в облике Заболоцкого (несмотря на очки) соответствовало представлениям Нюши о солдате». Д. Максимов через много лет суммирует свои впечатления о наружности и поведении Заболоцкого в «обериутский» период: «держался с уважением к собеседнику, скромно, хотя и без излишней скромности... Его лицо, здоровое, с правильными чертами, с заметным румянцем, выглядело самым обыкновенным. Ничего нарочито поэтического, или богемского, или экзотического в этом лице и в сдержанных манерах... не было. Он смотрел просто и непритязательно, читал стихи без распространенного в то время «выпевания стихов»... Четко, императивно, мажорно». Ираклий Андроников, вспоминая про совместную работу с Заболоцким в журнале для детей «Чиж», пишет: «Вот уж никогда не подумал бы, что это автор «Столбцов». Румян. Блондин. Косой пробор. Очки. Негромкий басок. Немногословен. Серьезен. Движения степенные. А в интонациях и в глазах так и сверкает юмор. Реплики в разговоре весомые. Сдержанный смех. И отчетливо выраженное чувство собственного достоинства. ...Он был тогда совсем молодым. Но решительно всем внушал глубокое уважение». И в своей работе, в качестве зав. редакцией журнала, он естественно участвовал в общей обстановке непринужденного товарищеского общения, многолюдства, веселья. И вместе с тем был образцом точности, организованности. «Обстоятельность, аккуратность его вызывали во мне не только почтение, но и сладкую зависть. Все у него было в срок». А когда в редакции было тихо, «говорил о величии и совершенстве природы, о космосе, о Циолковском... О Гёте...». А в своей вступительной статье к двухтомнику Степанов дает сжатое и, по-видимому, весьма точное описание: «Всегда спокойный, с немного детским выражением голубых глаз из-за стекол очков, тщательно одетый, аккуратный, не терпящий никакой позы». Здесь подмечена еще одна интересная деталь — немного детское выражение голубых глаз. Эта деталь гармонирует с определенной стороной, хотя только одной стороной творчества поэта. Но бросается в глаза и видимое противоречие этого

внешнего спокойствия и этой аккуратности с размахом фантазии, смелостью новаторства, подчас эксцентризмом его поэзии. С другой стороны, в самых ведь эксцентрических, гротескных стихах периода «Столбцов» мы действительно видим ту же подтянутость, строгость дисциплины стиха, с его классической силлаботоникой, четкой композицией, с принципом порядка в изображении самого антипорядка. И не случайно в воспоминаниях Синельникова приведены высказывания поэта о том, что эта дисциплина стиха имела и принципиальное общественное значение, была направлена поэтом против мещанской стихийности.

И в личности, и в поведении поэта все подчеркивают именно порядок, целеустремленность, организованность, единство, предельную самодисциплину. «Какой твердый и ясный человек», — говорил про него А. Фадеев. «Человек — исключительной организованности», — пишет С. Чиковани. «Он — солдат», — пишет о нем — стихами — А. Гитович. Здесь речь идет о солдатстве в высоком поэтическом смысле. Но художник Стерлигов, который в молодости когда-то вместе с Заболоцким отбывал срочную военную службу, рассказывал мне, что Заболоцкий любил военную дисциплину и был, видимо, примерным солдатом в буквальном смысле слова. Так же как позже, в период своих испытаний, он был примерным, аккуратным и добросовестным чертежником. М. В. Юдина отмечает: «Облик Заболоцкого — весь в его суровости». И мемуаристка цитирует строчки поэта: «Я воспитан природой суровой». Можно вспомнить, что воспитан он был и временем достаточно суровым. С. Чиковани говорит о «панцире кажущейся недосягаемости», а все остальные говорят о его предельной сдержанности, а также иной раз молчаливости. Суровость, видимо, распространялась иногда и на близких. М. Чуковская пишет: «В своей семье был властелином. Несмотря на изысканную вежливость и корректность, в нем иногда проступала не только твердость, а даже какая-то жесткость и беспощадность. А уж прощать Николай Алексеевич совсем не любил. И не прощал». Тут отмечена и еще одна черта.

Принципиальность, переходящая в бескомпромиссность. Н. Л. Степанов пишет: «Был необычайно принципиален». Необычайно! «Даже в мелочах, в житейских и литературных делах он не допускал ни малейшего компромисса... Он никогда не приходил в гости, если знал, что может среди приглашенных встретить человека, ему неприятного». В этой связи поучителен рассказ Бахтерева о встрече молодого

Заболоцкого с Клюевым и его же свидетельство о том, как он порвал с другом молодости после того, как побывал на его мещанской свадьбе.

Итак, еще некоторые штрихи того же характера. Предельная принципиальность, даже подчас непримиримость с тем, что считал злом или фальшью, и требовательность к порядку, переходящая и в такую требовательность к другим, даже к близким, что могла восприниматься как властность, твердость, переходящая в жесткость. А вместе с тем многие говорят о доброте, и, по свидетельству многих, он воистину был добр. Несомненно, видна эта доброта и в его стихах. Все отмечают и его непринужденность, полную простоту в обращении, отсутствие всякой натянутости, юмор, гостеприимство, даже стремление подчас устраивать, как пишет Чиковани, «платоновские пиры». Отмечают, с другой стороны, у этого непримиримо принципиального человека деликатность, стремление не обидеть, уважение к чужому мнению, полное отсутствие попыток навязывать кому-либо свое мнение. И то, что Чиковани называет «обязательность». Называет рядом с «принципиальностью». Это была обязательность не только по отношению к своему долгу поэта, но и по отношению к другим людям. Отсюда — устойчивость основных дружеских привязанностей, как и основных эстетических вкусов, так и основных нравственных принципов. Во многих отношениях этот суровый, принципиальный человек был настоящим однолюбом.

Что касается юмора и шутки, то с ней связана целая струя в творчестве и личной жизни поэта. Даже в «Столбцах», кроме беспощадной иронии, сатиры в отношении к ненавистному мещанству и чиновничеству, есть и струя более мягкого, как бы снисходительного смеха, улыбки (например, в том же «Народном доме»). Есть и струя именно юмора и даже жизнерадостного веселья, своеобразной комической игры. Еще больше эта струя проявлялась в дружеском общении того времени, как это хорошо видно в публикуемых воспоминаниях. Она проявлялась и в домашнем, дружеском творчестве — серия шуточных писем, некоторые из которых являются настоящими художественными произведениями (например, публикуемое в настоящем сборнике письмо к Т. А. Липавской-Савельевой). Это свойство его поэзии проявлялось и позже, и после всех перенесенных поэтом испытаний. Отсюда, например, шуточные письма и стихи, адресованные Шварцу уже в 40-х годах; отсюда целый цикл шуточных стихов — «Из записок старого аптека-

ря» (в этом сборнике представлены отдельные образцы). Сам Заболоцкий не придавал серьезного значения этой струе в своем творческом наследии и в духе своей суровости беспощадно уничтожил большую часть своих шуточных стихов. Они были рассчитаны на домашнее употребление или на дружеский круг «платоновских пиров». Но некоторые из этих стихов и особенно писем имеют несомненную самостоятельную художественную ценность. Более того, струя юмора прорывается и в основном творческом наследии Заболоцкого. Включая и такие поздние стихи, как «Городок» или даже «Рубрук в Монголии». А главное — это нужно подчеркнуть — эта струя непринужденной и доброй шутки, юмора была органической стороной его суровой и требовательной натуры. И мы должны видеть теперь еще одного Заболоцкого. Заболоцкого улыбающегося, смеющегося, подчас с чуть озорной лукавинкой в глазах, каким он представляется нам и в одном из его самых поздних портретов. Эта черта его личности проявилась и в системе «карнавальных» масок и обличий его творчества (одним из образцов таких шуточных масок является публикуемое письмо к Т. А. Липавской). Возвышенный и чем-то строгий, высокий «баховский» характер действительно органически, изнутри сопрягался с гротеском, и это сопряжение было связано с переплетением не только трагических, но и веселых карнавальных воплощений человеческих лиц, лиц природы, лиц вещей, самых разных и подчас несовместимых человеческих интонаций и обличий в едином, уже не баховском, уже очень современном оркестре. Он не искал гармонии ни в карнавале, ни в оркестре; симфоническая его музыка включала в себя и все дисгармонии нашего времени. И все же то не была только надломанная гармония, как пишет Д. Самойлов. Нет, он достигал и новой, высшей в широком смысле гармонии, во всяком случае подлинного оркестрового единства, цельности. И, возвращаясь к формулировке Д. Самойлова, можно сказать: во всем своем творчестве и личности был собран, добр, мудр. А если говорить о его внешнем облике, то когда я спросил Е. В. Заболоцкую, что же все-таки больше всего было характерно для выражения лица Заболоцкого, она ответила — «просветленность».

Как говорит Н. Л. Степанов: «Он относился к нему (своему творчеству) как к Высшему Долгу, священной обязанности, во имя которой он всегда готов был пожертвовать любыми удобствами и материальной выгодой». И в другом месте: «Вся его жизнь проходила в упорном организован-

ном труде... меня всегда поражало исключительно серьезное, уважительное отношение к своему творчеству». Этот Принцип Высшего Долга определял и его принципиальность, требовательность, подчас даже суровость и «жесткость». Но он включал в себя и мудрость, и доброту, и детскую чистоту взгляда, и своеобразное свободное игровое начало, и все это было единством его, как писал С. Чиковани, «неисчерпаемой поэтической энергии».

Чувство высшего долга вело его — и особенно в поздних стихах — не только к «суровости», но и к высшей гуманности. Основное эстетическое начало выступило и как этическое. И в стихах его все больше развивалось и чувство Высшей Любви к человеку, природе, к лучшим человеческим возможностям. Отсюда пафос и таких его стихов, как «Некрасивая девочка», и таких его стихов, как «Это было давно»; пафос и всего цикла «Последняя любовь», в котором драма любви, личное страдание освещены небывалым светом именно человечности, благородства, гуманности, Высшей Любви. Отсюда и его резкая полемика с абстрактной разумностью, со всякой хищностью, со всякой неразборчивостью средств. Отсюда пафос его «Противостояния Марса», его острое чувство человеческих болей — так, что «уставало сердце плакать / от нестерпимых этих мук».

Может быть, ключевыми лирическими образами, метафорами-символами всего жизненного и творческого пути Заболоцкого является образ Прохожего в стихотворении того же названия в сочетании, контаминации с образами «творцов дорог», и еще больше — образом самого себя и своего труда души в стихотворении «Не позволяй душе лениться».

Прохожий идет через обычный мирок повседневной жизни, описанной с очерковой точностью, реалиями места и времени. И вдруг — неожиданно и закономерно — встреча с памятником летчику на придорожном кладбище превращает обычную бытовую дорогу в дорогу к своеобразному разговору Жизни со Смертью и Бессмертием, детали быта и природы превращаются в образ Бытия. Всего природного и человеческого. Сосны на кладбище превращаются в «скопище душ», а памятник летчика становится живым, бессмертным юношей, беседующим с живой душой Прохожего. И путь Прохожего превращается в символический путь просветления — преодоления, приобщения человека к вечно живому, бессмертному, — в конце стихотворения его «тело» хотя по-прежнему «бредет» по дороге сквозь «тысячу бед»,

но «горе его и тревоги» как бы отделяются от него, отделяются, хотя и «бегут, как собаки, вослед».

Прохожий был не только прохожим, но и творцом дорог. Творцом новых дорог и новых строек, и более того — творцом нового труда и сил души, стремящейся и способной охватить «зеленый луч» идеала, высшей красоты и человечности. И он видел перед собой воочию «город белоглавый, / отраженный в глубине», и до конца жизни собирался «в путь-дорогу» и «к белоглавому чертогу»; стремился добыть «луч зеленый», «мой зеленый слабый луч», «золотого счастья ключ». А в стихотворении «Не позволяй душе лениться», которое стало как бы лебединой песней Заболоцкого, с заключительной, итоговой силой выражено все мужество, вся воля этого путника и творца дорог к зеленому лучу. Стихотворение это широко известно. Но хочется напомнить некоторые его строки.

Прежде всего поражает энергия умирающего человека, сознающего свое умирание, в стихотворении «На закате», описавшем «час умирания, когда / всего печальней нам утрата / незавершенного труда». И вот с какой настойчивостью он провозглашает: «Душа обязана трудиться / и день и ночь, и день и ночь!» Более того, он не просто призывает трудиться. Он обращается со своей душой с невиданной суровостью:

Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!

Это пишет человек, которого жизнь немало самого таскала с этапа на этап и через всяческие ухабы. И дальше он продолжает с той же жесткостью:

...Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!

Узды! Вот он — его принцип дисциплины. Как прежде всего — самодисциплины, со своей собственной душой обращение. При этом вся эта жесткость получает и некое аналитическое обоснование, хотя и с предельной краткостью:

Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет!

Собственная душа здесь воспринимается как отдельное существо, причем также безжалостное и требующее сурового воспитания.

А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.

Ключевое четверостишие. Учить, и даже сурово, даже мучить дотемна собственную душу, и всегда заново. Но для того, чтоб жить по-человечьи. И учиться этому также нужно всегда заново. И вот следует замечательное определение этой души и повторное заключительное требование.

Она рабыня и царица,
Она работница и дочь.
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Сколько противоречивых определений совмещено в этой душе! И рабыня, и царица, и работница, и дочь, и даже лентяйка, готовая без жалости ободрать рубашку. И с кого же? С самого «я» этой же души, души того самого человека, который ей не позволяет лениться и обращается с ней так требовательно и сурово.

Обратите внимание, как в этом стихотворении, при всей его простоте и целостности единой, повелительной интонации, проявляется вся сложность поэтического мышления Заболоцкого. Он опять говорит о себе как о множественном существе. Он отделяет свое же «я» от самого себя, рассматривает себя как другого человека и при этом наделяет его свойствами нескольких разных и даже противоположных по свойствам лиц. Резкая контрастность, оксюморонность этой характеристики, это подчеркнутое расщепление личности на, по крайней мере, двух или даже больше людей, создает исключительную многоплановость, казалось бы, однотонного призыва, обращения-повеления. И так повелительно обращение и к самому себе, и к собеседнику, и любому другому читателю с его любой душой! Но повеление сопровождается и неким обоснованием, описанием и выражено системой метафор — олицетворений. Все это делает стихотворение еще более многоплановым и многоголосым, многозначным. И в то же время оно с удивительной цельностью передает целостность, глубочайшую определенность основного пафоса личности, всего творческого пути Забо-

лоцкого. И суть в этом пафосе — ответственность человека перед человеком, требовательность воспитания и самовоспитания. Учиться жить по-человечьи, ибо только так можно схватить зеленый луч, золотого счастья ключ, и ключ к счастью, к будущему всего человечества!

Многие поэты разделяли в той или иной форме этот пафос. Но и среди них Заболоцкий выделяется особенным напряжением требовательности к самому себе; сознанием высшей любви как высшего долга и, наоборот, чувства коллективности любой человеческой личности и ответственности ее перед самим собой и другими; особенным чувством и искусством быть многоликим и целостным, передать размах метаморфоз и единство пути. И его последнее стихотворение является удивительным примером заключительного итога и урока, стихотворения-завещания и стихотворения-подвига, в котором прошедший сквозь тысячу бед умирающий человек нашел в себе такие силы, такую энергию обращения к себе и ко всем нам: не позволять душе лениться! И не случайно так часто теперь мы читаем повторения этого призыва Заболоцкого в самых разных ситуациях, статьях, книгах. Он стал одним из главных требований, призывов эпохи.

P. S.

В заключение мне хотелось бы здесь привести два фрагмента воспоминаний А. И. Гитовича, написанных в форме письма ко мне в марте 1966 года. В первом фрагменте приводятся интересные факты, характеризующие историю сложных взаимоотношений Н. А. Заболоцкого и Б. Л. Пастернака. Во втором фрагменте, тоже интересном, рассказывается о той литературной обстановке, в которой появилось стихотворение Заболоцкого «Север», и о том отклике, который вызвала эта публикация.

«Отношение Заболоцкого к Пастернаку после возвращения меняется чрезвычайно резко. При наших редких встречах (именно потому, что встречи были редкими) он как бы искал возможность намекнуть мне на это. Нужно очень хорошо знать Н. А., чтобы не спрашивать, почему он мне прямо и просто не сказал об этом. И так же хорошо надо было его знать, чтобы уловить в его голосе те извиняющиеся нотки, которые появлялись, когда он заговаривал о Пастернаке. Он при мне, например, говорил Коле Чуковскому — но говорил для меня: «Если бы я раньше знал, что он [Б. П.] написал такие стихи!» Или: цитируя строки пастернаков-

ского перевода и поглядывая на меня сквозь очки: «Нет, знаете, так только он может!»

Стихотворение «Поэт», посвященное Пастернаку и написанное о Пастернаке, принимая во внимание почти ледяную сдержанность Заболоцкого в его оценках современных поэтов, — это стихотворение можно не колеблясь охарактеризовать как почитание и глубокую любовь зрелого Заболоцкого к своему старшему современнику. У любого другого поэта такое чувство граничило бы в данном случае с преклонением.

У меня кроме всего прочего существует подозрение, что Н. А. до своих несчастий просто не читал Пастернака *по-настоящему.* У меня есть основания так думать. Причем не читал *сознательно* — он по большей части всегда поступал сознательно.

Зимой 1927 года (дату можно установить почти с полной точностью: только-только в приложении к «Ленправде» появилось стихотворение «Поприщин») я был у В. Друзина, которому в известной степени обязан своему переезду из Смоленска в Ленинград. Друзин меня, так сказать, опекал. Постучавшись предварительно, вошел молодой человек в красноармейской гимнастерке, башмаках и обмотках. Очень аккуратный. Очень светлые волосы, гладко причесанные на пробор, из таких, что рано седеют. Молодой человек был розоволик, что отмечается всеми знавшими его в те неповторимые времена.

Друзин — и это было вполне естественно — говорил с Заболоцким как с молодым, начинающим поэтом. В конце концов, он, Друзин, был первым редактором, напечатавшим Заболоцкого. Что касается меня, я не был даже молодым: я был *способным* мальчиком. Так вот, Друзин и спросил у Заболоцкого, как он относится к Пастернаку. Я абсолютно помню не только *что* ответил Н. А., но и *как* ответил. В его ответе, произнесенном характерным молодым баском, была подчеркнутая категоричность. Это была броня. Панцирь, защищающий молодого воина. Меня не переубедишь, говорила эта интонация. Даже вы, хоть и неплохо ко мне относитесь, печатаете и прочее.

— Я, знаете, не читаю Пастернака. Боюсь, еще начнешь подражать...

Вот как, оказывается, обстояло дело. Он, Заболоцкий, должен быть абсолютно самостоятелен. Уже с самого начала. Еще ведь и «Столбцы» не были написаны. Самостоятельность. Независимость. Молодой рыцарь не обнажал

меча, но на его геральдическом щите — так он полагал — такой девиз был отчетливо виден окружающим его гяурам.

А если что-либо угрожало его независимости, он уклонялся от боя. Не читал Пастернака — и все. Он не так глуп, как другие молодые люди. Поборись с Пастернаком — еще и в плен попадешь!

Все это было весьма наивно — этот радикальный способ уклоняться от литературного подражания. Все это быльем поросло. Заболоцкий от души смеялся, когда в том самом кафе, которое сейчас называется «Чайкой», а тогда — я имею в виду 1936 год — его называли не иначе, как «Под тещей», потому что Олейников уверял, что прямо над заведением, на втором этаже, проживает матушка его супруги, Ларисы, — именно там я рассказывал Николаю Алексеевичу, как я впервые его увидел. Рассказывал я точно так же, как пишу сейчас. Отсмеявшись, Заболоцкий сказал:

— Ну, знаете, Александр Ильич, вы всегда преувеличиваете...

Но почему-то был доволен.

Для начала надо более или менее точно восстановить в воображении своем, какова была обстановка в Ленинграде. В *поэтическом* Ленинграде. Потому что речь пойдет именно об этом.

Второе рождение Заболоцкого в глазах Союза писателей началось в тот день, когда в «Известиях» был опубликован «Север».

Для меня это было почти *личным* делом.

В Доме книги в те времена на первом этаже вывешивалась «Ленинградская правда». Те, кто не выписывал газет, а по моим наблюдениям, к таким людям относилось подавляющее большинство литераторов и художников, узнавали последние политические новости именно там — по соседству с лифтом. В этот день новости были сенсационны и прекрасны: ледокол «Красин» спас перетрусившего Нобиле и его космополитическую экспедицию [1].

Читаю, радуюсь, как и все. Гляжу — Заболоцкий. Поворачивается ко мне и говорит:

— Вот, Александр Ильич, всему миру показали!

---

[1] Раненый Нобиле еще до прихода «Красина» был вывезен со льдины шведским самолетом. (*Примеч. сост.*)

Сказано это было с той в а ж н о с т ь ю, как это слово понимали в начале XIX века. Например, Пушкин. В хорошем смысле.

Память у меня вообще отличная. Но эти слова Н. А. просто врезались в мою память. Возможно, потому, что никак я такой патриотической фразы от него не ждал. И примерно через неделю было у нас собрание поэтов. Происходило оно в столовой Ленкублита. Клуба у нас тогда еще не было. По вечерам собирались в том месте, где днем обедали.

Обсуждались вроде «итоги года». И выделяли — да, друг мой, — Корнилова и меня — за «Артполк». Попробуй не похвали оборонного поэта. Был и на моей улице праздник.

А я возьми да и скажи в своем выступлении среди всего прочего, что вот сидит сейчас среди нас прекрасный поэт Заболоцкий и вот что он на днях мне сказал у лифта. И я знаю, что говорил он со всей искренностью советского человека. А вот как он в манере «Столбцов» или «Торжества земледелия» напишет об этом? И понес еще какую-то чепуху...

Но для Николая Алексеевича это оказалось не чепухой. Ему в то время (я понял это много позже) нужны были не похвалы в адрес его таланта, а общественно высказанное убеждение в том, что он, Заболоцкий, глубоко советский человек и поэт. И я, не ведая того, попал в самую точку.

Вскоре и было опубликовано стихотворение «Север».

А между мной и Заболоцким протянулась некая ниточка».[1]

---

[1] Спасение «Красиным» экспедиции Нобиле произошло в 1928 г., а стихотворение «Север» было опубликовано в «Известиях» 11 февраля 1936 г. Вероятно, приведенные Гитовичем слова Н. А. Заболоцкого относятся к другому выдающемуся подвигу — перелету к Северному полюсу, водворению на дрейфующей льдине нашего флага и созданию станции СП-1 21 мая 1937 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Тихонов. Николай Заболоцкий 3
Н. А. Заболоцкий. Ранние годы 9
Л. Дьяконов. Детские и юношеские годы поэта 26
М. Касьянов. О юности поэта 31
Н. Сбоев. Мансарда на Петроградской (Заболоцкий в 1925—1926 годах) 43
Т. Липавская. Встречи с Николаем Алексеевичем и его друзьями 47
И. Бахтерев. Когда мы были молодыми (Невыдуманный рассказ) 57
И. Синельников. Молодой Заболоцкий 101
Д. Максимов. Заболоцкий (Об одной давней встрече) . 121
С. Богданович. То, что запомнилось (Из встреч с Заболоцким) 136
Лидия Гинзбург. Заболоцкий конца двадцатых годов 145
Н. Степанов. Из воспоминаний о Н. Заболоцком . . . 157
В. Каверин. Счастье таланта 179
Ираклий Андроников. Николай Алексеевич 193
П. Антокольский. «Сколько зим и лет» 198
С. Чиковани. Верный друг грузинской поэзии 214
Г. Маргвелашвили. Свет памяти 226
Никита Заболоцкий. Об отце и о нашей жизни 240
Маргарита Алигер. Прохожий 273
Марина Чуковская. В памяти и в сердце 285
Л. Озеров. Вначале было «Слово» 297
М. В. Юдина. Совместная работа над эквиритмическим переводом «Песен Шуберта» 321
Сергей Ермолинский. Сагурамо 328
Я. Хелемский. Всем своим существом 346
Л. Либединская. Он между нами жил... 378
Б. Петрушевский. Наш сосед Заболоцкий 389
Андрей Сергеев. О Заболоцком 403
Д. Самойлов. День с Заболоцким 410
Григол Абашидзе. Бессмертие 416
Яков Белинский. 14 октября 1958 417

Александр Гитович.
I. «Давным-давно, не знаю почему...» 418
II. «Он, может, более всего...» 418
Вера Звягинцева. Николаю Заболоцкому 419
Владимир Лифшиц. Николаю Заболоцкому 421
Д. Самойлов. Заболоцкий в Тарусе 422
Петр Семынин. Последний разговор 424
Борис Слуцкий.
Заболоцкий спит в итальянской гостинице 426
На смерть Заболоцкого 427
Арсений Тарковский. Могила поэта (I и II) 429
А. Македонов. «Не позволяй душе лениться...» (Вместо воспоминаний, вместо комментария, вместо послесловия) 431

В 77 **Воспоминания о Н. Заболоцком:** Сборник. — М.: Советский писатель. 1984. — 464 с.

В этой книге своими воспоминаниями о крупном советском поэте Николае Заболоцком делятся с читателем Н. Тихонов. П. Антокольский, С. Чиковани, И. Андроников, В. Каверин, М. Алигер и другие советские писатели, знающие его сложный и во многом поучительный творческий путь.

В $\frac{4702010200—380}{083(02)—84}$ 27—84 **8Р2**

С о с т а в и т е л и :
Екатерина Васильевна Заболоцкая
Адриан Владимирович Македонов
Никита Николаевич Заболоцкий

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. ЗАБОЛОЦКОМ

Сборник

М., «Советский писатель», 1984, 464 стр.
План выпуска 1984 г. № 27

Редактор *Е. А. Мартынова*
Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*
Техн. редактор *Н. В. Сидорова*
Корректоры *Н. П. Задорнова* и *М. Б. Шварц*

ИБ № 4102

Сдано в набор 02.02 84. Подписано к печати 18.10 84. А02558
Формат 84 x108 $^{1}/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс. Офсетная печать.
Усл. печ л. 24,36 Уч-изд. л. 23,33. Тираж 50 000 экз. Заказ № 268. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
170024, г Калинин, проспект Ленина, 5